



Содержание

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ
ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЖУРНАЛ

У Ч Р Е Д И Т Е Л И:

Союз писателей России
ООО "ИПО писателей"

Международный фонд
славянской письменности
и культуры

Издается с 1956 года

Главный редактор
Станислав КУНЯЕВ

Общественный совет:

Ю. В. БОНДАРЕВ,
А. В. ВОРОНЦОВ,
В. Н. ГАНИЧЕВ,
Г. Я. ГОРЬОВСКИЙ,
Т. В. ДОРЕНИНА,
С. Н. ЕСИН,
Л. Г. ИВАШОВ,
С. Г. КАРА-МУРЗА,
В. Н. КРУПИН,
А. Н. КРУТОВ,
А. А. ЛИХАНОВ,
М. П. ЛОБАНОВ,
Ю. М. ЛОЩИЦ,
С. А. НЕБОЛЬСИН,
Ю. М. ПАВЛОВ,
И. И. ПЕРЕВЕРЗИН,
В. Д. ПОПОВ,
В. Г. РАСПУТИН,
Е. С. САВЧЕНКО,
А. Ю. СЕГЕНЬ,
В. В. СОРОКИН,
С. А. СЫРНЕВА,
А. Ю. УБОГИЙ,
Р. М. ХАРИС,
М. А. ЧВАНОВ

Проза

Владимир САЛАМАХА Разверзись, земля... Повесть	10
Фёдор КОНЕВ Одуванчик. Повесть	41
Николай ЧЕРГИНЕЦ Операция "Кровь" Глава из романа	66
Лариса КАЛУЖЕНИНА Василичи. Рассказ	75
Сергей ТРАХИМЁНОК Прокурорская кровь. Рассказ	90
Екатерина КАРПОВИЧ Муза. Рассказ	104
Михаил ЧВАНОВ Бранденбургские ворота. Рассказ	158

Поэзия

Георгий КИСЕЛЁВ Молось милосердию	3
Микола МЕТЛИЦКИЙ Жизни моей пожитки	38
Анатолий АВРУТИН Я иду по земле... ..	58
Светлана ЕВСЕЕВА Сила слова — молитвенный дух	61
Тамара КРАСНОВА-ГУСАЧЕНКО Всю правду о жизни сказать	72
Михась ПОЗДНЯКОВ Земля родная, отчая земля	87
Андрей СКОРИНКИН Не молчи вдохновенная лира... ..	95
Елена КРИКЛИВЕЦ Хочу найти ответ	97
Елена АГИНА Тихая родина снова меня позовёт	101
Владимир ШУГЛЯ Веков пронзительный осколок	113
Поэтическая мозаика	115
Вадим КОВДА Вздыхается сфинксом Россия... ..	154
Вера КУЗЬМИНА. Что ж мы делаем с собой?	169

Редакция

Приемная —
(495) 621-48-71

А. И. Казинцев —
зам. главного редактора —
(495) 625-01-81

Е. В. Шишкин —
зав. отделом прозы —
(495) 625-30-47

С. С. Куняев —
*зав. отделом критики,
отдел поэзии* —
(495) 625-02-81

Отдел публицистики —
(495) 625-30-47

Е. Н. Евдокимова —
зав. редакцией —
(495) 621-48-71,
факс (495) 625-01-71

Г. В. Мараканов —
зав. техническим центром —
(495) 621-43-59

М. А. Чуприкова —
гл. бухгалтер —
(495) 625-89-95

Николай КОНОВСКОЙ
Я чувствую несчастье
малых сих... 173

Парнас смеётся

Юрий КОНОПЛЯННИКОВ
Было — не было 177

Юлия САНИНА
Усталая, а стало быть,
довольная... 181

Анатолий КУРАСОВ
Гвозди 182

Александр КОКШИЛОВ
Час не ровен 183

Память

Алексей АБРАМЫЧЕВ
Советский маршал 267

Очерк и публицистика

Камиль ЗИГАНШИН
Через Огненный пояс 184

Юрий ПИЩИКОВ,
Игорь ДОКУЧАЕВ
Операция “Багратион” 229

Наталья КОСТЮЧЕНКО
Возраст и я. *Эссе* 235

Владимир РОДИН
Новая Европа
застряла на дороге 239

Александр АРЦИБАШЕВ
Тавдинский оползень 244

Борис КУРКИН
Тоже победители-2 251

Критика

Андрей ВОРОНЦОВ
Победитель,
не получивший ничего 124

Валентина ЛОКУН
Олег Ждан: траектория жизни —
траектория таланта 217

Владимир БОНДАРЕНКО
“Вечный Жид” 278

Редакция внимательно знакомится с письмами читателей и регулярно публикует лучшие, наиболее интересные из них в обширных подборках не реже двух раз в год. Каждая рукопись внимательно рассматривается и может, по желанию автора, быть возвращена ему редакцией при условии, что объем рукописи по прозе — не менее 10 а. л., поэзии — 5 а. л., публицистике — 3 а. л. Срок хранения рукописей прозы 2 года, поэзии и публицистики — 1,5 года. За достоверность фактов несут ответственность авторы статей. Их мнения могут не совпадать с точкой зрения редакции.

Компьютерная вёрстка: Г. В. Мараканов

Операторы: Е. Я. Закирова, Н. С. Полякова

Корректоры: С. А. Артамонова, Н. А. Павлова

Зарегистрирован Мининформпечати Российской Федерации 20.06.03. ПИ № 77-15675.

Подписано в печать 01.07.14. Формат 70x108 1/16. Бумага газетная.

Офсетная печать. Усл. печ. л. 25,4. Уч.-изд. л. 22,9. Заказ № 3111. Тираж 8500 экз.

Адрес редакции: Москва, 127994, Цветной бульвар, д. 32, стр. 2.

Адрес электронной почты: n-sovrem@yandex.ru

(Рукописи по электронной почте не принимаются)

Адрес сайта в интернете: www.nash-sovremennik.ru

Отпечатано в ОАО “Красная Звезда”, 123007, г. Москва, Хорошевское шоссе, 38.

Тел.: (495) 941-28-62, (495) 941-34-72, (495) 941-31-62 www.redstarph.ru e-mail: kr_zvezda@mail.ru

ГЕОРГИЙ КИСЕЛЁВ



МОЛЮСЬ МИЛОСЕРДИЮ

НОЧНОЙ ПУТЬ

Луна хохотала полярной совой,
Выставив жёлтый глаз.
Ветер сбивался на волчий вой
И визгом кутёнка гас.

Нас трое. И каждый в дорогу влюблён,
В пенье полозьев нарт,
В синий аквариум — небосклон
И в мокрый по пояс март.

А псы волокут, как тягачи,
Со всех сорока ног.
Хочешь — кричи, хочешь — молчи,
Словно Господь Бог.

Просторна, как чум, каюра гортань,
Хозяйкою в ней — махра.
Он долго глазами ночь ковырял
И, видно, решил: пора!

КИСЕЛЕВ Георгий Иванович родился в 1939 г. на Вологодчине. Окончил Литературный институт им. М. Горького. Поэт, критик, переводчик. Печатался в периодических изданиях Беларуси и России. Живет в г. Волковыск Гродненской области.

Прокашлялся, рыкнул и в наледь усов
Выдал такой звук,
Что иерархия всех басов
Померкла пред ним вдруг.

Хайлём¹ тебе, Гавриил Кихляп,
За песню длинней версты, —
С хрипа на дрожь, с горы на ухаб, —
Но душу встревожил ты!

И за то тебе, наш каюр, хайлём,
Что, словно курский мужик,
Спел, дорогою охмелён,
Как замерзал ямщик.

Волчьими сворами нас теснят
Перелески со всех сторон.
С нарт попрыгали, как десант,
И гору бегом берём.

А под гору снова брызжет остол²
Ракетой в десятки лун,
И кренится палубой белый простор,
Смыкая за нартой бурун.

Кедрач росомахой бежит вослед,
А с моря идёт пурга.
И в малахай³ курилки⁴ одет
Мыс большелобый Урга.

Пурга зашаманила — ну, каюк! —
Пыл у собачек скис.
Снег с лица отодрал каюр,
Словно посмертный гипс.

Тракторный путь — за увалом увал —
Нарту в крен кладёт.
Ах, что — катапульта! Я летал
Почище: башкой об лед!

Теперь успевай ноги беречь
От торосов, летящих сбочь,
Жалея задохшихся кобелей,
За нартой бежать в ночь.

Теперь ты сам — кладь, тюк.
За нарты, ремни, гужи
Хватайся, не чуя ни ног, ни рук,
И ни о чём не тужи!

Ах, что оставили мы вдалеке?
И куда нас псы волокут?
Там, под пологом, в уголке,
Спит мой друг Явелкут.

¹ Хайлём (коряжское, чукотское) — Спасибо.

² Остол — крепкая палка с металлическим наконечником для торможения нарт в пути во время крутых спусков.

³ Малахай — меховой шлем.

⁴ Курилка — юго-восточный ветер с Курильских островов.

Олешки одадь копытят наст,
Ягель дерут рывком.
Им даже ночью уйти не даст
Суматошный старик Коерков.

Войти бы в палатку, где, гостю рад,
Начнёт чаевать народ.
Но поздно, поздно уже назад,
Остаётся — только вперёд!

Глотай же бессонницы чёрный чай
Блюдцами красных глаз,
Покуда плещется через край
Поздняя зрелость в нас!

Пока не ушёл в траву и золу,
Покуда не жжёт под ребром, —
О, всю до капли выпей зарю
Синим от жажды ртом!

Кидай меня, тундра, словно медведь
В загровке ярого пса,
Чтоб оставалось лишь стервенеть,
Впиваясь в его мяса!

Дай, тундра, мне силу зверья,
Выносливость пастуха,
Кротость сопок, мудрость ружья
И элоэл¹ стиха!

Хайлём тебе, тундра, хайлём, хайлём
За дикий ночной бег,
За то, что покой ты с меня колом
Сбила, как с юрты снег!

Отвага сердец, плеч близь.
Скрип нарт и собачий визг.
Да здравствует жизнь и ещё раз жизнь
За то, что в ней есть риск!

ПОЕДИНОК

Вставай, вставай, ленивец!
Очнись, бочонок сна,
Покуда не вломилась
В твой дом беды волна!

Вставай, вставай, тетеря,
Довольно ты потел!
Ведь времени потеря
Страшнее всех потерь.

Вставай, вставай, горсть праха,
Возненавидь кровать, —
Вставай из чувства страха
Когда-нибудь не встать!

¹ Элоэл — длинный гибкий прут вроде удилица для того, чтобы погонять собачью упряжку; то же самое, что и хорей у ненцев.

Хранилище скелета,
Материи шепоть,
Вставай с душой поэта,
Преодолевшей плоть!

Вставай, живот двуногий,
Судьбу свою клянй!
Вставай, сосуд убогий
Священного огня!

Твой подвиг внеурочен,
Так — чёрт тебя возьми! —
Кради его у ночи,
У службы и семьи!

Ты из породы льдинок:
Хоть предрешён исход,
Со смертью поединок
Веди из года в год!

Ты сдашься только мёртвым!
Пусть плоть сгорит дотла,
А дальше мы посмотрим,
Посмотрим — чья взяла!

КРАЖА

Вновь одиночество ко мне
Вернулось по спирали.
Я помахал рукой жене —
“Чечилию” украли.

Она, духовный мой багаж,
Так украшала дерзко
Собой заборный вернисаж
По улице Советской.

Был взор загадочно лучист
И облик весь девичий,
Хоть я всего лишь копиист
Творения да Винчи.

Толпа сновала у ларька,
Торгуясь и горланя.
На всех смотрела свысока
Синьора Галлерани.

Нежна, возвышенно-чиста,
И под высокой грудью
К ней прижимался горностаи,
Пугаясь многолюдья.

Кого взор кроткий поразил?
Да уж не Сатану ли?
Я отлучился в магазин,
И вот — её стянули.

— Прощай, Чечилия, прощай! —
Кричу вослед я с болью. —
— Ты год почти что незначай
Была моей любовью!

Наедине с тобой одной,
Такой неотразимой,
Чай гонял я в мастерской,
Околевая в зиму.

Дымился в кружке кипяток
Вином в заздравной чаше.
Я пил дыхания парок
Из уст твоих сладчайших.

Что было с нами целый год —
Мы знаем только двое.
Да, я любил тебя, как тот,
Кто знал тебя живою!

Но что портрет твой украдут
И уведут налево,
Не знал, потратив пять минут
На кофе для согрева.

И неужель тебя на свет
Я выставил для вора?
Смекнул он сразу: твой портрет
Остался без надзора.

Никто из зрителей, галдя,
Не крикнул: “Стой, ворюга!” —
Когда он раму снял с гвоздя
И юркнул с ней за угол.

Ловкач из рода прощелыг,
Дворами убежал он,
Дыша в твой чистый, нежный лик
Похмельным перегаром.

Бежал он, пряча, этот тать,
Довольную ухмылку
И торопясь тебя продать
Соседям за бутылку.

Но, в чей-то дом войдя вдали,
Быть может, и к вандалу,
Ты его душу одари
Тоской по идеалу.

И пусть возвышенный твой вид,
Под стать Святому Духу,
Как отсвет счастья, оживит
Убогую житуху.

И мне вину мою простя,
Я верю: ты готова
Ещё с чистейшего холста
Мне улыбнуться снова!

* * *

Я тот, кто для сытых — сама голытьба,
Но всё ж на свободу свою не ропщу я.
Уж, видно, мне так повелела судьба,
Что вещи умерших ношу я.

В рубаху с чужого плеча облеку
Я плоть свою в ветер и стужу,
Как будто бы я на себе волоку
Чужую и грешную душу.

Ботинки и брюки ушедших мужей
За так отдают и обновы,
Всплакнув, как положено, жёнке моей
Подруги — недавние вдовы.

Ну что ж, я прекрасно обут и одет,
В тепло упаковано тельце.
И каждая вещь добавляет мне лет,
Не дожитых первым владельцем.

С того-то душа моя, видно, добра,
Что я облачён поимённо
В ботинки Ивана, в рубашку Петра,
В костюм и жилетку Семёна.

Я, может быть, должен по мысли Творца
За гранью седьмого десятка
Их судьбы продлить за порогом конца
Всей жизнью своей без остатка.

За всех не доживших мне надо дожить
В вещах, обездоленных рано.
Глядишь, дотяну я в обновлениях чужих
До славных седин Авраама.

* * *

Тот же, в сущности, острожник,
Я бреду во мгле дорог.
Неказистый подорожник —
Мой лазоревый цветок.

Как этапник и колодник,
Рад и лунному лучу,
Среди нищих и голодных
Кандалами дни влачу.

Словно и меня, растяпу,
Гнали пешком — и не злюсь! —
Из России по этапу
Поселенцем в Беларусь.

И в суме моей дорожной
До поры лежат, тихи,
Зарифмованы безбожно,
Мои старые грехи.

Мне бы сжечь их да рассеять
Над простором и судьбой
Да податься бы в Расею
По дороге столбовой!

Вот бы выкинуть коленце,
Да уже, хоть землю рой,
Дорог край мне, поселенцу
Ставший родиной второй!

И хотя России жаль мне,
Но и здесь, как близ Оки,
Те же в градах горожане,
В вёсках — те же мужики.

И берёз на косогоре
Тот же самый перепляс.
И дивуешься лазори
Неба, поля, встречных глаз...

ВЛАДИМИР САЛАМАХА



РАЗВЕРЗНИСЬ, ЗЕМЛЯ...

ПОВЕСТЬ

I

В конце августа одинокая вдова Лидия Печень из деревни Заливье собралась в лес за Дуть, чтобы на заброшенной леспромхозовской делянке собрать на зиму дров. Податься туда, за реку, ей посоветовал сосед Кодя, живший от её хатки через два дома. Кодя всегда ей помогал. И сейчас, сообщив Лидии, что слышал от лесника Николая Костки, будто лесорубы на этой делянке после лесоповала убирать не планируют, пообещал привезти ей дрова, как только она их заготовит.

Она обрадовалась: коли так, перезимует в тепле, ведь лесорубы после себя немало хорошей древесины оставляют, никому она не нужна.

Кодя, сидя на Лидином подгнившем крыльце, ещё сказал, что лесорубы будто бы собирались жечь валежник, чтобы передать убранный делянку леснику Николаю Костке (это его участок), но лесничий запретил: лето сухое, ещё перебросит ветер искру с делянки на бор — огонь его вмиг сметёт. А бор вековой, его тоже не сегодня-завтра повалят, так что...

Если послушать Кодю, выходит, она может смело идти на ту делянку за реку и никого не бояться. Николай Костка, пока ему не передали делянку, там не хозяин. И вообще, как бы плохо Николай к ней ни относился, но это

САЛАМАХА Владимир Петрович родился в 1949 году в деревне Бересневка Кировского района Могилевской области. Окончил факультет журналистики Белорусского государственного университета. Прозаик, критик, публицист, эссеист, лауреат Государственной премии Республики Беларусь. Живет в Минске.

же не батьковщина ему, не его личное хозяйство, а вроде как бесхозное. “Вдруг подойдёт, — говорил Кодя, — так ты, тетушка, скажи ему: “Никодим сказывал, что это не твоё”

Ушёл, а она заволновалась: вдруг Костко нагрянет, скажет, что Никодим ему не указ, запретит собирать дрова, что тогда? Конечно, был бы при ней Никодим, так заступился бы, а так... Но он целый день в поле, с трактора не слазит.

Кодю она жалела: старый холостяк, давно живёт без родителей — умерли, одногодок местного начальства Реута, Витьки и Мишки Каминского. Обычный механизатор, они им брезгуют, не берут к себе в компанию: кто он для них? Они же — при должностях, образованные. А он отработает в поле, грязь с себя смоем да к телевизору — никуда не ходит, и дивчины у него нет. Вообще-то перевелись они в Заливье. Стоит которой расцвести, так её сразу кто-нибудь из соседней деревни — под венец, а та, какую парни обходят, — в город съезжает.

Хороший парень Никодим, легко ему советовать Костки не бояться, только ей от этого не легче. Она-то его всю жизнь боится, особенно с войны. Правда, раньше, когда была моложе, не так боялась, как сейчас. Случалось, встречал её на брошенной лесорубами делянке, якобы уже переданной Костке как леснику под посадку. Грозился — и не раз! — акт составить, а она смело отвечала: “Давай, пиши, да не боюсь я тебя! Я же хворост собираю, ты его всё равно сожжёшь... А если что — и на тебя управу найду... — Ты на что намекаешь?” — подступал он тогда к ней. Наверное, как Лида думала, боялся, что она не выдержит да и расскажет людям о его злодеянии, совершённом одной далёкой мартовской ночью. “А ни на что, — отвечала она, поднимая на всякий случай дубину, — только подойди, только попробуй что-нибудь со мной сделать — Кодя знает, где я, за тебя же и возмущаются... — Ладно, ладно, — отступал он, — смотри мне...”

На том и разошлись. Хотя иногда Лида думала: “Он — такой, может встретить где-нибудь в лесу подальше от людей, пырнёт чем-нибудь в грудь да и втопчет под какой выворотень и — поминай как звали!” А сейчас ему не до неё, не до леса: Николай уже который день отмечает крестины внучка. И она решила, послушав Кодю: “Завтра же пойду в лес...”

В избе, небольшой, без перегородок, было тепло и не так свежо, как на улице. Она достала из-под кровати бутылку магазинной водки, решила взять с собой: мало ли что, вдруг приедут лесорубы да к ней... Тогда откупится.

Затем она завернула в чистое полотенце свежих, недавно собранных с грядки огурчиков, немного хлеба, брусочек сала: собралась, можно и лечь, впереди ночь, а завтра — в дорогу...

II

Ночью Лида так и не смогла заснуть: почему-то было тревожно на душе. Вроде ни о чём конкретном не думалось, да и не хотелось ни о чём думать, а всё равно время от времени думала об одном: заготовлю дрова или кто помешает?

Когда стало светать, взяла узелок в одну руку, в другую — острый, отточенный Кодей топор и вышла из хаты.

Улицей идти не хотелось. Не потому, что намного дальше, а потому, что нужно будет идти мимо Николаевого дома, возле окон, выходящих на улицу.

В доме Николая уже неделю гуляли. Шумели, как хотели, единственное — не дрались. Но это Николая и его гостей дело: у человека родился внук. Пусть празднуют на здоровье... Но Николай особенно гадкий, когда пьян. Придирается. Не только к ней, к любому сельчанину, кого встретит на улице.

Нет, улицей она не пойдёт, а через свой огород, потом напрямую, через колхозный скошенный луг к мосту через речку — лес совсем близко.

Решила идти ближней дорогой.

Когда вошла в огород, услышала, что у Николая по-прежнему шумно, словно и не ложились спать. Знала: Маня, Николаева невестка, жена его сы-

на Витика, местного бригадира, наконец-то через семь лет замужества родила мальчика — как здесь не гулять, радость-то какая!.. Гуляют сам дед, Николай, Витик, отец, участковый Мишка Каминский, Реут, председатель сельсовета, и Матвей Кот, Косткин друг.

Знала также, что женщин в доме нет, — давно разошлись: в первый день пришли, как водится в таких случаях, посмотрели ребёнка, мать одарили кто чем мог, выпили по рюмке и пошли по домам — сейчас у каждой своих хлопот немало.

А мужчины — им хорошо гулять: сами себе хозяева, у них — власть!

Сам старей Костка вдовец. Его жена Авгинка умерла три года тому. Кровью плевалась. Поговаривали, что Николай отбил несчастной всё внутри. Кто знает... Говорят люди разное, может, кто и со зла. Умерла-то в больнице, Николая никто в чём не обвинял, не допрашивал. А зять, когда Авгинку хоронили, поддерживал Костку: “Держись, отец, такова жизнь...” И Витик со своей Маней успокаивали Николая: “Ничего не поделаешь, судьба...” Вот и гадай, что да как.

Маню в деревне не любили. Не потому, что Витик привёз её из райцентра, а потому, что с презрением посматривала на деревенских женщин. И проводата её и ребёнка пришли только несколько сельчанок: фельдшер, две учительницы, завфермой, завсберкассой на почте — раз-два и обчёрлся. А мужчин хватало. Мало ли их в Заливье в подчинении и у Николая, и у Витика...

А солнце поднималось всё выше. На улице уже были слышны голоса женщин, выгоняющих на пастбище коров. То у одного двора, то у другого лениво начинали лаять собаки. А вот на дворе Кота, лучшего Николаевого друга, пёс выл долго и глухо. Полкан всегда так воет, когда Кот надолго сажает его на цепь... Кем только не был Кот: и бригадиром, и финансовым агентом, и заведующим почтой, и просто специалистом куда пошлют, и сейчас Матвей при хорошей должности — то ли сторож, то ли уборщик при сельсовете.

Да, Кот такой, умеет приспособиться. Он уж если что — и из-под вил выскользнет. Здесь проворует, там пропьётся, в третьем месте совсем опозорится, но всегда Николай каким-то образом приспособит его на четвёртое, да на такое, что в тепле, при начальстве. С него всё как с гуся вода.

Оно и понятно — Матвей с Николаем друзья, водой не разольёшь. А Николай всю жизнь водится не только с местным начальством, а даже с районным. Ещё бы, у него зять в районе, можно сказать, первый человек: боятся зятя, боятся и тестя. И Кот при них. Он даже с Николаевым зятем здоровается за руку и называет того “Шурочка”. А тот не обижается, зовёт Кота дядей Матвеем. Наверное, неспроста...

На лугу Лида на мгновение остановилась: сразу за межой, в низине, хорошо взялась зелень, и роса на ней была крупная, с горошину.

Лида почему-то подумала: хорошо, что её хата в Заливье последняя, никому она не мешает, и ей никто.

Заливье — старая, довольно большая, одной улицей деревня. Начинается она от сельсовета, здание которого стоит на пригорке, поросшем старым вишняком. Когда-то, ещё до войны там были развалины дома панского управляющего. Здание сразу же после революции разрушили и разобрали по кирпичику. И уже в наше время, когда организовывали сельсовет, лучшего места для него не нашли. Наверное, это правильно: не поставишь же строение местной власти в низине, возле лозняка и ольшаника, напротив её, Лидиной, хаты. И сельсовет, расположенный на возвышенности, виден с любого двора...

Лида привыкла жить на отшибе. Она смирилась со своим одиночеством, со своим горем, со своей отдалённостью от вроде бы счастливых и беззаботных людей.

К ней без причины редко кто заходит. Если женщины — так зимой, попросить сушёных трав от простуды. Лида никому не откашивает, в травах она понимает — мать Мишки Каминского научила, та настоящая травница была. Дружили они. Лида всегда рада, когда её зелье людям помогает...

Вскоре она подошла к лесу, к мосту через Друть. Это был старей, ещё перед войной построенный мост, очень узкий. По нему лесорубы не ездят,

да и Кодин трактор с тележкой еле проходит. Плашки на мосту прогибаются, подгнили, того и гляди, может рухнуть.

Осторожно, чтобы не ступить в какую-нибудь расщелину между плашками, Лида перешла мост, зашла в лес и, почувствовав себя спокойней в его утренней прохладе, ускорила шаг.

III

В то время, когда Лида выбралась в дорогу, надеясь, что Николай Костка не заметит, как она через огороды направляется к лесу, на гулянье, не прекращающееся который день, к нему и его сыну Витику, местному колхозному бригадирю, приплёлся участковый Михаил Иванович Каминский или, по-деревенски, Мишка-милиционер.

Мишка считал, что у него есть две причины в столь ранний час навесить дядьку Николая. Первая и очень важная лично для него: надо немедленно опохмелиться. Вторая — примирить Костку и Кота, поссорившихся вчера из-за какого-то пустяка.

Знал Мишка, страшное это дело — ни за что ни про что человеку жизнь поломать, но и не прислушиваться, когда “поступал сигнал”, не имел права: такова служба.

Мишка хорошо понимал сельчан, а они его... Потому и водка у него всегда дома была, и к водке. Сначала, когда ещё не пристрастился к ней, не почувствовал на себе всю ее пагубность, держал на всякий случай — вдруг начальство нагрянет, придётся пригласить... Конечно, тогда он выставит магазинную, а потом — эту, “хлебницу” (Николай всегда говорил, что умные люди да те, кто при должностях, “народнице” отдают предпочтение).

Раньше Мишка в одиночестве никогда не пил. И гордился этим: не алкоголик, а так, любитель... Кот говорил: “Пьёшь один — пропадёшь не за понюх табаку: алкаш!..”

Мишка знал, что закадычные друзья Костка и Кот частенько ссорятся, хотя вроде и в шутку, но, случается, и зло. Потом, будто спохватившись, быстро мирятся.

А тогда вдруг, никому неизвестно почему, схватились в сених, где оказались вдвоём. Мишка, Реут и Витик сидели в хате за столом, когда услышали там шум. Пока опомнились, встали из-за стола, дверь из сеней в прихожую отворилась, ввалились Костка и Кот, орут друг на друга, хватают за грудки.

— Вы что не поделили?.. — вышел из-за стола Мишка и сразу же осёкся: Николай словно пригвоздил его к скамейке:

— Сидеть, шпана!..

Мишка опешил, сник... Слышал, как Кот, стараясь схватить Николая за воротник рубашки, орал:

— Это я прилип к тебе, как банный лист?.. Да ещё надо посмотреть, кто ты такой, а кто я! Ты меня — в грязь, а я тебя за это благодарить должен? Нет, друг, Кот чист. Кот — не ты... Кот — человек, и честь у него есть...

Неизвестно, чем бы всё кончилось, если бы не встрял Реут. Поднявшись из-за стола, он решительно стал между Косткой и Котом:

— Хватит вам! Уважаемые люди, друзья. Нашли когда и где отношения выяснять... За стенкой же роженица и ребёночек...

А тем временем из-за перегородки подала голос Витикова жена:

— Отец, дядя Матвей, успокойтесь! Испугаете мне маленького, хари расквашу!

— Ноги моей у тебя больше не будет! — прошипел Кот в лицо Костке и вышел из хаты.

— А ты куда свой нос сунёшь? — вдруг набросился Костка на Реута.

Реут сел. Обиделся. Витик клевал носом в стол. Мишка сразу же хотел уйти: Николай сейчас, словно разъярённый бык, — что здесь делать? — да Костка приказал:

— Сиди, Иванов сын!.. Ты здесь, может быть, единственный, кого я уважаю: офицер милиции — власть! А это — труха. — Он повернулся к двери: — Пусть идёт!..

Мишка уйти не осмелился. Даже, как ему показалось, немного отрезвел: крут Николай, крут. Ему, хочешь не хочешь, а надо подчиняться. Крепко он здесь укоренился, и пока зять в районе хозяйничает, Костку — не тронь!.. Да и друзей сейчас у него среди всякого мелкого начальства — не счесть. Все это знают. Везде у него поддержка. Иначе давно такого лесника погнали бы: лес государственный загоняет направо и налево. Но все, видя это, вынуждены молчать: своя рубашка ближе к телу. И он, Мишка, молчит. Почему? Да потому что и он, хотя и принят Николаем в свою компанию, на самом деле никто здесь. Поддержки у Мишки в районе нет. И если разобраться, у него и с биографией не всё в порядке: развёлся, значит, бросил семью, разрушил ячейку общества, из армии ушёл, где служил на сверхсрочной, оказался не у дел... Мишка, между прочим, всегда будет помнить, что именно Косткин зять посоветовал начальнику милиции взять его на службу, а зятя попросил Николай. После увольнения из армии Мишка вернулся в деревню, в заколоченный родительский дом — отец с матерью давно умерли. Всё, что имел, оставил бывшей жене. Не пара они были: она — дочь командира полка, а он — крестьянский сын.

Мишка, вернувшись в деревню, о своей беде рассказал Витику, школьному товарищу, и дядьке Николаю. Не знал, куда податься, не имея гражданской специальности...

Николай решил — куда: в участковые...

После того как поссорились Кот и Костка, когда Матвей ушёл, Мишка, может быть, уже в тысячный раз уяснил, кто в Заливье хозяин. И покинул он гулянку ближе к полуночи, когда Николай сказал: “Иди, поспи, а утром приходи...”

IV

Утром Мишка был у Костки.

Сели за стол. Мишка спиной к окну, Костка напротив него.

Николай не спеша налил по рюмке. Выпили.

— Я, Иванов сын, знаю, что вчера погорячился, — сказал Николай. — Кота обидел невзначай. Кажется, и Реута тоже. Но ты должен понять: неделю в заботах, в голове туман, устал, как ломовая лошадь, дома всё на мне... А Кот, старый дурак, в хомут, ничего ему сказать нельзя... Моду заимел! Я ему слово, а он мне пять в ответ, будто не знает, что мне не возражай!.. А вот перед Реутом как-то неудобно. Всё же бывший директор школы, председатель сельсовета. Его я уважаю. И Шурка, зять мой, уважает. Говорит, пусть покрутится год-два в сельсовете — в район возьму, там свои, местные кадры нужны, они надёжны, не то, что приезжие... В конце концов, дело не в этом. Не хочу, чтобы по деревне судачили, как мы, местная власть, меж собой не ладим. Не надо людям видеть, что между нами могут быть недоразумения. Так скажи мне, Иванов сын, как здесь быть? Сам я к ним не пойду мировую пить. Видимо, потребуется твоё вмешательство в наш разлад. Помоги.

— Помочь? Почему же, я... Но как? — вяло сказал Мишка.

— Просто. Вот позавтракаем — пойдёшь к Коту и Реуту. Вроде невзначай скажешь, мол, Костка переживает, сгоряча глупость случилась. Дескать, идите, повинитесь. И пусть это исходит не от меня, а от тебя. Да скажи, мол, дядю Колю тоже понять нужно: устал, устал... Скажешь, нечего друг на друга дуться, мировую пить надобно... Тебя они послушают, а передо мной могут и повыкобениваться, мол, сам сначала повинись... Это я должен повиниться? Нет, брат, уволь! Тем более перед Котом. Реут — иное, отходчивый. А Кот, хотя и друг мне, а обиду долго таит. Он будет вокруг собакой верной крутиться, а почувствует слабость твою, может и цапнуть!.. Но говорю тебе, дело не в этом. Не надо, чтобы люди видели, как рвётся наша цепь, цепь из нас четверых, если не считать моего Витика. Его вообще ни к чему нашему приплетать надобности нет. И вообще, поработает, окрепнет, в сельхозакадемию приладим, окончит — найдётся ему подходящая должность в ином месте... В общем, ты понял: все должны знать, что мы вместе, и должны бояться нас, как и раньше: сила и власть!

— Так-то оно так, дядя Коль, — сказал Мишка. — Только зачем, чтобы люди нас боялись? И так вы с ними строго... Вы будете давить, Витик, Реут, я... Среди людей живём. Кляузы посыплются, сигналы. Сейчас, сами знаете, в верхах на сигналы с мест обращают внимание.

— А что тебе сигналы? Пусть сигнализируют. У меня Шурка есть. Вот тебе и сигналы... Да если хочешь знать, на меня уже столько написано и в район, и в область, и выше, что... Дескать, такой-сякой, лес — налево-направо... А ты докажи, где это я и когда “налево-направо”? Меня государство на этот пост поставило, ему и служу... Да, знаю, строг. А как иначе?.. И тебе надобно быть строгим. Люди нынче распоясались.

Неизвестно, как долго бы ещё философствовал Николай, если бы что-то за окном его не отвлекло. Он вдруг резко вобрал голову в плечи, словно кот перед прыжком на добычу, и, глядя мимо Мишки в сад, просипел:

— О! Зачем далеко ходить?.. Вот одна птичка уже сама в работу просится. Тут мы её и прихлопнем! Дурочка, думает, Николай спит без задних ног... Конечно же, ждала момента, когда я расслаблюсь. Иди, иди. Я тебя на месте застану, да всё — по факту!..

Мишка плохо соображал: глупости какие-то несёт... Случается такое с ним: вдруг ни с того ни с сего сам с собой начинает разговаривать...

— Слышь, Иваныч, — Костка вдруг тяжело поднялся с места, — ты к Реуту и Коту поспешай, пусть часа через два приходят. К завтраку. А я отлучусь на время. Смотри мне, чтобы обязательно пришли!

— Придут, куда они денутся, — заверил его Мишка.

Поднялся из-за стола и, пошатываясь, вышел из дома...

V

...А часа через два, когда солнце поднялось довольно высоко и уже заметно пожелтело, из леса к сельсовету прибежала Лида. На ней были порваны юбка и кофта.

Возле крыльца Лида упала на землю, раскинула окровавленные руки. Начала пальцами обессиленно царапать землю, простонала:

— Вяжите меня, люди...

Упала она как раз перед участковым Михаилом Каминским, тяжело выходящим из сельсовета. Мишка собирался возвращаться к Костке, надо было сообщить тому, что Реут и Кот “восстали”, требуют, чтобы сам Николай пришёл к ним и повинился. Мишке предстояла незавидная миссия, он был расстроен: что ему на это скажет Николай?..

Мишка, выйдя от Костки, когда тот засобирался в лес “прихлопнуть” какого-то нарушителя, сразу же направился к зданию сельсовета. Он знал, что Реут и Кот должны быть там: надо же и им опохмелиться да обсудить вчерашнее. А где, как не у Кота в боковушке?..

Он не ошибся.

Кот и Реут, видимо, Мишку заметили издалека, ибо, как только он завернул в сельсоветский двор, на крыльцо вышел Матвей. Пригнулся, чтобы его не заметили из деревни, нетерпеливо замахал рукой:

— Скорей, скорей, Иваныч.

А когда Мишка приблизился, Кот спросил:

— А где же Николай?

— Да дома, — сморщился Мишка.

— Дома?

— Да...

Кот многозначительно кашлянул в кулак, первым зашёл в здание, не спеша протопал в боковушку. Мишка — за ним. Здесь, на табуретке за столом, стоявшим у окна, занавешенного тяжёлой грязной шторой, сидел Реут. Невысокий, круглый, налитой, он держал в руке погасшую сигарету и затуманенным взглядом смотрел на Мишку:

— Однако присядь...

Мишка присел на табурет рядом.

Он хотел пошутить, дескать, кто рано встаёт, тому Бог даёт. Но Кот, то-

же невысокий, как и Реут, только худой, лысый, с маленькими острыми глазками, вдруг возмущился:

— Выходит, Иваныч, ты Николаев переговорщик? Он нападокостил нам, а тебя...

— Почему это переговорщик? — перебил его Мишка. И, через силу усмехаясь, — вновь внутри начало жечь, — снял фуражку, вытер рукой потный лоб, сел на табурет.

— Давай, давай сюда, — Кот взял у него фуражку, повесил на гвоздь на стене. — Почему, спрашиваешь? Да чтобы Кот не знал Николая?.. Да я с ним...

И будто подавился, закашлялся, ещё чаще заморгал глазами, казалось, вот-вот заплачет от обиды.

— Да хватит вам, дядь Матвей, — сказал Мишка. — Мы все враз словно ополоумели... Случается, поссорились. Разве пристало нам один на одного обижаться? Кому из нас от этого хорошо?.. Люди, может быть, только и ждут, чтобы мы перегрызлись. Вот увидят, что между нами нет согласия, как говорит дядь Коля, на головы нам сядут. А мы же — власть!..

Мишка нарочно сделал акцент на последнем слове. Думал, Кот подберет, он — тоже “власть”. Хотя какая Кот “власть”! Так, прилипала к представителям власти, к Реуту и Мишке. И если разобраться, Костка тоже не имеет к власти никакого отношения. Сам себя властью над людьми наделил. Власть порочит, а люди — терпят. Им жить надо... Знал, Кот любил выхваляться: “Мы в сельсовете... Мы с участковым...”

— Брось, Миш, власть!.. — сказал Кот. — Власть — это ты с Реутом. А мы с Николаем... Думаешь, Кот такой уже и глупый, ничего не петрит? Нет, брат, Кот тёмно-то тёмно, а разумение имеет, что к чему в жизни... Так вот, как были мы с Николаем лапотниками до войны, такие и есть, такими и подохнем... Только он, вишь, всё же к власти смог приладиться, должность государственную получил, пока я после войны бригадирил да бабами командовал... Я же как был, так и остался пошайлой... Да не из-за власти я с вами, коли так! Мне дорого, что вы меня от себя не отгалькиваете, молодые да учёные. И добрые вы, не то что он, гад. Он на Кота — тьфу!.. Кот для него уже и не человек... А сам Николай кто такой?.. Да я, может быть, о нём такое могу людям поведать, что...

И осёкся. Понял, что сказал лишнее: кто за язык дёрнул? От неожиданности сжался, испуганно посмотрел на Реута и Мишку.

— Да хватит сердиться, дядь Матвей, — сказал Мишка. — Что вам делить? Такую войну пережили, столько лет вместе. Надо помириться...

— А сам-то, а сам почему не явился? — не сдавался Кот.

— Да не с руки ему. Манька с малым, Витик на наряд ушёл, хозяйство на нём... Я что, уже вам не товарищ? Что, не могу помирить?

— Можешь-то можешь...

— Просил на завтрак прийти, — сказал Мишка. — Часа через два. Пусть по хозяйству управится.

Реут слушал их молча, словно его это не касалось.

— Но всё же ты мне ответь, почему не сам? — не сдавался Кот. — Что, гонор не позволяет? Лесник, ветеран и зять — не последняя фигура в районе... Нет, Михаил, и Кот человек, а не тряпка. И Кот честь-гонор имеет. И Кот воевал не хуже, чем он. Но у Кота нет такой должности, нет такого зятя... Вот моё последнее тебе слово: я перед ним шапку мять не буду. Пусть сам придёт да повинится. Так и передай ему. А то...

— Что “а то”? — не понял Мишка.

— Да это так. К слову, — вновь словно опомнился, что не то сказал, Кот. — Это меж мной и им... Не знаю, как Василь Карпович, — посмотрел он на Реута, требуя поддержки, — а я не пойду.

Мишка понял, что парламентёр из него плохой. Да и вообще, пошёл, как дурак. Что, сам Николай не мог?

— Если уж так, то я пойду, — сказал он.

Мишка поднялся, надел фуражку, вышел на крыльцо, ещё не решив, пойдёт к Николаю или домой, спать, как вдруг вздрогнул, подался назад, услышав:

— Вяжите меня, люди...

Женщина лежала перед ним на земле, как распятая... И уже стон:

— Вяжите, вяжите меня...

“Я что, с ума сошёл?... Или она с ума сошла?..”

Мишка не понимал, что происходит. Застучало в висках. Показалось, земля вздыбилась перед глазами, а на ней — словно распятая женщина...

— Вяжи меня, Миша...

Нет, с ума он не сошёл... Всё в реальности. В самом деле, перед ним на земле лежала распластанная женщина. Лида Печень. Вдова. В порванной одежде, руки в крови.

Мишка соскочил с крыльца. Наклонился над ней. Лида перестала стонать. Тело её судорожно вздрагивало.

— Ты что плетёшь? — заорал он. — Кого вязать?.. За что?..

— Меня, меня, — задыхаясь, проговорила она. — Человека я убила.

Мишка, показалось, протрезвел. Простонал:

— Кого?.. Что ты мелешь?..

Лида медленно подняла голову, бесцветными, сухими глазами посмотрела на него:

— Николая... Костку... Обидчика моего.

Она села, сгорбилась, словно под тяжестью, медленно повела головой по сторонам, будто удивляясь сказанному. По её поникшим плечам рассыпались длинные седые волосы, их слегка трепал ветер.

И первое, о чём сейчас совсем некстати подумал участковый Михаил Каминский, что она — без платка. Всегда, и в холод, и в жару, как он помнил, Лида носила тяжёлый платок, покрывая им голову, как все пожилые деревенские женщины.

— Приставал...

Она привстала на колени, затем резко выпрямилась, подняла вверх серое морщинистое лицо с острым подбородком. Правой рукой попробовала перекреститься, сложила вместе три пальца, но рука замерла у лба, словно кто-то удержал её на переносице.

Пальцы разжались, рука скользнула на затылок, собрала там волосы.

— Приставал... Повалил... Не помню, как бутылка в руке оказалась... Ударил, а из него и дух вышел... Вяжи, Михаил...

Да-а... Уби-и-ила!.. Вот оно что... И не лишь бы кого, а Костку... “Так вот кого утром Николай увидел в окне, когда говорил, чтобы Мишка к Коту и к Рету пошёл. Так вот кого собирался “прихлопнуть”, — догадался Мишка.

“Всё, Михаил, ты — в капкане”, — холодно подумал он о себе. Шутка ли: убийство на участке. Ну, что ж, надо звонить в райотдел, доложить дежурному, пусть приезжают, разбираются, забирают убийцу...

Стоп! Он словно опомнился... Это же сейчас начнётся: куда смотрел участковый... Сразу же придет начальство, следователь, прокурор. А ты, участковый, как есть перед ними — тёпленький: берите меня, товарищи начальники... Мало того, что не предотвратил убийство, так ещё и пьяный... Не пожалеют. Погонят из органов. Что тогда делать? Как дальше жить... А как хочешь... Не знаешь? Подскажем: бери вилы да на ферму навоз бросать. У тебя же нет никакой специальности и репутация подмочена... Всё!..

Вот так, тетушка. Нашла когда и кого убивать! Да он, говорят, ещё до войны твоим полубовником был... Приставал... Мало кто к кому пристаёт! Дура, от дура, радовалась бы, что в твои-то годы кто-то интерес к тебе имеет. Так он бы сам тебе этого проклятого ломья насобирал, и горя не знала бы. А так сгниёшь в тюрьме, сколько тебе вообще ещё отпущено жить?

Пошатываясь, Мишка отступил от Лиды. Тяжело опустился на крыльцо.

— Эх, тётка, тётка, — покачал он головой. — Что же ты со мной сделала?..

Лида не ответила. Наверное, ещё по-настоящему не пришла в себя.

Мишка ещё что-то говорил. Но тихо, сам себе. И все его мысли сводились к одному: конец мне...

Сейчас у него не было жалости ни к Лиде, ни к Костке, которому многим был обязан, ни к Витику: он жалел себя. И ему было страшно обидно,

что вот так, из-за какой-то глупости, ставшей причиной убийства, рушится его жизнь. И никто уже не может ему помочь: убили-то его благодетеля, Николая Костку.

— Как же так, тётка? — проговорил растерянно Мишка и посмотрел на Лиду.

Был Костка — и нет его...

Как это случилось, почему? Ведь ничего подобного здесь не было ни при его предшественнике, ни при нём, Каминском.

Да, случалось, дрались ребята из-за девчат на гулянье. Или ещё из-за чего. И он, Мишка, когда пацаном, подростком, парнем был, случалось, дрался. Но дрались только до первой крови, и лежачего не били. А здесь...

А что здесь?.. Ему уже становится понятно, что убийство не преднамеренное. Одежда на Лиде порвана, руки в крови, наверное, и синяки на теле есть: ясно, спьяну пытался изнасиловать, жил без жены много лет, силушка ещё не ушла, женщины захотелось... Пьяный дурак! Выходит, оказала сопротивление. Если хорошенько подойти к этому делу, да по-человечески рассудить, Лиду даже могут оправдать. Тогда на Николае — пятно.

Да что пятно? Неслыханный позор: пожилой мужчина, уважаемый человек хотел изнасиловать пожилую женщину...

А может быть... Мишка, ещё не додумав до конца, вдруг повеселел... Может, схитрить, переодеть её, сказать, чтобы умылась, а уже тогда звонить в район?.. Хотя кого этим обелишь? Костку?.. Да и зачем? Тому уже всё равно землю парить, а Лиде — сидеть. О себе подумал: приедут, так и этак сорвут погоны — пьян! — заберут оружие, и — вон поди!

Куда тогда Михаилу деться?..

VI

Мишка не знал, сколько времени прошло с того момента, как он вышел на крыльцо и увидел преступницу: час, два, три... Казалось, вечность. Он по-прежнему не знал, что ему сейчас делать: сразу же позвонить в район, доложить начальству, как и положено по службе, задержать её, изолировать или попробовать каким-то образом оттянуть время, хорошенько обдумать, как самому подобру-поздорову выйти из этой ситуации.

Сообщить — неизвестно, что тебя ждёт, можно только догадываться... Подождать — просто оттянуть время свершения того, чего он больше всего боялся... Сколько и как он ни размышлял, но не находил выхода из создавшегося положения.

Неизвестно, сколько бы ещё он был один на один с этой женщиной, если бы на крыльцо не вышли Реут и Кот. Они через окно наблюдали за тем, что происходило возле здания. Сначала ничего не понимали. Но потом, когда Реут увидел, как Мишка порывается броситься на женщину, уразумел: страшась какая-то беда, и сказал Коту:

— Дядя Матвей, похоже, что-то нехорошее приключилось...

Кот тоже понял это:

— Идем, нечего прятаться.

Кот вышел вслед за Реутом на крыльцо и, выглядывая из-за его спины, попробовал пошутить:

— Что за шум, а драки нет?

Мишка повернулся на голос, обиженно сказал:

— Какой шум? Какая драка?.. Лучше бы и шум и драка: Николая убила.

— Нихт ферштейн, — все ещё шутил Кот. — Как убила? Шутить?

— Да не ферштейнай, дядь Матвей, не до шуток, — разозлился Мишка. — Как убила... Так и убила... Бутылкой по голове. Всё, конец Костке. Говорит, и не мякнул. Говорит, приставал. Вот тебе и на!..

Кот на мгновение смолк. Замер. Потом его худое тело, словно обёрнутое в большой для него кортовый пиджак, дёрнулось, как в конвульсии, он широко раскрыл беззубый рот, будто ему не хватало воздуха, заревел:

— А-а-а... Убью, змею!

— Тише! — Реут зажал ему ладонью рот. — Люди сбегутся...

Кот замолк. Посмотрел на улицу — никого.

— Ах, ах, — просипел он. — Надо было нам её в сорок третьем шлепнуть... Да её...

Сказал, но к Лиде почему-то не рвался.

— Не смей её трогать, дядь Матвей, — сказал Мишка. — Держи себя в руках. Экспертиза будет, смотри, чтобы и знака твоего на её теле не было. А то ещё и тебя по судам затаскают. Ясно?

Кот согласно кивнул головой: дескать, понимаю, не дурак.

— Коли так, разбирайтесь сами. Я же человек маленький... — он махнул рукой.

Подумал: убила... Неужто? Кого? Николая!.. Того, кто всю жизнь клинился ей в полюбовники... Вишь, приставал. А что, мог! Вон в сорок третьем, выгнав меня из хаты, пристал — так пристал... Нет, Кот ещё с ума не сошёл, чтобы свои руки в чужой крови марать. Да я её и пальцем не трону... Но надо же показать, что убит горем.

— Колька, — застонал он, — Колька, друг мой дорогой... Брат.

— Успокойся, успокойся, дядь Матвей, — сказал Мишка. — Тихо, тихо... Мы с Реутом поедим на место преступления. Надо посмотреть, что там и как. Потом позвоним в район. А к тебе просьба: пока никому ни слова. Посади её в склеп и жди нас.

Мишка выкатил из-под навеса мотоцикл, завёл. Реут сел в коляску.

VII

Лида, очутившись в склепе, куда её запер Кот, поняла, что отрезана от всего света холодной тьмой, покорно, нащупывая ногами ступеньки, спустилась вниз.

Тьма здесь была густая, тяжёлая. Лида на ощупь нашла какой-то перевернутый ящик, опустила на него.

Глаза долго не могли привыкнуть к темноте. Повернувшись к двери, увидела, что оттуда через щёлочку цедится ниточка слабого света.

Странно, но подумалось, что так было и в её жизни: немного света вначале, а потом... Особенно сейчас, когда всё против неё... Да, если подумать, всё, что сегодня случилось, ничего хорошего ей не сулит. Хотя произошло это против её воли...

А было так...

...Когда Лида перешла мост и вошла в лес, подумала, что на меже между своим и Косткиным огородом её мог увидеть лесник. Подумала без страха: ну, и что? Да не боится она его, девчонка, что ли...

Старый лес возле моста глухо шумел. На утреннем солнце светились стволы сосен. На дорогу падали их влажные тени, хотя казалось, что на губах чувствуется горькая пыль.

Не оглядываясь, Лида немного постояла на дороге, словно ей нужно было отдышаться после долгой и утомительной ходьбы, затем решительно двинулась дальше.

Где находилась делянка, она знала: может быть, через какой километр, не более. Но чем ближе Лида подходила к ней, тем более непонятное волнение охватывало её. Несколькo раз она даже собиралась повернуть назад, но, вспомнив, что Кодя обещал приехать вечером и забрать дрова, шла дальше.

Как и говорил Кодя, на делянке среди хламья попадались неплохие берёзовые обрезки. А это уже дрова настоящие. Много их было ближе к ручью.

Выбрав незахламлённый пятачок у дороги, она начала потихоньку стягивать туда обрубки. Вскоре устала, кофта прилипла к плечам. Решила отдохнуть, притянула небольшой берёзовый круглячок и села на него. Развязала узелок, собралась перекусить — уж и под ложечкой сосёт, с утра во рту росинки маковой не было. Взяла краюшку хлеба, откусила, начала не спеша жевать. В кустах всполошилась сорока. Затем над Лидиной головой скользнул коршун, упал посреди делянки в траву. Затрещали кусты, показа-

лось — ломится секач. Испугалась: диких кабанов в лесу хватает, отпрянула — куда спрятаться?.. Нет — Костка. Вышел прямо на неё.

— Что, испугалась? — заржал он, останавливаясь рядом.

Конечно, испугалась, но не ответила.

— Если по-хорошему, так нечего тебе бояться. Ишь, трепещешь, как осина...

— А чего, Николай, мне бояться? Я же не в твоём лесу собираю обруб-ки, так что с того? Кода сказал, здесь можно.

— А кто такой твой Кода? — разозлился он. — Сопляк! Он сказал... Да мало ли что он скажет... Батьковщину нашла! Кто тебе велел здесь самовольничать? Я?..

Костка подошёл ближе. От него несло спиртным. Увидела: глаза мутные, а в левом — кровавая капля, наверное, лопнула жилка.

— Так что же мне делать? — растерянно спросила Лида и добавила, рассуждая: — Я же живое не валила. Обрубки собирала, валежник. Всё равно, если их люди не подберут — сожгут. А что не сгорит, гнить будет...

Лесник, казалось, прислушался, стал добрее, что ли.

— Н-да-а, — вымолвил он. — Спрашиваешь, что делать?

— Не знаю, — пожалала она плечами. И, подумав, что он вдруг захотел ей помочь, понял её состояние, сказала: — Присядь, Николай. У меня и капля есть, и к капле. Может быть, поладим.

— Присесть-то можно, — согласился он. — За этим дело не станет.

Костка сел рядом на круглячок, снял форменную фуражку, положил рядом. Ждал.

Лида показала на узелок, всё есть: и бутылка, и закуска, и даже алюминиевая кружка.

— Подкрепишь, — пригласила она. — Вот, взяла, думала, придёшь. Мне самой к тебе не с руки было идти, гости у тебя.

— Магазинная, — отметил Николай. Он взял бутылку, отвернул пробку.

Он налил себе, выдохнул, усы его поползли под нос, верхняя губа чуть ли не завернулась, обнажив жёлтые зубы, поднёс кружку ко рту, вбросил в себя содержимое.

— А ты?

— Нет... Я вообще её не пью.

— Как хочешь... От меня никто нигде никогда ещё не спрятался. Под землёй найду.

— Что правда, то правда, — будто согласилась она.

Он почувствовал её интонацию, понял так: перечит.

— Что, не нравится? — он начинал злиться. — Брехня?

— Правда, правда, — уже и она разозлилась. — И в войну, и сейчас — со дна моря вырвешь.

Это действительно было так. Не было тогда, да и сейчас нет людям от него послабления. Случалось, в войну придёт в деревню с Котом. Кот от Николая — в сторону, будто ни при чём, пока тот всё в хате да в сарае не перевернёт. Николай что найдёт, то и возьмёт. И еду, и одежду. А если хозяйка или какой старик хозяин воспротивится, ткнёт в лицо пистолет:

— Кобызишься? Не хочешь помогать народным мстителям? Пришью как изменника...

Попробуй противиться!

— Далась тебе война! — Николай готов был вот-вот взорваться. — Было — сплью. Думаешь, мне легко было в холоде и голоде воевать?.. Это твоему на фронте хорошо было: и кашу с мясом вовремя поднесут, и кожных с валенками дадут...

— Может быть, моему Володьке на фронте всё это и подносили, не знаю. Но почему вы с Котом, если вам об этом известно, не захотели есть фронтovou кашу и носить тёплое, а в первые же дни, как немцы пришли, дома объявились? Почему в партизаны не пошли с самого начала, когда они о себе знать дали, а выжидали, кто осилит: наши или немцы?..

— Это я дома сидел? Это я выжидал? — вскочил он, как ошпарен-

ный. — Да, да... Если хочешь знать, мы с Котом окруженцы! Знаешь, сколько таких было?

— Много, Николайка, много, — словно согласилась она с ним. — Только окружены с первых дней начали партизанить. И сколько ни приходили в деревню, по углам не шарили да оружие в лицо не наставляли. Попросят: “Мамаша, может, поесть дадите или что из одежды...” Вот кто партизаны! Люди таким последнее отдавали. А вы с Котом...

— Ты меня не заводи! — вскочил он. — Да если хочешь знать, мы связными были! Втайне от всех. А когда надо было, ушли в лес. От!.. Не за здорово живёшь я нынче в почёте!

— Знаю, в каком ты почёте... А я говорю то, что знаю: какие же вы партизаны... Самозванцы!.. И не кипятись, — совсем осмелела она. — Всю жизнь под тобой ходила, боялась, боялась, да перебоялась.

— Много говоришь! Всё пустое, баба глупая, — будто бы успокоился он. Сел. Вновь налил. — Выпью?

— Да пей, пей.

Выпил мгновенно. Как в трубу влил, кадык даже не дернулся.

— А ты?

— Говорю же, не пью. В груди болит.

Костка неожиданно наклонился к её лицу. Глаза его сузились, ткнул пальцем:

— Эти груди болят?... А когда-то твердые были. Помнишь? Скажи на милость: болят...

И засмеялся, нехорошо, угрожающе.

— Отстань! — отпрянула она от него и больно укололась спиной о какой-то сучок. — С ума сошёл?

— Почему? — ощерился он. — Дело давнее. Хорошо помню, какая у тебя грудь была. Аль забыла?

Вновь ткнул пальцем в грудь.

Нет!.. Она не забыла. Это — как выжженное в сердце, незаживающее клеймо... И он, зверь, на старости лет ей ещё и напоминает о том, о чём она никогда не забывает — ни днём, ни ночью; вот уже почти сорок лет — униженная, оскорблённая, растоптанная, — в страхе и стыде прячет от людей. Хотя, наверное, они всё же догадываются о гнетущем её позоре... Иначе иной раз в злобе не упрекали бы языкастые бабы: “Николаева подстилка...” Напоминает о том, как душу её изувечил...

— Зверь ты был, зверем и остался, — её губы вздрогнули.

— Я зверь?! — удивился он. — Осмелела... А ты хорошо вспомни, может быть, ничего и не было, а?... Дура кручёная! Пошла бы за меня — как сыр в масле каталась бы. А то, вишь, Володьку выбрала. Думала, век с ним жить будешь, как за каменной стеной, а оно — вон как обернулось, одна кукуешь.

— Моё горе всегда со мной, с ним и доживу. Только, скажу я тебе, такому хорошему, не очень нажилась с тобой твоя Авгинка. Бил так, как и животное не бьют. Неделями, горемычная, на люди не показывалась, царство ей небесное.

— Моя жена: хотел — бил, хотел — нет. Не убил же, сама отошла.

Она чувствовала, что Николай еле сдерживает себя. Он не может простить ей, что когда-то, девушкой, отказала она ему, пошла за своего Володьку. Наглый был Николай и злой. Она его не то что не любила, а ненавидела... А это уже ей знать, как жила с Володькой несколько лет, отпущенных судьбой. Хорошо жила. Сыночка ему родила. А горе — это её горе... Может быть, судьба у неё такая, и не надо искать виноватых. Сжилась, смирилась со своей вдовьей долей: не вернулся Володька с войны — кто виноват... Сколько таких, как она, вдов даже в том Заливье? Все мужчины, кроме Костки и Кота, остались на фронте, а не прибежали домой шкуру спасать. Большинство не вернулось с войны, где-то лежат, кто в своей земле, а кто и в чужих краях. А если вернулся, то жил или живёт тихо и мирно, не бахвалится своим геройством: словно ничего и не было. Это Костку и Кота послушать, так они вдвоём войну выиграли...

Лида чувствовала, что сейчас Костка не просто придирается: он нашёл-таки возможность отомстить ей за всё. Если бы мог, так стёр бы в порошок. Но так, чтобы она, оскорблённая, уничтоженная, не умерла, а весь остаток своих дней чувствовала его силу, верх над ней. А он, видя это, стал бы утешаться: наконец-то покорил!

Она понимала, что злоба его уже выливается через край, и вот наступил для него долгожданный момент.

А ей что, покориться?.. Нет, и так настрадалась. Не дожждётся! Тут уж нашла коса на камень: Лида не даст себя в обиду.

Николай, не дожидаясь её приглашения, словно хозяин, вновь сам налил себе и выпил. Не закусив, сказал:

— Вот, наконец, и сошлись наши дорожки. Живём по-соседски, а вроде враждуем. Это ты виновата, не хочешь покориться. Несёшь себя высоко, как пани какая. Видали мы таких гордячек. Мне тебя скрутить — раз плюнуть. Зря не хочешь понимать, что ты не просто баба, а дура. Вдова. И ещё не известно, кем был твой муж... Может, он предатель. Искали же, и мне говорили. А ты...

Она молчала. Что ей говорить?.. Какая есть... Только не ему её судить. И Володьку не ему судить... А какой была? Да как все девушки. Когда-то не одному парню голову вскружила. Наверное, и Николаю. Его и в молодости люди не очень жаловали: нечист на руку, брехун, работать не хотел. Но нос по ветру всегда держал. Грамоту имел не большую, как и она, — три зимы начальной школы. Активист, церковь ломал, заведовал избой-читальней. А по ночам с Котом, спяну, что ли, орали на улице: “Смело мы в бой пойдём...”

Однажды, когда его за бесчинство попробовал приструнить набожный старик Фаддей, дескать, мало того, что на тебе креста нет, так ты ещё и святые революционные песни пьяный поганишь, Костка назвал того контриком, религиозным агитатором, пообещал сообщить о “контрреволюционной гниде” куда следует.

И, наверное, сообщил. Вскоре тёмной ночью Фадея выловили в колхозной конопле. Там он прятался, помня Николаеву угрозу. И повезли старика в район. И сейчас никто не знает, что с человеком стало.

Люди притихли. Стали сторониться Костки. Он же не раз намекал мужикам, что может любого как следует приструнить.

Доносил Николай на односельчан или нет, никто не знает, а вот что ещё нескольких мужчин тогда забрали, да самых работающих, и те тоже, как Фаддей, где-то сгинули, — было. Было и то, что однажды Николай пригрозил её Володьке: если не уступишь Лиду, сошлю туда, куда Макар телят не гонял.

Может быть, так и случилось бы, но Володьку, сына бедняка, тоже комсомольца, колхоз направил на курсы трактористов в город. Николай тогда пытался подлабуниться к Лиде, но получил от ворот поворот. Володька же, вернувшись в деревню трактористом, надолго не задержался. Его призвали в армию, там направили на какие-то командирские курсы. Вскоре он приехал из Бобруйска на побывку, и они с Лидой стали мужем и женой...

Потом Володька поехал обратно, а она осталась в деревне. Сыночка родила. В войну жила, как и всегда, тихо. Никого не трогала. Пряталась от немцев и полицаев, боялась: муж — красный командир. Знала: могут не пожалеть ни её, ни ребенка.

Жила одна. Отца она не помнила: он умер, когда совсем маленькой была, а мать умерла перед войной...

В начале войны Костка и Кот Лиду не трогали, обходили её хату. А когда ушли в лес и начали ночами захаживать к односельчанам, чтобы раздобыть еду или одежду, Лида поняла: и к ней придут. И она даст им то, что у неё есть: им же воевать надо.

У неё уцелела корова — не забрали ни немцы, ни полицаи. Была свинья, куры, гуси, словом, хозяйство имелось...

Корова её кормила. Конечно, не столько её, сколько ребёнка. Особенно лютой зимой сорок третьего года. До весны дожили. Но однажды в марте ночью притащились к ней Костка и Кот. Не попросились, как настоящие пар-

тизаны, чтобы пустила в хату, а начали колотить в дверь (тогда её селище здесь, на отшибе, одно было, это уже после войны люди рядом построились). Наверное, Костка с Котом знали, что нет в деревне ни полицаяв, ни немцев.

Конечно, испугалась: немцы? Набросила на себя фуфайку, натянула юбку да, не зажигая лампы, пошла открывать.

Вломились в сени, чуть не сбили с ног. Лида не успела опомниться, как Николай сразу же схватил её за горло, сжал:

— Ключи давай от сарая, сука! И молчи!

А от самого самогоном несёт.

— Николай, ты что, ополоумел? — прохрипела она, вырываясь из его рук. — Ребёнка перепугаешь. Спит.

Отпустил. Но сразу же ткнул в лицо пистолетом:

— Я что, шучу с тобой? Ну! А то стрельну — и рука не дрогнет.

— Давай, давай, давай, — торопил Лиду Кот. — Не шутим. А то — шпок, и побежал красный петушок по хате.

Поняла, что не с добром пришли. Им не покорись — всё, что захотят, сделают: и убьют, и сожгут... И дитя не пожалеют. Но всё же попробовала просить, чтобы не делали зла:

— Хлопцы, зачем вы так? Я же одна, нет мне ни от кого помощи. Не отбирайте корову, чем я дитя кормить буду? Берите всё, что хотите, но...

— Не вой, курва! — Кот ткнул в бок винтовкой. — Не дашь ключ, выбьем пробой сами, но тогда уж тебя живой не выпустим.

— Не подохнет твой улюдок, — Николай крутил пистолетом перед её лицом.

— Ну, что ж, подожгите, — воспротивилась она. И пригрозила: — Вот вернётся Володька — он вам не простит.

— Матвей, она, оказывается, ещё и пугает нас, — словно удивился Николай. — Не из пугливых. А Володьки твоего боимся, как прошлогоднего снега. Может быть, его уже кости истлели, а ты — Володька! А если не истлели, так он там, на фронте, кашу с маслом жрёт и в тепле спит. А мы здесь должны с голоду подышать да в снегу замерзать? Давай ключ, говорю тебе!.. Думаешь, побоимся ломать, шум поднимать? Не побоимся, вряд ли кто услышит. Ну!..

И взвёл курок...

— Берите, в печурке, — молвила она.

Ночь была морозная, ясная. Луна через верх окна, там, где не было льда на стекле, лила в хату зеленоватый свет. Когда глаза привыкли к темноте, хорошо всё было видно: и чёрные, нечеловеческие лица, и пистолет в руке Николая, и винтовку у Кота. Матвей подошёл к печи, сунул руку в печурочку, достал оттуда ключ от сарая и сразу же пошёл в сени. Костка же остался в хате, брызнул в лицо слюной:

— Ляжешь — оставлю корову. Не всё же Володьке твоему тебя лапать, может, что-то и мне осталось.

— Убей — не будет по-твоему! — рванулась она. — Что ты вздумал?..

Костка бросил её на пол, а когда она вновь попробовала вырваться, заржал:

— Она ещё выкручивается...

В то же мгновение Лида почувствовала тупой удар по голове, потеряла сознание...

Очнулась она неизвестно через сколько времени, но ещё ночью. В хате по-прежнему было темно, и всё так же лился в окно зеленоватый лунный свет.

Ей было холодно. В голове шумело. Во рту было горько и сухо.

Она попробовала оттолкнуться руками от пола, встать, но не смогла. Тогда, собравшись с силами, подползла к кровати возле печки, где должен был спать сынок. Тяжёлыми, словно налитыми свинцом, руками оцупала постель — на месте сынок, к стенке закатился, сопит.

Молча обливаясь слезами, кое-как поднялась, прислонившись спиной к печи. Тепла не чувствовала, хотя с вечера хорошо протопила. Обессилев, опустила руки.

Только сейчас при лунном свете, наклонив голову, увидела, что юбка разорвана почти до пояса, живот оголен, фуфайки на ней нет, нательная рубаха на груди разорвана.

Упала на пол. Беззвучно заплакала: обесчестил, чуть не прибил, чтобы добиться своего.

Что же это будет?.. Куда броситься?.. Кому пожаловаться?.. Что она скажет Володьке, когда тот придёт?.. Что делать?.. Руки на себя наложить, чтобы не жить с таким позором, чтобы ничего не знать и не помнить?.. А сыночек, её и Володькина кровинушка?.. Сгинет он один. А если и не сгинет, если кто из сельчан возьмёт его, так настрадается среди чужих людей, словно птенец, выпавший из гнезда...

Плакала, волосы на себе рвала и не чувствовала боли. Руки кусала — никто не утешит, никто не посочувствует, не посоветует, как быть, — у каждого своего горя хватает, у каждого своя жизнь... А если и сказать кому — ещё не известно, что будет. Люди вряд ли ей посочувствуют, а наоборот, наверно, станут показывать вслед пальцами, как на прокаженную. Кто поверит, что силой взял? Скажут: “Под Николая сама легла, ходил же за ней перед войной, вроде даже ладили, пока Володька не увёл...”

Отомстил, изверг, за то, что когда-то отвергла его. Прежде всего, её отомстил, потом уж Володьку. Володьку, знала, люто он ненавидел. Разрушил их гнездо, душу испепелил... И как ещё после всего содеянного не убил её и сыночка, не поджжёт хату, одному Богу известно...

Но сколько ни бейся об пол, сколько не рви на себе волосы, руки лмай, плачь — сама в землю не ляжешь. Земля перед тобой не развернется, и ты ничего с собой не имеешь права сделать, ибо рядом, на кровати у стены, спит твоя и Володькина кровинушка. Из-за неё нужно всё вытерпеть: и людские оскорбления, а они будут, и то, что, может, бросит её Володька, как придёт, — она не посмеет ничего от него утаить: поверит ли, что взял её Николай, когда была без сознания?..

Утром, кое-как придя в себя, вышла во двор и увидела, что ворота в сарай открыты...

После той ночи она несколько дней не показывалась на люди. У неё было такое чувство, словно вся деревня знает о том, что с ней случилось, что все только и судачат: легла под Николая, чтобы не забрал корову, а он и корову взял, и её...

Как им объяснить, что нет её вины? В ответ услышишь: “Не хотела бы, так ничего не было бы...”

В страхе ждала: не понесла ли?.. Счернула не столько от голода, как от горя. Но всё обошлось...

После того как поняла это, вроде стало легче, словно блеснуло солнце, скользнул луч по льдине, но только на мгновение, и вновь спрятался... Что она скажет Володьке, как придёт...

Иногда сомневалась: может, между нею и Николаем ничего не случилось? Может, нарочно он всё на ней порвал, оглушил, чтобы разное думала, страдала? Знал же, что она его ненавидит. Да и говорили, что в лесу нашёл он себе женщину, с которой якобы живёт, как муж с женой. Разве можно, если это правда, другую женщину трогать?..

Ждала, ждала Володьку, но так и не дождалась. Даже после войны весточку о себе не подал. Одно ей известно: окончил войну капитаном, и его почему-то искали люди из органов здесь, в Заливье, дома. А Кот с Косткой поговаривали, что искали его потому, что совершил он нечто плохое. Одним словом, как они рассуждали, преступник её Володька. Только не верит она в это, да и сельчане не верили: не такой он человек, это не Николай и не Матвей. Здесь что-то не вяжется. Ещё бы: человек, раз его ищут, прошёл всю войну. Из младшего командира дорос до капитана. Домой шёл, и вдруг...

Нет, что-то здесь не то... А Иван Каминский, Мишкин отец, тоже фронтовик, как-то сказал ей по секрету:

— Смотри, Лида, не выдавай меня, я тебе вот что скажу... Тайна какая-то с твоим Владимиром. Какая — не пойму. Но — тайна. Ищут после войны дома красного командира, значит, шёл домой. Но почему не дошёл?

Что, пристал к чужой женщине? Нет, не искали б. Стал бы там на учёт в военкомате, да и жил бы, как хотел. Но если даже так, не может быть, чтобы не захотел узнать, что с тобой и как. Через людей, если не сам, отозвался бы... Но смотри, если вдруг Владимир явится, пусть даже ночью, чтобы никто не видел, — обо всём ему расскажи. Он сам решит, что делать... Только остерегайся Николая и Кота. А вдруг его оговорили, и он вынужден от людей прятаться? И такое бывает. Но, скажу тебе, много и сейчас непонятного. Случается, как и прежде, по наговору берут невинных людей. И у нас на фронте такое случалось, когда кто-то кого-то оговаривал: приедут, заберут — и поминай, как звали.

— Как же, Иван, можно человека оговорить? — не понимала она. — Это же грех какой.

— Так и оговаривают... Вспомни Фаддея... Костку пристыдил за то, что церкви рушил. Ну, и получил в ответ: “классовый элемент, контрреволюционная гнида...”

Хотелось ей тогда, во время разговора с Иваном Каминским, о горе своём рассказать ему да о сыночке. Но удержалась: зачем это ему, чужому человеку?..

Сыночек, Игнатка, умер после войны. Может, от голода. Как корову увели Костка и Кот, начал чахнуть: постным кормила. Чах, чах и умер...

— Да, я сейчас, если захочу, тебя повяжу, — слышит она откуда-то издалека. — Вот застал тебя на месте преступления, и ты в моих руках. Захочу — составлю протокол, захочу — помилую...

Тогда в лесу, слушая такое, она молчала. Ей вообще не хотелось ни о чём говорить с Николаем. Только подумала: не нужны мне эти дрова, если уж так, если он издевается надо мной. Да, очень противен и страшен он как человек. Бессовестный совсем. Вор. Живёт на всём казённом, лес продаёт. Вероятно, сколько в лесу пней, столько и бутылок имел. А ты попробуй ткнуть-ся сюда, чтобы насобирать хвороста, так он тебя воровкой сделает...

— Что ты на меня волчицей зыришь? — вновь разозлился Николай.

— Да не трогаю я тебя, чтоб тебя рубашка не трогала, — сказала она.

— Вот как?! — ухмыльнулся он. — Даёшь... А была бы умнее, лаской меня взяла бы. Может быть, тогда и я по-иному б к тебе. Может, тогда ни с сеном, ни с дровами беды не знала бы.

— Не нужно мне ни твоей ласки, ни твоего сена и дров. И моей ласки ты не дождешься. У тебя своя жизнь, у меня — своя. И в молодости так было, и сейчас... В одном не сомневаюсь: без Бога в душе живешь.

— Это ты зря, — сказал он. — У меня свой Бог. И я над тобой хожу, а не ты надо мной. Знаешь же: сейчас вот что захочу, то с тобой и сделаю, а всё не можешь смолчать, что ни слово — мне в пику.

Он ближе наклонился к ней.

— Отстань! — сказала она. — Я тебе не молодуха, не любовница, что ты ко мне лезешь?

— Молодуха не молодуха, но и переспелая ягодка бывает очень сладкая, — недобро засмеялся он. — Да и старый конь борозды не портит. А ты, помнится, и молодою сладкая была. Я-то хорошо помню, испробовал...

И вот оно, подтверждение: взял он её той страшной мартовской ночью сорок третьего года, взял!.. А она иной раз думала, что — нет... Изверг...

— Убери руки, не позорься, ну! — закричала она, когда Николай вдруг положил ей руки на плечи. — А то...

Она тогда и сама не знала, что означает это “а то”... Не договорила. Костка навалился на неё, в лицо пахнуло, как из сарая. Рванул на груди кофту. Прижал к земле. Засопел над ней. Лида поняла: не вырваться. Закричала что было силы. Он зажал ей рот.

Она инстинктивно нащупала рукой на земле что-то холодное и круглое... Не помнила, как опустила это ему на голову...

Потом, поднявшись, обхватила голову, провела руками по лицу и, увидев на них кровь, содрогнулась.

Николай лежал лицом вниз. Ветер трепал его окровавленные на затылке волосы...

Лида бросилась прочь. Опомнилась уже в деревне, возле сельсовета, когда на крыльцо вышел участковый.

VIII

Кот, убедившись, что вокруг не видно ни одной живой души, решил навести порядок возле сельсовета и в здании. Он понимал, что следователи, как только придут из района, сразу же начнут всё осматривать, и нельзя допустить, чтобы они поняли, что здесь пьют, как хотят.

Кот зашёл в дом, в свою боковушку, где обычно пили. Воздух там был тяжёлый, затхлый. Открыл окошечко в вишняк — потянуло свежестью. Он опасался, что следователи могут заглянуть и к нему.

Неважно, что Кот в сельсовете никакой не начальник. Как бы там ни было, а он всегда при руководстве, всегда знает, где Реут, когда будет, а когда — нет.

Вообще-то Кот неплохо играл свою роль личности, приближенной к председателю сельсовета. Он гордился тем, что некоторые сельчане заходили к нему просить совета по какому-нибудь своему делу, пусть даже неважному. Тогда Кот внимательно выслушивал человека, время от времени произнося многозначительное: “Да...”, — и на этом всё заканчивалось. Главное — сочувствие. Иногда он даже мог сказать, стоит ли обращаться к Реуту, или лучше ехать в район, таинственно сообщая: “Их компетенция”. Что значит это слово, сельчане представляли смутно или вообще не понимали, но Кота слушали: в районе быстрее добьёшься правды, чем здесь...

В боковушке он старательно убрал всё со стола, выбросил в мусорное ведро, протёр тряпкой клеёнку. Чтобы скорее выветрилось, достал из тумбочки одеколон, брызнул несколько капель на настольную лампу, щёлкнул выключателем — в комнатухе приятно запахло.

Мусорное ведро, пустые бутылки и стаканы он занёс под поветь, заложил дровами.

Кот понимал, что дальше ему оставаться здесь незачем: вдруг кто-нибудь из сельчан придёт сюда, заведёт разговор. Лида услышит голоса, застучит в дверь — и тогда всё раскроется.

В деле, порученном ему участковым, нужно ухо держать востро. И вообще, лучше от случившегося держаться подальше. Надо же было так некстати здесь оказаться... Не всё ли равно, что его считают лучшим Николаевым другом? Это его, Кота, личное дело. Да, вчера он, может быть, и был другом, а сегодня — нет, увольте! А вообще-то Кот — человек маленький. Всего-навсего какой-то сторож... Наверное, Мишка перегнул, приказав Коту посадить убийцу в склеп. Где та инструкция, которая предписывает сторожу служить участковому?..

А вдруг арестантка, пока Каминский с Реутом будут ездить по лесу да искать труп, умрёт? Может же такое случиться, что у неё не выдержит сердце, разорвётся от страха? Или того горше — руки на себя наложит?.. Тогда его, Кота, будут допрашивать: не “помог” ли он ей умереть?..

Кот закрыл на замок сельсовет, снял сапоги, взял их под мышки, осторожно подошёл к склепу.

Прислушался, приставив ухо к двери, — тихо. Стало жутко: хотя бы застонала или вздохнула... Может быть, она и в самом деле...

— Лида, Лида, — тихо позвал он только для того, чтобы убедиться, что с ней ничего не случилось.

— Это ты, Кот? — послышалось оттуда. — Что тебе нужно?

Услышав её голос, обрадовался: жива. Почему-то захотелось подбодрить её, показать, что он ей не враг, — пусть только продержится, пока придут мужчины.

— Да ничего. Жаль мне тебя. Ты только на меня не сердчай. Сама же слышала, что не по своей воле я тебя сюда посадил: приказали. Мне нельзя было ослушаться: должность у меня такая... Смотри уж, не подведи меня.

— Как же я тебя подведу? — удивилась она. — Ты, Кот, ничего не бойся. Если надумал меня выпустить, то не надо. Я отсюда никуда не пойду, пока милиция меня не арестует: моё мне и будет.

Вот дура! Он не сумасшедший, чтобы убийцу вот так, за здорово живёшь выпустить! Да его самого тогда в тюрьме сгноят, как её пособника!

— Ну, так я пойду, а ты уж держись, коли так, — обрадовался он.

Лидия не ответила.

Кот отошёл от склепа. Натянул на ноги сапоги. Немного успокоившись, побрёл в вишняк — лучшего укрытия ему и не нужно. Оттуда, с пригорка, всё вокруг видно, как на ладони. И склеп рядом... Притаившись в вишняке, ожидая возвращения участкового и Реута, подумал: “Интересно, понял ли Николай, что его ухайдакала Лида? Да, да, та Лида, которой до войны уж очень он домогался, но у него ничего из этого не вышло. Та, которую в войну оглушил, а потом...”

Вот если бы случилось так, чтобы Николай сейчас знал, что она ему не покорилась, — почернел бы от злости... Впрочем, как хорошо, что Николая уже нет!.. Унёс он с собой их с Костком страшную тайну, которую они с войны скрывали. А вдвоём скрывать тяжело, так и бойся, чтобы кто-нибудь невзначай не проговорился. Нет Николая, и сейчас уже только один Кот знает об их дезертирстве из армии во время войны, а также о том, как обошлись они с Лидой одной мартовской ночью и что после войны сделали с её Володькой...

Вначале войны мобилизованные Кот и Костка попали во взвод, которым командовал Лидин Володька. Он был резервист, младший командир.

Конечно, Николаю это было — как рашпилем по сердцу. Мало того, что Лида Володькиной женой стала, так он ещё должен ему подчиняться да козырять! Но армия есть армия, никто у тебя не спрашивает, нравится тебе командир или нет. Ты — рядовой, поэтому слушайся, приказы выполняй. Здесь ты свой норв не очень покажешь — сразу же место укажут. Хотя где и когда было показывать, если в первые же дни войны попали в окружение, в такой ад, что свет им сделался не мил?

Везде стреляют, не поймёшь, где наши, а где немцы. Немецкие самолёты небо кроют, а появятся вдруг какой-нибудь наш, так те его обстреляют — горит, словно бумажный. Здесь одно на уме: спасайся, как можешь.

Бежали под Бобруйском по лесу взад-вперёд, от своих отбились. Осмотрелись — стреляют уже где-то далеко, на востоке, а на западе — тихо.

На западе — дом. Кажется, там никакой войны и нет. Кажется, пришли сюда немцы, постреляли, поугали и дальше покатили.

Но Володьке не нравилась эта тишина. Велел он Коту, Костке и ещё одному бойцу, приставшему к ним, идти под его, Володькиным, командованием к линии фронта: “Приказываю выходить из окружения...”

Дурак! Какая сейчас может быть линия фронта? И где тот фронт? Куда ни глянешь из леса — везде немцы. Едут на машинах, на мотоциклах, танки грохочут...

Выходить из окружения — значит, по своей воле идти на верную смерть. Может быть, и пошёл бы, если бы знал, что попадёшь в плен, что там подержат-подержат, да и отпустят домой: дескать, иди, землю паши, новой власти тоже есть нужно. Но уже возле Рогачёва, куда добрались через несколько суток, из леса, спрятавшись в кустах, видели, как немцы гнали по шоссе колонну пленных. Животных так не гонят... Мало того, что толкают прикладами в спины измученных, обессиленных людей, так ещё, если кто вдруг упадёт, тут же пристреливают.

Что от самого себя скрывать? Очень страшно тогда было Коту. Чуть ли не под каждый куст садился, так схватило живот. Николай же будто помещался: всё смеялся, глаза вылушив.

А Володька всё подгонял их: “Вперёд!” Николая по щекам бил: “Очнись!” Тот, “очнувшись”, сначала смеялся, а потом скулил.

Кот уже не помнит, через сколько дней вновь выбрались из леса к шоссе где-то возле Днепра, а там вновь немцы. Заметили: “Хальт!” Они обратно в лес. Немцы вслед полоснули из автоматов, благо никого не задело.

Бежали куда глаза глядят. Бежали неизвестно сколько. Остановились возле какого-то болота. А Кот винтовку потерял и не заметил, где и как.

Володька вокруг прыгает: “Где оружие?.. Тебя по закону военного времени нужно отдать под трибунал!..”

Это Кот и без него знал. Начал хитрить: “Свою кровью свой позор. В бою добуду оружие”. — “Вот и смой!..”

Смой?.. Нашёл дурака — под пули с голыми руками лезть. Мало ли что сказал... А коли так, надо ловить момент — да ноги в руки, и бежать, пока голова на плечах.

И Николай, когда успокоился, шепнул Коту: “Бежим, какой фронт? Пропадём зазря с Володькой”.

Кот всё понял: бежать будут вдвоём. Так легче. В дороге может разное случиться...

Ночью, когда Володька и незнакомый боец уснули под кустами, Кот и Костка притихли под еловым выворотнем. Николай шепнул:

— Время...

— А если догонят? — размышлял Кот. — Ведь пристрелят без суда и следствия.

— А мы сейчас их сами. У ночи глаз нет, и концы в воду.

— Сохрани Господь! — Кот от неожиданности чуть не закричал. — Я этого не смогу.

Видимо, Николай уже тогда мог убить человека, чтобы спасти свою шкуру. Наверное, если бы Кот не воспротивился, так бы и сделал — лишил жизни и Володьку, и незнакомо. Но ведь Кот не согласился!..

Осторожно отползли подальше, потом поднялись и бросились прочь. Бежали на север, туда, где должна была быть Друть. Рассчитывали, что достигнут реки, а там берегом против течения направятся к Заливью — река сама приведёт к дому.

На рассвете вышли к реке. Вот она, их спасительница, спокойно катит свои воды среди кустов в пологих берегах. Прислушались, внимательно осмотрели всё вокруг — ни души. Лёгкий пар в утренней серости еле колыхается над густым чёрным течением. На разные голоса поют птицы, словно нет никакой войны. Чувство такое: бери удочку, становись где-нибудь в заводи да рыбачь...

День просидели в кустах, ожидая ночи. Куда пойдёшь днём, если кажется, что за каждым кустом тебя подстерегает немец с автоматом?

Шли ночами берегом против течения реки. Ночи были ясные. Звезды отражались в воде, и казалось, их отражение всё освещает вокруг — видно было далеко. Да и слышно было далеко: плеснёт где-нибудь в затоке рыба — эхо долго катится.

Кое-как добрались до Заливья. Голодные, ободранные, выбившиеся из сил. Николаеву винтовку и гранату спрятали в лесу. Радовались, потешались, над Володькой насмехались: иди, иди, герой!.. Ещё неизвестно, куда дойдёшь. Может быть, уже где-нибудь в колонне пленных ноги в кровь сбил, если, конечно, уцелел... А мы дома!..

Домой пришли ночью. Здесь всё своё, знакомое. Дома и стены помогают. Жили они тихо, не высовываясь. Отрастили бороды — старики, да и только. Сеяли, косили. Убирали урожай. Самогон гнали. А когда местный полицай Семён приказывал, делали для полицаяв то телеги, то сани, хомуты шили.

В конце сорок второго — в начале сорок третьего от села к селу пошли вести, что наши гонят немца. И партизаны им хорошо помогают. Они то там фашистский гарнизон расколошматят, то здесь фрицев хорошо погоняют... Люди поговаривали, что где-то под Осиповичами и под Бобруйском взрывают железку, поезда под откос пускают. Говорили также, что в партизанах в основном окруженцы из регулярных частей, хотя и немало парней и мужчин из соседних деревень. Это тревожило и Кота, и Костку: а вдруг кто из знакомых там, и про них, вернувшихся с фронта в начале войны, партизанскому начальству подскажет, дескать, проверить бы надобно, почему это Кот и Костка дома отсиживаются, а не на фронте или не с нами. Наверное, всё же шепнул кто-то: однажды ночью одновременно постучались и к Коту, и к Костке. Попробуй не открой. Партизаны так те уйдут. А если Семён, как не раз бывало, с пьяными дружками и немцами? Да хату разнесут, красного петуха пустить могут, пришлѣпнуть.

Отворил Кот, отворил и Костка. А те сразу: “Кто такой? Почему дома, а не на войне?”

У Кота сразу же брюки мокрыми стали, но нашёлся:

— Окруженец. Пока временно нахожусь дома, но жду момента, не вызывая подозрения у врага, связаться с народными мстителями.

— Оружие есть?

— Так точно, есть...

На всякий случай оружие у Кота было. За самогон выкупил у Семёна пистолет. Думал Кот, что этой же ночью партизаны его с собой уведут, то ли порешить, как дезертира, то ли ещё с какой целью. А как не думать о худшем, если они ему: “Мы о тебе и Костке всё знаем. И что служили, и что с полицаем водитесь... Смотри... Пока сиди дома, слушай, что Семён поговаривает, да на ус мотай...”

Ушли, ничего не взяв, хотя и Кот, и Костка готовы были всё отдать, чтобы откупиться. Стали на некоторое время Кот и Костка вроде за связанных, что ли. Но ненадолго. Раз навестили их партизаны, два, три, а потом забрали в лес. А Семён, наверное, что-то предчувствовал, перед их уходом бил себя в грудь: “Хлопцы, если что, так вы перед властью засвидетельствуете: Баранкевич зла людям не делал, и чужой крови на нем нет... Гонят наши немца, гонят...”

Здесь уже и дурак поймёт, что надо партизан держаться. Николай рассуждал так: вдруг Володька живой, вернётся после войны да сообщит о них куда следует. Тогда их с Котом не пощадят — дезертиры!

В партизанах им вновь повезло. Потому, может, что местные, направили их в хоззвод. Как говорил Николай, лучшего и ожидать нельзя было. Всё-таки подальше от пуль. Погибнуть сейчас, когда наши немца гонят, каждый дурак сможет, секрет в том, как выжить. И всё бы хорошо было, пока однажды не забрали у Лидии корову. Опять же, Николай тогда обиду ей нанес великую, а не Кот. Хотя Кот был рядом, был... Но она о том пока молчала. Что сейчас скажет?

Хорошо... Пойдём дальше.

Пришли наши. Немало партизан, бывших окруженцев, ушли с войсками воевать дальше. “Кто местные?” Известно, Кот и Костка. Им приказ: “Домой, восстанавливать разрушенное хозяйство!”

Николай сразу как-то пристроился в лесники, втихаря от Кота. Сходил в район, неизвестно с кем там поговорил, смотришь — хозяин леса. Правда, тогда и Кота не обидели, назначили в Заливье бригадиром. Бабами несколько лет командовал, колотил утром кнутищем по оконным рамам уцелевших хат — Заливье почему-то немцы не сожгли, как большинство окрестных деревень, — гнал на работу. Вдов в селе большинство было, а вдова, как повелось, бесправней всех бесправных. Днём по полям рыскал верхом на трофейном жеребце, оставленном колхозу одной войсковой частью, высматривал, кто плохо работает или кто что домой тянет. Случалось, надо было кого наказать, но не наказывал, страшал: “Смотри мне, ещё раз и...” Что следовало за “и”, не говорил, но провинившаяся понимала: её судьба — в его руках. Постепенно меж собой люди заговорили: повезло им с бригадиром — никого до тюрьмы не довёл, не то что в других селах — там было. Дескать, неплохой человек Кот, с ним жить можно.

Казалось, всё шито-крыто, как и не было дезертирства. Володьки не слышно, никто их прошлым не интересуется. Иной раз вызывают в район на какое-нибудь совещание. Николай даже в партию засобирался вступить. А Кот — нет, хотя ему тоже предлагали. Отказывался убедительно, мол, пока ещё, чувствую, не совсем подготовлен, грамотёнки маловато, да и успехи в бригаде не ахти какие, позже, позже. А за доверие благодарю...

Однажды, ближе к осени, уже в сорок шестом, Николай прилетает из Бобруйска на своём мотоцикле, оставшемся от немцев. Лицо белое, трясётся, словно в лихорадке, потянул Кота из хаты подальше в огород: “Разговор есть”. Кот думал: вышить хочет. А тот, словно обухом по голове:

— Всё, Матвейка, кажется, окончилась наша с тобой вольница, труба нам...

— Ты что? — присел, как пришибленный, Кот. — Проворовались?

— Дурак! Как сейчас можно провороваться, если всё кругом разрушено? Володьку в городе встретил. Что делать будем?

— Как — встретил?

— На базаре видел его. Жив-здоров, с капитанскими погонами. Грудь в орденах. Ходил по рядам, наверное, подарки выбирал.

— А он тебя видел?

— Нет. Я его издали случайно заметил, убедился, что он, и ходу.

Здесь уже Кот застонал. Что делать? Придёт — обязательно донесёт в органы, тогда в самом деле труба.

— Труба, труба, — соглашался Николай. — Хорошо, если по двадцатьпятике дадут, а то гляди — к стенке поставят за дезертирство. Присягу же давали...

Кот задумался, а Николай сразу:

— Уберём?

Нет, только не это! За войну чужой кровью себя не запятнал, сейчас тем более не нужно это Коту.

— Идиот! Если где в Сибири не подохнешь, если не прихлопнут, то всё равно жизни не будет.

И в самом деле, если подумать, выхода нет.

Кот уже не стонал, скулил: надо же... Только где и как... если убирать?

Оказывается, Николай уже всё обдумал. Машины сюда не ходят? Не ходят. Подводы — тоже. Значит, будет Володька добираться в Заливье попуткой, по шоссе на Могилёв. Не пойдёт же он пешком шестьдесят километров! Попутки чаще идут вечером, если сядет на которую, сойдёт у Долбецкого поворота. От него до Заливья через лес восемь верст, этой дорогой обычно до войны ходили сельчане, когда нужно было ехать в город.

Следовательно, нужно ждать его где-то в лесу вечером. Но чтобы ни одна живая душа не видела...

К лесу подались сразу же, огородами. Шли берегом реки к мосту. Уже начало вечереть, когда перешли мост. Отошли от него метров триста, остановились на пригорке около поворота дороги, откуда хорошо обозревалась местность впереди. Залегли в кустах калины.

Светила луна. На дороге колко отсвечивало — видимо, кусочки битого стекла. Где-то в чаще кричала ночная птица. Было жутко. Казалось, ещё мгновение — и Кот не выдержит, бросится прочь. Пусть Николай, если уж задумал, сам делает с Володькой, что хочет. А Кот — нет...

Но знал: если уж Николай его с собой привёл, просто так от него не уйдёшь. У Николая всегда при себе пистолет. Только поднимись — прихлопнет, рука не дрогнет. Затащит в валежник да подожжёт, и следа не останется...

Нет! Кот первым не убивал. У Кота и оружия не было. Как отпартизанил, так сразу же сдал. Это у Николая пистолет оставался ещё долго... Даже автомат был, может быть, и сейчас ещё где-то в лесу припрятан. Как-то Николай говорил, что из автомата хорошо кабана и лося валить. Это Кот знает, но если будут допрашивать, не скажет: ещё прицепятся — почему молчал?..

...И сейчас, через столько лет, помнит Кот, как вздрогнул, да так, что сухие веточки под ним затрещали, когда из-за поворота, того, что был впереди, выплыла тень. Словно привидение, приближается, покачиваясь в лунном свете.

А вдруг не Володька, а кто другой?.. Невинная душа. Да и Володька — душа невинная. В чём он провинился перед Котом и Николаем, перед людьми? В том, что пошёл дальше воевать, а они сбежали домой?.. Но другого выхода у Николая и Кота нет, нужно самим выжить: Володька или они, они или Володька...

Наверное, Николай и Кот чем-то выдали тогда себя: человек, не доходя несколько шагов, остановился, послышался голос:

— Эй, кто там в кустах?

Он, Володька. Его голос. Сколько времени прошло, как расстались, а голос узнали.

Кот ещё не успел опомниться, как Николай поднялся:

— Володька! Свои... Какая встреча!

И, не дав тому опомниться, что-то сказать, выстрелил.

Потом было самое страшное. Мёртвого Володьку оттянули с дороги в кусты. Кот наломал веток, замёл следы. Володьку потащили к болоту. Кот думал, что на этом всё окончится. Но нет! Николай вдруг приставил к его шее пистолет, дал в руку финку:

— А сейчас ткни его в бок. Нечего чужими руками жар загребать, свои ручки тоже кровью обагри.

— Мёртвый же он, — скулил Кот. — Ты же его порешил, зачем?

— Давай, давай, делай, что говорят. А то и тебя прикончу. Ну!.. Пусть одно на нас лежит, чтобы язык за зубами держал.

Всадил Кот в Володьку финку, иначе Николай убил бы и его. К телу привязали два камня — оказалось, что их ещё днём притащил сюда Николай, — и бросили в болото. Подождали, пока тело при лунном свете исчезло в топи, да и пошли в деревню, словно ничего не случилось...

Нет, не хотел Кот этого. Николай, пусть ему будет колом земля, его принудил грех на душу взять. А после Кот уже от Николая ни на шаг, будто они на самом деле были связаны одной верёвкой.

Позже, дней через десять, Володьку из района, из органов искали. Приезжали, спрашивали у людей, не появился ли в деревне капитан Печень. Все пожимали плечами: не видели, не слышали, не было. Сельчанам те люди ничего не объясняли, а когда поехали, Николай пустил слух, будто стало известно, что Володька дезертировал из армии, потому и ищут. Николая тоже о Володьке спрашивали. О чём он говорил с людьми из органов, Коту не сказал: мол, не велено. Но Кота не тронули. Сельчанам Николай приказал: вдруг кто что о Володьке услышит — сразу же его, Костку, должен поставить в известность, а иначе... Что “иначе” — не объяснял, но всем было понятно и так: несдобровать...

Всё тихо да ладно было по сей день. А теперь — тем более. Кто это сам себя выдаст?

IX

В склепе, куда Лиду закрыл Кот, было темно и сыро. Вскоре Лида освоилась, немного успокоилась, состояние у неё было такое, словно она возвращалась в реальность из страшного сна.

Когда на ощупь спускалась вниз по крутым, узким ступенькам, ноги подкашивались, будто ватные. Но уже внизу, когда глаза немного привыкли к темноте, натолкнувшись на какой-то перевёрнутый ящик и сев на него, Лида подумала, что ей не на кого надеяться, никто ей не посочувствует, не поможет в горе.

Лида поняла: совершила она не просто что-то плохое, о чём через некоторое время и сама не вспомнит, тем более — люди, а непоправимое: убила человека. Да, она Костку презирала, считала негодяем, но никогда не желала ему зла, тем более смерти.

Вообще Лида никогда не держала на людей зла. Даже когда её ни за что обижали, оскорбляли, насмехались над ней, вдовой, — рядом живут разные люди, не каждый добро в себе носит. Иной так и норовит унижить, уж если одна, значит — никто. Нередко в жизни бывает: живёт человек — не за что упрекнуть, в ладу с Богом, с добром в душе, но не так, как другие, — этим и не нравится... Она всё сносила терпеливо, ко всему привыкла, всё принимала, как посланное судьбой, то, от чего не уйдёшь. Иногда казалось, что и жизнь её не была жизнью, а так... существованием.

Тот же Николай всю жизнь её обижал. И в молодые годы, и в войну, да и сегодня хотел обидеть. Она воспротивилась — и случилось страшное.

Кот тоже обижал её. После освобождения, будучи бригадиром, заставлял выходить на работу даже тогда, когда болела и не могла ничего делать. Он ей последней в деревне давал коня засеять огород, не раз страшал, что обрежет сотки, если пробовала ему перечить.

Обижали Лиду и соседские женщины, когда вдруг её куры заходили в их огороды. Начinalи оскорблять на всю деревню, кем только не обзывали, и даже, — правда, не при Николае, — Косткиной подетилкой или немецкой шкурой (за что?). А как их, соседок, куры разгребали её грядки, этого женщины не видели и видеть не хотели.

После войны её очень обидели чужие люди из района, приезжавшие искать Володьку. Ворвались в хату, даже не постучались, не поздоровались, сразу же начали по углам шарить, светить фонариком под печью, под полом, поднимать в сарае сено на вилы, даже навоз ковырять.

Когда осмелилась спросить, что им нужно, сказали одно:

— Где мужа прячешь?

Поняла, что с её Володькой какая-то беда стряслась, заплакала, выдавив из себя:

— Не приходил домой. Не может он ничего плохого сделать.

— Нет писем. Не писал...

Ушли. Наверное, поняли, что не приходил её Володька.

Что там, на войне, с ним случилось, Лида не знает. Не знает, дожил ли он до Победы, — ведь люди после освобождения получали письма от оставшихся в живых мужей, братьев, отцов. Лида — нет. (Не знала она, что писал ей Володька. Почту в районе забирал Костка. Из писем Николай знал, когда Володька придет, после сжигал их в лесу, а пепел развеивал. Даже Коту о тех письмах не говорил.)

Думала, может, кто её Володьку оговорил. А может, попал он в плен да сбежал, но к своим не пробился, или ещё что с ним случилось. Только не мог он совершить никакого злодеяния, не такой он, не такой... Но поняла одно: если ищут, значит, жив, только где, почему не подаёт весточки? Может, попал в какую-нибудь западню, из которой не может вырваться, иначе прилетел бы как на крыльях к ней, любил же её и сыночка.

Легко сказать — прилетел бы... А что ожидало его в своём гнезде? Жена, над которой Николай поиздевался, да сыночка могильный бугорок с маленьким крестом. А если бы не поверил, что она ни в чём перед ним не виновата?

Не пришёл с войны её Володька. Если и в самом деле что-то есть на этом свете, почему позволило, видя её страдания, так распорядиться и её, и его судьбой.

Может быть, сейчас Володька живёт где-нибудь далеко-далеко. У него есть другая семья, и ему там хорошо. И возможно, иногда вспоминает её и сыночка, не зная, что того давно нет на земле. А может быть, где-то в чужом краю косточки мужа рассыпались, и могилка сровнялась с землёй, — думай, как хочешь, если ничего определённого не знаешь...

Нет, жив Володька, иначе почему его после войны искали дома? И понятно ей, что шёл он домой, но где-то потерялся его след для них, его начальников.

Где и как исчез, когда, кто скажет? Не мог же он сквозь землю провалиться. Земля же ещё ни перед кем сама не раскрывалась: ни перед самым последним грешником, ни перед самым великим праведником.

Она — грешница. И этим всё сказано. Крест её невыносимо тяжёлый. Ей самой нести его неизвестно сколько и куда: в рай или в ад, если они есть.

Здесь себя нельзя жалеть. К тому же, зачем кого-то в чём-то обвинять, ждать от других сочувствия. Мол, пожалейте меня, я же прожила нелёгкую жизнь. И жила, как могла, держалась за этот свет изо всех сил. Сама виновата в том, что сегодня совершила, и нет ей искупления, и никто и ничто не избавит её от содеянного.

Искупление — искуплением, это не от неё зависит, а вот избавление... Оно есть, если хорошо подумать. Зачем ей сейчас одной, без мужа, без ребёнка держаться за своё горе, за свою боль, переносить унижения? Что — всё это и называется её жизнью?... Для чего дальше такая жизнь, если рано или поздно навсегда закроются глаза, если неизбежно когда-то ляжешь в землю, и всё исчезнет, как и не было...

С той поры, как ушёл на войну её Володька, и тем более — как умер их сыночек, у неё не осталось ничего утешительного и дорогого здесь, среди людей. Так что же держит её на земле?.. Может, только одно: грех, павший сегодня на её душу, за который она должна ответить перед людьми... Но есть ещё неизмеримо больший грех: по своей воле уйти из жизни в небытие.

Думая об уходе в небытие по своей воле, она не чувствовала страха. Но убеждение, что это грех, словно обжигало душу. Лида понимала: нельзя, это вообще противоречит человеческой природе.

Размышляя, она мысленно подошла к той грани, за которой начинается никому не известное, о чём никто никогда не рассказывал, хотя бы потому, что, шагнув за эту грань по своей ли, Божьей ли воле, назад не вернулся.

По эту сторону грани есть ты. Ты дышишь, видишь, тебе больно, ты страдаешь и, случается, радуешься... По ту сторону — притягивающая тебя неизвестность. И, наверное, там нет ни слёз, ни боли, ни печали, ни радости. Там, наверное, не то чтобы пустота — ничего...

Второй раз за свою жизнь она приблизилась к этой грани. Оставалось сделать только один шаг, чтобы навсегда избавиться от лежащего на душе невыносимо тяжёлого груза, сжимающего сердце так, что, кажется, дальше уже нет мочи терпеть. Чувствуешь, словно кто-то заывает за ту грань, подталкивает, и тебе уже так хочется туда, хотя и страшно. Осмелюсь, шагни и...

Она ясно представила, как всё будет потом с тем, что зовется её телом. А вот что будет с душой, если она есть, должна же быть, — не могла представить...

Да, заруют её, Лиду, в землю, как падаль. И не на кладбище, не рядом с сыночком, где держала себе место и где никого не хоронили, так как знали: её здесь последнее пристанище, а за оградой, возле лозняка, в низине. Низину ту весной заливают талая вода, в ней квакают лягушки. И никто, когда она будет лежать в тесной, необстружанной, сбитой из горбылей домовине, не поставит у изголовья свечу, не перекрестится, никто не пожалеет её. Повезут её на телеге, наверное, за гробом будут идти только старухи, и вряд ли кто бросит горсть земли на домовину...

И не будет знать её сыночек, где его мамка. Не поймёт, почему она так долго не приходит к нему, не прибирает могилку, не меняет истрёпанный ветрами рушничок на почерневшем кресте, не разговаривает с ним, как разговаривала много лет подряд, печально и нежно. Не рассказывает, как ей живётся среди людей, не спрашивает, как ему там, не тяжело ли под толщей земли, под цветами, — она их высаживает каждую весну...

Не однажды, когда ей было очень плохо, мысленно говорила ему: “Подожди ещё немного, сынок, скоро, наверное, я приду к тебе. лягу рядом. Положу под твою головку свои руки. Переверну тебя на бочок — наверное, спинку отлежал, вытру твои глазки, уж больно ты плакал, уходя от меня. Обниму тебя, поцелую в горячий лобик, заберу огонь, сжигающий тебя, сделаю всё, чтобы тебе легче стало... И никогда, никогда не оставлю тебя, мой родненький. И будем мы с тобой, когда минет срок, отпущенный на самую долгую человеческую жизнь, нашего папку искать, ведь он любил и тебя, и меня, как, наверное, никто никогда никого не любил...”

Сыночек, сыночек... Квёлая, безвинная перед людьми и безгрешная перед Богом душа...

Сыночек, слышишь ли ты сейчас свою истрадавшуюся мать, видишь ли её слёзы? Не ту молодую, оберегающую тебя от холода и голода, делающую всё возможное и невозможное, чтобы только выздоровел. Сама от голода падала, моля Бога об одном: если что-то на роду моему сыночку написано, забери меня, брось в ад на вечные муки, только пощади мою кровиночку, отведи от неё беду...

Пусть бы лучше её забрал тогда, как-нибудь вырос бы её сынок и среди чужих людей, стал бы человеком и сейчас приходил бы к ней на могилку, как она ходила к нему.

Если в эту минуту, сынок, ты слышишь и видишь меня, свою мать, такой, какой я стала, то открестись от меня...

Думая так, она, как ей показалось, увидела в темноте неизвестно откуда возникший лёгкий лучик света. Он постепенно превратился в еле заметный ореол, в котором смутно угадывался образ её дитяти. Он приближался, и Лида жадно вглядывалась в его еле различимые черты. Она ждала, что вот-вот он ей улыбнётся, как улыбался маленький, здоровенький, — радостно. Но его личико было истрадавшимся, а глаза — не по-детски сухи...

Лида понимала, что всё это происходит в её воображении: никого перед ней нет. Она просто представила себе образ сыночка, как представляла каждый вечер, ложась спать. Представляла с одной надеждой: может быть, приснится, пусть хоть на мгновение войдёт в её сон, и ей тогда станет легче жить дальше. Но как ни звала его в сон, почему-то так ни разу он и не приснился ей, словно отказался от неё за то, что не уберегла...

И вот сейчас он явился ей в воображении. Ей показалось, что всё это происходит в реальности. Она устремилась к нему, а он сразу же исчез, будто растаял во тьме. И в то же мгновение почудилось ей, что множество людских голосов ворвалось в склеп. От неё наперебой начали требовать, чтобы она сказала, почему совершила убийство...

И Лида подумала, что прежде чем сделать роковой шаг к той меже, за которую её кто-то зовёт, к которой всё более настойчиво подталкивает её какая-то неведомая сила, она должна рассказать людям обо всей своей жизни. Но не о той, которую они знали, — обычной жизни обычной деревенской вдовы, а о своей жизни-боли, скрытой от посторонних глаз, в которой много пережито несправедливости, самых разных издевательств. И об одном, особенно страшном, совершённом над ней Николаем лунной мартовской ночью во время войны.

Да, Лида должна рассказать людям, всем, кого знает, и даже тем, кто её обижал, о том, что хотел с ней сегодня сделать Костка.

Нет, не потому, что ей нужна их жалость: утешений и сочувствия она никогда ни от кого не ждала и не ждёт. Она должна всё рассказать людям, чтобы те знали: по совести она жила и уйдёт с болью, не прося сочувствия. Какое может быть к ней сочувствие, если такой грех на душе?.. Если уж чего-то у кого-то и просить, так у земли. Одного просить: развернись, мать-земля, заberi меня туда, где сынок... Но земля, как ни проси, сама перед тобой не развернется. И как бы тяжело тебе ни было, терпи, проживи Богом тебе отпущенное хотя бы для того, чтобы люди, как умрёшь, положили тебя в землю рядом с сыночком...

Истрадавшаяся, Лида утихла возле шершавой стены и, обессилевшая, на мгновение засыпая, вновь увидела перед собой в темноте едва различимый ореол света: сыночково личико. Но, как ей представилось, уже не такое скорбное. Что-то похожее на лёгкую улыбку скользнуло по нему, и необычайно приятным, может быть, самым приятным за всю её вдовью жизнь показалось ей то мгновение, когда сами собой закрылись её глаза...

Х

Реуту было очень жаль Лиду. Страдалица, добрейшая и честнейшая, и надо же — такое...

По-своему жалел Лиду и Мишка, но не настолько, чтобы её горе затмило его личную беду: вышвырнут из участковых...

О Реуте люди плохо не говорили, уважали его, как и раньше, когда учительствовал, но никакой особенной помощи от него не ждали. Тем не менее, всегда охотно шли в сельсовет, как говорил Кот, на приём. И молодые колхозники, и пожилые сельчане, и старики. У людей всегда одни просьбы: шифер, когда крыша течёт, кирпич на печь или просто поговорить о своём нелёгком житье-бытье. Председатель каждого внимательно выслушает, хотя не всегда может помочь. Но смотришь, пришёл человек в сельсовет озадаченный, а ушёл обнадёженный на лучшее: помогут не сегодня, так завтра...

Мишку сначала удивляло, что к председателю сельсовета в тесном коридорчике выстраивается очередь. Смешило, что Кот сам себе вменил в обязан-

ность записывать посетителей в тетрадь и следил, чтобы никто никому не мешал, чтобы всё было важно и чинно, как в солидной организации.

Удивляло и то, что Реут всегда вставал, как только посетитель входил в его кабинет, шёл ему навстречу, подавал старику или старухе руку, потом, поддерживая человека под локоть, подводил к старому, потёртому, обтянутому чёрной клеёнкой креслу с подлокотниками, учтиво усаживал.

Разговаривая с мужчиной или женщиной, невысокий кругленький Реут важно ходил по кабинету, заложив руки за спину, и когда посетитель пытался встать, чувствуя себя не в своей тарелке, — сидит перед представителем власти! — говорил:

— Сидите, сидите, уважаемый (уважаемая), — называл по имени и отчеству, — скажите мне, как вы живёте? Как здоровье? Помню, когда прошлый раз приходили, чувствовали себя не очень хорошо.

Реут, как понимал Мишка, знал всех жителей села, память у него была прекрасная. Сейчас вспомнил, что Лидия ни разу, сколько он работал председателем колхоза, почему-то к нему за помощью не обращалась. Наверное, потому, что ей всегда помогал Никодим. А зря! Пришла бы в сельсовет, конечно, с дровишками не отказал бы, к зиме, наверное, выписал бы. А то вишь — сама!.. И что получилось?.. И что сейчас будет?

XI

Самым удивительным и непонятным во всей этой истории с убийством Костки для участкового и председателя сельсовета было то, что, приехав туда, где, если верить Лиде, всё и произошло, они не обнаружили трупа.

И Мишка, и Реут хорошо знали эту делянку — кто же из местных жителей не знает своего леса?

Сразу же нашли место, где Лида собирала дрова. Трава вокруг была приямта, местами вытоптана. Обнаружили клеёнку с остатками пищи. Подошли ближе — с клеёнки взлетели птицы.

Реут в недоумении хотел подфутболить алюминиевую кружку, валявшуюся в траве, но Мишка запретил:

— Ничего не трогай — это улики, на них должны быть отпечатки пальцев.

Бутылки нигде не было, хотя они всё вокруг они хорошо обыскали, осмотрели.

— Ну и дела, — озадачился Мишка, не обнаружив Костки. — Неужели куда в кусты оттащила?.. Если призналась в убийстве, почему об этом не сказала?

— А ты видел, в каком она состоянии?.. Забыла, наверное, — предположил Реут.

— Если спрятала труп, ей же будет хуже.

Мишка присел, вновь стал внимательно осматривать всё вокруг.

— Смотри, кровь, — вдруг ткнул он пальцем в траву. — К ручью тянется.

Реут тоже присел. Увидел на примятой траве капли крови и борозду в мягкой влажной земле, тянущуюся к ручью, бурлившему недалеко за кустами.

— Так и есть, всё же оттащила. Наверное, столкнула в ручей, — сказал Реут.

— Если так, то это уже совсем плохо, — сказал Мишка. — Убила, но пришла с повинной — можно было бы на что-то рассчитывать. А сейчас что?.. Идём.

Мишка, пригнувшись, глядя в борозду, направился к ручью. Реут шёл за ним.

Возле кустов борозда окончилась: пошли следы от кирзовых сапог.

Мишка бросился вперёд через кусты, не обращая внимания на ветви, бьющие по рукам, по лицу, на то, что фуражка слетела с головы.

Реут, ничего не понимая, не спеша шёл следом, пока не услышал за кустами Мишкин почти дикий крик:

— Дядь Николай, живой?!

Реут опешил: что за бред? Бросился на крик. Возле берега в воде на чёрном выворотне спиной к ним сидел Костка. Он медленно черпал руками рыжую воду и обливал голову.

Реут увидел, что руки у Николая в водорослях, водоросли свисают с плеч, с головы, а выше левого уха волосы слиплись.

— Дядька! — вновь закричал Мишка, подбегая к Костке. Он схватил его руками за плечи, стал трясти.

Николай вдруг начал медленно вставать, увидел Мишку в форме, широко открыл рот, вытаращил красные глаза, простонал:

— А... а... Володька?.. Ты откуда здесь?.. Мы же тебя с Котом...

— Какой Володька? Что вы с Котом? — не понял Мишка. — Это я, Мишка, дядь Коль, и Реут со мной... Ты слышишь нас, видишь?

— А... — вновь застонал Костка. — Володька... Нет!.. Сгинь...

Он вдруг попытался вырваться из цепких Мишкиных рук, броситься прочь. Но Мишка потянул его к берегу, где их ждал Реут, и Костка в конце концов пришёл в себя:

— Хлопцы, где это я, что со мной?

— Да здесь, в лесу, дядь Коль! — закричал ему в лицо Мишка. — Слышишь меня?!

— Слышу, слышу... А где же Воло...

Костка осёкся.

— Кто Воло... Володька? Какой Володька? — спросил Мишка.

— Да это так, померещилось, — простонал Костка. — Друг партизанский был такой. Погиб геройски. Мы его с Котом даже похоронить как следует не смогли, в болоте пришлось оставить... А она, гадовка, по голове меня.

Костка приложил руку к голове, потёр возле левого уха.

— По голове, по голове, — с какой-то глупой радостью будто соглашался с ним Мишка. — Бывает... Идти сам можешь?

— Домой? — вдруг отчётливо, словно ничего и не случилось, спросил Костка. — А она, что с ней? Да я её!..

Костка заскрипел зубами, казалось, сейчас выплюнет их.

— Брось, брось, — поморщился Мишка. — Суд разберётся, что к чему.

Лесник, медленно покачиваясь, пошёл через кусты к делянке. Мишка начал искать в траве фуражку. Реут же, стоя в стороне, заметил в кармане Николаевого пиджака горлышко бутылки: “Ну, вот, — подумал он, — сейчас опохмелится, и всё будет, как надо. А то шуму наделали: убила, убила... Тьфу!”

Вместо эпилога

В наши дни в районном городке К., возле автостанции у пивной часто можно встретить двух стариков. Один — высокий, но, несмотря на довольно солидный возраст, ещё крепкий — собирает пустые бутылки. Другой — низенький, морщинистый, тощий, с глупой улыбкой, — всегда держит за плечами пустой мешок.

Эти двое бредут откуда-то из городка сюда, к пивной, и когда здесь собирается очередь, хвастаются какими-то своими заслугами. Все давно знают, что никаких особых заслуг у них нет, знают, кто они такие, относятся к ним снисходительно — интересные старички, живут в пригороде в одном домишке, когда-то купленном ими вкладчину. Также знают, что много лет тому назад они “погрязли” в каком-то деле в селе, в котором жили, и люди их просто изгнали оттуда.

...А в той деревне — в Заливье — большой, стоящей на берегу Друти, сегодня посторонний человек может увидеть возле крайней покосившейся, вросшей в землю хаты очень старую женщину, сидящую на завалинке. Заметив ещё издали человека, женщина медленно поднимается навстречу, долго и пристально всматривается в лицо, потом виновато улыбается: “А я смотрю и гадаю, не мой ли Володька идёт? Но — нет... А потом думаю, не сыночек ли с работы возвращается? Тоже не он, обозналась...”

Человек, не зная, кто такой Володька, где и кто сынок старушки и откуда они должны прийти, ради любопытства спрашивает о них.

Она отвечает:

— А вы разве не знаете? Володька — муж. На войне он. Но слышала, что она окончилась, люди уже вернулись, а его нет и нет... А сынок на работе в районе. Давно ушёл, и тоже нет и нет... Ничего, подожду...

Позже местные люди объясняют, что старушка “сдетинилась” (впала в детство или, если точнее, тронулась умом). Когда-то она ударила одного человека бутылкой по голове. Думала, что убила, а он жив остался, и пока суд да дело, она и... Вот и ждёт с той поры мужа и сына. Муж её, рассказывают, шёл с войны, да где-то затерялся, а сынок ещё маленьким умер...

В селе бабушку не обижают. Люди приносят ей еду, одежду, никто не говорит ей правду о муже и сыне, о том, что война давным-давно окончилась, какие сейчас времена.

Старушку как-то хотели забрать в интернат для людей с нарушенной психикой, даже обещали, что к ней туда придут муж и сын, было, уже почти уговорили, но вовремя возвратился с поля её сосед Никодим. Он начал стыдить приезжих, а бабушке сказал, что и муж, и сын придут сюда.

Это был Кода, бобыль. Вскоре после того, как женщина тронулась умом, он оформил над ней опекунство и сейчас смотрит за ней, как сын за матерью. Возвращаясь с работы, ведёт её с улицы в хату, приговаривая: “Потерпи ещё немножко, мамаша, придут. Уже скоро придут...”

И она успокаивается, говоря: “Потерплю, Никодимушка, потерплю. Придут. Ты же никогда меня не обманывал”.

МИКОЛА МЕТЛИЦКИЙ



ЖИЗНИ МОЕЙ ПОЖИТКИ

* * *

Тяжким трудом добытый
Скарб паковали рядом.
Жизни своей пожитки
Горьким обвёл я взглядом:

Речку, кусты, криницу
И в одуванчиках поле.
Сколько тут было воли
Мне, муравьям и птицам!

Как же забрать с собою
Ношу бывшего счастья,
Чтоб вдалеке без боли
Вспомнить и дождь в ненастье,

И яровое поле,
И васильки, и жито...
Тащит с трудом недоля
Жизни моей пожитки.

МЕТЛИЦКИЙ Николай Михайлович родился в 1954 году в деревне Бабчин Гомельской области, неподалёку от Чернобыля. Поэт, главный редактор журнала "Польмя", лауреат Государственной премии Республики Беларусь им. Я. Купалы, автор поэтических книг "Обелиск в жите", "Мой день земной", "Полесская печаль", "Бабчин", "На берегу моём" и др. Живёт в Минске.

* * *

Что помню я из прошлого? Немного!
Всё чаще проявления зла земного:
Распад империй, гибель городов,
Вулканов мощных изверженья. Пепел
Помпеи, землю вмиг укрывший слепо,
Что спрятал жизни множество следов;

Да пирамид величье многотонных,
Где отдыхают с миром фараоны —
Земные боги в свой недолгий век.
Куда ни глянь — водовороты боли,
Крушила, жгла, уничтожала волю
История — был слабым человек.

И всё же зачастую — это важно —
Шла с человеком рядышком отважность.
Озарено ей было много дней.
И без её возвышенного пыла
На свете зла, наверно, больше было б,
Не стала бы земля землёй людей!

СЛЕД

*Один я, а мысли всего лишь крылаты,
От них не бывает следов на снегу.*

Расул Гамзатов

В глубоких сугробах притихшее поле,
Метель заметает, ярится мороз.
Пустую деревню покинула доля,
Ушла, ни следов не оставив, ни слёз.

За белым туманом суровые хвои,
Как смутные призраки, тихо взошли,
И только лучистое солнце живое
Дыханьем касается спящей земли.

Да где-то вдали, за еловою чащей,
Прольётся звоночек — и цокот подков,
Разбуженных памятью дней уходящих
На шири уже отгоревших веков.

Раскроют полозья со скрипом насадным
Пустыню притихшей уснувшей земли
И жизнь возвратят на мгновение саду
И избам, что в белую землю вросли.

Стихией весёлой молчанье разбудят
Залётные кони.
Мчит время вперёд...
Зима возвратится.
Зима ещё будет.
Но счастья следов
На снегу не найдёт.

*Перевод с белорусского
Елизаветы Полеес.*

* * *

Всё дальше манит памяти большак.
Как древо лист, век стряхивает даты.
И ярче звёзды, где вопроса знак:
Ты кто, откуда
и идёшь куда ты?

Земля!
Мне пить глотками тяжело
Живую воду,
Стать травой и ветром
И где-то за предельным километром
Дышать стихией
И шептать:
“Прошло...”

Да, всё прошло...
Но пусть светло продлится
Твой новый день,
Как новая страница.

*Перевод с белорусского
Валентины Поликаниной.*

ФЁДОР КОНЕВ



ОДУВАНЧИК

ПОВЕСТЬ

В то воскресное утро, помнится, Никита Егорович Мехов проснулся в радужном настроении — что-то лёгкое и яркое приснилось, оставив на сердце радость. Вдобавок за окном светило солнце на безоблачном небе. Но когда он вышел из ванны, затрезвонил телефон. Старая знакомая сообщила, что исчез Семён Листопадов, и третьи сутки о нём ни слуху ни духу.

— Как исчез? — спросил в трубку Мехов.

— А вот так, — ответила женщина.

— Ну, есть же милиция...

— Да что ты, Никита! Всё обзвонили. И морги тоже.

— А чем я могу помочь?

— Ну, я подумала, что надо тебя известить.

С этим человеком, с Листопадовым, Мехов не был на короткой ноге, но долгие годы их связывало взаимное любопытство друг к другу. Такие отношения случаются только между людьми, которые явно не схожи и во многом даже противоречивы, но одной какой-либо сутью близки, одной страстью, ведь не зря сказано: рыбак рыбака видит издалека. Их привлекал взаимный интерес к вымыслам, на что были оба горазды, и они при случайных встречах обязательно заводили разговор о чем-либо далёком от суетной будничной повседневности. Не о деньгах говорили, не сплетнями обменивались, а рассказывали друг другу свои сны или наблюдения.

КОНЕВ Фёдор Егорович родился в 1935 году в селе Мужы Тюменской области. Окончил Всесоюзный государственный институт кинематографии (Москва). Кинодраматург, прозаик. Автор книг "Сполохи" и "Снегопад". Участвовал в создании двадцати фильмов. Среди них — "Счастливого человека", "Пламя", "Половодье", "Сад", "Фруза", "Шляхтич Завальня", "Ятринская ведьма", "Чёрный аист" и др. Живёт в Минске.

— Заглянул к соседям. Бабка сидит у телевизора и так смиренно, словно ожидает своей смерти. На экране супермен мочит всех без разбора. А тут тихо угадает бабка. Как тебе, Мехов?

— Что-то в этом есть. Сегодня хорошее слово вычитал: *памятозлюбен*. Оценил, Листопадов? Ну, пока!

Эти разговоры ни к чему их не обязывали и не имели практического значения, они случались сами собой и не досаждали. Мехов и Листопадов, возможно, были одинаковой закваски, но уж, бесспорно, разной выпечки. Одни и те же вопросы занимали их, но ответы находились разные. Вроде бы по одной дороге шли, а судьбы сложились — не сравнить. Один был относительно удачлив, словно в рубашке родился, а второму не везло хронически. Вот ещё умудрился исчезнуть!.. Заблудиться не мог, убежать тоже. Куда? Украсть его никому в голову не придёт: зачем? Кому он нужен?

Почему-то вспомнилось, как — давно уже! — заглянул Листопадов в кабинет Никиты Мехова, поболтал по обыкновению о посторонних вещах, а потом сказал, опершись локтем на подоконник:

— Сегодня проснулся и чего-то с такой досадой подумал о надвигающемся дне. Опять одно и то же: завтрак, обед, ужин... А денег в кармане — ни шиша. Осточертело. Как славно было бы исчезнуть, раствориться в воздухе, превратиться в крохотное облачко пара и вылететь в открытую форточку, вознестись и слиться с мутным белесым небом. Вовсе исчезнуть, то есть не только зримо, но и в памяти не остаться. Знакомые люди поутру продолжали бы жить, даже не заметив, что пустоет пространство, которое ещё вчера занимал я. Какое было бы блаженство, когда бы отпала нужда начинать новый день!

И что бы ни делал Мехов в это утро — одевался, завтракал, чистил туфли, — мысли его крутились вокруг Листопадова, и он постоянно возникал перед глазами.

Вспомнилась одна из недавних встреч. Низкорослый и худой Листопадов стоял на крыльце киностудии, на скользких мраморных плитах, одетый в неизменную шубу из чёрного искусственного меха, из-под которой выглядывали синие шаровары, заправленные в короткие, с широким раструбом резиновые сапоги; на голове была детская вязаная шапочка с кисточкой, и весь он походил на клоуна: маленький, с реденькой бородкой, со вздёрнутым носом и распахнутыми голубыми глазами, такими неожиданными на морщинистом, скукожившемся в кулачок лице.

— Бог есть? — спросил Семён, подав мягкую бескостную ладонь и вяло шевельнув пальцами. — Отвечай, Мехов.

Чувствуя себя рядом с ним слишком благополучным, Мехов отговорился расхожими словами:

— Спроси чего полегче.

Ему подумалось, что Листопадов начнёт жаловаться на род человеческий, потому что явно не удалось ему разжиться на пиво, а имел он обыкновение занимать только небольшие суммы, смехотворные, чтобы кредиторам стыдно было напоминать о долге. Но студийный люд хитрость разгадал скоро, и каждый встречный клялся, что мелочи нет. Семён Лукич в таких случаях невозмутимо проходил по кабинетам и набирал сумку пустых бутылок. Однако на этот раз его и в тарном промысле постигла неудача, студия давно не получала зарплату и кабинетный народ постился, а в цехах рабочие если и освежались, то пустую бутылку ни за что не отдали бы — не аристократы.

Но Никита Мехов ошибся в своих догадках, Листопадов ткнул пальцем в его живот, отстранился и поднял безоблачные глаза.

— Я тебя иначе спрошу: а что, если Бога нет?

— Мы живём так, как будто Его и нет, — ответил с натянутой улыбкой Никита Егорович, не понимая, куда собеседник клонит.

— Значит, всё можно? Так вроде ставил вопрос классик. А?

— А ты, Семён Лукич, какой-то общественный опрос проводишь?

— Если Бог есть, то надо оставаться человеком, но если Бога нет, то можно быть хоть кем. Так?

— Что ты всё Бог да Бог? Не на церковной паперти стоим.

— А надо оставаться человеком, если и Бога нет. Понял, Мехов? Пока! — Он многозначительно вскинул палец и осторожно стал спускаться по ступенькам. Уходил, важно вышагивая по выложенной плитам дорожке, смешной и жалкий, принимаемый встречными людьми за бомжа, но очень довольный собой и особенно тем, что ловко озадачил заместителя главного редактора Мехова, человека, в общем-то, неплохого, но всё равно чиновника, бюрократа.

“Надо бы с ним посидеть за чаркой! — подумал Мехов. — Напроситься в гости, что ли? Поболтать на кухне. Хотел бы я знать, сохранилось ли что-то в нём от того Листопадова, который ходил в гениях, или всё выветрилось? Должно быть, остались лохмотья каких-то обрывочных мыслей. Вот он ходит и разбрасывает их без всякой связи. Брякнул и пошёл дальше. Зачем брякнул? Чтобы удивить?”

Вялые размышления сбил молодой человек, недавний выпускник режиссёрских курсов, о котором Мехов пока и знал-то всего, что зовут его Сергеем.

— Здравия желаю, Никита Егорович! — остановился он рядом и кивнул на удаляющегося Семёна Лукича. — Это же Листопадов?

Мехов кивнул, ответил на приветствие, затем спросил:

— А что?

Молодой человек пожал плечами:

— Я не понял, что он имел в виду. Проходя мимо, бросил: “Без души можно жить, но без неё нельзя услышать Бога”. И пошёл дальше как ни в чём не бывало. Упрёк, что ли?

— Он у тебя занимал?

— Да мелочь!

— Вот он и озадачил тебя, чтобы ты не заговорил о долге.

— Да? — разочарованно произнёс молодой человек. — Хотя... алкаши все одинаково хитрят, по мелочи. Замечали? А это правда, что он когда-то подавал большие надежды?

— “Большие надежды” — это слабо сказано. О нём говорили — гений.

Никита Мехов поднялся на свой этаж, прошёл в кабинет и сел за письменный стол, тут же подумав, что повторяет этот путь тридцатый год подряд.

И уже из очень далёкого прошлого всплыло в памяти красивое лицо Марины Ливанской. Совсем недавно Мехов стал членом сценарной коллегии на киностудии, к тому же запустили в производство первый его сценарий, и всё киношное остро волновало его сердце. Что ни день, то случались интересные знакомства, студийное племя постепенно втягивало его в себя, как речной водоворот щепу.

В монтажном цехе, по причине искусственного отбора, что ли, работали одни красавицы, и все были молоды, стройны, длинноноги. Марина Ливанская ростом не выдалась, но среди своих сотрудниц выгодно отличалась миниатюрной соразмерностью. Её хотелось носить на руках. А круглое личико с толстыми губками и большими серыми глазами прямо-таки походило на ангельскую мордашку.

При этом Ливанская всегда была серьёзна, смеялась редко, считала себя умной и любила поговорить о серьёзных книгах, во множестве ею прочитанных. Это была одна из представительниц конца шестого десятилетия двадцатого века, которые преданно относились к искусству и в полном смысле слова боготворили человека с талантом. Такие женщины вывелись, и теперь кажется маловероятным, что они были способны отдать жизнь своему кумиру, служить ему и ради него терпеть лишения, при этом не будучи женой, а оставаясь поклонницей.

Это Никите Мехову раскрылось позже, а в тот день он робел перед красотой девушки и в ответ на её слова мямлил что-то невнятное. Сидели они за столиком в буфете, а тогда в этом заведении подавали хорошие болгарские вина и коньяк.

Постоянным посетителям буфетчица наливала займы, заноса должников в особый список. И это очень устраивало вечно безденежную творческую братию. Бывало, иной бедолага пользовался доверием буфетчицы полгода, пока не выпадал какой-то гонорар. А уж тогда приходил с букетом роз!

В этом буфете под винными парами частенько разгорались страсти, кто-то входил в раж и начинал разоблачать всё и вся, ругал чиновников и клял послушных им бездарей, на него обижались, ссорились, но затем как-то всё оборачивалось всеобщим братством, сдвигались столы и произносились слезливые от любви и умиления тосты.

Марина и Никита пили сухое вино и говорили о чём-то теперь уже забытом. И вдруг собеседница преобразилась, словно приготовилась взлететь прямо из-за стола, устремилась просветлённым взглядом в сторону двери.

— Листопадов, — произнесла она.

Повернув голову, Никита Мехов впервые увидел Семёна Лукича. Это был ниже среднего роста, поджарый, нескладного мальчишеского телосложения человек с пышной шевелюрой кучерявых светлых волос.

— Правда, он похож на молодого льва?

Никита Мехов кивнул, но про себя подумал, что Листопадов скорее похож на одуванчик, дунь — и голова окажется маленькой, сообразной узким плечам. Ступив в зал, он явно был уверен, что на него обратят внимание, но не спешил оглядеться, а устремился к стойке, за которой улыбалась полнощёкая буфетчица, что-то сходу заказал, а потом уж окинул взглядом комнату, расслабился и весело помахал рукой Ливанской. Она жестом пригласила его за свой стол.

— Он гений, — сообщила она, с приближением его улыбаясь всё шире.

Вблизи Никита Мехов разглядел круглое лицо, мелкий вздёрнутый нос, капризно сложившиеся губы и плоские голубые глаза, в которых не было никакого любопытства. И в этом Никита увидел игру: Листопадов как будто показывал, что всё-то он знает и ко всему на этом свете готов.

— Как жизнь? — безучастно спросил он Ливанскую.

— Тоска, — буднично ответила та и кивнула на Мехова. — Познакомься — Никита Мехов.

— Слышал, — он не подал руки, а только кивнул. — Сценарий не читал. Говорят, ничего. В штат зачислили?

— Редактором.

— Собачья должность, — определил он и выпил стакан вина.

— Отчего собачья? — не согласился Мехов.

— Оттого, что кусачая, — засмеялся Листопадов, показав частые мелкие зубы. — Уж я-то знаю.

— Уж да! — подхватила Ливанская. — Уж его покусали всласть!

В середине шестидесятых годов Листопадов приехал с дипломом режиссёра и был хлебосольно встречен тогдашним директором студии, вскоре погибшим в дорожной аварии, но успешным новичку доверить постановку полнометражной кинокомедии. Листопадов не сумел отказаться, да и не особенно отбивался, считая, что всё ему по плечу.

Тогдашний Семён Лукич не остыл ещё от оттепели, как называли время на стыке пятидесятых и шестидесятых годов, страстно верил, что всё будет хорошо в родном Отечестве, что до полного народного счастья осталось немного: одолеть кое-какие пережитки прошлого, и всего-то! С культом отца народов покончено, живи и проявляйся.

Вот с таким пагубным настроением и затеял сражение с тёмными пятнами на светлом лице советской действительности горячий по натуре, честный до глупости и безоглядно счастливый Семён Листопадов.

И всё сначала шло хорошо. Художественный совет одобрительно отнёсся к отснятому материалу: свежо и смешно, что и нужно для комедии. Но когда не единожды просмотренные начальством куски сложились в монтаже в единое целое, когда появились шумы и музыка, когда каждая реплика обрела чёткость и легла на своё место, грянул гром.

Картина рассказывала о простых, как называли по-армейски, рядовых людях, которые оказывались чертовски сметливы, находчивы и напористы, чтобы обойти разного рода чиновников, и жили так, как человеку положено, то есть толково. Выходило, что ни труженик — умница, что ни начальник — дурак. А в зале сидели не рядовые. В креслах восседало руководство. И так оно обозлилось на картину, что не только запретило, а велело смыть пленку, чтобы стала прозрачной.

От первого фильма Листопадова не осталось даже кадра. Бывшего директора уже не было в живых, и во всём обвинили покойного, потраченные деньги списали, а режиссёра забыли, будто и не было такого.

Но о картине очень долго помнил студийный творческий люд. Как всякая легенда, история фильма обрастала былинными подробностями, и уже кто-то с пророческим видом говорил, что погублен кинематографический шедевр, и прощения этому не будет. Семён Листопадов ходил без работы и даже без надежды на неё, но при людях не унывал и часто в компаниях рассказывал о своём главном замысле, с которым приехал на киностудию и которому *зелёный свет* обещал покойный директор, но с условием: прежде спасти слабый комедийный сценарий. Производственный интерес... Знал бы, чем это кончится!

Тогда, в буфете, Марина Ливанская сказала:

— Сегодня собираемся у меня. Придёшь?

— Если ты просишь...

— Ещё как прошу! — призналась Ливанская.

— Будешь? — с легкостью перешёл на “ты” Листопадов, глядя на Мехова с каким-то нетерпением.

— Конечно, будет, — подтвердила Марина Ливанская.

— Там и покалякаем, — торопливо поднялся Листопадов. — Спешу. Пардон. И всяких благ!

* * *

Когда-то давно в душе Семёна Лукича Листопадова зародилась мечта создать редкой красоты кинокартину, и в ту пору казалось, что в этом его единственное земное предназначение: сотворив сие, можно спокойно умереть. Ему ещё не было тридцати, он был порывист в чувствах, страсти вспыхивали с пороховой лёгкостью и опаляли тогдашних слушателей, его друзей и подруг, в большинстве своём таких же молодых утопистов.

Никита Мехов каждый раз удивлялся тому, как разительно другим становился Листопадов в такие минуты: безразличные глаза начинали светиться, словно сквозь них пробивались лучи, в некрепком теле возникала упругая сила, а голова в пышном облаке пушистых волос приобретала царственное величие.

— Главный придворный звездочёт флорентийского герцога Медичи, сенатор и член тайного совета мессер Джан Галеацца де Горгольо, — говорил Семён Лукич упругим голосом, в котором ощущалась восторженная дрожь, — отбыл с секретной миссией через Польское королевство в столицу Золотой орды Сарай-бату, имея целью договориться с монголами о совместной войне против турок. На территории нынешнего белорусского Полесья мессер бесследно исчез на глазах своих попутчиков, кои тут же бросились прочь из тех мест в сильнейшей панике.

В этих начальных словах, как считала Ливанская, звучали булгаковские интонации.

— Помните, как начинается “Мастер и Маргарита”? — спрашивала она каждый раз и артистично воздевала руки. — “В белом плаще с кровавым подбоем, шаркающей кавалерийской походкой...”

— Удивительно точное наблюдение! — вскидывался рыжий и худосочный тип, который тем и запомнился Мехову, что восхищался по каждому пустяшному поводу и теребил длинными, казалось, бескостными, как щупальца, пальцами соседей, чтобы те разделили его восторг, но встретив пренебрежение, замирал в задумчивости, чтобы через какое-то время снова вползнуть в экстазе.

— Тихо! — строго и требовательно повышала голос Ливанская. — Тихо, друзья!

Подвыпившие приятели и приятельницы слушали Семёна с чувствительным пониманием, бросали короткие одобрительные реплики, не забывая наполнять стаканы дешёвым вином совхозного производства, которого тогда

было в изобилии, словно уже надвинулся одним боком на страну коммунизм.

Ливанская имела однокомнатную квартиру в старом доме, и кухня была очень просторной, круглый обеденный стол стоял посередине, и хватало места ходить, ничего не задевая. Никита Мехов был новичком в компании, немножко стеснялся и оттого, должно быть, всё внимание обратил на Листопадова, стараясь разобраться в его замысле.

В тот же вечер изрядно выпивший Листопадов признался Мехову, что намерен создать эпическую притчу о Времени и Человеке. Режиссёрские замашки его не страдали скромностью, в честолюбивых мечтах возникало полотно, которое затмило бы Феллини, знаменитого тогда мастера. Листопадов так и сказал:

— Этой выси никто не достигал. Поверь на слово, Мехов, никто! Фильм в башке, осталось перенести на плёнку.

В конце вечера Мехов и Листопадов почему-то сидели в коридоре на сваленной в кучу верхней одежде гостей, по-азиатски скрестив ноги и держа в руках початые бутылки вина. Листопадов жаловался на судьбу и терзал пятернёй пушистые волосы.

Когда комедию смыли, земля качнулась под ногами и, спасаясь в отчаянии, Листопадов ухватился за горлышко бутылки. Благо друзей-соотрапезников искать не пришлось — обиженного народа возле студии вилось много. Семёна принялись таскать в какие-то компании, представляли кому-то, с кем-то знакомили, говорили о нём восхищённо, глухо ругали систему и восторженно замолкали, когда он, изрядно выпив, начинал говорить. Нет, он не поносил своих обидчиков, не жаловался на судьбу — он возносился в мечтах.

— Но ещё до таинственного исчезновения мессера Джан Галеацца де Горгольо, а именно пятого марта триста девяностого года от Рождества Христова, в правление римского императора Феодосия, военный трибун девятого легиона четвёртой когорты Публий Гельвеций был направлен во главе многочисленного отряда на кораблях в далёкую Сарматию. Ему был дан приказ отыскать водный путь из Понта Эвксинского в Свевское море. Трибун Публий Гельвеций бесследно исчез в дебрях лесов верховьев таинственной реки Борисфен. Один из легионеров видел, как трибун ринулся за девушкой, которая внезапно появилась перед ним. Он почти догнал её, протянул руку, чтобы схватить за длинную косу, но тут случилось невероятное: Публий и незнакомка растворились в воздухе.

Если сначала Листопадов пил с горя, то со временем водка становилась ему необходимой, чтобы расшевелить в душе мечту, которая замирала в трезвые минуты жизни, когда Семён начинал понимать, что в кино ему дорога заказана. Он убедился в этом, тычась в двери всех кабинетов. Начальство опасалось, что он опять что-нибудь выкинет, так что ждать милости не приходилось. Умные люди советовали ему покаяться, упасть на колени, прикннуться *блудным сыном*, мол, “выведите на путь истинный, светлые мои товарищи”, но Листопадов с малых лет не умел притворяться и чувствовал, что не проведёт пройдошных советских чиновников.

В редкие дни трезвости ему становилось страшно жить, и он снова тащился в какую-нибудь компанию. Начинались бесконечные сидения на чужой кухне, короткий сон в чужой постели или на полу вповалку с другими, тяжёлое пробуждение, помятые лица, хрипкое мычание и спасительное похмелье.

По утрам от первой рюмки Листопадов ещё более мрачнел. Событийники оживали, рассказывали с каким-то идиотским восторгом, кто чего помнил из вчерашнего. Листопадов наливал себе сам и выпивал один. Из души не сразу улетучивался мрак. Семён жестом просил соседа снова плеснуть. И в какой-то миг с разливающимся внутри теплом появлялась уверенность, словно рушился невидимый забор, и душа обретала свободу. Это означало, что вернулась мечта, и уже казалась она осуществимой, потому что нет преград, которую не одолел бы Листопадов. Да не может такого быть, чтобы он не доказал самым твердолобым, как важен и как нужен зрителю, а уж если быть откровенным, так всему народу задуманный им, Листопадковым, фильм. Поймут, поймут...

— Триста семьдесят два года спустя после того, как придворный звездочёт флорентийского герцога Медичи отбыл с секретной миссией в столицу Золотой орды, — уверенным и твёрдым голосом прерывал застольную болтовню Листопадов, ничуть не сомневаясь, что все будут слушать его, как и всякий раз, когда он начинал рассказывать свой главный замысел, — а именно второго ноября 1812 года корпус под командованием генерала Ермолова столкнулся с арьберггардом отступавшей Великой Армии в верховьях Днепра. Непродолжительный бой завершился полной победой русских, в плен сдались около трёхсот французов. Потери русских были ничтожны: двое убитых и несколько раненых, среди которых был молодой артиллерийский подпоручик второй бригады Александр Фролов. Его товарищ оставил раненого на опушке леса и побежал за помощью. Когда же он вернулся с носилками и двумя санитарями, то Александра Фролова не обнаружил. Вступив в лес, он увидел сплошное непролазное болото. Фролов бесследно исчез.

Листопадов говорил, откинувшись и заложив руки за спинку стула. Не раз Никита Мехов видел его таким. В такие минуты он уходил в своё вожделенное кино. Он смотрел прямо перед собой и не замечал слушателей. Должно быть, перед его мысленным взором щетинилось стерней неровное поле...

Трое растерянных людей суетятся на опушке леса, стараясь найти хоть какой-нибудь след. Один из них вдруг застывает, с ужасом глядя на болотные оконца среди рыжего кочкарника и чахлах берёз, стайкой уходящих вглубь, в сизый туман, что густо клубится над жёлтой хлябью. Товарищ Фролова, сам ещё молодой и безусый поручик, с невольным страхом отступает назад, когда слышит зов, глухой и далёкий, словно долетающий из болотной прорвы.

— Что это? — спрашивает он санитаров.

— Вас кличут, ваше благородие, — ответили солдаты. — И вроде подпоручик-с... Фролов-с...

И тут его благородие замечает девушку, одетую, как крестьянка, с длинной и толстой косой на груди.

— Болотная дева, — шепчет один из санитаров.

— Послушайте! — бросается к ней его благородие. — Подождите, барышня!

Она с улыбкой отступает назад, протягивая руки ему, явно манит, блазнит. За ней пузырится тина, ещё шаг — и девушка погибнет. Поручик броском настигает её, и санитары немеют от изумления: исчезает в призрачном воздухе вместе с девицей.

Сколько ни длились вышивки, а похмелье наступало. И тогда Листопадову приходилось возвращаться домой, в одиночество. Он клялся, что никогда больше не пригубит ни капли вина. Но хватало его ненадолго. Походит по киностудии, посидит в приёмных, даже принят будет из милости кем-то, но ничего не добьётся, и такой мрак заполнит душу вязкой смолой, что не выдержит и снова побежит из дому, чтобы хоть на короткий миг вернуть мечту, и самозабвенно, не ведая, каким людям, и не помня, в который раз, говорить страстно:

— Мессер Джан Галеацца Горгольо, военный трибун Публий Гельвеций, подпоручик Александр Фролов с товарищем и многие другие исчезали бесследно, и люди забывали о них. Проходили годы и столетия, время двигалось ровно и неуклонно, превращая в прах поколение за поколением, никого не щадя: ни самых достойных, ни самых непотребных, ни гениев, ни глупцов, ни грешных, ни праведных. Всё, что приходило жить, неизменно умирало. Время шествовало вперёд, неведомо когда начав роковое движение. И только над цветущим островом среди гиблых полесских болот время было не властно. Ведь оно существует тогда, когда что-то рождается и что-то умирает, когда зиму сменяет весна, а весну — лето, когда солнце восходит и заходит, отмечая дни и ночи. Но если всего этого нет, а есть одно бессмертие, то и нет времени.

Он умолкал, ему подавали стакан с вином, он пил, а кто-то в это время рассуждал, глядя на него, что Россия долго ещё будет не колыбелью, а кладбищем талантов.

Но с годами Листопадовым восхищались всё меньше — его всё больше жалели. Друзья-приятели вроде бы даже искренне вздыхали о сломанной судьбе безвредного человека, но он не жалости хотел, не сострадания, а того, чтобы оставалась с ним возвратившаяся во хмелю мечта и чтобы все верили, что не сломался Семён Лукич, что есть ещё порох в пороховницах... Но уже никто не тешил себя надеждой, что Листопадов поставит картину. Постепенно он становился даже докучливым завсегдатаем киностудии.

Марина Ливанская создала для себя нового кумира, глаза её сияли, когда появлялся высокий, с печальными глазами навькате, внешне похожий на смертно загнанного и совершенно не кормленного коня человек, который пока поставил один документальный фильм, но подавал, по мнению двух-трёх знатоков кино, огромные надежды.

— Колоссальный ум! — повторял слова Марины Ливанской восторженный Кокوشин и теребил белую кофту соседки, словно вытирал пальцы. — Оригинал!

Этот гигант ума сразу не пришёлся по нутру Мехову, показался скучным и дохлым, свои умозаключения он явно готовил заранее, старательно копаясь в книгах, потому в спорах не участвовал, а сидел с отрешённой скептической улыбкой на суховатом лице и грыз ногти.

— Тихо! — призывала Марина. — Тихо, друзья!

Тогда оригинал начинал вещать. Мехов не понимал, о чём он говорит, и другие точно так же терялись в догадках, но согласно кивали и разводили руками, соглашаясь. А он лепил цитаты на цитаты, будто клал кирпичи без цемента.

— Мессер Джан Галеацца Горгольо, — в пьяном забытии перебил его однажды Листопадов и в испуге умолк.

Кричала Марина Ливанская. Никита Мехов такой её и не видел. Она вскочила с ножом в руке и побледнела.

— Хватит! — вопила женщина. — Сколько можно?!

Подскочил Кокوشин, словно его шилом ткнули, затрясся от злости и нетерпения.

— Заткнись! — противным тонким голосом завизжал он и вытянул щупальца, словно намереваясь ухватить Листопадова за горло.

Станным показалось Мехову то, что очень неглупый Листопадов не предвидел заранее, что этим и должно когда-то всё кончиться, потому так растерялся, что на него было больно смотреть. А за столом сидело человек десять. Все завсегдатаи: неудавшийся оператор, который семь раз поступал в институт кинематографии, но не прошёл творческий конкурс, молодой писатель-новатор, который создавал аллегорический роман из жизни дождевых червей, и его приятель, сумрачный тип, у которого отец работал в местном издательстве, две подружки Марины по работе, беспрерывно кутившие с выражением постоянного понимания и сочувствия на лицах...

Вся эта публика уставилась на бедного Семёна Лукича, который надоел им хуже горькой редьки, отчуждённо, недовольно, даже злобно. Тогда поднялся Никита Мехов и бесцеремонно заявил:

— Вы не очень-то... Спрячьте клыки.

Эти слова подействовали на Марину Ливанскую, она поняла, что сорвалась, повела себя недостойно, что получилось некрасиво, и села явно в подавленном настроении. А кого-то Мехов задел.

— Что значит — клыки? — с угрозой спросил приятель романиста. Ответ на вопрос — и начинёсь склока, народ-то обидчивый, битый и неустроенный, а он, Мехов, и при службе, и фильмы ставят по его сценариям. И чего он болтается в этой компании? Может быть, в стукачах ходит? Очень на то похоже.

Не взглянув на просившего, Мехов взял за руку Семёна и вывел из-за стола.

— Идём, Листопадов.

Но тот уже очухался, уже гордыня разыграла, остановился в дверях кухни, обернулся и спросил:

— Пропуска на студии у всех в порядке? Завтра приступаю к дежурству. Устроился вахтёром.

С пропусками у этой компании было неважно — обычно на студию проводили друзья. Но не это озадачило братию. Новый избранник Марины Ливанской проявил себя с неожиданной стороны. О лошади в таких случаях говорят: попала шлея под хвост. Под грузом высоких и глубоких мыслей он постоянно пребывал в состоянии живого памятника, а тут вскочил со стула, стал по кухне ходить и всё руки потирал — того и гляди ладони задымятся. Марина Ливанская смотрела на него испуганно и восторженно, ожидая слов истины.

— Вы понимаете?! — воскликнул молодой человек. — Это же... Нет, вы только подумайте! Вникните! Вообразите!

Если бы ещё намекнул, во что нужно вникнуть и что вообразить, цены бы ему не было, но все гении на один манер — их надо разгадывать. За столом возникло некоторое замешательство, никто не знал, надо ли гнать Листопадова или восхищаться им. Все с большой надеждой смотрели на Максимилиана — так звали новичка. Вообще-то он был Максимом, но очень любил поэта Волошина, и потому чуть изменил своё имя.

— Пастухов! — воскликнул Максимилиан и застыл, воздев руки. Пастухова за столом, естественно, не было, но все знали его и одинаково презирали. Такой бездари днём с огнём не найти, а он постоянно в работе. Ничёмный человек, но великий подлиза. Так умеет ладить с начальством, что никто на студии этого искусства не может умом постигнуть. Даже директор дивится: пакость какая! И тут же запускает в производство его новую картину. А что делать? К чему придраться? В его фильмах всё настолько правильно, что опасно критиковать.

— Подходит Пастухов, — пылал вдохновением Максимилиан. — А вахтёр ему: “Ваш пропуск!” У того глаза на лоб. А Листопадов: “Пропуск. — Не узнаешь, что ли? — Пропуск. — На тебе! — Ваш пропуск не действителен. Тут нет пометки, что вы талантливый режиссёр. С вашими способностями следует работать не на студии, а в общественном городском туалете, милейший!” И... не пропускает.

Компания с немим восторгом уставилась на Листопадова, полные губы Ливанской трепетали нежностью, а глаза сияли несказанным светом.

— Феноменально!

— Идём, — тащил Мехов за руку Семёна, который был уже готов простить изменницу и занять пустой стул. — Не унижайся.

Они в тот вечер поехали почему-то на железнодорожный вокзал и проболтали там всю ночь, то шастая по округе, то сидя в зале ожидания среди сонных людей.

— Ты хоть понимаешь сам? — вопрошал Никита Мехов. — Все человеческие ценности теряют смысл, если придёт бессмертие. Рушится государство, его система запугивания. Как человека наказать, если он бессмертен? Сколько ему лет тюрьмы дать? Чем его можно наградить? Он и так отмечен бессмертием. Ордена, медали, звания — всё не имеет смысла. Это смертные хотят отличаться от других, оставить память о себе. А кто поставит монумент бессмертному? Какой в нём смысл? И все религии ни к чему. Зачем мне Бог, если я не умру?

В ту ночь Мехов говорил много, а Семён слушал и никак не загорался. Мехову казалось, что он понял его замысел, и за это благодарности ждал, а Листопадов повесил нос и глаза прятал.

— Ты для того свёл людей на острове бессмертия, — толковал Никита Мехов, — чтобы усомниться во всех нынешних идеалах, а единственной ценностью признать Красоту. Вот, брат, на что ты замахнулся.

Терпеливо выслушав излияния Мехова, Листопадов тихим голосом сказал, дотронувшись пальцами до локтя собеседника:

— Они были свободны. Там, на острове... Если кому-то захотелось бы уйти, он мог это сделать запросто. Шагай себе назад, болото перейдёшь по кладу, а за ним есть невидимая граница, переступил черту — и ты в царстве Времени.

Он помолчал, посопел, проводил взглядом толстую цыганку, что шла через зал к выходу, и добавил:

— Но никто из них не знал, сколько лет прошло. Может быть, давно его земной срок кончился. Перешагнул черту — и всё, пылинки малой от тебя не осталось. Вот в чём суть.

Листопадов вздохнул, словно освободился от главного и самого тяжёлого груза, и продолжал:

— Я никому не рассказывал замысел до конца. Мои приятели не поняли бы меня. Им чем нравится... нравилось то, что я рассказывал? Они так понимали, что это вызов сегодняшней действительности. Для них Остров бессмертия — это противопоставление советской власти, вызов режиму. А я не против социализма. Я совсем о другом хочу делать кино. Совсем о другом!.. Мессер Джан Галеацца Горгольо, военный трибун Публий Гельвеций... Это антураж, завлекалочка. А мне Фролов дорог. Сашка Фролов. Только он.

И неожиданно заключил:

— Есть земные ценности, без которых жизнь теряет смысл.

И дальше ничего не стал объяснять, а продолжил рассказ о Фролове, детство и отрочество которого прошли на окраине маленького старинного городка на высоком берегу Западной Двины ниже Смоленска, в деревянном доме в два яруса, под малиновый звон колоколов. Семья была большой: с дедушками, бабушками, с тетюшками, со строгим отцом, артиллерийским полковником в отставке, с милой маменькой и пятью сестрицами. В начале юности Александр влюбился в дочь соседнего помещика, и ему казалось, что в мире нет ничего красивее имени Наташа. Вдоль прибрежной кручи стояли в ряд тополя и были вконец одряхлевшими, дуплистыми и мрачными, но никто их не валил, потому что ещё помнили: их посадил прапрадед. Юная парочка встречалась у этих тополей и клялась друг другу в вечной любви.

В ту ночь Семён Листопадов рассуждал о своих придуманных героях, как о реальных людях, приводя многие детали и подробности, столь значительные в отношении молодых людей, показывающие подлинность и глубину их чувств. В ту ночь Семён Листопадов говорил только о любви. А Никита Мехов слушал и догадывался, что Семён Лукич влюблён. Но в кого? Не в Ливанскую ли? Однако выяснять не стал.

— Так о чём же твой фильм? — спросил Мехов, когда Листопадов умолк.

— Пошли по домам, — вздохнул Семён Лукич. — Я устал.

Назавтра Никита Мехов, придя на работу, увидел Листопадова возле турникета.

— Проходи, — сказал тот ему и не стал смотреть пропуск.

Оказалось, что Семён Лукич в самом деле устроился на студию вахтёром. Удалось ему это потому, что охрана была вневведомственной. Своим появлением в форме, при фуражке с синим околышем он сильно шокировал руководство студии и особенно Госкино. Его вызвали в партком, хотя он был беспартийным, долго и терпеливо беседовали, уговаривая уволиться, даже предлагали работу в документальном кино, однако Семён Лукич не согласился из принципа. Ему нравилось говорить самому директору студии:

— Предъявите пропуск.

Конечно, тот возмущался: куда это годится! Но Листопадов молча показывал на вывеску, которую повесили по приказу того самого директора, предъявляющую предъявлять документ при входе.

Мерно текли безликие семидесятые годы, про режиссёра Семёна Лукича Листопадова постепенно забыли, уже привыкли видеть его в мундире, а он оказался толковым, продвинулся по службе, стал главным над охраной, имел собственный кабинет во флигеле, подписывал все пропуска — без его подписи теперь было никак! Теперь он сам был большим начальником, бумаги на столе перебирал...

Иногда он заглядывал в кабинет Никиты Мехова, и если выпадало время, они тихо беседовали о чём-нибудь. Как-то однажды пришёл, сел на диван и долго молчал, глядя в окно, потом вздохнул:

— Вот же наказание!

— Да что такое? — участливо спросит Мехов.
— Не отпускает, — пожаловался Семен Лукич.
— Кто?

— Не кто, а что!.. — грустно улыбнулся Листопадов. — Привычка... — Он повздыхал, глядя куда-то в угол, и грустно рассказал:

— Подхожу к лестнице на второй этаж, к тебе собрался. А по ней спускается девушка. Ну, такая прямо... Слов нет! Бывают же! Я остановился на первой ступени, смотрю на неё. Девушка прошла мимо, пахнув дорогими духами. А я стою, замерев. И — раз! — посмотрел назад. Она проходит через двойные двери и на миг отражается в стёклах. Какой кадр!

Он расстроено замолчал, должно быть, горько сожалея, что никто, кроме него, не видел этого чудного мгновения.

— Так всю жизнь, — пожаловался тогда Семен Лукич. — Всё вижу в рамке кинокадра. Проклятье какое-то! Сколько, Никита, я этих своих фильмов перевидал! Уму непостижимо...

— Я помню... про тот остров...

— Что ты помнишь? Я никому не рассказывал тот замысел до конца. Вся-то суть — в конце.

— Расскажи.

— Да какой толк теперь!

Он поднялся и ушёл, сославшись на неотложные дела.

* * *

Между тем, людская жизнь струилась себе тихо да мирно. Потом ту пору назвали “застоем”. Подобно равнинной реке текла та жизнь, да вдруг забурлила, разрушая берега, будто порожистые места пошли, перекаты, падуны... На киностудию хлынули какие-то нувориши с деньгами, позанимали кабинеты, назвали офисами, компьютеров наставили, длинноногих девушек посадили за них, клепали картины десятками. Один такой “новый русский” пристал к Листопадову, прослышав про его давнишний замысел. Семён Лукич свою выгоду быстро усёк: угощался коньяком да кивал головой, но, оказалось, до поры до времени.

Продюсер от него секса требовал. Красивые девки и парни на острове бессмертия... Чем им заниматься, имея столько свободного времени? Конечно, сексом. Только представить: вечный сексуальный карнавал. Это грандиозно!

Семён Лукич кивал головой, попивая дармовой коньячок, а потом поднялся и сказал:

— А не пошёл ли бы ты подальше, чучело?!

— Ты что? — не понял продюсер. — Я тебе зеленью отвалю. Ты таких денег в руках не держал. Мне такая картина — во как нужна! Я на ней миллионы загребу. Не брыкайся.

Однако Листопадов не стал разговаривать со своим благодетелем и даже коньячком пренебрёг. А ведь мог ещё тянуть волюнку ради халявы... Но не выдержала душа пошлого измывательства над его замыслом. Взбунтовалась.

Уже к более позднему времени относится одна обстоятельная история, которая круто могла поменять жизнь Семёна Листопадова, и всё к тому шло, да опять осечка вышла. И причиной того был он сам.

Однажды после обеда Семён Лукич по обыкновению обходил территорию киностудии, изрядную площадь, обнесённую забором, на которой находились столярка, пилорама, склады, фильмотека, пошивочный цех, гаражи, ремонтные мастерские — разные хозяйства. Смотри, охрана, в оба и не зевай!

За отдельным проволочным ограждением устроили охраняемую стоянку для личных автомашин сотрудников, и возле неё Лукич столкнулся с Виталием Погудаловым, который только что поставил свою “Волгу” и направился в сторону главного здания.

В другой раз обошлись бы кивками, а тут Погудалов почему-то остановился.

- Сильно занят? — улыбнулся Погудалов.
- Да нет.
- Зашёл бы... У себя буду. Обойдёшь владенья, загляни. Лады?
- Лады.

И они расстались.

Обратно Семён Лукич возвращался по коридору мимо комнаты, которую уже несколько лет занимал Погудалов, человек заслуженный и занимающий на студии далеко не последнее место. По творческим вопросам директор не принимал решений, не поговорив с ним, не посоветовавшись.

Начинал Погудалов в одно время с Листопадовым, оба запустились с картинами, один — с комедией, другой — с партизанской темой. И если Семёна Лукича за его труды в дёгте выкупали, то Погудалова наоборот — обласкали. Начальство до того было довольно молодым режиссёром, что тут же выдало трёхкомнатную квартиру и распахнуло перед ним широкие ворота: иди и твори.

Семён Лукич остановился возле кабинета Погудалова. Скорее всего, постоял бы и пошагал дальше, не видя нужды в разговоре, но тут подошёл к нему Никита Мехов. Он как раз направлялся в ту же комнату. Узнав о приглашении, Мехов энергично схватил Семёна Лукича за плечи и распахнул дверь.

В комнате было несколько человек из съёмочной группы, которым режиссёр давал поручения, но, увидев вошедших, воскликнул:

— Всё! Разбежались!

Он выждал, пока все ушли, и обратился к Мехову:

— Как раз кстати. Помнишь его замысел?

— Об острове? Как не помнить!

Погудалов, продолжая разговаривать с Меховым, усадил Семёна Лукича на диван и отошёл к письменному столу.

— Может быть, наступило то самое время, когда нужно делать такого рода картины, — убеждённо рассудил он. — Мне постоянно долбят, что нужно делать коммерчески выгодные фильмы. А как это сочетать с искусством? Мне кажется, Семён, твой замысел попадает в десятку.

— Считаешь, что можно запуститься с фильмом Семёна Лукича? — заинтересованно спросил Мехов.

— Как нечего делать, — бросил Погудалов. Он решительно двинулся к двери, бросив на ходу:

— Идём к директору.

В кабинете директора было ощущение простора, потому что небольшая комната была очень скупо обставлена: письменный стол, стулья вдоль стен, узкий, как пенал, гардероб — и всё. На голых стенах висела единственная репродукция в небольшой рамке под стеклом: излучина реки среди долины.

Хозяин кабинета был человеком невысокого роста, большоголовый, лысый, с худыми плечами и с брюшком, но при всём при том не казался невзрачным и сразу располагал к себе. Причиной тому были, видимо, добродушное лицо и пронизывающая всю его суть простота. Этот человек едва ли умел хитрить и притворяться. Как он в начальники вышел?

— Явились за него просить? — догадался он.

Директор смотрел на Семёна Лукича с весёлым и даже озорным любопытством в глазах.

— А как порох в пороховнице? — спросил он.

— Сухой, — ответил Погудалов. — В этом смысле даю полную гарантию. Талант не умирает, а крепчает со временем, как вино.

— Ну, раз как вино, — добродушно отозвался директор и налил в стакан воды из стоявшего на подоконнике графина. — Тогда за здоровье! Давай сценарий. Деньги выбью только под хороший сценарий.

Шагая к своему флигелю, Листопадов не чувствовал ни радости, ни грусти. Он оттого был спокоен, что понимал: постановка фильма вполне реальна. Мечта, которая томилась в нём десятки лет, может осуществиться. И все те кадры, что преследовали его воображение, теперь перейдут на экран. Что ещё нужно художнику? Ради этого он готов отдать остаток жизни. Сколько

раз Семён Лукич уверял себя, что о нём непременно вспомнят, и ждал этой минуты! Вот и пришла она...

Но более самого счастливи́чика был взволнован Никита Мехов. Теперь он каждый день заглядывал в кабинет Листопадова и спрашивал:

— Как подвигается?

— Вполне, — отвечал Семен Лукич. — Тыфу-тыфу!

Когда прошла неделя, Мехов завалился к Семёну Лукичу с утра.

— Где исписанные листы? Отдам на машинку.

— Да понимаешь? — начал мямлить Семен Лукич. — По вечерам приходится... Днём же на работе.

Одной недели для написания сценария, конечно, было маловато, и Никита Мехов предложил хотя бы набросать расширенную заявку, в которой Семён Лукич эмоционально изложил бы суть истории. Мехов был готов бескорыстно помочь приятелю доработать вещь.

Но прошла ещё неделя. Никита Мехов пришёл к Семёну Лукичу уже с некоторой опаской.

— Принёс?

— Да понимаешь...

— Ты хоть садился за стол? — напрямик спросил Мехов.

— Я думал...

— Что тебе думать? Ты столько раз пересказывал его. Наизусть помнить должен.

— Оно так, конечно. Но понимаешь, Никита? Не поверят.

— Кто не поверит?

— Люди. Зрители. Они другими стали.

— Во что не поверят?

Это было в середине девяностых годов. Много тогда появилось такого народа, что стремились бросить свою страну и уехать за бугор, видя там рай земной.

— Посмотри, что творится, Мехов. Это же кто? Это же потребители. Что им до моего замысла?

— Что ты хочешь этим сказать? — встревожился Никита Мехов.

— Замысел устарел. Нынче о душе думают только старики, а молодёжь — о деньгах. Какая любовь? О чём ты? Нынче любви нет, есть только секс. Кошелёк набит — куши красавицу. Товар доступный.

— Что ты такое городишь, Лукич? При чём тут всё это?

— Да и поздно мне о любви... Старый холостяк, седой, хворый... Что я понимаю в любви?

— При чём тут любовь? — недоумевал Мехов.

— Да как при чём? Вся-то суть в этой любви. Я разве тебе не рассказывал финал?

— Не удосуужился!

— Так чего с тобой толковать? Ты же не знаешь, о чём я хотел снять кино.

— Растолкуй, будь милостив.

— Зачем? Что это даст? Говорю же: устарел сюжет. Помнишь Марину Ливанскую?

— Ну, помню.

— Как-то случайно встретил. Бог ты мой! Какие мы другие стали! Даже по глазам видно.

— Да Ливанская при чём, если тебе дают постановку?

— Когда-то, Мехов, я любил эту женщину. Я ради неё сюжет придумал. И ни разу не рассказал ей до конца. Боялся, что скажет: сентиментально. Тогда это было ругательным словом. А теперь поздно. Нас нет, прежних, остались тени.

— Дурак ты, Лукич. И пошёл ты к чёрту!

Тогда Никита Мехов ушёл от Листопадова очень рассерженным, а когда остыл, всерьёз задумался над его словами: не поверят. Ему страстно захотелось выведать, какое же разрешение сюжета замыслил когда-то Листопадов, если и тогда не осмеливался рассказать, и теперь опасается договорить. Во что теперешний зритель не поверит?

Все старания Погудалова и Мехова оказались напрасными. Семен Лукич долго отлынивал от постановки, а потом и вовсе стал сердиться при упоминании о ней.

После короткого бума в начале девяностых годов благодетели-спонсоры исчезли: отмыли деньги, успокоились и в кино больше не видели выгоды. Студия еле кряхтела, вымучивая в год две-три картины. Стало столько безработных режиссёров, что о Листопадове снова забыли, и теперь уже навсегда. А между тем время не отдыхало, своё дело делало: поредели волосы, сморщилось лицо, появилась сутулость, годы тихонько укатали сивку... Семён Лукич так и не сумел создать семью, жил в однокомнатной квартире бо-былём и стеснительно попивал. К Мехову заглядывал редко, а как-то признался, что уже не снится ему кино, не видятся кадры.

Потом Семён Лукич незаметно вышел на пенсию. Полгода или более того Никита Мехов не встречал его, а как-то видит: идёт по коридору важный, шубу распахнул, руки в карманах, на голове — вязаная шапочка, на ногах — сапоги в раструб.

— Здорово, Никита!

— Здравствуй, Лукич!

— Как жизнь молодая?

— А у тебя?

— Мне с тобой некогда. Займи на пиво. Со спонсором встречаюсь. Надо угостить.

— Так на два пива?

— Давай на два.

Эти ссылки на спонсора повторялись несколько раз, потом Семён Лукич сменил пластинку и уже спрашивал, заведет ли Мехова:

— Как здоровье?

— Да ничего...

— Может, прихворал? Так я за твоё здоровье выпью. Одолжи на пиво.

Прошло ещё сколько-то времени, и Мехов случайно столкнулся на дворе студии с Мариной Ливанской. Всегда больно после долгой разлуки увидеть, как постарел давнишний знакомый, особенно когда это женщина, да тем более — бывшая красавица. Зло берёт на природу — безжалостная госпожа все-таки.

— Никита!

— Марина!

Сели на скамейку под раскидистым каштаном, который только что распустился и стоял в зелёном наряде довольный и праздничный. Была вторая половина апреля — хорошее время! Мехов сызмала любил весну, словно в эту пору дремавшая душа выбиралась из берлоги и доверчиво принимала солнечную жизнь. Снова чему-то хотелось верить, и возникало чувство ожидания неведомой радости или утешения.

— Сколько лет, сколько зим!

— Сильно изменилась?

— Отлично выглядишь!

Марина горько рассмеялась. Она была в старом платье, выцветшем и застиранном, в чёрных волосах проступила проседь, но более всего изменились глаза: в них было выражение недоумения и покорности, отражение бедности и безнадеги. Марину давно сократили; она была способным монтажёром, но пришла пора малокартинья, не к чему стало прилагать уменьше, и она работала в какой-то столовой уборщицей.

— Хоть платят?

— Да ты что! Гроши...

— Поискала бы чего получше.

— А что я умею? Мне кино снится.

— Это кто-то уже когда-то говорил...

— Листопадов. Семён Лукич.

— Точно! Давно видела?

— Утром расстались.

Мехов промолчал, догадываясь.

— Ты не слышал? — вяло удивилась она. — Мы вместе... Он пришёл ко мне как-то. Говорит: давай будем сдавать одну квартиру. У нас же по однокомнатной. Вот и перешёл ко мне.

— Я всегда знал, что он любил тебя.

— Да ну тебя, Никита! Любовь, страсти... Всё это в прошлом. Что-нибудь пишешь?

— Нет, — честно ответил Никита Мехов. — Даже не знаю почему.

— Печали много, — пояснила Марина. — А мы привыкли делиться радостью.

— Может, оно и так, — равнодушно согласился Никита Мехов. — А помнишь, как Семён Лукич рассказывал?

Она минуту сидела молча, о чём-то думая, потом ясными глазами посмотрела на Мехова.

— Я только теперь его разглядела, — сказала Марина. — Вечный неудачник. Сколько его обижали! А хоть бы кого-то осудил. Удивляюсь ему. Честное слово! Вот есть люди, которые не умеют обижаться. Почему, Никита? Что это — сила? Или наоборот?

— Не знаю, Марина.

Она тряхнула коротко стриженными волосами и посмотрела на Никиту Мехова.

— Вот и поговорили. По душам. Побегу. Ты уж будь. Будь!

Она поднялась, пошла торопливо, словно убегала.

Уже осенью, спустя пять месяцев, Никита Егорович шёл пешком из дома на работу. Дорога его проходила мимо пивной, что стояла в низине: небольшое помещение из пластика и стекла в окружении девятиэтажек. Дверь была открыта нараспашку, трое пропитых мужичков скидывались, мусоля мятые рубли, и были так сосредоточены, что не заметили бы и конца света. Никита Мехов кинул на них случайный взгляд и отвернулся бы равнодушно, потому что настроение было хорошее, светило осеннее солнце, и от того казалось, что хоть и увядает природа, шуршат под ногами облетающие листья, а всё — праздник, но тут он увидел Листопадова.

Семён Лукич, вальяжный и довольный, показался в проёме двери с двумя кружками пенного пива в руках. Он двинулся к круглой стойке на одной ножке, что была вкопана в землю. За ним следовали двое приятелей и тоже несли по две кружки пива. Алкаши, считавшие свои гроши, застыли с одинаковым выражением на лицах. Листопадов поставил кружки на стойку и сделал царственный жест. Он извлёк из кармана купюру и поднял, не оборачиваясь, выше плеча. Один из алкашей кинулся к нему и двумя пальцами, оттопырив мизинец, снял возделенную денежку.

Семён Лукич был в своей неизменной шубе из искусственного меха, в тех же шароварах и резиновых полусапожках, но без спортивной вязаной шапочки. От прежнего облака волос на его голове ничего не осталось, словно дунул кто-то, и одуванчик облетел.

Никита Мехов стоял посреди тротуара. Он раздумывал, стоит ли подойти, не помешает ли он компании. Всё-таки решил, двинулся к тройке, но в трёх шагах остановился. Стоявший к нему спиной Семён Лукич напористым голосом говорил:

— Но ещё до таинственного исчезновения мессера Джан Галеацца де Горгольо, а именно пятого марта триста девяностого года от Рождества Христова, в правление римского императора Феодосия, военный трибун девятого легиона четвёртой когорты Публий Гельвещий был направлен во главе отряда на кораблях в далёкую Сарматию.

Приятель восторженно, с великим пониманием слушал его, попивая дармовое пиво. Живительная влага ошастливила их, по лицам было видно, что испытывали они в эту минуту райское блаженство. Никита Мехов отступил, потом повернулся и чуть ли не побежал, почему-то сутулясь и вобрав голову в плечи.

Уже ближе к весне Никита Мехов столкнулся в коридоре с одной из прежних работниц монтажного цеха, которую звали Таисией. Она оформляла пенсию, собирала справки и потому оказалась на киностудии — малень-

кая, худая и ужасно говорливая. Рассказала о себе, как живёт-поживает, как устроились дети, как дела на даче и как растут внуки. Вспомнили общих знакомых и, конечно, Марину Ливанскую, с которой поработала она не на одной картине.

— Она вышла за Листопадова, — сообщил Никита Мехов. — Слыхала?

— Чего же нет? — даже возмутилась Таисия. — Конечно. А знаете, что она его держит взаперти?

— Как так?

— Сама рассказывала мне. Мы иногда видимся. Утром выгуляет, как собачку. Рядом у них скверик. Побудут на воздухе, и ведёт домой. Ключи его спрятала. Закроет — и на работу. А вечером вернётся — опять прогуляет.

— Как так можно?

— А как иначе. С головой у него плохо. Пенсию получит и дружков угощает. Домой ни копейки не приносит. А то ещё из дому утащит. Продаст — и к друзьям. Вот и запирает его Марина.

Никита Мехов представил, как мается Лукич целыми днями один в квартире, как выходит на балкон, стоит часами на девятом этаже и смотрит вниз. А там продолжается человеческая жизнь, чужая, уже недоступная ему. Он взирает на неё, как будто уже вознёсся на небо. И должно быть, приходит в его шальную голову мысль: перевалиться за перила, раскинуть руки и броситься с высоты, чтобы коснуться земли, по которой так много ходил.

Не может не приходиться, потому что там, внизу, люди, которым он всю жизнь рассказывал свою мечту.

Узнав от Таисии, когда Марина гуляет со своим Семёном Лукичом в скверике перед домом, Никита Мехов оказался там и долго изображал удивление случайной якобы встречей. Марина попросила мужчин посидеть на скамейке, а сама побежала в недалёкий магазин прикупить чего-нибудь к чаю. Когда остались одни, Листопадов усталился на Мехова с усмешкой на губах, даже глаза заблестели озорством.

— Я знал, что придёшь, — сказал уверенно Семён Лукич.

— С чего ты решил, что приду?

— Я тебя знаю — ты любопытный.

— И что из того?

— А вдруг я помру, и ты не узнаешь, чем кончилась бы моя картина. Угадал?

— Да я случайно тут оказался...

— Не ври. А я тебе расскажу, Мехов. Фролов-то вернулся.

— Куда вернулся?

— Не врубился, вижу.

— Нет, нет, я понял, понял, — торопливо уверил Мехов.

— Там не было времени. Там никто не знал, сколько прошло минут, часов, дней, лет. Фролова окружали красивые девушки, он знал, что райская жизнь продлится вечно. Но он помнил свою Наташу. Мне важен был миг, когда Фролов подошёл к роковой черте. За спиной — бессмертие, поверни назад — и ты будешь жить вечно! А за чертой — Наташа. Девушка, которая ждёт героя с войны. И он, Фролов, её любит. И он перешагнул черту. Вот, собственно, Мехов, о чём я хотел... Он перешагнул черту ради своей Наташи! На бессмертие плюнул... Перешагнул черту и превратился в древнего старика, потому что много лет прошло. Спросишь, почему он это сделал? Не по уму жил. Вот почему.

Из-за угла дома показалась Марина Ливанская с авоськой. И тут Семён Лукич заторопился.

Он улыбнулся и проговорил с грустным и каким-то вроде застарелым удивлением:

— Что же такое любовь, если человек готов ради неё из рая вернуться на грешную землю?

— Отчего? — заволновался Никита Мехов. — Скажи, отчего ты решил, что нынешние люди не поймут поступка Александра Фролова? Ты же пото-

му отказался от постановки фильма, что уверился: не поймут. Ведь так? Кто же они, Лукич, если не поймут? Зачем в природе такие люди?

Листопадов не успел ответить, подошла Марина Ливанская и пригласила Мехова на чай, но он сослался на неотложные дела и отказался.

А вот нынче Никита Мехов узнал последнюю новость о Семёне Лукиче. Позвонила Марина Ливанская.

— Как исчез? — растерялся Никита Егорович.

— Если бы я знала! — Марина была сильно огорчена и растеряна. — Сам он уйти не мог, у него ключа не было. И дверь не взломана. Как-то связался, видать, с прежними друзьями, и они ему отперли снаружи. Ничего не взял из вещей, кроме одежды, в которой ходил. Даже остатки пенсии не тронул. Значит, не в пивную побежал. Да я уже всё вокруг обошла. Нет его нигде...

Не мог же он бесследно раствориться в воздухе, как мечтал.

— Куда он мог уйти? — спрашивала Марина.

Скорее всего, трезво подумалось Никите Мехову, Лукич ушёл в бомжи и живёт на какой-нибудь городской свалке, как на острове, среди подобных себе отщепенцев. По вечерам у костра он вдохновенно рассказывает:

— Второго ноября 1812 года корпус под командованием генерала Ермолова столкнулся с арьергардом отступавшей Великой Армии. Молодой артиллерийский подпоручик второй бригады Александр Фролов...

Марине Ливанской Мехов обещал, что подумает, где искать Лукича, и она положила трубку. Да вдруг и так пронзительно — вопреки логике! — Никите Мехову захотелось поверить, что Лукич ушёл из города умышленно и добрался до того непролазного болота, а ему навстречу вышла из леса дивная дева...

И теперь он там, на своём острове. Пронесённый им через всю жизнь замысел оказался и не фантазией вовсе, а правдой. Человек так долго и так преданно верил в мечту, что она стала явью. И в эти минуты среди изначальной и вечной красоты безобидный Семён Лукич стал молодым, потому что скинул старость, как ветхую одежду, и с пышной копной волос на голове снова стал похож на одуванчик. Ему хорошо на том острове. Не может быть человеку плохо там, где нет смерти.

И только печаль о нас может тревожить Семёна Лукича Листопадова. Вот из-за этой-то печали и не выдержит рая Семён Листопадов, и перешагнёт заветную черту. Он вернётся ради того, чтобы никто не сомневался, что жизнь сама по себе ничего не стоит, будь она хоть вечной, если не пронизана любовью, как день — солнцем.

А кому, как не смертным людям, важно об этом знать?

АНАТОЛИЙ АВРУТИН



Я ИДУ ПО ЗЕМЛЕ...

* * *

Александрю Темникову

Спешите медленнее жить —
Пока глаза глядят лукаво,
Пока походка величава...
Спешите медленнее жить.

Спешите медленнее жить,
Ещё в себе не сомневаясь,
В зрачках любимых отражаясь...
Спешите медленнее жить.

Спешите медленнее жить,
Покуда под ногами тропка,
Пока идётся не торопко —
Спешите медленнее жить.

Спешите медленнее жить,
Пока гнездо под крышей вьётся,
Покуда жизнь не оборвётся —
Спешите медленнее жить.

АВРУТИН Анатолий Юрьевич родился в 1948 году в Минске, автор двадцати поэтических книг, изданных в России, Беларуси и Германии, двухтомника избранных произведений "Времена". Главный редактор журнала "Новая Немига литературная", член-корреспондент Академии поэзии и Петровской академии наук и искусств. Лауреат международных литературных премий им. Симеона Полоцкого, "Литературный европеец", им. Сергея Есенина, им. Бориса Корнилова и др. Живёт в Минске.

* * *

Я иду по земле...
Нынче солнце озябло...
Перепутались косы на чахлой ветле.
За спиною —
котомка подобранных яблок,
И я счастлив, что просто иду по земле.
Что могу наддышаться —
без удержу, вволю,
Что иду, отражаясь в болотце кривом,
Мимо русского леса,
по русскому полю,
Где мне русский журавлик
помашет крылом...

* * *

Какой-то вскрик взорвёт картину дня
И пропадёт в надтреснутом просторе,
Где на верёвке сохнет простыня,
Чтоб под любовный хруст улечься вскоре.

А над дорогой — бронзовая взвесь
Едва видна в косом свеченье сбоку,
И тени — здесь, и полутени — здесь,
И весь простор на откуп отдан року.

И этот рок раздумчиво кляня,
Привычно баба тащит груз пудовый.
А на верёвке сохнет простыня
И, глядя на неё, вздыхают вдовы...

Сидят, судача про житьё-бытьё,
Мол, жизнь пошла пустяшная, однако.
Ведь если свадьба — драка и питьё,
А на крестинах — выпивка и драка.

Эх, нравы, нравы... Нынче и родня
В старушечье не входит положенье.
Но на верёвке сохнет простыня...
И жизнь красна... И будет продолженье...

* * *

Снова колокол бьёт
над нелепым, мрачнющим миром,
Снова странен и страшен его вразумляющий зык.
Кто придёт и воздаст
за напрасные муки кумирам,
Кто двуликому Янусу бросит: “Да ты же двулик?..”

Я не верю молве —
всех великих молва оболгала,
Я не верю толпе, что затопчет, а после — бежать...
Первый снег на дворе
раскатает своё покрывало,
И по вспученным венам опять побежит благодать.

Как же сладостно — снег!
Как пронзительно — колокол слышен!
Как скворцы осторожно
 простор отдают снегилям!
Как же терпки слова
 с горьким привкусом мёрзнущих вишен,
Как прозрачен твой образ, что я никому не отдам!..

И пускай отгорит,
 что ещё отгореть не успело,
Пусть звучат голоса
 из-под серых кладбищенских плит...
Нынче колокол бьёт... Благодать... И какое мне дело,
И какое мне дело, что завтра ещё отгорит?..

Нынче колокол бьёт...
 Что-то тёплое гонит по венам.
Кто-то мимо прошёл, на снегу не оставив следа...
И так жаждешь сказать
 о мучительном и сокровенном...
Но ведь колокол бьёт...
И не скажешь уже никогда...

СВЕТЛАНА ЕВСЕЕВА



СИЛА СЛОВА — МОЛИТВЕННЫЙ ДУХ

ЗАПАХ ГОРЯЧЕГО ХЛЕБА

Мёрзнет на улице город.
Но, где труды горячи,
Пахнет пекарнею холод,
Хлебом, созревшим в печи.

Тут не игра вам в бирюльки!
Наспех нельзя преуспеть.
Тщатся и сердце, и руки
Счастье ржаное испечь.

...В ночь превращается вечер.
В постную спальню пора?
Всё, что печём не на ветер,
Надо допечь до утра.

В смысл каравая вникая,
Кое-чему научась,

ЕВСЕЕВА Светлана Георгиевна родилась в 1932 году в Ташкенте в семье военнослужащего. Окончила Ташкентский педагогический институт и Литинститут. Автор книг "Женщина под яблоней", "Евразия", "Последнее прощание" и др. Живёт в Минске.

Жизнь я свою выпекаю.
Жизнь —
 это завтра
 сейчас.

МНОГОРЕЧИЕ

Живы древние реки в нас, в каждой судьбе:
Иордан и Евфрат, Ганг и Нил...
И славянское русло я знаю в себе,
Где на дне всё:

 песок, жемчуг, ил...

.....
Не мечтаю про кольца, про серьги!
От подарков мой нрав поотвык.
Я пишу, а славянские реки
Понимают славянский язык.

А давно ли, недавно ли...

 В жизни моей

Было много чего кувырком!
Где не видела ночь моя звёзд-фонарей,
Я плыла по волнам гематом.

И...

Не надо бодрить чем попало мозги,
У соседей в долг денег просить,
И не надо любить винный свой магазин,
И за это себя не любить!

Полюбите меня, наши реки!
Не поют без любви соловьи!
Я печаталась бы и в Америке!
Но...

 Английские там словари!

Надоест пустяковая книгопечать,
Свянет вся пустоцветная резвость.
Если жить у Реки, то Рекою дышать.
Здесь

 Река эта —

 наша Словесность.

Здесь дано к Совершенству и плыть, и грести...
Вброд идти по жемчужному дну...
И на гребне волны в жизнь так выдохнуть Стих,
Как жизнь отдают за

 Ро-дину.

ШКОЛА

Жизнь,
 что ни день, то — Педагог,
Дарующий урок.
Уроков кладь, за годом год, —
Заплечный мой мешок.

Где Мастерство — не болтовня,
Нет лжеучителей.
Учило Творчество меня
Общиной всей своей.

Есть ржавчина и для элит,
Где в силе суета.
Я — ученица.
Эрудит —
Вес школьного креста.

...Нельзя моделям не блистать
На пиршествах смотрин.
Для летописцев Благодать
Монастыри квартир.

Была родня.
Ищу родню...
Кто выжил —
Исполин,
Несущий завтрашнему дню
Вес пройденных былин.

Учусь не падать в боль, пока
Не свалит нечто с ног,
Была бы и нужна клюка...
Тут кто-то в том помог!

Не две души — один во мне
Дух двух моих столиц.
...Всё тяжелее на спине
Кладь пройденных страниц.

В музей заплечный камень сдам
И в Небо постучусь.
Я потому ещё не там,
Что здесь ещё учусь.

МОЙ ДУХ — СЛАВЯНСКИЙ МЕТЕОР

Я якобы живу одна.
Нет-нет — не одиноко!
В Ташкенте русской рождена,
Где русских было много.

Слетел мой дух в сосновый бор
В суть Пуши белорусской.
Мой дух — славянский метеор,
Ни в чём не тот — тунгусский.

А в Мире — кризис.
Тяжело
Всем языкам-наречьям.
Москве снегами намело
Беженцев на плечи.

В нас дышит святость жития,
Труд возлюбивших предков.

Дышу. Не рукава спустя,
Не кое-как, а
крепко.

Терпенью матушка Зима
Меня учила строго.
Таких, выносливых весьма,
В природе нашей много.

Похмельных маслениц блины
В былом отмельтешили.
Снегурочка былой Страны
Здесь бабы Снежной шире.

Храню июли в декабрых,
В печати и в тетрадках,
Храню в стихах, как в янтарях,
Чувств летних отпечатки.

Мне сорок раз под Новый год
Загадывать желанье,
Мне сорок лет длить переход
В Успех от Ожиданья!

Несу я Творчество и Быт
На коромысле Мысли,
Евразия моей судьбы
От меня зависит.

Меня мой к Жизни интерес
Ведёт к моим итогам.
И верю
в Небо, в Поле, в Лес..
Жаль —
лесорубов много.

АТЛАНТИДА

Атлантида в Галактике нашей —
Это наша планета Земля.
Неудач затянувшийся кашель
Я лечила таблетками зря.

Я в период живу переходный,
Где всё сразу наскоком не взять,
Где пора с наших чувств благородных
От цинизма наручники снять.

Никакая я не иностранка!
Прозу жёлтую вижу костром,
Где Поэзия наша — славянка —
Жанна д'Арк во французском былом.

Не сгорела бы тут вся Евразия!
...Знаю, где есть и доблесть, и честь.
Дозвонюсь той мобильною связью я
До Атлантов, туда, в МЧС.

А звонить — выше?

Голоса хватит ли?

Слово мысли звонит и не вслух.

Знают уши Всевышней Галактики:

Сила Слова — молитвенный Дух.

Не потоплена я и не взорвана,
Не напугана грубостью ран,
Плагиатами не обескровлена,
Не застигнута спиртом в стакан!

В Атлантиде, где надо, крепки ледники,
В Атлантиде бессилён Потоп.
В Атлантиде не хилы умом мужики,
Бабы — радость не для недотёп.

Кровяные тельца нашей речи —
Это гласные буквы Стиха.
Красный Крест не откажет. Подлечит,
Если стану здоровьем плоха.

...Долго жить — излечить все обиды.
Осознав силу Слова в себе,
Оберечь нашу в нас Атлантиду
Умоляю Атлантов Небес!

НИКОЛАЙ ЧЕРГИНЕЦ



ОПЕРАЦИЯ “КРОВЬ”

ГЛАВА ИЗ РОМАНА

Лето 42-го было жарким. В гетто не хватало воды, даже чтобы помыться. Его жители собирали воду буквально по стакану, чтобы хоть как-то помыть детей, изредка — себя. Жизнь, если можно так назвать это существование, голодная, полная тревог и смертельной опасности. В гетто установился своеобразный порядок.

Первый, кто разобрался в этой обстановке, — глава семейства Левиных.

Михаил Исаакович, работая сапожником, ежедневно встречаясь с жителями гетто, получал немало сведений. Особенно ценной была информация от полицейского по имени Петро, который не говорил, откуда он, но по акценту и особенностям говора Михаил Исаакович сделал вывод, что он с Украины. Именно Петро, как бы сожалея, сообщил, что за четыре месяца в гетто убито более двадцати тысяч человек. Как-то Петро, придя к сапожнику, сказал:

— Мы не приказываем вас убивать. Приказы отдают хозяева — немцы. Если хочешь знать моё мнение, то скажу: я бы не всех уничтожал. Многие ваши люди могли бы работать, есть же среди вас немало учёных, изобретателей, переводчиков. В конце концов, надо же кому-то город убирать, мёртвых хоронить. У печей уже мощности не хватает, чтобы трупы жечь. — Петро осмотрел подошвы сапог, каблучки — Левин только что набил металлических подковки — и добавил: — Думаю, ты ещё поживёшь, пока нужен не только жидам, но и нам...

ЧЕРГИНЕЦ Николай Иванович родился в 1937 году в Минске. Видный белорусский писатель и общественный деятель. Председатель Союза писателей Беларуси. Автор более 30 художественных произведений. Новый роман Н. Чергинца "Операция "Кровь", главу из которого публикует "Наш современник", посвящен борьбе подпольщиков с гитлеровскими оккупантами в Минском гетто.

“Интересно, сколько же осталось жить моей жене, детям?” — грустно подумал Михаил Исаакович, перебирая в руках четыре подковки, оставленные полицаем. Наконец, он обратил на них внимание и тут же положил в ящик. Может быть, Петро вспомнит и придёт за ними. Вдруг в открытых дверях показался невысокий, кривоногий, с лисьей мордой мужчина.

— Привет ещё живущим жидам! — весело произнёс он и протянул две пары женских туфель. — Видишь, туфли приличные, почти новые, на шпильках, а набоек нет.

Левин, как замороженный, смотрел на пришельца:

— Я, конечно, извиняюсь, но если не ошибаюсь, ко мне пожаловал Абрам Липкович с улицы Беломорской?

Михаил Исаакович сразу же вспомнил семью Липковичей. Ещё бы: жили одно время в соседних домах, мацой друг друга угощали, иногда в гости друг к другу заходили.

Липкович злобно ухмыльнулся:

— Я, конечно, сразу тебя узнал! Я на всю жизнь запомнил твоё хамство, когда ты не дал моему сыну всего пару веток сирени...

— Постой, постой, — взволновался Левин, — я же не возражал, чтобы он и больше наломал сирени, я его просто пожурил за то, что он испортил ногами на грядках свежую рассаду. Мы же с тобой тогда переговорили, и всё, ты, Абрам, сам сына пожурил. Зачем это вспоминать?

— А затем, что ты и твой выводок сегодня кандидаты в Тростенец, а я живу с семьёй дома и радуюсь жизни. Захотел жене подарить пару-другую красивых иностранных туфель — и вот, пожалуйста. Причём ты лично хорошо сделаешь эту работу, иначе стоит мне пальцем пошевелить, и ты — на небесах. Так что, жидовская морда, мне не тькай и молись, чтобы сегодня-завтра, через неделю не наступила твоя очередь и по моему желанию тебя не повезли в Тростенец. И это может произойти в любой момент, понял?

— Нет слов, — поднял руки Левин, — всё понял, конечно. Если позволите, вопрос я задам?

— Ну-ну, спроси.

— Спасибо. Говорят, у нас, в Минске, созданы еврейские советы. Что это и чем они занимаются?

Липкович оскалился:

— Ха, в Минске. Нет, не в Минске, а здесь, в гетто. Я тот, кто входит в этот совет, понял?

Левин мог от греха подальше как-то прекратить этот разговор, но Михаил Исаакович понимал, что бывшего соседа так и распирало чувство собственного превосходства. Поэтому он, как мог, замедлил работу, демонстрируя, что делает ремонт с особой тщательностью, и спросил:

— А чем занимается этот совет?

— Отвечает перед властями за поведение евреев, выполнение ими всех распоряжений германского командования. А в Минске создан комитет, где имеются отделы труда, снабжения, паспортный...

— Так вы как представитель комитета руководите всеми, кто находится в гетто?

Левин специально повысил функции хвастуна, тому это понравилось:

— Я могу многое. Сейчас мы создаём в гетто органы самоуправления, юденраты и еврейскую полицию. Слышал об этом?

— Нет, мы здесь в изоляции, не имеем информации. Спасибо вам за то, что потратили время на меня. А что будет делать еврейская полиция?

Липкович хмыкнул:

— Считай, что за порядком будет следить, не разрешать вам друг друга убивать. Следить, чтобы беспрекословно исполняли приказы немецкого коменданта гетто.

— Выходит, немецкое командование доверяет хотя бы некоторым евреям?

— Из местных евреев только мне, потому что я смог возвыситься над вами и над собой, мне доверили командовать одним из отрядов. Мы охраняем улицы, входы и выходы из гетто. Занимаемся изъятием вещей, организуем облавы, мы — активные и верные помощники немцев и литовцев.

Вдруг Липковича будто осенило, он даже высокомерный тон сменил на дружеский:

— Слушай, Михей, хочешь жить долго? Понимаешь, можно сделать так, что тебя и твою жену не отправят в Тростенец поджариваться в газовой печи.

— А кто же этого не хочет? — уклончиво ответил Левин.

— Так вот. Ты должен мне подсказывать, у кого и в каком месте в квартире имеются драгоценности. Не волнуйся, никто об этом, даже немцы, не узнает. — Увидев, как вздрогнул Левин, у которого затряслись руки, успокаивающе сказал: — Конечно, что-нибудь и тебе перепадёт. Поверь мне, это добро пригодится. В случае чего, можно откупиться, спасти себе жизнь.

— Я даже не знаю, как это сделать, — замылся Левин, — ни у меня, ни у моих соседей ничего нет. Женщины в день ареста отдали свои кольца и серьги. Да и кто сейчас расскажет другому человеку о своих ценностях?

— Михей, подумай о моём предложении. Как это важно, ты, надеюсь, понимаешь. Я пока тебя прикрою, в глазах коменданта мой авторитет очень большой...

В тревоге Михаил Исаакович пришёл домой. В семье, как всегда, вздохнули с облегчением.

Эмма Самуиловна сообщила мужу новость:

— Нам приказано с завтрашнего дня носить на одежде знаки отличия — жёлтые латы — на спине и на груди прямоугольнички с номером, а также с номером дома, где мы живём. Сказали, чтобы готовились к выходу в город на работу.

— Что, сами должны идти на работу? — встрепенулся Михаил Исаакович.

— Что ты! В составе колонн, которые закреплены за строительными организациями. Колонны будут охранять немцы и полицаи из Литвы и Латвии. Михаил, — всплакнула жена, — я так боюсь за детей. Ты же знаешь, как они пропадают из многих семей, когда взрослых нет дома. Нам сообщили, что в гетто находятся евреи, вывезенные из Германии, Чехословакии, Австралии и других стран, сказали, что с ними мы можем торговать, обмениваться вещами и так далее. И ещё, — Эмма Самуиловна понизила голос, — Миша, нам передали приказ начальника минского гетто Готтенбаха, чтобы все нетрудоспособные люди завтра в десять часов утра собрались около юденрата.

— Завтра же воскресенье, — забеспокоился муж, — а детей тоже вызывают?

— Я не поняла, Миша, мне страшно.

— Успокойся, если детей не вызывают, то это акция против больных и стариков...

— Что значит — “против больных и стариков”? — расплакалась Эмма Самуиловна. — А они что, не люди?!

— Не расстраивайся, я не это имел в виду. Я констатировал: нам идти туда не надо.

— Этот Готтенбах регулярно, два раза в неделю, ходит по территории гетто, выбирает себе молоденьких красивых девушек, насилует их, а потом расстреливает. На улице Танковой, ты же сам знаешь, этот изверг вешает людей якобы за нарушение установленных правил поведения в гетто. А кто здесь нарушает правила? Все, как оловянные солдатики, любой приказ, любое желание выполняют.

— А где находится юденрат? Честно говоря, об этой организации я только сегодня узнал.

— За улицей Республиканской, на границе с еврейским кладбищем...

— Давай будем спать, — устало сказал муж, — завтра посмотрим.

Утром следующего дня встали рано, определили каждому из семьи порцию. Представители новой власти стали выделять только 300 граммов воды и 5 граммов крупы на человека в день, этого хватало только на водянистую похлебку. Чтобы сохранить жизнь, взрослые семей Левиных и Рабиновичей, как и другие узники гетто, объединяли свои скромные запасы. Меняли одежду, даже нижнее бельё, на что-либо из продуктов, которые ловкие люди,

в том числе полицейские, умудрялись доставлять в гетто. Иногда через кладбище сюда проникал кто-нибудь из местных. Они приносили сало, хлеб и другие продукты. Можно было, например, наручные часы поменять на полфунта сала и буханку хлеба или на полфунта маргарина и две буханки. У Левиных и Рабиновичей хранились две пары женских, а также наручные и карманные мужские часы. И ещё, как зеницу ока, они берегли две шерстяные кофты, плащ и золотые серёжки.

В десятом часу утра Михаил Исаакович и Мария Семёновна, которая была моложе жены Левина на целых пятнадцать лет и физически здоровее, вышли из дома и направились искать юденрат. Они поднялись вверх по улице Островского, пересекли Юбилейную площадь и повернули в сторону еврейского кладбища. Сомнений в том, что они идут в нужном направлении, не было, так как туда же шли и другие люди. С инвалидами, больными стариками в качестве сопровождающих шли и те, кто был помоложе и поздоровее.

— Я думаю, что будет собрание, — сказала Мария, — если бы они задумали акцию, то подгоняли бы машины к домам и всех, кто им нужен, — в кузов.

— Не знаю, не знаю, — ответил Левин. — Придём — увидим.

Еврейский совет — юденрат — находился в трёхэтажном доме.

В открытых окнах были видны гражданские люди и полицейские. Они тоже наблюдали, как на площади, вернее, обширном пустыре, за которым виднелось кладбище, собиралась большая толпа людей. На площадь можно было попасть, пройдя через цепь вооружённых немцев и полицейских. Они пропускали на площадь только тех, кто им был нужен. Михаил Исаакович и Мария Семёновна не стали подходить вплотную к охране. Они нашли удобное место, откуда площадь была хорошо видна. Вдруг Левин увидел Липковича, который с винтовкой на плече направлялся не к пункту пропуска, а прямо на цепь, где никто не толпился.

— Смотри, Мария, — указал он пальцем на Липковича, — узнаёшь?

— Мать родная! Абрам Липкович?!

— Он. Я уже имел счастье вчера с ним пообщаться.

— Он что, служит в полиции? Евреев же не берут...

— Вот таких тварей, как видишь, берут. Он вчера меня обзывал жидовской мордой, как будто сам не еврей.

На площади уже толпилось не менее трехсот пятидесяти человек. Через рупор по-немецки последовала какая-то команда, и пропускные пункты перестали пропускать на площадь людей.

Левин и Рабинович увидели, как в кузов грузовика по деревянной приставной лестнице поднялся офицер. Вслед за ним поднялось ещё человек пять, все в форме.

Мария дёрнула Михаила Исааковича за рукав:

— Смотри, и Липкович там. Видишь, у грузовика стоит, с полицаями здоровается, как старый знакомый.

— Вчера мне предложил стукачом сделаться, подглядывать, у кого есть ценности. Даже поделиться обещал, наверняка обогатиться хочет.

— Как же так, Михаил! Еврей хочет грабить евреев!

— О чём ты говоришь, — улыбнулся Левин. — Он же нас называет жидами и, значит, отрекается от своей национальности.

Неожиданно охрана расступилась, и на площадь со стороны Кальварийской улицы въехала колонна крытых грузовиков, среди них несколько машин, при виде которых людей всегда охватывал ужас. Это были душегубки, они отличались от крытых брезентом грузовых машин тем, что их кузов был металлическим, чёрного цвета, сзади — большая дверь.

По толпе прошёл тревожный гул. Немец, это был Готтенбах, снова поднёс рупор ко рту. Он неплохо говорил по-русски, правда, с акцентом, а иногда коверкал слова.

— Внимание! Сейчас большинство из вас поедет на этих красивых “лимузинах” на специальную, нетяжёлую работу. Это не совсем долго. — И Готтенбах по-немецки что-то приказал охране.

Мария Семёновна немного знала немецкий и уловила смысл сказанного:

— Он приказал отогнать в сторону двадцать человек. Остальных посадить в машины.

Приказ начал выполнять группа немецких солдат и литовских полицеев. Жители гетто уже легко отличали литовских и латышских полицейских от местных, которые явно смущались при виде своих знакомых, а “гости” действовали с особой жестокостью. Им было безразлично, кто перед ними — старик, женщина или ребёнок.

Люди, толкаясь, бросились к грузовикам, крытым брезентом. При виде душегубок они потеряли способность действовать иначе. Каждый стремился не попасть в будку душегубки.

Готтенбах весело прокричал:

— Не стесняйтесь, господа, садитесь в машины с будками. Это не то, что вас пугает. Ехать будете быстро и недалеко.

Немцы и полицаи действовали бесцеремонно, прикладами и пинками заставляя людей залезать в машины.

Огромная толпа заволновалась и стала напирать на цепь ограждения. Готтенбах что-то произнёс по-немецки.

Мария Семёновна объяснила:

— Он приказал стрелять в тех, кто попытается проникнуть на площадь или посмеет притронуться к солдату.

И точно: сразу же раздалось несколько выстрелов. Толпа отхлынула, и на земле остались лежать четыре человека. В это время к отобранным двадцати приблизились литовские полицейские и каждому связали руки.

— Для чего они это делают? — негромко спросил Левин.

— Смотри, Михаил, — воскликнула Мария и показала в сторону здания юденрата. — В окнах — пулемёты!

В этот момент из-за здания выехали две бронемашины с открытым верхом. Их пулемёты были направлены на собравшихся людей. Тех, кто пришёл проводить своих родных, было в несколько раз больше, чем тех, кого машины, дымя, увозили с площади в сторону Кальварийской улицы.

— По-моему, будет правильно, если мы уйдём, — сказала Мария. — Добром это не кончится.

— Подожди немного, — предложил Левин и вдруг воскликнул: — Смотри, собак ведут.

Со стороны кладбища солдаты вели семь больших немецких овчарок. Завидев людей, псы стали со злобным лаем бросаться к двадцати евреям, которые испуганно жались друг к другу.

Снова послышался голос Готтенбаха:

— Эти люди не желают подчиняться приказам коменданта гетто, поэтому сейчас они будут чуть-чуть наказаны. — Он сделал паузу, давая возможность полицаям, которые связывали людям руки, отойти за ограждение, и отдал приказ.

Солдаты-проводники отстегнули поводки и скомандовали:

— Фас!

Дальше все происходило, как в страшном сне. Разъярённые псы набросились на людей, сбили их с ног на землю и стали буквально рвать их на части.

Собравшаяся напротив оцепления толпа бросилась вперёд, и сразу же из окон юденрата и с бронемашин ударили пулемёты. Мгновенно десятки людей, пронзённые пулями, упали на землю.

Мария Семёновна потянула Левина за рукав:

— Михаил, бежим, они же убивают!

Им повезло: пригорок, на котором они стояли, находился в стороне, и это позволило им незаметно удалиться...

На следующий день Левин по рассказам жителей гетто и местных полицейских уже представлял всё, что произошло в то воскресенье. Собаки буквально загрызли половину группы, которую оставили для этой травли. Выжившие были расстреляны.

Для всеобщего устрашения по приказу Готтенбаха на территории гетто в наиболее людных местах были повешены десятки людей.

К концу дня в сапожную будку заявился Липкович. Он был навеселе. Маленькие крысиные глазки впились в Левина.

— Ну что, жидовская морда, был вчера на концерте?

— Да, был. Вас видел, радовался, что вы достигли такого положения. Было приятно, что к вам с таким почтением относятся. Я видел, как вы стояли рядом с самим комендантом. Я же понимаю, кому оказывается такая честь. — Михаил Исаакович не жалел лестных слов, понимая, что они попадают в цель.

— Я вижу, что ты действительно был там. Только Готтенбах не комендант, а начальник. Ему раз плюнуть — отправить сотню-другую, а может, и тысячи на виселицу, в крематорий или на расстрел. Ты знаешь, куда отвезли вчера четыреста семнадцать жидов?

— Нет, я видел, как их погрузили в грузовики и увезли.

— Правильно. Ты и не можешь знать. Ведь для этого тебе надо быть среди них. Тогда бы ты всё знал и завыл бы. Знаешь, почему?

— Конечно, нет.

— Скажу тебе по-дружески, ты же хочешь, чтобы мы были друзьями, не так ли?

— О да! Это для меня большая честь.

— Те, кто поехал в машинах с будками, их же не зря называют душегубками, сразу же направились в Тростенец прямо в печку, красиво сгорели. Остальных отвезли в Койданово, где они сами себе выкопали огромные ямы, заодно подышали напоследок свежим воздухом. Им литовцы разрешили подышать, ну, а затем, как и положено, — всех под пули и в ямы. Мы смеялись, что литовцы подумали только о том, кто будет копать, и поплатились. Пришлось закапывать самим, от досады они даже семь лопат потеряли. Ну, да ладно, я просто так заглянул к тебе, напомнить о нашей договорённости, так что думай. Хайль Гитлер! — И Липкович удалился.

ТАМАРА КРАСНОВА-ГУСАЧЕНКО



ВСЮ ПРАВДУ О ЖИЗНИ СКАЗАТЬ

* * *

Почему облака не ложатся на землю?
Почему они в небе, как птицы, парят?
Почему и куда отступают метели,
И синее небес — ручейки и моря?

Почему только в мае кукует кукушка
И считает года, говорят, а кому?
Почему так люблю я из детства игрушку —
Самодельную куклу — никак не пойму.

И люблю я не замок, а дом в три окошка:
На окошках краснеет, белеет герань,
На завалинке дремлет с котятками кошка,
И встаю я, босая, в рассветную рань,

До зари, чтобы встретить её и приветить.
Вот моя панорама — крыльцо и окно:
Дрогнет занавес ночи и робко осветит
Первый луч тихо-тихо... А вот и Оно —

КРАСНОВА-ГУСАЧЕНКО Тамара Ивановна родилась в 1948 году в деревне Щепатино Брянской области. Окончила филологический факультет Брянского и логопедический факультет Минского государственного педагогического института. Автор 19 книг поэзии, в том числе стихов и сказок для детей. Лауреат пяти Международных литературных премий, Всероссийской премии имени Ф. И. Тютчева, многих республиканских и областных литературных конкурсов. Живёт и работает в Витебске, председатель областного отделения ОО "СПБ".

Солнце! Чуть показалось, опять, снова — чудом,
Сквозь лазурь, что налита в прозрачный стакан
Утра, вспыхнет, сверкнёт изумрудом
И, пульсируя, света польётся река...

Я всю жизнь одного неизменно хотела:
Уложить этот свет на невиданный холст,
Только красок таких не нашла, не сумела.
Много лет мне, но снова — всё тот же вопрос:

Почему...

* * *

И жалею, и зову, и плачу.
Только нет ни голоса в ответ.
Что деревни нет давно — есть дача,
Правда, детства моего там нет,

Где меня окликнули бы: “Тома!
За водою! Бочку наноси!
Прополи картошку! Чисто в доме
Вымой пол. Не ной. Не голоси.

Не забудь нарвать крапивы кошель,
Порубить и с зерном помешать,
Поросят накормишь, ну, а после
Можешь сесть, стихи свои писать!”

Где он, этот рай? Сияет месяц
Над волшебным ночи полотном,
Ива, косы в хрусталях развесив,
Сказочным сияет фонарём!

Чудо рядом было, под ногами:
Помидоры, яблоки, морковь,
Георгины — рядышком с кустами
Хмеля и акаций... И — любовь!

Так легко всё, радостно давалось,
Всё цвело, звенело наяву:
И украдкой, при луне — читалось,
Пелось, танцевалось и влюблялось,

Потому и плачу... И зову.

НЕ ВИНИ

Открыл мою книгу? Она — про тебя:
Похожие ночи, похожие дни,
Где в строки уложены жизнь и судьба,
А что не успела сказать — не вини,

Прости, что тебя предавали больней,
Коварней — обычная мзда за успех.
Себя не шадя, я постигла, что мне
Не выразить меры страданий за всех.

Бумагу возьми, карандаш и — пиши,
Не прячь своё горе, откройся до дна,
Пусть рвётся плотина страданий души
И боль истекает, и тает вина...

* * *

Когда мы встречаемся, а мы встречаемся редко,
Ну, может, раз в жизни, а коль повезёт сильно, — два,
То слов, заготовленных нами — за жизнь — для беседы,
Не выговорить... Слишком мало вмещают слова.

Мы просто молчим и отводим так бережно взгляды...
Не вынести сердцу горящему встречного взгляда огня.
Какое же выпало счастье — молчать с тобой рядом.
И встретиться — счастье. Хоть ты и не дождался меня.

* * *

А что сильнее и верней,
Что долговечнее и ране?
Что было на заре тех дней,
Когда вода плыла в тумане,
И дух носился среди мглы,
И — ни начала, ни основы...
Ни звёзд, ни неба, ни земли...
Что было раньше? Было Слово!
И сила по сию пору,
И власть ему дана такая!
Скажи мне “нет” — и я умру,
Скажи мне “да” — и я летаю.

* * *

Я здесь оборону держу, на земле,
Оттаявшей, мягкой и пахнувшей прелью.
Мой сад-огород оживёт по весне,
Я битву свою начинаю в апреле:
Копать, поливать, и рыхлить, и сажать
Всё лето, а кто-нибудь скажет: “Морока!”
Но надо мне как-то в огне устоять
И душу сберечь. Ещё — выходить строки,
Как выходить смертно больного — тайком
От вражьего и вездесущего взгляда.
Берусь за лопату знакомым рывком
И землю копаю, и пью безоглядно
Холодный, берёзовый, терпкий квасок —
Сама заводила! — с изюмом и мёдом.
Под яростным солнцем темнеет лесок,
Полком выступающий вдоль огорода.
Я выживу страшным болезням назло —
В землянке на свет родилась я недаром!
Земля моя, как мне с тобой повезло!
Ты всё мне дала! И — навеки! И — даром...

ЛАРИСА КАЛУЖЕНИНА



ВАСИЛИЧИ

РАССКАЗ

Министр иностранных дел на открытии выставки не был, находился с визитом в соседней державе, кажется, в Литве, хотя с его подачи эта вся каша и заварилась: пригласить из Парижа бывшего соотечественника, известного французского живописца, а может, и не только французского, а вообще — европейского, мирового — никто из чиновников в посольстве не рискнул бы точно определить статус мосье Андрэ Ромашкофф теперь, когда его картины, даже мелкие, камерные, расходились по всему миру за большие деньги.

— Запомни, пока я здесь живу и дышу (стук палкой об пол), тебе никогда, запомни (ещё раз — громко, палкой) — никогда не увидать своей выставки ни в этом городе, ни в этой стране!

“Как всё просто было тогда, в семидесятых”, — думал Андрей, поднимаясь вместе с тучей чиновников минкульты, журналистов и прочей публикой по мраморной лестнице Национальной картинной галереи, где его ожидало открытие персональной выставки, интервью для первого канала телевидения и после всего, по слухам, грандиозный фуршет в ресторане национальной кухни с весёлым названием “У Лявона”.

“Да, просто было. Чёрно-белая гуашь, без полутонов. Любовь — ненависть. Выездной — невыездной. Загнивающий Запад и победный соцреализм. А дед, оказывается, жив, ему чуть не девяносто, но ещё в позапрошлом году стучал палкой на студентов Академии, учил их уму-разуму, а теперь, говорят, просто работает в мастерской. Пишет, а ему скоро десятый десяток!”

КАЛУЖЕНИНА Лариса Анатольевна родилась в Тбилиси. Окончила Минский государственный лингвистический университет. Публиковалась в журналах “Волга”, “Латинская Америка”, зарубежной периодике, в том числе в Японии, США, Германии. Живет в Минске.

В ногу Будник был ранен под Будапештом, так и ходил с палкой с юности, привык к ней настолько, что пользовался виртуозно, как третьей рукой. Многорукый Шива, бог Академии, профессор, лауреат и орденосец. Авторитет. Мальчики середины 70-х, послевоенные мальчики в замусоленных длинных патлах, с безусловным принятием всего, что удавалось пронюхать с запада, ему, в самую раннюю пору жизни на этом западе сражавшемуся, искалеченному в той жестокой битве, любое отступление от твёрдых живописных канонов казалось предательством. Обижаться на него? Но ведь это была сама искренность, только покрытая плёнкой застоя, как красивое, с белыми кувшинками камышовое болото.

Мысли Ромашкова перебило движение. Он шёл, машинально переступая по ступеням, покрытым приглушённо-вишнёвой, новенькой ещё ковровой дорожкой, уже больше ни о чём не думая, не вспоминая, пока его вели на место и устанавливали, как мебель, в центре зала под жалаящими вспышками фототехники. Он был спокоен, собран, как всегда, любезен, кивал, отвечал на вопросы, и вся канитель закончилась довольно быстро. Стали вновь перемещаться с группой сопровождающих к лестнице, как вдруг его кто-то тронул сзади за руку, дёрнул довольно выразительно за рукав пиджака, так что он не мог не обернуться. Лёшка Сидорчик, постаревший, в тёмной с проседью бороде, с глуповато извиняющимся выражением лица тянулся к нему навстречу. Ну, да! Я же не чиновник ЕС, не военный атташе. Художник. И потому сопровождение такое: пёстрое, без охраны. Вот и настиг старый приятель. Довольно просто. Прошёл сквозь толпу и дёрнул за рукав пиджака.

Теперь банкет? Хотелось хорошего французского полусухого. В последние годы он стал позволять себе бокал-другой на всяких торжествах. Интересно, есть ли у них хорошее французское вино, или хотя бы болгарское. В прошлом году, в Пловдиве...

— Слушай, ты мне нужен по делу, очень нужно поговорить, — Лёха, истребитель прекрасных воспоминаний, смотрел на него в упор. Но ведь стариннейший приятель, вместе с первого курса Академии, снимали комнатёнку у старухи на Гамарника, питались вместе... чем? Об этом лучше не вспоминать. Да и потом — одна мастерская на двоих под самой крышей многоквартирного дома, огромное окно, и каждый писал в своём углу, пока не обрушился на Ромашкова Париж. Переписки не было. Какая переписка с Парижем в те годы! А позже всё как-то само собой заглохло. Потерялись. Но он узнал его сразу, будто не седовласый дяденька стоял перед ним, а тот самый худющий блондин в единственном тёмно-синем свитере, растянутом чуть ли не до колен, с неумелой заплатой на левом локте, прихваченной случайной зелёной ниткой. Пожали друг другу руки, вместе стали спускаться по лестнице и оба молчали. Группа сопровождения тоже безмолвствовала. В вестибюле все как-то замешкались у вешалки. Лёшка, уже одетый (и когда только успел?), снова стоял перед ним. И что оставалось делать? Ромашков сказал:

— Слушаю.

* * *

До Василичей езды оказалось часа два, хотя Сидорчик уверял, что максимум час с небольшим.

— Ты только посмотришь, что да как, с отцом Геннадием побеседуешь, и мы сразу назад, как пули, моментально назад.

Но ехали на старом “форде”, километров восемьдесят в час тащились. Андрей от таких скоростей в Европе отвык, но решил благоразумно вытерпеть всё до конца. Через час спросил только:

— А что-нибудь поесть у тебя найдётся?

Ничего у него не было, конечно.

— О, придорожный сервис у нас развивается! — Лёшка то ли ёрничал от испуга или пиетета, а может, оттого, что отвык от приятеля, то ли и сам есть хотел — непонятно. Остановились на минуту в придорожной гостинице, зашли в буфет.

— Видишь, и у них евроремонт, — не унимался Сидорчик, — можешь зайти в туалет смело. Уверен: и бумага будет, и всё на свете, даже мыло.

Андрей окинул взглядом буфетную стойку. Безнадёжно. Бутылки “Спрайта”, что-то дурно обжаренное... Он прошёл в холл гостиницы, где сидела тётенька, как показалось вначале, — злая:

— Нельзя проезжающим, туалет только своим.

— В самом деле? — смутился Андрей. Но тут неожиданно смутилась тётенька.

— Конечно, идите, надо вам, идите, — и протянула ему ключ от туалетной комнаты. И почему-то спонтанность этой доброты так поразила Ромашкова, что после, выйдя к машине, он стал вытаскивать из кошелька местные деньги, стал спрашивать у Сидорчика совета, сколько дать на чай портье, но Сидорчик, в свою очередь, ещё больше удивился и заверил, что ничего давать не нужно: пустила, и ладно.

Они тронулись с места, и опять пошли по обеим сторонам дороги бесконечные лиственные леса, ласковые берёзовые рощицы вперемешку с корабельными соснами. Ноябрь стоял необыкновенно тёплый: ни снега, ни холодных дождей, и в лесах ещё кое-где виднелись старые листья, а хвоя и вовсе радовала глаз беспримерным своим вечнозелёным праздником.

Под конец пути, усталый от вчерашней суматохи, Ромашков незаметно для себя уснул и только тогда открыл глаза, когда густой, хриплый бас большой овчарки на привязи резанул уши.

— Приехали, — сказал Сидорчик, — вылезай, гостем будешь.

— Приехали! — какая-то девчужка на длинных, журавлиных ногах выскочила откуда-то с бокового входа, радостно подбегая к собаке: — Я подержу, вы его не бойтесь!

Ромашков действительно недолюбливал собак и замылся, стоя у открытой машины. А девчужка, схватив пса за ошейник, — такая длинненькая, хрупенькая — держала его, огромного, рвущегося с цепи, приговаривая:

— Тетя Вера его целую неделю лечила, он же под машину попал, дурень, она его бинтовала, и теперь, смотрите, поправился.

Тетя Вера уже спешила к ним навстречу, тоже без пальто, в переднике, с изящно повязанной на голове косынкой, по виду совсем простая женщина, но с каким-то природным изяществом и даже щегольством, что сразу почувствовал Ромашков.

Прошли боковым входом через маленький коридорчик и очутились в просторной тёмной истопной с котлом в центре, а в глубине — с лежанкой бабы Кати, бывшей уральской бомжихи, прибившейся сюда, в дом милосердия на краю белорусской деревни, у самой почти границы с Латвией, с год назад. Андрей машинально оглядел существо ростом метра в полтора: тёплые лыжные брюки, вылинявшие так, что цвет их определить было невозможно, старая девчачья курточка с закатанными рукавами. Баба Катя следила за котлом и сейчас только, засыпав туда порцию торфяных брикетов, как ребёнок, моргая глазами, застыв у синего шведского котла, молча смотрела на них.

— Пошли, пошли, — заторопила всех Вера, и они стали подниматься на второй этаж, в гостиную, куда уже прибежала та самая девчужка Вика, что удерживала во дворе собаку, и где Андрей увидел ещё двух девочек, лет десяти и пятнадцати, тоже молча стоявших под портретом шведской королевской семьи, висевшем на голой стене.

Длинный стол посреди комнаты, подюжины разномастных стульев, телевизор рядом со старым неработающим компьютером и справа, во всю стену — самодельный киот с иконой Спасителя по центру, покрытой вышитым белорусским рушником. Вера всё хлопотала, бегала на кухню на первый этаж, строгала капусту, морковь — делала салат. Девчонки приносили приборы, расставляли посуду на пустом, без скатерти, столе, а потом тихо, застенчиво застыли у стены.

Сидорчик, о чём-то вспомнив, встряхнул руками и побежал вниз к машине:

— Привёз немного, — передал он пакет девчонкам. Те взяли, но не стали ничего разворачивать, не только жадности, но даже и обычного любопыт-

ства не проявляя, пока Вера, на ходу зыркнув на пакеты, не бросила: — Ну, что же, угощайтесь. — Тогда они осторожно вынули по апельсину, стали очищать кожуру, остальное положили на край стола. Стояло в углу ещё два широких, разлапистых кресла. Оба гостя устроились на поцарапанных обивках, подлокотник на кресле у Андрея совсем отвалился, но всё равно сидеть было удобно, покойно и тепло, и если бы не Вера, которая всё летала по комнате, всё кружила в хозяйственном ознобе, мелькая перед глазами, то было бы и совсем прекрасно.

Внизу послышался шум машины, и Вика, засияв, кинулась со всех ног вниз по лестнице:

— Отец Геннадий!

И другие девчонки, словно встряхнувшись от сна, бросились следом:

— Отец Геннадий!

— Батюшка наш приехал, — Вера как-то подобралась вся и, тоже сияя, заспешила на первый этаж. Так и вошли они в гостиную всей толпой, а во главе её — лет пятидесяти, среднего роста, худошавый священник, тот самый отец Геннадий. Неторопливо и приветливо, радостно даже поздоровался он с Алексеем, а затем протянул руку Андрею, тоже радостно, но глаза его при этом исподволь изучали гостя, зорко и недвусмысленно. Уселся за стол, Вера подала рыбу, хорошо протушенную, вкусную. Были ещё какие-то шведские консервы, девчонки их ели неохотно, а Ромашкову их и вовсе не предложили.

После ужина, когда взрослые остались одни, отец Геннадий какое-то время сидел молча, словно не зная, с чего начать разговор, но тут сотовый его задребезжал настойчиво, вызывая на требы в соседнюю деревню, и он, быстро собравшись, отъехал, пообещав возвратиться часа через два. Сидорчик же, словно только того и ждавший, нервно соскочил с кресла и возрадовался:

— Ну, прекрасно всё получается! Отдохнёшь, девчонки тебе покажут хозяйство, осмотришься, а после сразу в Минск, назад, как пули!

— А то бы и заночевали у нас, — вступила в разговор Вера, — в комнате для гостей. И чтобы уже наверняка убедить странноватого гостя, добавила: — Там и шведские спонсоры ночуют, когда на своё Рождество к нам приезжают.

Оба они стояли и смотрели на него. Андрей кивнул, и Вера кликнула Вику. Та прибежала вместе с Леськой и сообщила, что Танька уже внизу, кормит кроликов и птицу.

— Вот и проводите туда гостя, — сказала Вера. Девчонки тотчас повиновались и кубарем скатились вниз по лестнице на первый этаж. Без визгу, правда, но весело, а Вера, плавно спускаясь вниз по крутым ступеням милосердного дома, на ходу распекала их:

— Как твой нос? — спрашивала Леську. — Всё сопли? Где платок? Носовой платок где?

Леська, на ходу вытащив платок, быстренько дунула в него и первой открыла дверь на улицу, куда и выскочила прямо на мороз в одной кофтёнке, и всё так же весело поскакала к небольшому сараю в углу голого, покрытого чахлой травой двора. Сидорчик с Андреем совсем было двинулись следом, как из боковой комнаты на первом этаже выкатила сухонькая, словно сморщенный фасоловый стручок, старушка и, засеменя к группе гостей, вежливо им поклонившись, чмокнула Андрея в руку. Сама поднесла к губам и чмокнула. Остолбеневший Ромашков застыл на пороге.

— Это бабушки наши, — заулыбалась Вера, — одинокие. Привыкли, как у нас говорят, за польским часом, ручки целовать панам, так и не отвыкли за советскую власть. Трое их у нас живёт, и ещё одна приходит на обед. Поест, уйдёт и спасибо не скажет. Ну, я на кухню.

— Да, верно, — соображал Андрей, — ведь это Западная Белоруссия, здесь же Польша была до войны.

В сарае вовсю хозяйствовала Танька, подстилая солому кроликам, вычищая клетки. Приглядевшись, Андрей понял, что эта щуплая, с маленьким, осунувшимся личиком девчонка совсем не подросток, что лет ей, может, 18, а может, и больше. Но во всём её облике было что-то такое ребя-

чье, незащитное, что делало её не просто моложе, а именно целомудреннее и незащитнее.

А Леська, опередив всех, уже стояла, прижимая к себе серого кроля, а вслед за ней и Вика, бестрепетно ухватив другого кролика за длинные уши, по временам наклоняя к нему аккуратную головку, зарываясь тонким точёным носиком в кроличий мех, удерживала его на руках. Обе мешали Таньке работать. Но та не жаловалась, не протестовала, а продолжала скрести клетки, только перешла к самой дальней из них.

— Мы ещё и козу заведём, — похвасталась Вика и, взглянув на неё пристальней, Андрей поразился: перед ним было чудо едва раскрывшегося бутона какого-то в будущем диковинного, прекрасного цветка. И эта удивительная фигурка на грациозных, длинных ножках, и чёрные, вразлёт, брови, которые век назад назвали бы соболиными, и вся она — лицо, волосы — вся обещала стать такой неповторимой красавицей, что у Ромашкова перехватило дыхание и мысли побежали какие-то совсем восторженные, одна нелепей другой. О каком-то портрете её и, возможно, о подиуме — за такую красоту заплатят миллионы, чтобы только видеть её на постерах ежедневно. Потому что это натурально, или даже нет, не просто натурально. Это природно, изысканно. Это настоящее! Не плебейские рысьи мордашки из привычного обихода последних лет, но что-то донельзя породистое и именно настоящее.

— Красивая девчонка, — Сидорчик улыбался, глядя на него. — Зося сделала несколько портретов с неё в смешанной технике. Хорошо получилось, тонко.

Они уже выходили из сарайчика и шли по двору к дому. Зося? Зоська Цитович, их общая на младших курсах любовь? Так они поженились всё-таки, и Зося — жена его...

— А где она? — спросил Ромашков машинально.

— Как где? В Минске. Преподаёт в училище, пишет. Здесь в гостевой комнате есть её работы, хочешь взглянуть?

Он, конечно, хотел и долго рассматривал несколько небольших рисунков над кроватью, аккуратно застеленной стареньким пледом. Мелкая какая-то речушка, местная, наверное, речка. Старые валуны. Сосны на закате с оранжево-красными стволами. И девочка, тихая, задумчивая, с белой лентой в тёмных волосах, а глаза — голубые... Не мелочное осмысление фактов бытия, людей, пейзажа, и даже не особая какая-то одухотворённость, творческая самобытность, ему, как профессионалу, очевидные с полувзгляда, нет, не это завораживало в небольших картинках над кроватью. А что? Он бы не смог сказать, в словах выразить то, что ощутил так сразу, ясно, и только удивился, вздохнув:

— Надо же, как Зоська теперь пишет...

И было понятно, что женская это рука, по плавности линий понятно, по прозрачности и самому настрою. “Но ведь здорово, не хуже знаменитых японцев, честное слово, не хуже, во всяком случае, так же своеобразно”, — решил Ромашков.

— Выставляется она где-нибудь? — спросил он у Сидорчика.

И про самого Алексея хотел расспросить, но как-то замялся, убоавшись, и они быстро вернулись в гостиную, где девчонки, сидя на коврик перед телевизором, смотрели видеофильм о снисхождении Благодатного огня от Гроба Господня на Пасху. Размеренный, хорошо поставленный, несколько усталый голос актёра Баталова с едва заметным московским говорком комментировал происходящее. Вначале яркие всполохи по всему куполу огромного собора, спуск Патриарха ко Гробу, молитва его, и вот он — Благодатный огонь в тысячах свечей сразу, по всему храму из рук в руки переливающийся. Безудержные вопли каких-то африканских паломников, прыжки их, радостная сдержанность монахов, разноязыкие паломники-миряне, огромное людское пространство и весь собор — одна сплошная радость и ликование, у каждого своя и всеобщая.

Время шло к десяти. Леська уже клевала носом, девчонки ушли к себе в комнату. Отец Геннадий, только что вернувшийся с треб, сидел за столом

вдвоём с Верой. Большая коробка конфет от прихожан лежала перед ними на столе.

— Ну, забросали ваших подопечных сегодня конфетами, — обратился к нему добро Ромашков. Священник устало кивнул, опустив веки. Вера хлопотала у чайника, Сидорчик — тут как тут — стал рассказывать гостю, что по весне думают они разбить свой сад, посадить яблони, кусты смородины, будут свои витамины, а Зося привезёт из Ботанического сада какую-то удивительную сирень. Отец Геннадий кивал всё так же устало, а после заговорил о солярке. Три тонны солярки для котла — вот что главное для зимы. Торфобрикеты дорогие, а соляра — она не подведёт. Ромашков вынул чек-овую книжку, но батюшка замахал руками: не так всё просто, оказывается: взял да и выписал чек. Кучу бумажек надо оформить. Ромашков растерялся:

— А если я из Парижа перешлю, по приезде?

Ещё хуже, оказывается. Кто переслал? Зачем? Почему? Сложно. Лучше уж тут, на месте, но с бумажками. Сидорчик страдальчески морщился над своей чашкой.

— Но у меня завтра рейс, в три часа, самое позднее — к десяти утра я должен вернуться! — взорвался Ромашков. Мужчины дружно закивали. Никто не возражал: надо — значит надо. И тут Вера, не выдержав, заговорила о доверенности. Как бывший бухгалтер, а теперь молодая пенсионерка, она знала, о чём говорит. Выписать доверенность — и точка. А оформить бумаги можно и после. Мужчины опять дружно закивали, и все стали пить чай. Через час милосердный дом погрузился в глубокую тишину.

* * *

Зося всё выбирала: Андрей или Алёшка? Ромашков или Сидорчик? Нравилась она обоим, и ей оба нравились, но как-то вяло нравились, всё-таки больше думала она тогда об учёбе, о будущих великих своих творениях. Но после Академии время помчалось ещё быстрее, чем в студенчестве, его стало мало для всего задуманного. И оказалось, что задумать — одно, а жить, не творить даже, а просто жить изо дня в день — совсем другое. Через полгода после отъезда Андрея за границу они поженились с Сидорчиком, она перенесла свои причиндалы, как называла холсты, краски, кисти и прочее, к нему в мастерскую, и теперь они работали здесь вдвоём, каждый в своём углу, она — в том, где раньше работал Ромашков. Через год умер их сын-первенец, глупо, беспощадно, от полного, как тогда казалось, недоумения. Стало тихо в мастерской. Тимошенко, собиратель древностей, как они между собой в компании его называли, больше не приводил на вечерние посиделки начинающих поэтесс, молодых театральные звёздочек местного измерения. Не являлся больше и косматый Рудик с вечным насморком и бессмертными пейзажами, и многие ещё богемные друзья и подружки — всех выдул холодный декабрьский ветер вечно открытой форточки. Она годами приходила в себя после потери. Не было тогда ни психотерапевтов, ни церквей, во всяком случае, никто о них не ведал. И Зося годами перемалывала своё горе и долго жила по инерции — все существуют, и я тоже существую. Не писала года два. Потом пошёл какой-то давящий кошмар. Время тянулось бесконечно. А по телевизору одни за другими шли похороны генеральных секретарей. Собственная молодость, безмерные, казалось, силы давили ненужным грузом. Алексей молча страдал рядом, молча, словно не вмешиваясь ни во что. Было плохо обоим, но он работал. Он теперь работал как бы за двоих — за неё и за себя. Только через десять лет родилась Маша, худенькая, слабенькая, любимая дочка Маша. А Союз разваливался. Маша росла, а всё вокруг шаталось и растекалось мутными потоками дождя по стеклу. Потом стало как-то стабильнее, но Зося уже ничего не замечала: у неё была работа в училище и работа в мастерской, и у неё было дитя, дочка, растущая не по дням, а по часам и требующая своего. Время опять побежало стремительно, но не только для неё. Тот временной галоп начала девяностых со многими сыграл злую шутку. Людей разбросало, разнесло по

разным континентам и странам. Рудик в Израиле пейзажи свои оставил. Старик-отец его, через короткое время после приезда ввавший в глубокий маразм, нуждался в лечении, нужны были деньги и на учёбу старшего сына. И он ушёл на завод минеральных вод простым работягой на конвейере. Но с годами выдвинулся, а позже и вовсе выкупил завод у хозяина, отбывшего куда-то в Европу, процвёл и разбогател. И однажды появился в родном городе, раздобревший, без кучерей, но азартный, и, собрав бывших друзей, устроил грандиозный пикник с фейерверком, где под всполохи фантастических огненных цветов на ночном небе обнимался со всеми, даже с неизвестно откуда вдруг появившимися незнакомыми прихлебателями, пил шампанское и, в конце концов, совсем раскис, разрыдался, и его увезли в дорогой отель отдыхать. Зато Тимошенко, уже не только де-факто, но и де-юре главный частный антиквар столицы, заполучив вместе с прибывшим капиталом и хроническое заикание, от старых богемных привычек отрёкся начисто. Теперь он водил дружбу с охотниками и при всяком удобном случае старательно ускользал из города, чтобы пострелять уток где-нибудь в тмутаракани. Подружки его, поэтессы и писательницы, тоже рассеялись в пространстве. Об одной было известно, что сперва открыла она косметический салон в Техасе, а после переехала куда-то в Калифорнию. Другая, помявшись в безработных актрисах, вышла замуж за итальянца, но быстро возвратилась на родину и сейчас руководит детским театральным кружком.

* * *

Алексей оставил Ромашкова одного. Две гостевые кровати стояли в комнате второго этажа, но после всех событий вечера и он хотел побыть один, и на лице Андрея ясно прочитывалась усталость от всего, не столько от событий даже, сколько от окружающих, — привычная усталость современных людей друг от друга. И теперь, скорчившись на коротком для его роста диванчике в гостиной и пытаясь уснуть, Алексей по временам открывал глаза, жмурясь, пытался разглядеть дальний лик Спасителя на противоположной стене и едва различимую в темноте икону преподобной Евфросинии, хранительницы здешнего очага. В освященной в её честь церкви служил отец Геннадий — в небольшом местечке километрах в двадцати от милосердного дома.

— И когда он всё успевает? — сонно соображал Сидорчик. — Мотается по всей округе на стареньком джипе, подарке шведов. А от церкви, где служит, до другого местечка, где он живёт, ещё километров тридцать. Привычные для него, столичного жителя, километры здесь, на сельской Белой Руси, и он теперь хорошо знал это, превращались совсем в другие расстояния.

Исхоженные пешком в ожидании нечастых автобусов дороги становились бесконечными путями из деревни в деревню, полями, лесами, бесчисленными песчаными просёлками.

В свой первый приезд сюда в начале января прошлого года, когда он шёл от дома милосердия к магазинчику на другом конце озера, колкая неподвижность зимнего воздуха, и какая-то отстранённая голубизна холодного неба, и то, что за весь путь до магазинчика не встретил он ни единой души, словно раздвинули для него границы окружающего пространства. Он шёл мимо старого кладбища и дальше, по берегу большого мелкого озера, покрытого прозрачным слоем льда, охваченный странным чувством одиночества и полной своей заброшенности. И потому, как родной, обрадовался незнакомой продавщице в магазинчике, шутил с ней, накупил сразу несколько килограммов лежалых бананов — из фруктов ничего здесь больше не было, — и ещё больше возрадовался, возвратившись под кров милосердного дома, в его тепло и свет, хотя топили так сильно только для него, гостя. В обычные дни, как он узнал позже, топили экономили и жили, по выражению Веры, прохладно. И Зося, хотя приехала сюда уже в начале весны, в самый разлив бегущей от озера мелкой речки, побродив по окрестностям, повосхищавшись старинной архитектурой заколоченной церквушки у кладбища, первозданной чистотой сельского воздуха, вдруг села в уголке гостиной молча и так же

промолчала весь обратный путь, глядя сквозь ветровое стекло куда-то, скорее всего, в никуда.

Пришёл знакомый художник к Сидорчику, о чём-то поговорили, и тот вдруг предложил:

— Не хочешь отдать картинку на продажу, любую — надо помочь милосердному дому.

Так впервые услышал он об отце Геннадии, в прошлом выпускнике их Академии, только курса на два помладше. Сидорчик его и не помнил совсем. Картину он, конечно, отдал, а через некоторое время — ещё одну. А после поездки в Василичи звонил знакомым ребятам, кланчил у них работы, и все давали, у кого просил.

Какая-нибудь персональная выставка в пятьдесят, к юбилею. И это всё? Но галерей мало, даже конкурса в Академию теперь нет — случайные люди поступают. И его ровесники, как-то незаметно ставшие солидными дядьками, толкуют о самобытности, о корнях, но пропуск на биеннале в Венеции — как пропуск в рай. А там в прошлом году вовсе даже и не художник победил, а бывший какой-то музыкант, и музыка его — набор скрипов заезженных пластинок. Да, господин Малевич, такой от вас подарок мировому искусству. Чёрный квадрат как итог, а живопись, сказал, кончилась. Ну, и кончилась... Молодых жаль. Играют с вещами, как правило, шокирующими. Изобретательность, изощрённость ума. Бедному обывателю и не вообразить такое. Но ведь для него стараются. А разве это цель? Не дерзость даже, а просто глупость. И невдомёк им, что западные авангардисты годами рисуют гипсы, прежде чем впасть в ересь отрицания.

Сидорчик перевернулся на правый бок.

— Святая простота! А ведь она есть, её не может не быть, святой и недоступной, как небо.

В четыре утра наверху, на втором этаже, измученный, невыспавшийся Ромашков, позабывший в гостинице лекарства от бессонницы и от желудка — от всего! — поняв, что ни секунды больше не может пробыть в тесной комнатке с иконой какого-то святого прямо над входной дверью, встал, резко отбросив старенький плед, и, ёжась от нервного озноба и холода, принялся натягивать на себя одежду и свои модные ботинки, а после, крадучись, хватаясь руками за стенки, неверным шагом начал спускаться вниз, в холл, где замер, не представляя, как выбраться наружу. Два выхода было в доме, во двор и на улицу, но как найти их, он не знал.

* * *

О невероятной работоспособности студента Ромашкова в Академии ходило много слухов. По приезде во Францию первые пять-шесть лет он работал так, что времени оставалось только на еду, краткий сон да изредка — на созерцание метровой зелёной лужайки у глухой стены дома напротив. Мастерская его — убогая клетушка убогого блочного дома на окраине — единственным окном выходила на эту замусоренную лужайку, которая и спасла его, связав с реальностью. Всё остальное было не просто фантастично, но похоже на нехороший, тяжёлый сон, долгий и тягуче-однообразный. Никому неведомый и ненужный художник откуда-то с востока. И добро бы с востока настоящего,пряно-тайваньского, с каких-нибудь океанских островов. А то ведь славянин, да ещё из коммунистической империи. В семье Ромашковых хранилось предание о каком-то далёком предке-французе, якобы замерзавшем при отступлении разбитой наполеоновской армии, больном и умиравшем, но доброй белорусской семьёй спасённом от смерти. Фотографий тогда не водилось, и был ли этот француз лицом реальным, а не фольклорным, не известно. Внешность у Ромашкова была вовсе не французская, скорее — в отца-волжанина, после другой, уже Великой Отечественной войны освещёного в Белоруссии, которую он освобождал. Только вот странность: несмотря на замкнутость первых лет во Франции, язык Андрей освоил сразу, с лёту, и говорил на нём почти без акцента, точнее, с акцентом парижским. “Ма-

дам Настя”, как называл он впоследствии свою несостоявшуюся благодетельницу, наоборот. Хотя и жила во Франции всю жизнь, с ранней юности, за долгие десятилетия своего белорусско-крестьянского акцента не преодолела, да, наверное, и не хотела преодолевать. Мадам-вихрь, она неслась по жизни на бешеной скорости, жена известного супрематиста и сама своеобразный, интересный, как многие полагали, художник. Миновать Андрея она не могла. Из-за железного занавеса тогда не так много просачивалось людей. Тем более он был свой, компатриот, белорус. И Андрей получил приглашение в Кальян, куда и отправился в наёмном “ситроене” один, без жены. Старуха только что вернулась из СССР и накрыла его с головой. Здесь были Плисецкая и Брежнев, собрание навоза по дорогам в детстве и белая шубка в пионе, в современной деревне на родине вызвавшая настоящий шок. Музей мужа в Бьоте, который она достраивала и собиралась подарить Франции, и ещё один музей его памяти — в Нормандии. И репродукции всех великих художников всех времен и народов, которые собиралась после напечатания их в Швейцарии кому-то в Союзе дарить. Они ужинали в тесном кругу, как она сказала, и эта добрая дюжина домочадцев и гостей, сидевшая за столом, дружно попивая вино, хохоча, споря и перебивая друг друга, оглушила его.

— К Пикассо тебе пока рано, старик совсем стал жёлчен, ужалит насмерть — и не заметишь. А к Шагалу зайдём непременно, познакомя.

Она знала сотни, а может, тысячи людей, и почти всех помнила по именам. Крепенькая, термоядерная “мадам Настя”, великая труженица, правдивая коммунистка и заядлая спорщица.

Когда большой, со вкусом обставленный дом её, наконец, затих, Ромашков крадучись спустился со второго этажа, куда его поместили после затянувшегося чуть не до рассвета ужина, и, в темноте довольно скоро отыскав наружную дверь, вышел на стоянку к своей машине. От красного вина, выпитого вдоволь за ужином в нарушение всех житейских правил, которым он следовал всегда, даже в пьяненьком студенчестве, и позже, даже в богомном окружении, неукоснительно и строго, как солдат, не осталось и следа. Голова была ясной, только ноги предательски подрагивали. Но он, не раздумывая, забросил на заднее сиденье дорожную сумку и, включив зажигание, как вор, вполне серьёзно умоляя чужой, наёмный “ситроен” не тарыхтеть сверх меры, вырулил вначале на узкое шоссе, а после на магистраль, по которой покатыл сперва осторожно, но вскоре понёсся во весь дух на север, к Бордо, откуда часов около одиннадцати, наскоро перекусив, устремился к Парижу, к своей клетушке, к метровой лужайке, тишине и работе. От краткого рывка на юг в памяти ещё несколько лет жили отрывочные воспоминания о знойном духе кипарисов и созревающих лимонов, о лёгком, всё пронизывающем свете да настойчивом треске цикад. Скуластое лицо пожилой женщины с аккуратным пробором гладко уложенных волос ему, широко известному впоследствии мастеру психологического портрета, и в голову не пришло бы изображать. В политике он разбирался слабо, но фальши не любил. А фальши было много и здесь, но ещё больше — в покинутом Союзе. “70 драгоценных камней к 70-летию дорогого Леонида Ильича”. Как можно было принимать такое или даже восхищаться? И то, что он никогда не увидит галереи Флоренции, Лувр, росписи Сикстинской капеллы живьём, а не на слайдах или в репродукциях. Но главное — вечный окрик: то нельзя, это нельзя, вечная палка старика Будника, страх, который уже в тебе, ты сломан, как бедняга Васяка Мезевич со своими многострадальными танцорками у фонтана в Центральном парке. Группа девчонок в хороводе, лёгкие платочки, веночки на голове, пляшут вокруг воды. Он вылепил их такими лёгкими, почти невесомыми.

— Вы что это! — сказали ему. — Надо уплотнить. — Он уплотнил. — Но это же толстые тётки, — сказали ему, — тогда почему в веночках?

И он сдался, он сделал всё, как они просили, что-то совсем уж непотребное, потому что дело запахло судом, растратой “народных денег”. В городе смеялись, но у Ромашкова история эта всегда вызывала не смех, а священный ужас. И ещё он знал, что может больше, что карьера успешного книжного графика, купание в заказах и деньгах, — словом, всё, что,

не раздумывая, оставил он на бывшей родине — не его потолок. И потому, не рассуждая, он устремился к цели, как молодой, упрямый ослик, только по временам прядая ушами и вздрагивая всем телом, когда был или безденежье, жалобы жены или такие вот стихийные броски на юг отрывали его от работы. Он был аскет? Может быть, — Ромашков не копался в этом. Но те, кто вывел его, наконец, на широкую дорогу признания, и впрямь были аскетичны. Мужчины и женщины в нелепых, как у Чаплина, шляпах-котелках, широченных юбках-штанах, с длинными, лоснящимися прядями иссиня-чёрных волос. Каждая черта их бронзовых лиц хранила невозмутимую аскезу, древний, абсолютно незабываемый код индейской расы, так и не разгаданной до конца человечеством, непонятной и им самим, жалким потомкам некогда великих народов, бредущих теперь босиком по горным тропкам от селения к селению с грудой пустых горшков на продажу, наваленных высокой, в два человеческих роста горой, на согнутые спины.

Первый его серьёзный покупатель на западе был аргентинец, женатый на француженке и осевший навсегда в Париже. Его рассказы заинтересовали Ромашкова. С деньгами только на обратный билет он прибыл в Байрес, как местные жители для краткости именовали свою столицу, и сразу утонул в потоке уличной жизни, делая бесконечные наброски, впитывал, наблюдал, работал. Но уже через неделю, пресытившись сильно европеизированной здешней жизнью, сбыв несколько привезённых с собой картин, попал в боливийские Анды, где задержался уже подольше. А позже и вовсе добрался до гватемальских Антигуа, Санто Томаса и Чичикастенанго. Купание в глубоком прохладном озере у подножия вулкана обернулось бронхитом. Он отравился местными тортильяс с непонятной начинкой, которые покупал у торговки на рынке в Солола. Его сутки выворачивало наизнанку, а спас вечно сонный, простодушный местный Гипшократ отваром из каких-то корешков и сухих трав, развешанных пучками под потолком хижины, куда приходил лечиться весь посёлок. Странно, но после успеха латиноамериканской серии, на корню закупленной в Штатах, он ни разу не подумал вернуться на континент, ни разу не оглянулся назад, в прошлое. Даже с новой своей женой, бразильянкой, познакомился в Брюсселе. После развода и новой женитьбы были куплены апартаменты с видом на Сену, но, кажется, это так и оставалось самым крупным его приобретением. По-прежнему равнодушный ко всему, кроме работы, свой успех у немцев он воспринял уже как должное. Немецкие живописные ценители, в вечных комплексах, в вечном соревновании с лягушатниками, как бы чего нового у тех не пропустить, платили хорошо, но его занимали мало. Он уже трудился свободно, легко, он уже был Romashkoff — имя на арт-рынке, уважаемая личность для арт-дилеров.

Примерно в это же время развалился Советский Союз, и его родина стала независимой республикой. Однажды он получил приглашение на приём в их парижское посольство, но был за границей и приглашение осталось без ответа. Через год, ко Дню независимости, приглашение повторилось, и Андрей ему внял. Было мило. Он познакомился с атташе по культуре и послом — приятной, средних лет женщиной, внучкой легендарного партизана. Ещё позже последовало официальное предложение о персональной выставке. Он внял и ему с двумя мелкими оговорками: безупречное освещение и убытие через 48 часов после приезда. Было обещано и это. Так Андрей очутился на бывшей родине. Впервые за тридцать один год.

* * *

В шесть утра после недолгого, нервного сна Сидорчик встал, спустился вниз и мимо пустой лежанки бабы Кати вышел на заднее крыльцо. Было темно особенной, предрассветной темнотой ноябрьской глухой ночи. Но постепенно облака рассеялись, и лукавый месяц осветил двор неверным светом. Баба Катя была уже на ногах и кормила собаку. Пес жадно ел, а маленькая, всё в тех же лыжных брюках фигурка, попыхивая папиросой, стояла рядом. От Веры Сидорчику было известно, что баба Катя по старой бомжовой при-

вычке проводит на улице целый день, даже в дождь, а её застарелый цистит Вера лечила долго, но всё-таки вылечила травами. Сейчас баба Катя, молча кивнув Сидорчику, продолжала стоять, глядя на собаку и улыбаясь чему-то своему. Алексей вдруг вспомнил, как она молилась. В один из приездов вечером ненароком увидел их всех, обитателей милосердного дома, молящихся перед сном. Одна из старушек при поклонах всё хваталась за поясицу, громко охая, девчонки фыркали от смеха, а Вера, прерывая чтение, строго одёргивала их. Баба Катя стояла, как все, уже не в брюках, а в непонятной какой-то чужой юбке и тоже крестилась вместе со всеми, и кланялась, и её сосредоточенность и отстранённое спокойствие сильно поразили тогда Сидорчика.

Отворилась дверь. Заспанная Танька вышла во двор и, поздоровавшись с ними, прошла к сараю кормить живность. Сидорчик вернулся в дом и, вспомнив, что Вера вчера жаловалась отцу Геннадию на неисправность в котле, присел на корточки возле непонятого агрегата.

— Батюшка уже починил вчера, ещё когда в первый раз приезжал, — Вера наклонилась к нему приветливо. — Идёмте завтракать, я напекла блинов.

Алексею совсем не хотелось есть, он никогда не ел в такую рань, но поплелся за Верой на кухню, где за накрытым столом, обе ещё сонные, уныло макая носы в чашки с молоком, сидели две младшие девчонки. Тут только Алексей вспомнил о Ромашкове. Словно угадав его мысль, Вера доложила:

— Спит внизу, в кресле, я его пледом накрыла, даже не пошевелился.

Алексей взглянул на часы — было семь утра.

В восемь они, наконец, решительно подошли к спящему Ромашкову, и Сидорчик тронул его за плечо. Ромашков спал, закинув голову и как-то неудобно, набок повернув её и во всю длину вытянув обутые в ботинки ноги, торчавшие из-под пледа вместе с задранными краями брюк. Открыв глаза, в первую секунду он с удивлением увидел перед собой вежливо улыбающееся лицо Веры. Но тотчас пришёл в себя и, справившись у Сидорчика, который час, завтракать не пожелал, умываться не пожелал, даже зубы чистить не пожелал и, захватив сверху дорожную сумку, выскочил во двор, к машине, держа в руках тёплую свою куртку. Сидорчик, стараясь не отставать, юркнул на водительское сиденье, и на всей возможной скорости машина устремилась вперёд, к столице.

* * *

Из-за тумана самолёт взлетел на час позже. Место Андрея оказалось рядом с дамой в сари, секретарём индийского посольства, летевшей в Париж на каникулы. Они перебросились несколькими фразами, и дама, зябко кутаясь в шубку, углубилась в свой ноутбук. Понимая, что не заснёт, хотя поспать в самолётах он любил, Ромашков достал небольшой томик Доминика де Вильпена *“Le cri de la gargulle”*, который накануне поездки бросил в сумку так, на всякий случай. “Крик горгульи”, однако, оказался криком души самого автора, бывшего министра иностранных дел Пятой республики. Чтение поучительное, но тоскливое. “Мир потребления, мир безделиц и мимолётностей, в котором здравый смысл и идеалы сгорают на костре тщеславия... С одной стороны, безграничное расширение кругозора, информация в реальном времени, с другой — крушение морали, обесценивание этики, размывание понятия “смысл жизни”. Наши алтари опустели, мы в плену у абсурда, как бывало всегда при великом переломе, крушении империй или когда всходила заря перед наступлением Ренессанса...”

— Ренессанс, — повторил про себя Ромашков и ухмыльнулся. — Все они жаждут Ренессанса, мадам и мосье с безупречным сорбоннским прошлым, безукоризненными манерами и вкусом. Но стоило ли так упорно восходить по служебной лестнице, чтобы в конце карьеры, оглянувшись, разбиться о пустоту?

Краем сознания он отметил про себя, что сейчас мысли его отстранены от Франции, от страны, где прожил он последние три десятка лет, и удивил-

ся сам себе. Да, антураж его жизни, вся поверхность бытия были французскими, а сердцевина — какой? Оставалась будто замороженной, ничейной. Но так не бывает. Тогда чьей? И вдруг вспомнил бойкую дамочку на банкете — журналистка? критик? — так и не узнал. Но как она устремилась к нему, потрясая кулачками, что-то доказывая в запале. Бедные! Они всё ещё спорят всерьёз о современной живописи. Конечно, и в постмодернистской навозной куче можно отыскать настоящую жемчужину, и не одну. Но делать из этого серьёзный предмет для спора как-то уж слишком провинциально. Всё давным-давно катится по известной колее. Куда? Ну, уж об этом точно не стоило размышлять.

Но вот девочка. Красивая девочка, а отец алкоголик. А у другой, совсем малышки, тоже и, кажется, уже умер, а мать пьёт. А та, третья, и вовсе, как сгусток горя: муж утонул, родителей давно нет в живых, а пьяница-свёкр бил её, беременную, и она родила мёртвого ребёнка. И старушки! Ромашков улыбнулся. Целуют ручки! Но на этой земле я родился, прожил детство и юность, и что-то главное во мне, что-то не зависящее от моих желаний, вкусов, от самой жизни, — оно отсюда, и другим никогда не будет. Да, не будет! — вдруг с ужасом и восхищением понял он. И стало ясно... Он догадался, наконец, про эти тридцать стогов сена. Каждый год рисовал стог, обычный деревенский стог, а сверху — воткнутая палка, как это принято в белорусских деревнях. Рисовал не на продажу, сам не зная, для чего, и складывал картины в углу мастерской. Тридцать стогов. Настоящих. Никому, кроме него, не нужных.

Объявили о посадке. Ромашков пристегнул ремни.

Но кажется, в одном мосье Вильпен всё-таки прав. Париж сильно изменился за последние годы, и не в лучшую сторону. Придётся, наверное, подыскивать что-нибудь в провинции, коттедж где-нибудь у моря. Ну, хоть в районе Гранвиля, где они с женой отдыхают подряд второе лето. Хотя ей больше нравится Биарриц. Собственность в Биаррице? Ну, нет, эти бразильские штучки не для него!

* * *

Прошло несколько месяцев, и в конце февраля Ромашков получил открытку. Старательным детским почерком там было написано:

— Уважаемый Андрей Викторович! Поздравляем Вас с Новым годом и Рождеством Христовым! Благодарим за денежный перевод. Желаем крепкого здоровья и успехов в труде. По поручению отца Геннадия, с уважением к Вам, Елена Кантарович.

На открытке краснопёрый снегирь, сидя на зимней еловой ветке, раздувался от мороза, но вид имел задорный и счастливый.

МИХАСЬ ПОЗДНЯКОВ



ЗЕМЛЯ РОДНАЯ, ОТЧАЯ ЗЕМЛЯ

БЕЛАРУСЬ И РОССИЯ

Есть названия извечно святые,
В каждой буковке — искры любви...
Две сестры — Беларусь и Россия,
Две сестры по судьбе и крови.

Обе искренни и синеглазы,
Над обеими — лёт журавлей,
Отражаются ивы и вяза
В чистых водах, что неба синей.

В душах — вольницы вечной стихия,
И от пращуров в них — непокой.
Две сестры — Беларусь и Россия,
Не отделишь одну от другой.

Наступали години лихие...
У пучины на самом краю
Две сестры — Беларусь и Россия
Шли на битву в едином строю.

ПОЗДНЯКОВ Михаил (Михась) Павлович родился в 1951 году в д. Забродье Быховского района Могилёвской области, окончил Белорусский государственный университет. Поэт, переводчик, прозаик, языковед. Автор многих книг для юных и взрослых читателей. Председатель Минского городского отделения Союза писателей Беларуси. Член Правления Союза писателей Союзного государства. Живёт в Минске.

Мир иной... Но кого ни спроси я,
Эти чувства всё так же остры.
Две страны — Беларусь и Россия,
Две руки...
Две любви...
Две сестры...

СКРИПАЧКА В ПОДЗЕМНОМ ПЕРЕХОДЕ

Скрипел мороз... И ветер прыткий
Толкал в подземный переход,
А там тревожный голос скрипки
Всё ждал от публики щедрот.

Купюры мелкие... Подачки...
Смешки... Футляр... И, Боже мой! —
Девчушка, юная скрипачка,
У этой стенки ледяной.

Студил колючий холод руки,
Но голос скрипки не слабел.
Рвались торжественные звуки
Под своды, белые, как мел.

Зачем сюда талант загнала
Судьба?.. Здесь мать и перемать...
Ей околдовывать бы залы,
Букеты гордо принимать...

Как мне стоять под этим взором,
Где тайна высшая небес?..
Спешу уйти... А вслед — с укором!—
Звучит Огинский... Полонез...

ПОЮТ КОЛОСЬЯ...

Поют колосья... Робкий ветер юный
Парит над полем, призрачен и чист,
Перебирая стебли, будто струны
Перебирает ухарь-гитарист.

Прислушайтесь... В негромком пенье жита
Сокрыта вековечная печаль
По юности, что кончилась — финита! —
По журавлю, стремящемуся вдаль.

Поют колосья... К ним прижмись душою
И, может быть, получится понять
Всю ширь небес над сумрачной рекою
И озерца раздумчивую гладь.

И в этой песне, стройной, вековечной,
Уже гудят грядущие века,
И Млечный Путь над полем — самый “Млечный”,
Он к истине ведёт наверняка.

Поют колосья... Пролетают годы...
Маршрут судьбы таинственен и крут.
И не страшны печали и невзгоды,
Пока колосья во поле поют...

* * *

Память... Ну, как с тобой сладить?
Снится порою ночной:
Мама готовит оладьи,
Возится папа с косой.

Свищет коса над росой
В папиных дюжих руках.
Драниками, сыродоем
Утренний воздух пропах.

Мама за стенкой, живая, —
В хате мы с нею вдвоём, —
Что-то под нос напевает,
Шепчет о чём-то своём.

Знаю, мне чудится это...
В детство я сном унесён.
Пусть бы и после рассвета
Дивный не кончился сон!

Чтоб, отшвырнув одеяло,
Вспомнить — я шустрый юнец.
Только бы мать напевала...
Только косил бы отец...

* * *

...А дома снова пенятся сады,
Фатою белой наряжая хаты.
По вечерам на речке из воды,
Как призрак, восстаёт туман косматый.

А соловьи, какие соловьи!..
Врачуют душу ласковые трели.
И месяц искры звонкие свои
Струит, как из божественной купели.

Земля родная, отчая земля,
Мой милый край, мой вечный гордый край!
Лишь здесь душою отдыхаю я
И лишь тебя всецело принимаю.

И, поклонившись в пояс землякам,
На миг, всего на светлую хвіліну,
Позволь и мне припасть к твоим ногам,
Как блудному, но искреннему сыну.

*Перевёл с белорусского
Анатолий Аврутин*

СЕРГЕЙ ТРАХИМЁНОК



ПРОКУРОРСКАЯ КРОВЬ

РАССКАЗ

Умер Серёга Хрунов.

Об этом мне сообщил мой однокашник по юрфаку Леонов, позвонив по телефону.

— Ёлки зелёные! — невольно вырвалось у меня, и связь неожиданно прервалась.

С Серёгой я виделся последний раз лет десять назад, когда приезжал в Н-ск в командировку. Встретились мы мельком, перекинулись несколькими словами. И я обратил внимание, что он не по возрасту сед. Это не было странным. Он всегда вёл напряжённую жизнь человека, пытающегося всех вокруг выстроить под некий идеал. Потому не дружил с коллегами, бодался с начальниками. При всём этом он оставался милиционером, был опером угрозыска, и опером хорошим.

Мы были знакомы с детства. А детство наше прошло в маленьком сибирском городе на тридцать тысяч жителей с названием Черноводск.

Когда мне было семь лет, и я готовился идти в школу, мои родители переехали к новому месту жительства. Так я оказался в некоем посёлке, сейчас его назвали бы микрорайоном, где жили работники маслозавода. Хотя сам маслозавод был уже за городом, поскольку его поглотил построенный молкомбинат. В пятидесятые годы прошлого века, как писали передовицы газет,

ТРАХИМЁНОК Сергей Александрович родился в 1950 году в городе Карасук Новосибирской области. Служил в армии, работал на заводе. Окончил факультет правоведения Свердловского юридического института, Высшие курсы КГБ СССР. С 1990 года живет в Минске. Член Союзов писателей России и Белоруссии, секретарь Правления Союза писателей Белоруссии. Автор повестей и романов, не раз публиковался в журнале "Наши современники" и других изданиях.

“полным ходом шла реализация программы развития мясо-молочной промышленности”.

С мальчишками маслозавода я ещё не познакомился, хотя знал, что они в контрах с кодовой ребятишек с соседней улицы — Рыбхозовской. Хотя, смешно сказать, рыбзавод тоже перенесли за город, и на территории “рыбхозовских” остался только рыбхозовский магазин.

Была макушка лета — июль. Стояла невероятная жара. Но до двенадцати дня на улице было вполне терпимо. Мать отправила меня в магазин за постным маслом, объяснив, что рыбхозовский магазин ближе, чем другие. Она понятия не имела, что ходить в этот магазин маслозаводским ребятишкам было заказано.

Из магазина я вышел, прижимая одной рукой к туловищу бутылку с маслом, горлышко которой было заткнуто газетой, другая рука у меня была занята сдачей.

Неприятное чувство вдруг охватило меня. Это было чувство опасности. И я не ошибся. Из-за угла магазина, как горох, высыпало с десятков разновозрастных ребятишек. Все они, в соответствии с сезоном, были одеты в разноцветные, выдавшие виды майки и одинаковые чёрные сатиновые трусы. Правда, и то, и другое было настолько выгоревшим, что больше походило на серое.

На лицах их была неопишуемая радость, какая бывает у охотников, в ловушку которых попался тот, на кого эту ловушку насторожили.

Но бить противника просто так было нельзя в соответствии с некими правилами уличного житья. *Правильные пацаны* не могли опуститься до такой низости. И один из них сказал:

— Я знаю его, он из маслозаводских.

— Ну, и что? — возразил другой, которого я мысленно назвал Толстиком, потому что он был толст; у него были карие глаза навывкате. — Он к кому-нибудь лез?

— Он ко мне лез, — не унимался первый, — тогда...

Это “тогда” имело глубокий смысл, оно связывало моих противников некоей обидой, нанесённой им маслозаводскими. И именно она позволяла “не в падлу” нанести первый удар. А дальше в этой стае просыпался некий инстинкт: молотить противника так, чтобы потом никто не мог сказать, что ты делал это плохо или, не дай Бог, боялся бить. При всём при том, действие это называлось весьма нейтрально — помолотом.

— Он не мог к тебе лезть тогда, потому что только приехал, — сказал Толстик.

— А ты откуда знаешь? — спросил его кто-то.

— Я всё знаю, — ответил ему Толстик.

— Лез, лез, — настаивал первый.

— Не мог он к тебе лезь, — возражал Толстик. — Докажи!

— Чё тут доказывать, — ерепенился первый. — Лез — и всё.

— Хватит базарить, у вас что, рук нет? — вмешался ещё кто-то, озвучив уличный афоризм, услышанный, видимо, от старших пацанов.

— Последнее дело, — сказал Толстик, — пацанов ни за что бить... Тем более что у него руки заняты...

Слова его возымели действие, и толпа расступилась, давая мне с бутылкой постного масла уйти невредимым на свою территорию.

Осенью мы пошли в школу, точнее, в школы. Рыбхозовские попали в восьмилетку, а большинство маслозаводских по территории — сразу в среднюю. Это ещё более усилило наше разделение.

Так продолжалось два года, пока судьба снова не переместила нас. Мои родители и родители Толстика построили, наконец, дома на новой улице. И мы оказались соседями. И только там я узнал его фамилию и имя.

У Толстика — тьфу! — Серёги Хрунова были два старших брата, и это, с одной стороны, позволяло ему иметь защиту от чужаков, но это же постоянно подвергало его неким притеснениям внутри семейного клана со стороны более взрослых сородичей. А потому характер его формировался своеобразно. Наверное, потому он и стал правдолюбом и хранителем норм мальчи-

шеского существования, которые сводились к ряду истин. Таких вот: бить ни за что — нельзя. Врать, чтобы избежать помолота, — тоже, и так далее.

После окончания школы мы оба были призваны в армию, но я служил в Москве, а Серёга — в Н-ске, в милбате, как говорили в Черноводске, “в огородах”.

Отслужив, он поступил в школу милиции, окончил её и стал работать в одном из левобережных отделов милиции. Я к тому времени окончил юр-фак и несколько лет работал адвокатом в н-ской адвокатуре.

В восемьдесят восьмом, когда все ждали прихода социализма с человеческим лицом, Серёга разыскал меня. Был он в милицейской форме с погонами капитана и сказал, что у него возникла проблема.

— Излагай, — сказал я ему.

— Сведи меня с Леоновым, — произнёс он.

С Леоновым мы когда-то учились в одной группе. Он работал в городской прокуратуре.

— Для ча? — спросил я его.

— Дело есть, — ответил он.

— А ты откуда знаешь его возможности?

— Я всё знаю, — ответил Серёга так же уверенно и безапелляционно, как тридцать лет назад во время наше первой встречи в Черноводске.

— И всё же?

— Ладно, тебе скажу. Козла одного из прокуратуры наказать надо, совсем совесть потерял.

Мы поехали к Леонову.

Там Серёга рассказал, что к нему коллега из соседнего отдела привёл парня, у которого вымогал взятку за прекращение уголовного дела помпрокурора района.

— Статья? — деловито поинтересовался мой одногруппник Леонов.

— Сто семнадцатая.

— Ну, батенька, это же частно-публичное обвинение. Такие дела возбуждаются по заявлению потерпевшей. Такое заявление есть?

— Есть, — сказал Серега. — Ваш коллега принудил мнимую потерпевшую такое заявление написать.

— Ну, если вы уверены в этом, то ваши начальники должны получить санкцию прокурора города на проведение операции, а всё остальное — дело вашей милицейской техники, — сказал Леонов.

— Мои начальники боятся идти за санкцией, — сказал Серега.

— А я при чём? — спросил Леонов.

— Я скажу им, что консультировался у вас.

— Ну, я ещё не прокурор города, — ответил Леонов и продолжал: — И вряд ли им буду в обозримые пятьдесят лет.

— У вас репутация порядочного профессионала. А это действует.

Надо сказать, что Леонов, несмотря на свою молодость, тоже был правдолюбом, и, наверное, это было известно Серёге.

— Ну, если это подействует, тогда свирепствуйте, — сказал Леонов.

И Серёга с коллегой снова пошёл к начальству. Но начальство не хотело ссоры с прокуратурой. Однако Серёга дипломатично намекнул, что он уже консультировался с сотрудниками прокуратуры, и назвал фамилию Леонова.

— И что сказал Леонов? — поинтересовался начальник райотдела.

— Он сказал, что это обычное дело, и прокурор города заинтересован в том, чтобы *оборотней в погонах* было как можно меньше, в том числе и прокурорских.

Намёк на то, что Серёга консультировался с Леоновым, возымел действие. Начальству ничего не оставалось, как идти за санкцией на операцию к прокурору города.

Но там вышла неожиданная заминка. Прокурор потребовал предоставить сотрудников, которые...

— Которые... хотят провести операцию, — попытался продолжить начальник райотдела.

— Да, — сказал прокурор города, — которые возжелали прокурорской крови.

На этой стадии дрогнул Серёгин коллега, который, собственно, и был инициатором попытки вывести взяточника на чистую воду. Он отказался от участия в операции, понимая, что любая промашка может стоить ему не только карьеры, но и службы.

И Серёга поехал к прокурору города один. Точнее — со своим начальником. В кабинете прокурора города он изложил последнему ситуацию.

— Ваш сотрудник, — сказал он, — требует взятку.

Но прокурор города не был бы прокурором, если бы не выяснил всех деталей, и Серёга был подвергнут квалифицированному допросу.

— Как вы узнали об этом? — спросил прокурор.

— Мне рассказал об этом коллега.

— А почему этого не сделал сам коллега?

— Он не верит в то, что ситуацию можно разрешить в соответствии с законом.

Серёга выбрал правильную тактику: если бы он сказал что-либо о справедливости, то прокурор вряд ли бы понял его. Справедливость — не прокурорская категория.

— А вы, значит, верите?

— Безусловно, — сказал Серёга.

— Взятчик назначил срок?

— Да, но мы тянем, говорим, что ещё не собрали денег.

— Вы — это вы и возможный потерпевший?

— Да.

— А скажите, мне... капитан, инициатива проведения операции исходила от вас или... от потерпевшего.

— Потерпевший обратился за помощью к нам, — дипломатично ответил Серёга.

— Как вы собираетесь проводить операцию?

— Тривиально, — ответил Серёга. — Мы вручаем потерпевшему меченые купюры, а потом задерживаем взяточника с поличным, изымаем купюры и фиксируем их процессуально.

— Процессуально, — повторил прокурор, поднялся из-за стола и подошёл к окну, — процессуально...

Он некоторое время смотрел в окно, а потом сказал Серёге:

— Вы, капитан, свободны.

Серёга вышел из кабинета. Был субботний день, в приёмной прокурора города никого не было. Серёга закрыл внутреннюю дверь кабинета, но внешнюю дверь тамбура оставил открытой.

— Проводите мероприятие, — сказал начальнику райотдела прокурор города, — и готовьте документы на увольнение этого правдолюбца. Если ситуация сфабрикована или операция провалится... в тот же день представление о его увольнении мне на стол.

— Возможно, он откажется... — сказал начальник отдела.

— Это уже ваши проблемы, — ответил прокурор.

Продолжение разговора было уже в кабинете начальника отдела, куда Серёга переместился на общественном транспорте, поскольку начальник в машину его не взял.

— Прокурор сказал, что тебя нужно увольнять, если ты не откажешься, — сказал ему начальник.

— Основания? — спросил Серёга.

— Дискредитация надзорных органов, — заявил начальник.

— Я не знаю такого основания, — ответил Серёга. — Разрешите приступить к операции?

— Приступай, — сказал начальник, а потом добавил: — ...те.

С человеком, который уже одной ногой вне системы, всегда нужно говорить вежливо и официально.

Серёга не знал, что начальник уже отдал распоряжение, и потерпевшего «с собаками» ищут коллеги, дабы убедить его отказаться от участия в операции. Но Хрунов не был бы Хруновым, если бы не предусмотрел подобных действий со стороны коллег. Он ещё до посещения прокурора города спрятал потерпевшего у старшего брата на квартире.

Разумеется, шансов, что операция при таком мощном противодействии закончится удачно, у Серёги было мало, но помпрокурора настолько уверовал в свою безнаказанность, что не почувствовал подвоха и попался в расставленную Хруновым ловушку.

Серёгу не уволили, но и героем того времени он почему-то не стал.

Хотя одно время его за глаза называли “ловцом прокуроров”, а рассказ о нём для молодых милиционеров в отделах на левом берегу начинался словами:

— Тут было один наш сотрудник “возжелал прокурорской крови”...

Единственным дивидендом Серёги после той операции стала дружба с Леоновым...

Телефон вновь зазвонил...

— Ты чего трубку бросаешь? — спросил Леонов.

— Это не я, это связь такая.

— Ты понял, о чём я говорил?

— Да, — ответил я, — жалко Серёгу... А где он работал в последнее время?

— Там же, — сказал мой одногруппник, — на левом берегу.

— Слушай, — спросил я, — в каком звании он был в последние годы?

— В капитанском, — ответил Леонов. — В каком ему ещё звании быть!

АНДРЕЙ СКОРИНКИН



НЕ МОЛЧИ, ВДОХНОВЕННАЯ ЛИРА...

* * *

Над лесом вспыхнет зарево Авроры,
Румянец заиграет на стекле,
Мышата убегут обратно в норы,
Устроив беспорядок на столе.

Желанней прикоснусь к устам любимой,
Когда загролопанят петухи,
Но страстных чувств порыв неудержимый
Ослабят паровозные гудки...

Заезжего проводят до вокзала,
Последний грош добавляют на билет,
Любимая печально и устало
Опять посмотрит поезду вослед.

На фоне пробегающих селений
Я буду видеть ту, что всех милей,
И пребывать в глубоком размышленьи
О жизни неустроенной своей...

СКОРИНКИН Андрей Владимирович родился в 1962 году в Минске. Окончил Белорусский государственный университет и Высшие литературные курсы при Литературном институте им. А. М. Горького в Москве. Автор пятнадцати поэтических книг и трёх музыкальных альбомов. Член Союза писателей России, член Союза писателей Беларуси.

К ЛИРЕ

Не уйти мне от этого мира,
И в душе не укрыться навек...
Не молчи, вдохновенная лира,
Если где-то скорбит человек,
Если где-то больные сатрапы
Принимают обличье зверей...
Будь защитой для сирых и слабых,
Будь грозой для кровавых царей!

ПРОТЕСТ ВЕТЕРАНА

*Памяти Тимирана Зинатова**

* * *

Есть под Брестом погост, где схоронен герой,
Что погиб не в бою — захлебнулся слезой...

Он на этой земле оборону держал,
Он за Родину-мать много раз умирал.

Но из братских могил воскрешал его Бог!
Он войну пережил, перестройку — не смог...

Полстолетья спустя он вернулся сюда
За державу свою умереть от стыда,

Что, врага одолев, на подачках живёт,
Что иудам доверился русский народ...

Он страну защищал, а страна не смогла
Ветерана спасти от нашествия зла...

ВИТИЙСКИЙ ТРЮК

Теперь народные витии
Шумят от имени России,
А в глубине души своей
Опять грозят расправой ей...

* Защитник Брестской крепости, уроженец Иркутской области, 23 сентября 1992 года на брестском вокзале бросившийся под поезд в знак протеста против политики руководителей Российской Федерации.

ЕЛЕНА КРИКЛИВЕЦ



ХОЧУ НАЙТИ ОТВЕТ

* * *

Тургеневский кружился листопад,
глубокий пруд без меры осыпая.
Сюда пришла я просто наугад,
доверчиво,

за солнцем,

как слепая.

И был каким-то вяжущим покой,
и мысли без конца и без начала.
Над этой неподвижной водой
я очень долго, помнится, стояла,
в руках кленовый листик теребя,
как барышня из N-ского уезда...

...Вдруг заглянула,

может быть, в себя,

а может быть, в чернеющую бездну
и отшатнулась.

Только горький крик

застрял в груди,

и небо потемнело.

КРИКЛИВЕЦ Елена Владимировна родилась в 1983 году в г. Витебске. Кандидат филологических наук, доцент кафедры литературы Витебского государственного университета имени П. М. Машерова, член Союза писателей Беларуси и Санкт-Петербургского городского отделения Союза писателей России. Автор сборника стихов "На грани света". Победитель Международного конкурса "Литературная Вена-2013" (Австрия) в жанре поэзии. Живёт в Витебске.

О том, что мне открылось в этот миг,
я никому поведать не посмела.

...Блестит на окнах тонкая слюда —
мороза филигранная работа.
Но вновь и вновь мне хочется туда,
где чёрный пруд и листьев позолота.

* * *

Хочу все наши дни, как чётки, перебрать,
чтобы найти ответ на то, что душу гложет.
Как за последний шанс, хватаюсь за тетрадь,
хоть знаю:

всё равно бумага не поможет.

Уже и не пойму:

ну, что поделывать тут?
(Неловкая строфа застыла на пороге).
Его или свои —

да после разберут! —
я на измятый лист записываю строки.

А за окном дожди —

примета ноября, —
и кажется, тепла сама природа просит.
Но солнца больше нет.

Лишь свет от фонаря
на мокрые зонты рассеивает осень.

И горько я прошу:

“Признайся мне, душа,—
мы по душам давно не говорим с тобою —
зачем,

в какой ночи
ты тихо перешла
ту грань,

когда любовь становится судьбою?..”

* * *

Случилось всё не вовремя и странно,
и месяц гнул серебряную бровь,
мигал фонарь, чернел фундамент храма,
и были звёзды, и была любовь.

И был январь не по-январски тёплым
с не вовремя пролившимся дождём,
и плыл рассвет по запотевшим стёклам,
случайный — тот, в котором мы вдвоём...

Забуть его, как сумку на вокзале,
как вещь в шкафу, когда давно мала.
И встретить удивлёнными глазами
и новый взгляд, и свет, и купола...

Когда нельзя от прошлого укрыться
и строгий месяц снова хмурит бровь,
так горько перелистывать страницу,
но храм стоит, а значит, есть Любовь.

* * *

Эту возможность —
когда позовут —
кто-то лукавый подбросит незримо:
переписать, как плохую главу,
переиграть без костюмов и грима.

Под привокзальные крики ворон
ты, прихватив чемодан толстощёкий,
просто садишься в последний вагон
и возвращаешься в точку отсчёта:
в мудрость, где нет поседевших волос,
в юность, не знавшую долгих сомнений,
в детство, где не было маминых слёз
и синяков на разбитых коленях.

...В кассе мигнёт электрический свет...
Перебирая рассеянно сдачу,
выброшу в урну обратный билет,
не понимая, смеюсь или плачу.

* * *

Заалет закат,
тихо звякнет ведерко в колодце,
глухо скрипнет скелет
заколоченных дедом дверей.
На вечерней заре,
как всегда, начинает колотиться
ворох прожитых лет,
что судьбе отдавались за так.

А вокруг — ни души.
Только серая пыль огородов,
на которых весной
густо всходят крапива да сныть.
Не спеши уходить,
не забыв обратную дорогу:
по земле за тобой
твоё прошлое змейкой шуршит.

Этот пасмурный век
заметает забытые тропки,
и в колодце вода
неизбывной полынью горчит.
Разлетятся грачи,
но в попытке — безумной и робкой —
ты вернёшься сюда,
чтобы вспомнить, что ты человек.

* * *

Между тучами — краешки неба синего —
окна в истину — прозрачны и чисты.
Словно в зеркало, глядится Ефросиния
в неразбуженные воды Полоты.

Ночь хоронится в трепещущем осиннике,
много тёмного выдавшем на веку.
И в зарю идут былинные дружинники
из мифического “Слова о полку...”

Ни вернуться в эти дали, ни покаяться,
ни откликнуться на этот вечный зов...
Только стрелы Перуновы отражаются
в спелых луковицах здешних куполов.

Оттого, видать, в Христово Воскресение,
находясь от просветленья в двух шагах,
вдруг душа рванётся следом за Есениным
Русь оплакивать в московских кабаках.

* * *

В этом доме не спали, боясь немоты,
те, кого всё равно не слышали...
И один, постигая закон высоты,
сизый голубь взмывал над крышами.

И свисти не свисти, и зови не зови —
в синеве растворялся точкою...
Бесприютное слово летело за ним,
словно дым папиросы в форточку.

Прозвенело. Застыло. Оттаявший март
приподнял воротник, поёжился.
Собирая колоду рассыпанных карт,
время строки свои итожило...

За стеклом, как минувшего века штрихи,
притаились тома и сборники.
Но на кухнях всё реже читают стихи,
и дворы метут просто дворники.

ЕЛЕНА АГИНА



ТИХАЯ РОДИНА СНОВА МЕНЯ ПОЗОВЁТ

ПУТЬ

Ещё им идти и идти домой
Просёлком в ночных полях.
Туда, к огням за метельной тьмой,
Забыв усталость и страх.

А нам брести до конца времён.
Дорога. Кресты обочь.
И бред. И морок. И жуткий сон.
Россия. Глухая ночь.

Будет слепить снеговая муть.
И в дальнем поле огни
Едва ль засветит нам кто-нибудь,
И мы под небом одни.

Сквозь всю коросту убогих лет
Уже не проглянет Бог.
И лишь Россия нас крестит вслед
Крестами своих дорог.

АГИНА Елена Александровна — автор нескольких поэтических сборников, член Союза писателей Беларуси. Постоянно публикуется в журнале “Новая Немига литературная”. Живёт в Гомельской области.

И будет длиться нелепый путь,
Как скудный напев без слов.
Одно осталось: в снегу уснуть,
Уснуть... И не видеть снов...

* * *

На окраине города, где зарастают озера,
Где глядится округа в осколки стоячей воды,
И сутулятся вербы, и берег пестреет от сора,
На окраине города, где одичали сады,

Странно колокол слышать, что глухо роняет удары,
Созывая к вечерне панельно-бетонный приход.
Пёс залает бродячий, трусящий за пьяницей старым,
Да червивое яблоко под ноги в пыль упадёт.

На окраине города в сны прорастает усталость,
Переходят кварталы в пустырь, гаражи и бурьян,
За которыми ветер, да неба немного осталось...
На окраине города ветер простужен и пьян.

И невзрачная осень, придя босиком по асфальту,
Занавесит все окна завесой косога дождя.
И озябшие галки на мусорных баках. И сальто
Пожелтевшей газеты... Но жаль и того, уходя...

На окраине города сердцу легко заблудиться.
Прогрохочет состав, и закатится эхо в траву.
Гаснет вечер. И гаснут когда-то знакомые лица.
На окраине города поздние яблоки рву...

* * *

Ивану Бисеву

Брат мой сентябрь, зачем это странное время?
Кануло лето, а снегу ещё рановато.
Сад по ночам отрясает сладчайшее бремя
Яблоч последних с июльским густым ароматом.

Память светлеет. И ближе прозрачные дали.
Кажется, шаг лишь — и жизнь до конца прояснится.
Но холодает. И астры почти что увяли,
А у листвы опадающей — запах корицы.

Брат мой сентябрь, беззвучный хорал листопада
Трогает больше, чем Бах в кафедральном соборе.
Жизнь паутинкой трепещет на солнце и рада
Мелочи каждой, уже не стесняясь, что вскоре

Время наступит, когда не покажется странным
Сон предпочесть неоконченным строкам сонета...
Слышишь, в саду осторожные бродят туманы
И оседают на яблоках перед рассветом.

Брат мой сентябрь, к чему все слова укоризны?
Осень всё явственней в звуках пастушьей жалейки.
Хлеб на столе. И всего-то осталось от жизни —
Несколько яблок на синей садовой скамейке...

* * *

Вечер придёт. Полистаю немного Рубцова.
Сон и усталость возьмут незаметно своё.
Веки сомкнутся. И тихо из бездны былого
Тихая родина снова меня позовёт.

Тихая родина, сосен немолкнувшим шумом
Властно смирившая сердца надменного дрожь —
Тем, что, созвучен моим вечерующим думам,
Голос твой с голосом леса соснового схож.

Сонм насекомых ночных возле лампы роится.
Только лишь вздох между взмахами крыл мотылька —
Весь этот мир. И спросонок какая-то птица
Глухо кричит у протоки в кустах лозняка.

* * *

Поверивши судьбе и всё начав сначала,
Построим тихий дом в деревне у Глушца.
Там будет жить любовь, мой пёс, твоя гитара,
А рядом будет сад и сосны у крыльца.

И потихоньку жизнь наладится, и снова
Нас станут навещать из города друзья,
И я забуду боль, и призраки былого
Не потревожат нас, по памяти скользя.

И, может быть, когда над кромкой леса ало,
И вечер спустится, заиндевело-сед,
Увидев свет в окне, снег отряхнёт устало
И к нам зайдёт на чай задумчивый сосед.

Я разолью вино домашнее в бокалы,
Вы будете курить, присев пред очагом.
Гитару ты возьмёшь. И ночи будет мало
За чаем и вином, шансоном и Сайгё...

И много дней пройдёт. И сменит зиму лето.
И много минет лет. И станет взрослым сад.
Состарится сосна, что над крыльцом воздета,
И память заболит, как жизнь тому назад.

И в этот самый день, сама того не зная,
Я больше не смогу тебя, мой друг, любить,
Уже не захочу ни ласки, ни вина я,
Ослабнет, задрожав, невидимая нить.

И в этот самый день все песни станут стары,
И я не подниму уже усталых век,
И тихо кану в ночь под перебор гитары
Послушать, как идёт по Дятловичам снег...

ЕКАТЕРИНА КАРПОВИЧ



МУЗА

РАССКАЗ

Иван Петрович стоит посреди аудитории. Вернее сказать, он не стоит, а подпрыгивает от нетерпения, так как сегодня он крайне доволен собой. Глаза его сияют, щёки покраснелись, усики дрожат, а галстук под безрукавкой то и дело мешает, отчего приходится его поправлять. За десять лет преподавания в консерватории ему ни разу не удалось вдохновить студентов собственной лекцией, и он всё время искал это вдохновение в чём-то ещё: приносил редчайшие концертные записи, зачитывал неопубликованную переписку известных композиторов и даже несколько раз показывал студентам фильмы и мюзиклы, которые, на его взгляд, просто обязаны вызывать бурю эмоций.

Аудитория большая, лекционная, студентов набилось достаточно много, и это очень подбадривает Ивана Петровича: значит, его идея, что называется, “прокатилась”. Пришли не только те, у кого в это время лекция по композиции, но и просто любопытные студенты из других групп. Шушукуются, ждут гостя, который и есть сегодняшнее *вдохновение*.

Слышится негромкий стук в дверь, и в аудиторию несмело входит гость: высокий худощавый мужчина средних лет с большими тёмными глазами, полными какого-то невысказанного отчаяния, несмело прикрывает за собой дверь и растерянно оглядывает аудиторию. На нём чёрное полупальто, через плечо перекинут полосатый серый шарф. Волосы слегка растрёпаны, но лицо гладко выбрито.

Студенты затихают, Иван Петрович взволнованно оборачивается.

— Ну, вот и наш гость! Проходите, Николай. — Он жестом приглаша-

КАРПОВИЧ Екатерина Юрьевна. Родилась в г. Шяуляй (Литва). Окончила Белорусский государственный университет по специальности “психология”. Живет в Минске. В “Нашем современнике” публикуется впервые.

ет гостя к преподавательскому столу, стоящему в центре аудитории. На столе стоит бутылка питьевой воды, пластиковые стаканчики, лежит стопка нот.

— Уважаемые — м-м... э-э... — студенты, — торжественно провозглашает Иван Петрович, в то время как Николай смущается, не зная, сесть ему или продолжать стоять. — Сегодня к нам приглашён известнейший композитор Николай Резников. За последние пятнадцать лет Николай написал музыку к трём операм, четырём балетам, выпустил два сборника прелюдий и, конечно же, ни в коем случае нельзя забывать о его знаменитых экспромтах! — Иван Петрович едва ли не выпрыгивает из своей коричневой безрукавки. — Прощу прощения, Николай, сколько всего экспромтов было вами написано?

Гость опускает взгляд и всё с тем же немым отчаянием молчит, но спустя несколько мгновений тихо произносит с какой-то обречённостью в голосе: — Четыреста семьдесят восемь.

На мгновение воцаряется тишина, кто-то смотрит на человека в чёрном пальто с восхищением, кто-то — с недоверием. Иван Петрович поворачивается к аудитории и со значительным видом наклоняет голову, немного выпучив глаза.

Резниковские экспромты были и вправду известны. Внимание музыкального сообщества, в особенности преподавателей училищ и консерваторий, было привлечено сочетанием простоты технического исполнения и невероятной сложностью исполнения артистического. Первое позволяло задавать экспромты учащимся “от мала до велика”, но редко кто был способен передать эмоциональную насыщенность произведений так, как это делал их автор.

Сам же Николай во время выступлений нередко попадал “мимо нот”, брал не те аккорды, но никому и никогда не приходило в голову это обсуждать. Едва он касался рояля, его будто охватывало невидимое пламя, музыка низвергалась и обрушивалась на слушателей, захватывала их целиком, заставляла столбенеть и задерживать дыхание. Руки Резникова выписывали пируэты над клавиатурой, всё его тело сливалось с драмой очередного экспромта, билось в этой драме, а на лице отражалась мучительная борьба.

Его концерты были короткими, потому что проходили на пределе эмоционального напряжения как для него, так и для зрителей. Никто и никогда не знал, куда приведёт следующий экспромт, весёлое и легкомысленное начало перерастало в грозу, музыкальный вихрь налетал, затем затихал и сменялся полным штилем. Николай славился мастерством этих переходов, так как все связки казались очень естественными, и независимо от того, сменялась ли буря затишьем, главная тема лейтмотивом звучала на протяжении всего произведения. И в то же время ни один из четырёхсот семидесяти восьми экспромтов не был похож на предыдущий.

После того как несколько мощных волн окатывали зал, Резников чувствовал себя уставшим. Оглушённый происшедшим, он обычно делал долгую паузу, прежде чем встать из-за инструмента. Во время этой паузы зал тоже замирал в оцепенении, и когда композитор, наконец, вставал из-за рояля и поднимал тяжёлый, измученный взгляд, зал взрывался аплодисментами, люди вставали, у одних текли по лицу слёзы, у других дрожали похолодевшие ладони, третьи никак не могли отдышаться. После этого музыкального наваждения даже дети покидали зал молча и весь остаток дня пребывали в каком-то странном состоянии, в котором не хотелось ни говорить, ни даже думать словами.

Известно, что Николай был человеком замкнутым. Он жил один, не преподавал, много времени проводил у рояля, но играл мало, в основном что-то подбирал и записывал. Иногда его видели во время одиноких вечерних прогулок и лишь изредка — в компании старых школьных друзей, с которыми он вспоминал какие-то давние приключения.

Конечно, студентов заинтересовала возможность лично познакомиться с известным композитором. Девушка с большими глазами в белой блузке и чёрной юбке, сидящая в первом ряду, не моргая, разглядывала Резникова. Он её мучитель, хоть и не знает об этом. По всем предметам Аня училась на “отлично”, но его экспромты ей не удавались, звучали сухо и бездушно. Уже год она им уделяла больше внимания, чем Баху, но так и не добила успе-

ха. А потому она усердно сверлила его взглядом, время от времени потирая от нетерпения колени: очень уж хотелось ей спросить его об исполнении экспромтов.

Но не только Аня ждала от Резникова откровений. Большинство присутствующих привело сюда любопытство: человек, который пишет подобную музыку, музыку-цунами, убивающую и возрождающую одновременно, должен быть особенной личностью. Студент Коля, сидящий за Аней и время от времени прожигающий взглядом её колени, предполагает, что Резников человек буйный и к тому же ловелас, периодически выливающий бурю эмоций в музыку. Марина, сидящая справа от Коли и тайно в него влюблённая, считает Резникова личностью чрезвычайно глубокой, с драматичной судьбой и непременно с разбитым сердцем. Андрей, сидящий в последнем ряду и попавший на презентацию композитора случайно, так как прятался в этой аудитории от своего научного руководителя (тот очень не любил Ивана Петровича), считал, что либо Резникову пишет музыку другой автор, либо что в глубине души Николай — человек властный, а сегодня просто не в духе. Ну, мало ли, всякое бывает...

Меж тем Резников, наконец, снимает пальто, кладёт его на ближайшую свободную парту, садится за стол и несмело поднимает глаза на аудиторию. В руках он держит лист с речью, но читать прямо по шпаргалке ему неловко.

Иван Петрович сидит теперь в стороне, всё ещё нетерпеливый и взволнованный; он хочет задать уже какой-то из своих многочисленных вопросов, но тут Резников начинает сам.

— Когда-то я и сам учился в этой консерватории, — негромко говорит он, и глаза его становятся чуть-чуть ярче. — Мне кажется, я был, как все студенты, не слишком усидчив, любил погулять. Да, я не был отличником, — продолжает он, как будто почуяв недоверие аудитории. — Больше всего мне нравилось пение, пока не... — на долю секунды он осёкся. — Пока не надоело, — он улыбается смущённо и немного криво. — Я сегодня шёл в консерваторию и вдруг заметил, что скамейка под каштаном, куда мы ходили покурить, и сейчас такая же... Вспомнилось, как мы с друзьями, когда готовились там к экзамену по теории, придумали такую игру: один называет аккорд, а другой должен ответить аккордом, который начинается с интервала, на который предыдущий заканчивается... Ну, как в “города”, только с аккордами, — Николай усмехнулся самому себе, на этот раз немного мечтательно, и Марина тотчас находит в этом подтверждение своей теории. — И вот мы сидим и говорим: он мне — “тэ три”, а я ему — “дэ семь”, а он мне — “дэ четыре три”!

Студенты улыбаются нехотя и настороженно. Им очень трудно поверить в то, что человек, который создаёт наваждения, занимался когда-то такой вот ерундой на всем известной лавочке с дешёвой сигаретой в зубах.

Николай чувствует эту настороженность и со вздохом берёт со стола ноты — это его новый сборник экспромтов. На лицо его снова ложится печать едва уловимого отчаяния и тоски об утраченном. Он напряжённо смотрит на сборник в своих руках, проводит рукой по взъерошенным волосам (рука его в этот момент почему-то похожа на когтистую лапу) и начинает говорить:

— Ну, что ж, расскажу вам немного о новом сборнике. В него вошли двадцать четыре последних экспромта, все они примерно равны по объёму. Двенадцать мажорных, двенадцать минорных, как обычно. На этот раз во всех экспромтах прослеживаются восточные мотивы...

Вскоре любопытство в аудитории сменяется разочарованием и даже лёгким раздражением. Резников говорит об экспромтах так, будто они не имеют к нему никакого отношения. Он называет их характеристики, прописанные рецензентами в предисловии к сборнику. Перечисляет зачем-то лады и размеры, ритмы и темпы. Лицо его при этом бесстрастно, а голос ровный, немного придушенный.

Андрей решает прервать эту ахинею — уж очень ему хочется подтвердить свою догадку.

— Скажите, — извините, что перебиваю, — а как вам удалось сделать такой бурный переход после интерлюдии в тринадцатом экспромте?

Аудитория оборачивается вся разом, чтоб посмотреть на обладателя этого голоса, решившегося на столь наглый вопрос.

Резников замешкался лишь на секунду. Он морщится, потому что с самого начала боялся, что ему начнут задавать вопросы. Его экспромты всегда были для него большой темой. Он писал и исполнял их четырежды в год, и всякий раз вздыхал с облегчением, когда до следующего концерта оставалось целых три месяца. Он старался ничего не читать о себе ни в газетах, ни в интернете и наотрез отказывался давать интервью по радио или телевидению. Согласиться в этот раз, первый и последний, его подтолкнула ностальгия по студенческим годам, проведённым в этих стенах, и он уговорил себя, что, дескать, студентам всё равно неинтересно, а я хотя бы вспомню те беззаботные времена, когда сам был на их месте. И вот теперь он втайне проклинал себя.

— Вы, вероятно, путаете тринадцатый экспромт с третьим, потому что в тринадцатом нет интерлюдии. В третьем переход именно такого характера планировался изначально... Без этого экспромт потерял бы уникальность. Да, пришлось сменить лады и сделать акцент на секундаккордах, но так требовала... — он дивится на это на слове, затем нехотя заканчивает: — идея.

Андрей теперь тоже испытывает разочарование. Резников, что называется, “шарит”.

Николай вздыхает, собирается продолжать, но в этот момент Аня решает, наконец, задать свой главный вопрос. Она тревожится, что в конце выступления может не хватить времени, и это при том-то, что она бьётся над этими экспромтами целый год, и ей никак нельзя упустить шанс узнать их секрет!

— Уважаемый Николай, — произносит она дрожащим, но настойчивым голосом. — Я хочу вас спросить как автора... композитора. Я выбрала восьмой и одиннадцатый экспромты из сборника “Шторм” и очень хорошо технически справляюсь с ними, но мне говорят, что они звучат сухо... Что вы могли бы посоветовать? Какие приёмы использовать для усиления выразительности, динамичности?

Резников секунду непонимающе смотрит на Аню, словно она говорит с ним на неродном языке. Затем слегка краснеет и вдруг говорит:

— Так выберите другие.

Аудитория взрывается смехом. Аня чувствует себя душой и чуть не плачет. Её шея и колени покрываются от волнения красными пятнами.

Резников это замечает, ему делается ещё более неловко. Чтобы сгладить неловкость, он говорит:

— Вам нужно быть внимательнее к деталям. Если динамические оттенки не указаны редактором, делайте карандашные пометки там, где считаете нужным. Не бойтесь слегка изменять темп для усиления выразительности, — он помолчал, нахмурил брови и добавил: — Используйте музыку как язык. Каждый экспромт — это история со сложным сюжетом. Если я вам расскажу сейчас сюжеты восьмого и одиннадцатого экспромтов, вы не станете играть лучше. Вы должны сами увидеть и прочувствовать этот сюжет, а потом исполнить его в собственной интерпретации. Знаете, здесь, как в рунах: вроде бы всё об одном и том же, но для каждого человека — свой знак.

Николай выглядит так, как будто собственные слова его смутили. Поднимает вопросительный взгляд на Аню. Та явно разочарована. Его слова ничего не говорят ей. И почему на академическом нельзя исполнить ещё две фути Баха вместо дурацких экспромтов?!

— Спасибо, — выдавливает она, опуская глаза.

Надо признать, что к этому моменту четвёртая часть аудитории уже покинула лекционное помещение. Остальных удерживало отсутствие необходимой для этого наглости, пассивно-сонливое состояние, присущее недосыпающему организму, и отчасти любопытство, хоть и угасающее.

Иван Петрович, озабоченный потерей слушателей, предпринимает активное вмешательство.

— Николай! — вскакивает он со стула, но не полностью, а как бы пытаясь вырваться из оков коричневой безрукавки. — Расскажите нам, когда

вы написали первый экспромт? Известно, что вы до двадцати одного года вообще не занимались композицией.

В воздухе повисла какая-то особая форма молчания, густеющая на глазах. Николай напряжённо вглядывается в свои пальцы, губы его сжались, брови поднялись и застыли. Он вздыхает и, по-прежнему не отводя глаз от своих рук, говорит:

— Всё началось с того сновидения на четвёртом курсе.

Студенты приходят в недоумение: что это за байку он вздумал травить им на этот раз?

Резников не замечает их реакции. Он сосредоточен, ему очень трудно говорить: он будто выплёвывает слова, преодолевая сильное напряжение. Руки его хот и лежат на столе, но выглядят, словно когти, в любую минуту готовые впитаться в жертву. Плечи неподвижны, а на опущенное лицо ложится тень, из-за которой не видно его взгляда.

— Мне кажется, до этого сна я был обычным студентом, я бы даже сказал, средним студентом. Накануне вечером, как сейчас помню, мы с друзьями за пивом сидели в дешёвеньком баре на углу Орловской улицы и “зацепили” тему привязчивых мелодий. Мнения разделились: мой однокурсник Миша Лобаньков, музыкальный теоретик, бился об заклад, что всему виной определённое сочетание ладов, что в привязчивых мелодиях есть схожие последовательности. Привёл даже несколько примеров, а после второго бокала пообещал вывести специальную закономерность, так сказать, общую формулу прилипчивых мелодий. — Резников на этом месте слегка улыбается, как тогда, когда рассказывал про игру в аккорды. — Андрей Гуманов, его сосед по общежитию, виолончелист, романтичный такой парень, сказал, что всё зависит от настроения человека. Мол, на что человек настроен, такие мелодии к нему и притягиваются. Серьёзно настроен — Бах в голове крутится, влюбился если — ерунда какая-нибудь попсовая про любовь. Все так спорили, так спорили! Дружно мы тогда посидели, — в голосе Резникова чувствуется ностальгия, затем улыбка исчезает, и спустя мгновение его лицо снова становится напряжённым, а руки — когтистыми, и он с горечью продолжает: — А я тогда смеялся и говорил: “Чушь всё это, ребята!” Потому что ко мне никогда мелодии не липли (по крайней мере, так было до того дня). Я вообще не понимал этого феномена, а когда подвыпил, сказал, что по закону подлости к человеку липнут самые противные, дрянные и бессмысленные мелодии, какие только он может вспомнить. Это как теребить мозоль: вроде и не сильно болит он, но и оставить в покое его не можешь.

Резников прикрывает глаза, весь напрягается и с усилием произносит:

— А потом мне приснился первый экспромт.

Он открывает глаза, поднимает их на аудиторию и на секунду замирает. Ребята смотрят на него с удивлением и интересом, а некоторые девочки даже с сочувствием (отличница Аня в их число, конечно, не входит).

Это его немного прибодряет, и больше он не опускает голову, но говорит по-прежнему сдавленно.

— Снится мне старый концертный зал, в котором проводились академические концерты моей музыкальной школы. Зал пустой, в окна светит солнце, я иду к роялю, сажусь за него и играю экспромт. Руки вроде как сами знают, что им делать. И всё такое настоящее, клавиши у рояля даже немного тёплые там, где на них падает солнце. Одно только меня насторожило: во всём этом — какая-то обречённость, как будто я вечно должен садиться за этот рояль и играть. Проснулся я тогда уставший, хотя спал больше восьми часов. Представляете — пальцы болели, как будто и правда всю ночь играл! И мелодию эту за ночь я наизусть выучил.

Резников, увлекшись, разводит руками, словно адресуя изумление аудитории. Студенты теперь и правда слушают внимательно, а Иван Петрович — чуть ли не раскрыв рот. Галстук его окончательно съехал на сторону и оттопырил ворот безрукавки. Время от времени Иван Петрович поглядывает на аудиторию и становится всё более довольным: *вдохновение состоялось*.

— Но что гораздо неприятнее, — продолжал Резников, — мелодия преследовала меня весь день, я не мог ни на чём сосредоточиться, едва не попал

под машину, переходя дорогу, и разбил дома чашку по рассеянности. Но настоящий ад начался ночью. Уставший, я провалился в сон и — что бы вы думали?.. — Резников глядел на студентов с усмешкой и отчаянием одновременно. — Всё началось сначала. Наутро я проснулся ещё более уставшим и плюнул на занятия. Подремал кое-как пару часов, потом решил навестить Мишку, приехал к нему в общежитие, а тот сразу заметил: чего, говорит, у тебя, Резников, глаза стеклянные? Я ему рассказал. Он долго смеялся, позубоскалил насчёт моих высказываний в пивном баре и посоветовал записать пьесу, прежде чем обращаться к психиатру. А вдруг, говорит, отстанет.

Я приехал домой и решил для чистоты эксперимента всё-таки попробовать поспать. Через пару часов, однако, стало ясно, что мелодия отпустить меня не намерена. Она приснилась мне снова, только в этот раз передо мной на попитре стояла чистая нотная тетрадь, а рядом с ней лежал карандаш. Я потянулся к нему и в этот момент проснулся. Был час ночи, и я понял, что, прежде чем разбираться, что это за чертовщина, придётся от неё избавиться. И я поддался этому болезненному искушению. Достал чистую нотную тетрадь, взял карандаш, сел за пианино и, наигрывая мелодию, начал писать.

К пяти утра экспромт был закончен. Бросив карандаш, я повалился на кровать и уснул мёртвым сном, а в восемь утра проснулся бодрым, словно этого кошмара и не бывало. Подумал ещё: приснится же такое! А тут смотрю: на попитре — последствия моих ночных безумств. Поморщился, бросил в письменный стол тетрадь с карандашом и помчался на занятия.

Признаться, первые два дня я бегал окрылённый. Вдохновенно рассказывал друзьям о случившемся, за пару часов выучил пьесу, назвал её “Экспромтом фа-диез минор” и сыграл своему преподавателю. Фёдор Станиславович тогда не особенно удивился, сказал: “Что это вы, Коля, вздумали шутить?.. Стибрили у кого-то замысел и обработали по-своему. Так почти каждый может”. Я не обиделся. Я отлично высыпался и очень скоро начал относиться к этой истории, как к забавному моменту своей жизни. Решил, что внутреннего согласия с тем, что приставучие мелодии всё-таки существуют, равно как и ирония судьбы, с меня достаточно. Хотя, вы знаете, запала мне в душу крупная мелочного сожаления о том, что шанс прославиться только подразнил меня, а ведь могло бы быть, могло бы!..

Резников машет рукой: дескать, да ну его, — и произносит с чувством: — Тщеславие! Может, из-за него всё?..

Аудитория заинтригована. Николай не похож на человека, который на ходу сфабриковал историю происхождения своих гениальных экспромтов. Андрей начинает думать, что, вероятно, всё гораздо запутаннее, что Резников, должно быть, фантазёр-социопат, задумавший разыграть всех сейчас, а его экспромты ему помогает писать его знакомый теоретик с математическим складом ума... как его... Лобаньков.

Марина замирает в восхищении, она хочет продолжения, потому что — вот, вот оно! — раскрывается история глубокой драмы, страданий тонкой, чувствительной к оттенкам этого мира души, с её субъективным надломом, с “днём-с-которого-всё-началось” и невыразимой печалью в глазах. А дальше — дальше она хочет узнать, что таится за когтистыми его пальцами, пальцами мастера, из-под которых, словно карточная колода у шулера, стремительно вылетают пассажи, трели, форшлаги...

А Резников тем временем заговорил более спокойно и отстранённо. Казалось, после истории его первого экспромта напряжение утихло, и ему стало всё равно, что рассказывать, а что — нет.

— Наверное, поэтому тщеславие запело во мне победную песню, когда история повторилась. Это случилось через три недели после первого раза. Я снова увидел тот же зал, рояль с тёплыми клавишами, и во сне я почему-то не сомневался, что это будет что-то новое. На попитре уже стояла приготовленная нотная тетрадь. Я снова играл, и мне казалось, что музыка рассказывает мне о логичном продолжении предыдущего экспромта. Я проснулся на рассвете уставший, но тщеславие заставило меня сесть за пианино и записать новый экспромт за несколько часов. Это было поразительно.

Я писал, словно под диктовку, а иногда мне казалось, что мою руку ведёт невидимый дух, и мне неведом будет покой до тех пор, пока я не закончу этот экспромт. Я ощущал какой-то болезненный азарт, я думал: до чего же просто быть талантливым! Эти дьявольские мелодии падают тебе на голову, пока ты спишь, а потом ты записываешь их со скоростью печатной машинки и — оп-па! — гениальный экспромт готов за одну ночь.

На следующий день я проспал до вечера, а вечером явился к Фёдору Станиславовичу и исполнил ему новый экспромт. Тот был озадачен. Он попросил подготовить оба экспромта к следующей неделе, чтобы выступить перед комиссией из нескольких преподавателей, и быть готовым рассказать о процессе создания экспромтов.

Я тогда, чтобы не прослыть наркоманом или шизофреником, не стал ничего рассказывать о своих снах, а просто заявил, что иногда на меня находит вдохновение, мелодия привязывается и вертится в голове, пока я её не запишу. Они задавали много вопросов, а я в основном выкручивался, рассказывая, что творческий процесс — штука спонтанная и непредсказуемая, и логически её объяснить очень трудно. Так как они не имели контраргументов, а автор с похожими произведениями не нашёлся, они рекомендовали мне сделать некоторые доработки и пообещали содействие в публикации, если я буду продолжать в том же духе.

— Смотри мне! — с недоверием потряс кулаком Фёдор Станиславович. — Если обнаружится, что это плагиат, я первый пойду к ректору с заявлением, чтобы тебя исключили.

С тех пор понеслось. За первые полгода я написал тринадцать экспромтов и издал первый сборник. Я был опьянён, и в перерывах между ночными наваждениями (а тогда они были длинными, около десяти дней) предавался праздности и черпал внимание музыкального сообщества большой ложкой. Я стал меньше общаться с Мишкой и Андреем, но у меня появилось много новых знакомых, в том числе и девушек. Впервые в жизни я был окружён женским вниманием и, когда хотел, мог привести к себе домой любую красавицу из консерватории. За публикацию сборника я получил гонорар и объявил родителям, что отныне полностью буду обеспечивать себя сам. Я не стал богачом, но сознание своей финансовой независимости мне очень льстило. Я стал чаще прогуливать пары, потому что преподаватели ставили мне оценки авансом. На пятом курсе я вообще почти не появлялся на занятиях.

После публикации сборника мне предложили дать концерт в консерватории. Прежде я не любил концерты даже в рамках академической сессии, но тогда решил, что это даст мне хороший старт: повысит продажи моего сборника, а это, сами понимаете, важно. Ноты — это всё-таки не бестселлеры, на них практически невозможно заработать. Ну и, конечно, внимание. Я познал, что такое “звёздная болезнь” во всей красе. Я стал потребителем внимания, не важно — в каком качестве, важно — в каком количестве: я ходил по вечеринкам, менял девушек, появлялся на занятиях лишь для того, чтобы почувствовать на себе восхищённые взгляды сокурсников.

Первый концерт многое изменил в моей жизни. Он пришёлся на конец июня, а это значит, что после него должны были быть последние студенческие каникулы. Мишка и Андрей звали меня в Карелию сплавать на байдарках, а я из-за своей звёздности и подготовки к концерту даже не находил времени им ответить, откладывая все дела на “после концерта”.

Резников делает паузу, с удивлением и неловкостью вглядываясь в аудиторию. Рассказ получается гораздо откровеннее, чем ему бы хотелось. Он вдруг прищуривается и усмехается, и это выражение делает его лицо живым. Он думает, что чего уж там, теперь терять нечего.

— Я сильно волновался перед концертом. Помню, что выпил сто граммов коньяку. Я стоял за плотной бордовой шторой кулис в ожидании, пока меня объявят, и меня сковывал ужас, я чувствовал себя робким студентом, который вязался в какую-то опасную игру. Когда меня объявили, я вышел на середину сцены, и зрительный зал качнулся у меня перед глазами. Все взгляды были устремлены на меня, и на какое-то мгновение я захлебнулся

вниманием зрителей, зажмурился, слегка поклонился и поспешил к роялю. А когда я сел за него и коснулся холодных клавиш, всё исчезло.

Я очень ясно помню ощущения от того первого концерта. Для меня, застенчивого студента консерватории, мир действительно исчез. Точнее, его поглотила стихия. В одно мгновение она проникла в каждую клетку моего тела, подобно синему пламени, и в тот момент, когда я завершил первый пассаж громким аккордом, это пламя словно вырвалось из моей макушки — та-дам! — и я превратился в факел, неизвестно кем и как подожжённый. Синее пламя стекало по пальцам и к концу первой интерлюдии охватило рояль: я был полностью подчинён этому дьявольскому альянсу музыки и инструмента, и только какая-то часть моего мозга наблюдала и запоминала ощущения этой кошмарной оргии. Я чувствовал себя смывком в руках виртуозного духа, для которого ничто не имело значения, кроме той власти, которую он получал над аудиторией. Этот дух порождал прекрасные музыкальные идеи, но в тот день я понял, что они — всего лишь побочный продукт всей этой вакханалии, энергия, которая больше опустошает, чем наполняет. Отыграв, я с минуту приходил в себя, не вставая из-за рояля. Я чувствовал себя изнасилованным. Пошатнувшись, я встал и вернулся за кулисы.

После того концерта я никого не хотел видеть и вместо Карелии улетел в Турцию по горячей путёвке, где неделю пил в отеле турецкую водку и дешёвый виски и только на пятый день выбрался на море. Я проводил дни, бездумно раскачиваясь в гамаке на балконе. Передо мной открывался роскошный пейзаж, но все красоты этого мира померкли для меня: я понял, что заточён в рабство. Впрочем, на шестое утро во мне поселилась слабая надежда, что во время концерта я выполнил свою миссию и, восстановившись, смогу вернуться к прежней жизни. Я тогда прямо из отеля позвонил Мишке, но он был недоступен: на тот момент они с ребятами уже плыли под серебристым небом Карелии. Последние дни моего отпуска были полны разочарования: я, наконец, осознал, как чудовищно раздулось моё эго, что я потерял друзей и, самое главное, — потерял себя. До начала музыкальных наваждений я вёл спокойную жизнь, полную тихих радостей: звёзд с неба не хватало, но учился с удовольствием, и мысль, что я буду преподавать в музыкальной школе, не вызывала у меня неприязни, наоборот, мне нравилось работать с детьми — это я понял ещё на практике. Лето я любил проводить в деревне, время от времени выбираясь в лес по ягоды и грибы. А наваждения... Они зацепили самую уязвимую часть моей личности: то, что иногда я ужасно стыдился своей посредственности и обыденности, иногда завидовал известным музыкантам. Но у меня до сих пор нет ответа на вопрос, почему выбрали именно меня.

Николай замолк. В его взгляде появилась печаль, правда, уже не такая отчаянная, как в тот момент, когда он вошёл в аудиторию. Конечно, он не верил, что студенты способны понять его, но ему стало легче дышать, напряжение, не отпускавшее его почти восемь лет, словно отступило.

— В тот же день, когда я вернулся из Турции, всё началось сначала. Я не удивился. Я принял эту ношу, но твёрдо решил, что больше не позволю себя разрушать. Весь пятый курс у меня ушёл на то, чтобы сделать свою жизнь максимально независимой от этого синего пламени. Я двигался муравьиными шагами, но с муравьиным же усердием. Я снова начал общаться с Мишкой и Андреем, и до сегодняшнего дня они были единственными, кто знал о природе моего таланта. Они отнеслись к этому, как к болезни, вроде запоев алкоголика: они знают, что во время таких “обострений” меня нельзя трогать, а когда я заканчиваю черновик, они даже помогают мне с редактурой, потому что как только она завершена, меня “отпускает”. Я дистанцировался от прессы и своих новоявленных поклонников, чтобы не развивать в себе тщеславие. Я ограничил количество концертов до четырёх в год и нашёл способ восстанавливаться после них всего за два дня. И знаете, чем я горжусь больше всего в своей жизни? — Резников, наконец, улыбнулся. — Я уже семь лет работаю в музыкальной школе, в самой обычной школе. Конечно, мне приходится постоянно менять расписание, и у меня только три

ученика в год, но общение с ними позволяет мне на какое-то время забыть о собственном рабстве...

В аудитории воцарилось молчание. Иван Петрович ошеломлён был настолько, что уже в середине рассказа перестал ёрзать и уставился себе под ноги, подперев голову руками. Теперь ему не давала покоя мысль, что своим бездумным приглашением он может разрушить судьбу Резникова. Всё происшедшее вызвало у него очень тяжёлое чувство.

Марина, выждав паузу, подняла руку. Николай посмотрел прямо на неё, кивнул: дескать, давай уж свой вопрос. Она, очень смущаясь, всё-таки осторожно спросила:

— Вы сказали, что в первое время у вас было около десяти дней... А сколько сейчас?

Руки Резникова снова становятся напряжёнными, он смотрит на них и произносит тихо:

— Иногда — четыре. Иногда — два.

Студенты молчат, глядя в сторону: кто — на парту, кто — в окно. Николай, наконец, встаёт, берёт пальто, набрасывает его на себя и, помедлив, говорит:

— Спасибо! Мне... пора.

Он решительно направляется к двери и покидает аудиторию. Иван Петрович медленно поднимается со стула.

— Прощу всех вас, — тихо говорит он, хоть ему самому трудно принять собственные слова, — не выносить услышанного... за пределы аудитории...

* * *

Вечером того же дня Аня, придя домой, долго держит в руках сборник с восьмым и одиннадцатым экспромтами. Она думает о том, как замечательно, что у них в доме есть камин.

Когда дрова разгораются, она яростно раздирает сборник пополам, комкает страницы, топчет их с наслаждением, а потом бросает в огонь, выкрикивая:

— Синим пламенем! Синим пламенем!..

Отдышавшись от восторга, она садится за свой комнатный рояль и, потерев потеплевшие ладони, распахивает толстую хрестоматию И. С. Баха. Спустя минуту комнату наполняют ровные, как горошинки, звуки шестиглосной фуги.

ВЛАДИМИР ШУГЛЯ



ВЕКОВ
ПРОНЗИТЕЛЬНЫЙ ОСКОЛОК

* * *

Средь городского суесловья,
Сумятицы, машин и гула,
Красою лет — забытой, вдовьей —
Притих старинный переулок.

Как будто замер, правя тризну
По старине, по русским сёлам —
Не осквернённый урбанизмом
Веков пронзительный осколок.

Казалось, встретился не я с ним,
А он искал со мною встречи,
Ждал терпеливо и безгласно,
Молитв пасхальных тёплил свечи...

Я окунулся в окон ясность,
В узоров старых чудо-завязь,

ШУГЛЯ Владимир Фёдорович родился в 1947 году. Автор многих книг поэзии и публицистики. Публиковался в журналах “Молодая гвардия”, “Новая Немига литературная”, “Великоросс”, “Невский альманах”, “Второй Петербург”, “Нёман” и других изданиях... Член Союза писателей Беларуси и Санкт-Петербургского городского отделения Союза писателей России. Почётный консул Республики Беларусь в Тюменской области, член Общественной палаты России. Живёт попеременно в Минске и в Тюмени.

В резную русскую прекрасность —
Модерну города на зависть.

И незаметно стало чисто
На сердце в благостной минуте...
Я видел Русь в молитвах истых,
В резных узорах русской сути...

* * *

...Прогнившая крыша... Разбитые стёкла у окон.
Позёмка гуляет по тропке за брошенным стогом.
В забытом колодце давно уже нету водицы...
И где ж ты, хозяин вот этой забытой землицы?
И где то семейство со стайкой весёлых детишек,
И та голубятня, как небо под шиферной крышей?

Белесою пылью забытая тропка ярится...
А память, как поезд, всё в прошлое, в прошлое мчится.
И вновь возвращается гулко летящим экспрессом,
Где нет пассажиров...
Лишь юность с любовью...

Да детство.

* * *

Орёл или решка... Взлетает монетка —
Играет на счастье пацан-малолетка.
Безоблачно небо... И солнце в зените
Вокруг всё связало невидимой нитью.
От света всё в яркой и сочной расцветке,
И звонко плоды набухают на ветке.

А дома всё те же труды и заботы,
И мамина тропка ведёт в огороды,
Ложится на душу, как жизни разметка,
И жизни дорога, и памяти метка...
И снова в ведре со студёной водою
Блестит луч солнца, зачёрпнутый мною...

* * *

Я — русь-кий, я вольною Русью рождён.
В ней белый, и красный, и синий цвета...
У дома родного колышется клён,
Полярная светит над крышей звезда.

Открыта калитка в зелёный рассвет,
И яблонь цветенье, как будто в раю...
Всё это, как счастье на тысячи лет,
Сплелось воедино в родимом краю...

Я к дому шагаю отцовской тропой,
Из детства тропинкою звонкой и узкой,
И светлые звёзды парят надо мной,
И небо — как пропасть...

Я дома... Я — русь-кий.

* * *

Ясно виден мне
В этот лунный миг
В полной тишине
Отражённый мир,
Где, речную глубь
Не пробив насквозь,
Облака плывут
Парами и врозь.

Ясно видно мне
В полуночный час,
Что пора луне
Искупаться всласть,
В глубину нырнуть,
Спрятаться в песок,
Чтоб поток луну
Вдаль не уволок.

Хочется ещё
Много-много лет
Видеть, как течёт
Отражённый свет
Там, где в непростом
Зеркале воды
Искры над костром
Обгоняют дым.

В МОСКВЕ 50-х

Невдомёк приедем издалёка,
Что бывает доброй или злою
Очередь за жирною селёдкой
Или за дешёвой камбалою.

Чемоданы, сумки и коробки...
Суматоха, восхищенье взгляда...
Много чада, шума... мало проку...
Вас толкают? Видимо, так надо...

Справа слухи носятся, как пули,
Их бабули, как носки, связали:
— Ночью брали этих... но вернули,
А соседей взяли на вокзале...

Слева вразной гудят клаксоны,
Слышен посвист милиционеров.
Над толпой витает дух казённый,
Притупляя языки и нервы.

Всё вокруг течёт без перерыва,
И неважно — сухо или морось.
Неспроста приезжие пугливы:
Здесь, в Москве, совсем иная скорость.

Вот и я спешу к ларьку скорее.
Пачка “Тройки” — шик, но дорогая...
И карманы, полные копеек,
По ногам стучат, когда шагаю.

Пропадут... О возрасте не спросят
У провинциального тетери...
Но зато я выгляжу, как взрослый,
И уверен, что в себе уверен.

ВЛАДИМИР МОЗГО

РОГНЕДА

Ты приходишь из давних веков,
Столь земная и полная света.
В звёздах — искрах из-под подков —
Имя высечено: Рогнеда.

Как икону, тебя намолю,
Светлый образ, подаренный Богом.
Ты к земному сошла алтарю
Нашей памяти звёздной дорогой.

Только мельком замечу твой взгляд,
Как печаль исчезает куда-то.
Я любовью твоею богат,
И иного богатства не надо.

Снова искрами из-под подков
Имя-песня летит над планетой,
Дароносица давних веков,
Словно ангел спасенья — Рогнеда.

* * *

Немига, где твоё начало,
В какой подземной темноте?..
На дне бетонного канала
Распята, словно на кресте.

Как будто нет тебя на свете...
Но, сердцу чуткому слышна,
Наперекор сонливой Лете
Живая плещется волна.

* * *

Уводит берегом река,
Следы смывая наши.
И расступаются века,
Как замковая стража.

Искрятся копья и мечи
От солнечной короны,
Где кровью предки-кривичи
Скрепляют оборону.

Как конь, галопом день бежит —
Ни спутать, ни стреножить.
Тропою вьётся наша жизнь
Меж будущим и прошлым...

ВИКТОР ГОРДЕЙ

* * *

И лето, и солнце в зените.
Как выпить кручину до дна?
На спелую ниву взгляните:
Там связь поколений видна.

Колышется рожь золотая,
Дорожка всё глубже, и вот
Тревожная песня ратая
Средь дымных просторов плывёт.

И слушает песню дорожка,
Над нею и тучка, и гром.
Ещё постою так немножко —
И маму увижу с серпом.

И дождь налетел торопливо.
Ну, что же ты! Лей — не жалей!
Шумит и колышется нива,
И сердцу уже веселей.

* * *

Потускнело пламя на калине,
Да и дождь уже не грибосей.
С болью насчитал в пролётном клине
Я сегодня только семь гусей.

Боль не в том, что небеса печальны,
Что не нужно жалостливых встреч;
Проплывал в тревоге и молчанье
Клин гусиный — вот об этом речь.

Тут, за Вязынкою, на пригорках,
Где дубы Купаловы в полях,
Только увидал — вздохнул я горько:
Как же слаб гусиных крыльев взмах!

Дай вам Бог весною воротиться!
Да кричи, вожак, тревожь людей!
Будет мне отныне долго сниться
Клин печальный из семи гусей.

Перевод Геннадия Авласенко

ЕЛИЗАВЕТА ПОЛЕЕС

* * *

И петь мне не надо, и незачем плакать —
Я жизнь просвистала до медной полушки
И хлеба доела последнюю мякоть,
И детские все раздарила игрушки.

И жалко не слишком, и больно не очень.
Ведь я понимаю умишком убогим:
Уже потускнели и выцвели очи,
И к Богу прямой и короче дорога.

И что не случилось — уже не свершится,
И то, что порвалось, — уже не сошьётся.
На юг улетают последние птицы,
И высохли счастья живые колодцы.

Но сердце упрямо сдаваться не хочет,
Сметая старинных условностей пресность,
И молится солнцу, и молится ночи,
Чтоб снова для песни крылатой воскреснуть.

* * *

Без музыки? Боюсь, что не смогу.
Без музыки? Как будто дни без солнца.
Без музыки? Я у неё в долгу,
она во мне — до нежности до донца.

Без музыки — как мир уныл и сер!
Без музыки — ни воздуха, ни света.
Без музыки — как обнажённый нерв,
как голый нерв — чем буду я согрета?..

Я выйду ночью августа под дождь,
под звёздный дождь из пламени и пыли.
В ладонь звезду, как будто медный грош
поймав, прижму — со всей последней силой.

И в сердце мне сквозь запертую дверь
она вольёт —
ещё не слишком поздно
дышать огнём небесных тайных сфер —
и дальний свет, и музыку, и воздух...

ЛЮДМИЛА КЛОЧКО

* * *

Ты спрашиваешь, чем я занята
И встретимся с тобой когда и где?
А я сейчас как будто бы — не та...
И то ли свет на сердце, то ли тень...

Но я освобожу — день...

Его не будет жаль моей судьбе —
Счастливым дням ведётся точный счёт.
А мне сейчас так хочется к тебе,
И говорить не стоит наперёд...

Но я освобожу — год...

Побыть с тобой — не глядя никуда
И на тебя рукою опершись...
Пугают мимолётностью года...
И если ты попросишь: задержишься...

То я освобожу — жизнь...

МОЛИТВА

Храни меня от тех, кому я доверяю...
Храни меня от тех, кто просит доверять.
Над кем-то я смеюсь, а с кем-то я играю...
Храни меня от тех, с кем не хочу играть...

Храни меня от рук дарующих (берущих!),
Храни меня от плеч... Храни от всех опор...
Храни меня от тех, прошедших и грядущих,
О ком душа не затевает спор:

Я верю им (верна!), я им всем сердцем рада!
От тех, чьи берегу и взгляды, и слова,
От тех, кого люблю, от всех, кто слишком рядом, —
Храни! Я от других — храню себя сама...

ЮРИЙ ФАТНЕВ

* * *

Вечерами пахнет маттиола
От метелей северных вдали.
Шлюпки морю бьют челом у мола,
Чтоб сорвать их волны не могли.

И всю ночь до зорьки-заряницы
Снится мне языческая рань.
И зегзицей мысль моя стремится
Поискати град Тмутаракань.

Меч да гусли — нет иного груза,
Я гляжу, гляжу во все глаза,
Как бежит по струнам вещей гуслей
С трав степных былинная роса.

Как сверкают серебром на черни
Шлемы воев ночью под луной.

Это всё я вспомню в год вечерний
И окликну гибнущих со мной.

А пока никто не слышит зова,
Да и сам коня не поверну.
Только так родиться может слово,
Если кровь забрызгает струну.

Потеряю имя в Диком поле,
Не привыкший бегать от стрелы...
Вечерами пахнет маттиола
От метелей северных вдали.

* * *

То ли пала мгла, то ли ночь светла.
Не грозит стрела. Гром не грукает.
Не рыдает бор, не аукает.
Мать сыра земля, мать сыра земля,
Мать сыра земля Русь баюкает.

Тишиной высот, тишиною вод,
Тишиной полей беспредельною
Мать земля поёт колыбельную:
“Ты расти, народ, ты расти, народ,
Ты расти, народ, вечность целую.

Я навею сны. Ты глаза сомкни —
И услышишь в них всё не спетое.
И увидишь в них все столетия.
А забрезжит день — сны в душе храни,
Дальше снов шагни, Русь рассветная...”

То ль бежит роса, то ль жужжит коса,
То ль рыбак плеснул длинным неводом,
То ли гуслей гул что поведает...
Русь в туманах вся спит, смежив глаза.
Никому ещё Русь неведома.

ТАТЬЯНА ЕВДОКОВА

* * *

На мелководье плещутся мальки,
Резвятся и плотва, и окуньки.
А в глубине морской среди кораллов,
В холодной тёмной, тайной глубине —
Другая жизнь, доступная так мало,
Точнее, недоступная извне.

Там жемчуга невиданной красоты
Родятся из песчинок наносных,
Из света хрупкого звезды случайной,
Как от Любви Божественной, но тайной.

* * *

Цветенье осени — прощальный бал,
Фонтаны брызг багряно-жёлтой гаммы.
Цветёт октябрь буйно и упрямо,
И ветер дирижировать устал,

Притих в листве и тает от свечи
Сгорающего жёлтым цветом клёна.
Прислушайся, умолкни, приобщись
Холодного свеченья преклонённо.

Цветенье осени не есть азарт
Хмельного соловьиного призыва,
Не выстрел обезумевший “На старт”,
А финишная ленточка надрыва.

Кленовый лист — ладонь рукопожатья —
Прохладой отрезвит июльский зной.
Чтоб отличить безумие от счастья,
Душа желает обрести покой.

И слушать музыку иных миров,
Иных созвездий и иных созвучий...
Соприкоснувшись с вечностью могучей,
Снимает осень пышный свой покров.

АНДРЕЙ ВОРОНЦОВ

ПОБЕДИТЕЛЬ, НЕ ПОЛУЧИВШИЙ НИЧЕГО

Хемингуэй и смерть

Глава 1. “Всю ночь читал Хемингуэя...”

Вечером 4 октября 1993 года, когда ОМОН, стуча дубинками по щитам, вытеснил людей с площадки перед Домом Советов, мы с поэтом Виктором Мамоновым шли на ватных ногах по усыпанному стреляными гильзами Новому Арбату. По пути нас всё время обыскивали и проверяли документы, поэтому я держал наготове редакционное удостоверение. Один небритый солдат, только покосившись на него, развернул ладонью вверх мою правую руку и некоторое время изучал её. Что ему было в этой ладони? Спрашивать тогда было недосуг, и только пройдя с квартал, я понял: он искал следы автоматного затвора или оружейной смазки.

И тут я вспомнил Хемингуэя: “... пусть не говорят о революции те, кто пишет это слово, но сам никогда... не стоял на крыше, пытаясь отмыть собственной мочой чёрное пятно между большим и указательным пальцами – след автомата, когда сам он закинут в колодец, а по лестнице поднимаются солдаты”. Вот она – хемингуэевская деталь! Как будто, по его же сравнению, вдруг настезь распахнули летку домны.

Плохие детали не вспоминаются в обстановке, когда вообще не до литературы. Плохие писатели – тоже.

Хемингуэй в России – писатель почти народный. Я не читал русских эпиграмм, скажем, о Кафке, Джойсе или Фолкнере. А о Хемингуэе – пожалуйста:

*Погасли звёзды. Пламеня,
Взошла за окнами заря.
Всю ночь читал Хемингуэя...
Не понял ни Хемингуэя!*

Всё так и было, как в этом озорном стишке: хоть и не понимали часто “ни Хемингуэя”, а читали всю ночь напролёт. Да что там читали? Целое поколение бородатых людей в грубошёрстных свитерах народилось. Их и посегодня можно ещё встретить. И читают Хемингуэя в России по сей день, хотя и без прежнего фанатизма. И ни один молодой писатель мимо него не пройдёт, независимо от того, любит или нет.

И я, помнится, повторял: “Величавость движения айсберга в том, что он только на одну восьмую возвышается над поверхностью воды”. Другое дело, что я, как и многие другие прозаики Литинститута, понимал эту фразу неправильно. Я понимал её так, что необязательно описывать вещи, которые описывать скучно или трудно, можно лишь подразумевать или обозначать их в общих чертах, а читатель сам додумает всё остальное. Короче, это был расчёт на трудолюбивого читателя. Между тем, мы невнимательно читали следующую за “айсбергом” фразу Хемингуэя: “Писатель, который многое опускает по незнанию, просто оставляет пустые места”. Нам неизвестна предыстория гангстеров из рассказа Хемингуэя “Убийцы” (кроме того, что один из них, по утверждению другого, обучался в хедере – иудаистской начальной школе), и мы не знаем, за что они хотят убить боксёра Оле Андерсона, но Хемингуэй-то *знал* и даже написал; просто “величавого движения” ради решил вычеркнуть. “Если писатель хорошо знает то, о чём пишет, он может опустить многое из того, что знает, и если он пишет правдиво, читатель почувствует всё опущенное так же сильно, как если бы писатель сказал об этом”. Вот что это за “айсберг” на самом деле! Опустить-то ты можешь, но должен хорошо знать опущенные 9/2!

Пусть Хемингуэй писал попроще, чем Пруст, Джойс или Фолкнер, однако это именно он, а не они, высоколобые интеллектуалы, разработал в книгах “Смерть после полудня”, “Зелёные холмы Африки” и “Праздник, который всегда с тобой” наиболее внятную и гармоничную теорию прозы из всех теорий этого рода. Именно Хемингуэй, а не Владимир Богомолов, как полагают многие, ввёл в литературный и философский оборот понятие “момент истины”: “В прежние времена... целью боя был заключительный удар шпагой, смертельная схватка человека с быком, “момент истины”, как его называют испанцы. И весь ход боя служит лишь подготовкой к этому моменту” (“Смерть после полудня”).

Прекрасный совет Хемингуэй дал начинающим писателям. “. . . Я решил, что напишу по рассказу обо всём, что знаю. Я старался придерживаться этого всегда, когда писал, и это очень дисциплинировало”. Не менее ценно то, что Хемингуэй говорил о принципах работы над текстом: “Я всегда работал до тех пор, пока мне не удавалось чего-то добиться, и всегда прекращал работу, когда знал, что должно произойти дальше. После этого я уже был уверен, что буду писать и завтра. . . Я, кроме того, научился ещё одному: не думать, о чём пишу, с той минуты, как прекращал работу, и до той минуты, пока на следующий день не начинал писать снова. Таким образом, моё подсознание продолжало работать над рассказом, но при этом я мог слушать других, всё примечать, узнавать что-то новое, а чтобы отогнать мысли о работе – читать” (“Праздник, который всегда с тобой”).

Я не знаю, читал ли Хемингуэй Аристотеля, но его определение художественного вымысла полностью соответствует тому, что древнегреческий теоретик литературы написал в знаменитой “Поэтике”: “Задача поэта говорить не о действительно случившемся, но о том, что могло бы случиться, следовательно, о возможном по вероятности или по необходимости”. Причём у него высказано более доходчиво: “Вымысел рождается из того, что вы знаете. Если на основании реальных событий вы действительно сочинили хорошую историю, то придуманное вами несёт больше правды, чем абсолютное честное воспоминание о пережитом”. Хемингуэй являет собой редчайший пример писателя, который создавал теорию прозы и писал прозу одновременно.

По-прежнему притягательны и загадочны не только книги Хемингуэя, но и его жизнь. Начать с того, что само имя писателя теперь напрямую ассоциируется с так называемым “американским образом жизни”, хотя на самом деле нет после Эдгара По более антиамериканского писателя, чем Хемингуэй. ФБР, кстати, полностью разделяло эту точку зрения. Единственный известный писатель в США, за которым осуществлялась тотальная слежка и “прослушка” по завершении эпохи маккартизма, уже при либеральном президенте Кеннеди, – это Хемингуэй. Формы его досуга и отдыха действительно по сию пору популярны в Америке, но так было бы и без него, ведь Америка – спортивная, туристическая страна и была таковой и до Хемингуэя. А вот что касается его образа жизни. . .

Принято считать, основываясь на ранних рассказах Хемингуэя и невразумительных свидетельствах советских биографов, что он происходил из семьи

провинциального врача-неудачника, по-видимому, небогатого, которого поедом ела жена. Насчёт жены, положим, это чистая правда, но вот бизнесменом Хемингуэй-старший был преуспевающим. Достаточно поглядеть на фотографии домов Хемингуэев в Хортон-Крике и Оук-Парке, и станет ясно, что они обладали достатком, превышающим даже современный средний уровень жизни в США.

По американским понятиям, подросток, то и дело убегающий из такого дома, из такой семьи, а потом и вовсе выгнанный из дома, чего он до конца жизни не мог простить родителям, особенно матери, — “крейзи”, придурак. Если ты вышел из самых низов, как Джек Лондон, то, пожалуйста, мотайся по стране, путешествуй зайцем на поездах, ищи своё счастье, на которое ты *имеешь право*, согласно американской конституции, а если ты по своему хотению катишься на дно... Тогда, по протестантским представлениям (а мать Эрнеста была истовой протестанткой), ты обречён, ты зачумлённый, и тебя всячески надо сторониться, ибо ты, скорее всего, проклят Богом.

Не пижонства ради Хемингуэй пробовал себя как писателя в Париже — куда ему, кроме газет, было в Штатах податься? В кооперативный журнал “Кооператив коммонуэллс”? Лучше, чем Есенин, про культурную жизнь США не скажешь: “Америка — это тот смрад, где пропадает не только искусство, но и вообще все лучшие порывы человечества”. Вот и потянулись молодые американские писатели в Париж, подобно тому, как русские тянутся в Москву, в Литинститут.

Жизнь Хемингуэя, начиная с юношеских лет, отмечена яркими трагическими знаками последующей его судьбы. Так у Шолохова в начале “Тихого Дона” Григорий Мелехов косил траву и нечаянно полоснул косой утёнка. “Изжелта-коричневый, на днях только вылупившийся из яйца, он ещё таил в пушке живое тепло”. Григорий держит утёнка на ладони, смотрит на него с “внезапным чувством острой жалости”. Он не знает ещё, что глядит на свою собственную судьбу, что Дон, Россия станут таким же скошенным лугом, а он — утёнком под безжалостной косой.

Глава 2. Жизнь после смерти

Если писателя формируют выпавшие на его долю испытания, то у Хемингуэя, кажется, к 23 годам их не так много. Да, он был тяжело ранен в 1918 году на итальянско-австрийском фронте, где находился в качестве волонтера американского Красного Креста. Но, в отличие от многих своих европейских сверстников, Эрнест пробыл на войне всего три недели, появляясь на передовой, где случилось с ним несчастье, лишь эпизодически. Большое потрясение он перенёс в 1922 году, побывав на греко-турецкой войне и увидев геноцид малоазийских греков. Что ещё? Семейная драма отца и матери? Измена красавицы Агнессы фон Куровски, в которую он без памяти влюбился в миланском госпитале? Всё это — незабываемые впечатления, конечно, но трудно вообразить, чтобы они сыграли такую же роль в судьбе писателя, как, скажем, Семёновский плац в судьбе Достоевского.

Тем не менее, именно ночью 8 июля 1918 года, во время взрыва мощной мины из крупновского миномёта произошло нечто, многое объясняющее в потаённой философии и двоящемся облике Хемингуэя — рефлексорирующего интеллектуала и не склонного к рефлексии “писателя действия”. Эта двойственность, кстати, замечательно видна на фотографиях: в очках, которые Эрнест надевал чаще, чем принято считать, он похож на провинциального профессора филологии, а без очков — на мексиканского боксёра.

Деятнадцать лет от роду Хемингуэй побывал несколько мгновений на том свете, или, говоря научным языком, перенёс клиническую смерть. Тогда, июльской ночью 1918 года подвыпивший Эрнест взял у итальянского солдата винтовку и разрядил её в сторону австрийских позиций. Австрийцы спросонья открыли в ответ шквальный огонь. Во время одной из вспышек Хемингуэй увидел, как упал с дерева итальянский снайпер, оборудовавший себе позицию на ничейной земле. Его ранили только из-за шалости пьяного американца. Эрнест, чтобы хоть как-то загладить вину, выбрался из окопа и пополз в сторону снайпера. Добравшись до него целым и невредимым, он взвалил солдата на спину и пополз обратно. Именно в это время они были обстреля-

ны из миномёта и крупнокалиберного пулемёта. Ноги Эрнеста от бедер до пят оказались буквально нашпигованы свинцом. Но не осколки и пули стали причиной потрясения, пережитого Хемингуэем. Впоследствии он не раз, неизменно уточняя детали, описывал своё состояние в момент взрыва и после:

“...Моя душа вырвалась и улетела от меня, а потом вернулась назад” (“На сон грядущим”).

“Я умер, я почувствовал, как моя душа или что-то в этом роде вылетела из моего тела, как это бывает, когда вытаскивают из кармана шёлковый платочек. Она полетела и вернулась на место, и я уже был жив” (из беседы).

“Я попытался вздохнуть, но дыхания не было, и я почувствовал, что весь вырвался из самого себя и лечу, и лечу, и лечу, подхваченный вихрем. Я вылетел быстро, весь как есть, и я знал, что я мёртв и что напрасно думают, будто умираешь, и всё. Потом я поплыл по воздуху, но вместо того, чтобы двигаться вперёд, скользил назад. Я вздохнул и понял, что вернулся в себя” (“Прощай, оружие!”).

Вот и разгадка того, почему писатель, ещё, по сути, и не живший, испытывал потребность описывать, как с ним *что-то уже было*. Это взгляд человека, пусть на миг, но побывавшего там... Придя оттуда, даже банальной рыбной ловле придаёшь иное значение, нежели находясь до самой смерти *по эту сторону*. Человеку, не стоявшему на грани двух миров, свойственно смотреть вперёд и даже представлять образы будущего. Тот же, кому довелось заглянуть в бездну, видит жизнь как то, что случилось *до и после*. Отсюда, думаю, и острота писательского зрения Хемингуэя, и сверхъестественная чёткость деталей, и неразмытость пейзажных картин.

И ещё: необъяснимое, но постоянно ощущаемое присутствие Бога в прозе человека не очень религиозного. “...Я знал, что я мёртв и что напрасно думают, будто умираешь, и всё”. Едва ли мать, протестантская начётчица, привила Эрнесту любовь к молитве, скорее наоборот, но, лежа под обстрелом на ничейной земле у реки Пьяве, он, подобно набожным итальянским солдатам, горячо молился: “Господи, — сказал я, — вызволи меня отсюда!”

И тогда случилось чудо. Ползущий в цепком круге мощного австрийского прожектора, нещадно поливаемый свинцом из крупнокалиберного пулемёта, Эрнест остался жив. Снайпер же, которого он дотащил-таки до итальянских окопов, был мёртв. Он умер из-за пьяной проделки Хемингуэя, и он же отчасти спас ему жизнь, прикрывая сверху от пуль и осколков. Ценой его смерти стала жизнь Хемингуэя. Он *занял свою жизнь* у этого безвестного итальянского солдата.

Происшествие на реке Пьяве не произвело в Эрнесте решительного поворота к Богу. Точнее всего его тогдашнее состояние между верой и неверием отражено в 7-й главе книги рассказов “В наше время” (1925): “Когда артиллерийский огонь разносил окопы у Фоссальты, он лежал плашмя и, обливаясь потом, молился: “Иисусе, выведи меня отсюда, прошу Тебя, Иисусе. Спаси, спаси, спаси меня. Сделай, чтобы меня не убили, и я буду жить, как Ты велишь. Я верю в Тебя, я всем буду говорить, что только в Тебя одного нужно верить. Спаси, спаси меня, Иисусе”. Огонь передвинулся дальше по линии... На следующий день, вернувшись в Местре, он не сказал ни слова об Иисусе той девушке, с которой ушёл наверх в “Вилла-Роса”. И никому никогда не говорил”.

Но забыть 8 июля Эрнесту было не суждено. Ещё в госпитале его стали посещать ночные кошмары. Они продолжались и после того, как он вернулся в Штаты, и когда он вновь отбыл в Европу. Кошмары были прямо связаны с пережитым им мгновением клинической смерти: “Спать я не хотел, потому что уже давно жил с мыслью, что, если мне закрыть в темноте глаза и забыться, то моя душа вырвется из тела” (“На сон грядущим”). Долгое время этот писатель, ставший на Западе символом мужественности, не мог спать при выключенном электрическом свете. Другим средством борьбы — до конца жизни — была ежевечерняя крепкая выпивка. А как последнее, испытанное веками средство оставалась молитва, хотя он “никому никогда не говорил” об этом. К Хемингуэю можно отнести реплику героя романа “Прощай, оружие!": “Я никогда не критикую святых после захода солнца”. Работая над романом “Прощай, оружие!”, Хемингуэй был уже католиком (после женитьбы на католичке Полине Пфейфер) и порой поступал со своими героями, как писатель-католик: например, либерал Ринальди, которому так нравились масоны, в конце концов, заболевает сифилисом.

Вообще, чудесное избавление от смерти возле Фоссальты Хемингуэй каким-то образом связывал с исповедавшимся в Италии католицизмом. Герои романа “Фиеста”, написанного Хемингуэем за два года до его перехода в новую церковь, Джейк Барнс и Брет Эшли, — католики и посещают костёл даже во время разгульной памплонской фиесты.

Несчастье, едва не лишившее Хемингуэя жизни и чуть не сделавшее его калекой, послужило, однако, толчком для рождения крупного писателя — писателя “дневного”, аполлонического, исполненного мужественного лиризма и умеющего любить жизнь в каждом её проявлении.

Глава 3. Хемингуэй и евреи

Среди некоторых русских писателей распространено мнение, что моду на Хемингуэя принесли в нашу страну “шестидесятники”—евреи с целью навязать молодёжи идеалы американского образа жизни. Ну, об “американском образе жизни” мы уже говорили. С модой тоже не так всё ясно.

Хемингуэя начали печатать в СССР вовсе не в конце 50-х — начале 60-х годов прошлого века, как многие полагают, а за четверть века до этого — в середине 30-х годов, при Сталине. Но никто его тогда особенно не пропагандировал, кроме известного переводчика Ивана Кашкина, русского по национальности. Может быть, произведения Хемингуэя не произвели того впечатления в 30-х годах, что в 60-х? Ведь люди, условно называемые “шестидесятниками” (а их предтечи существовали и в 30-е годы), обыкновенно слетаются, как насекомые на сладкое, именно на запах успеха. Нет, успех Хемингуэя у советской читающей публики был в ту пору примерно такой же. Об этом говорит запись в дневнике драматурга Александра Гладкова, сделанная в 30-е годы, и в юношеском дневнике Владимира Чивилихина (1945). А одну из статей 1938 года Андрей Платонов посвятил роману Хемингуэя “Прощай, оружие”. Критиковал, правда: “Идеал лейтенанта Генри — это идеал животного”, — но по статье заметно, что речь идёт о произведении известного и признанного в СССР писателя. И, наконец, какую книгу киносценарист А. Каплер давал читать в 1942 году 17-летней Светлане Аллилуевой, “подбивая” под неё клинья”, как говорят в народе? Машинописную перепечатку русского перевода неизданного тогда в СССР романа Хемингуэя “По ком звонит колокол”!

Допустим, в 1942 году Сталин обиделся не только на соблазнителя дочери, но и на орудие соблазна — Хемингуэя, — и запретил печатать в СССР и даже упоминать его произведения. Но почему “протешестидесятники” не пропагандировали в печати Хемингуэя в 30-х годах, когда его издавали? Может быть, потому, что Хемингуэй был недостаточно “левым”? Но ещё менее “левыми” были Джойс, пропагандируемый автором “Оптимистической трагедии” Вс. Вишневским, и Пруст, собрание сочинений которого с предисловием А. Луначарского печатало в середине 30-х годов Ленинградское отделение издательства “Художественная литература”. У меня есть 3-й том этого собрания с откровенно и, я бы сказал, вызывающе гомосексуальным “Германтом”. В выходных данных указано мелким шрифтом: “Леноблгорлит № 21008”, что в переводе с советского “канцелярита” на русский, употреблявшийся в XIX веке, означает: “Дозволено цензурой”. Тираж весьма приличный — и по меркам 1936 года, и по нынешним — 10300 экземпляров. Хемингуэй же не был ни гомосексуалистом, ни родственником Ротшильдов по матери, как Пруст, критически оценивал капиталистические порядки, будучи ещё журналистом, отчего же о нём не писали Луначарский и Вишневский?

Оттого, полагаю, что в 30-е годы Хемингуэю была прочно приклеена репутация... антисемита. Вот, к примеру, отрывок из письма Хемингуэя И. Кашкину от 19 августа 1935 года: “Напишет, скажем, Айсидор Шнейдер статью обо мне. Я её прочитаю, потому что я профессионал и мне не комплименты нужны, а то, что меня может чему-нибудь научить. А статья окажется пустая... Потом кто-нибудь из моих друзей (скажем, Жозефина Хербст) напишет Шнейдеру и станет выговаривать ему: “Как же вы это пишете такое, а “Прощай, оружие!”, а то, что Хем сказал в “Смерти после полудня”, и так далее. А Шнейдер напишет ей в ответ, что не читал ничего из моих вещей после “И восходит солнце”, где ему почудился антисемитизм. Тем не менее, он пишет всерьёз статью о моём творчестве. Это не прочтя трёх твоих последних

книг”. Какая знакомая картина, не правда ли? Прямо не Айсидор Шнейдер, а какой-нибудь Бенедикт Сарнов!

Давайте, однако, разберемся, имеется ли в “И восходит солнце” (“Фиесте”) пресловутый антисемитизм. Ну, есть там один отрицательный персонаж-еврей – Роберт Кон. Так что – этого уже и в 20-е годы было нельзя? Уже тогда все герои-евреи должны были быть исключительно положительными? Да нет, в ту пору до такого еще не дошло (хотя обратное уже не приветствовалось), но Роберт Кон имел конкретного прототипа, и вот этого прототипа нельзя было трогать уже в 20-е годы.

Его звали Гарольд Лёб (Loeb), и он приходился сыном знаменитому американскому банкиру Лёбу, что являлся совладельцем фирмы “Кон, Лёб и К^о”, “генеральному спонсору” революций 1905-го и 1917 года в России. Если верить известной книге американца Г. Саттона “Уолл-Стрит и большевицкая революция”, даже те банки, что осуществляли перевод немецких денег Ленину в Стокгольм, были дочерними предприятиями или зависимыми партнёрами “Кона, Лёба и К^о”. Именно Лёбу-старшему принадлежит знаменитая фраза, произнесённая 18 февраля 1912 года на митинге в Филадельфии: “Подлюю Россию, которая стояла на коленях перед японцами, мы заставим стать на колени перед избранным Богом народом”. Один из публицистов русской эмиграции, известный под впечатляющим именем Ушкуйник, утверждал, что глава фирмы Яков Шифф “часто хвастался после развала России, что это, главным образом, дело его рук, которое влетело ему в большую копеечку”.

Любопытный штрих: Гарольд Лёб был по матери родственником банкиров Гугенхеймов и Ротшильдов, то есть приходился родственником и упомянутому выше Марселю Прусту.

Другой не менее любопытный штрих, приведённый мной в эссе “Маяковский и его железные книги” (“Наш современник”, 2013, №№ 7–8). В то же самое время, когда создавалась “Фиеста” (1925–1926), Владимир Маяковский писал в очерке “Мое открытие Америки” о брате Гарольда Лёба: “Сынки чикагских миллионеров убивают детей (дело Лоеба и компании) из любопытства, суд находит их ненормальными, сохраняет их драгоценную жизнь, и “ненормальные” живут заведующими тюремных библиотек, восхищая сотюремников изящными философскими сочинениями”. Существенная деталь для понимания образа Роберта Кона, особенно учитывая то, что Хемингуэй не решился дать ему такого брата, как у прототипа, убивающего детей “из любопытства”!

В то время в Америке, как и у нас в 90-х годах прошлого века, безраздельно царил “семибанкирщина”, одним из главных столпов которой был “Кон, Лёб и К^о”. Деньги у населения банкиры изымали точно таким же образом, как в России разные “СБС-Агро” и “Менатеп”, то есть путём создания жульнических финансовых пирамид. Имелся тогда в США и свой “МММ”, причём, возможно, не один. В 1921 году, сотрудничая в журнале “Кооператив коммонуэллс”, Хемингуэй столкнулся с деятельностью его учредителя, “Кооперативного общества Америки” под руководством некоего Гаррисона Паркера. Советский биограф Хемингуэя Б. Грибанов писал: “Когда в октябре 1922 года суд официально признал общество обанкротившимся, выяснилось, что у него долгов на 15 миллионов долларов. В “Кооперативном обществе Америки” была 81 тысяча вкладчиков, и Паркер имел возможность манипулировать суммой в 11,5 миллиона долларов для выдвижения себя на пост губернатора штата Иллинойс”. Хемингуэй ещё в начале 1921 года “собрал определённое количество разоблачительных материалов... и по наивности своей предложил их для публикации некоторым чикагским газетам. Однако из этого ничего не вышло... Паркер в то время занимал слишком видное положение, и газеты, видимо, считали, что трогать его небезопасно”.

О деятельности фирмы “Кон, Лёб и К^о” Эрнест, скорее всего, впервые узнал в 1919 году в Канаде, когда работал там журналистом. Эта история, слушавшаяся в канун Первой мировой войны, получила достаточно широкое освещение в канадской (но не американской) прессе. Нам она известна по данным русской контрразведки (1917): “Принц Генрих Прусский, ознакомившись с морским плацдармом Тихого океана, имел совещание в Америке с Шиффом, а во Владивостоке – с Даттаном и директором фирмы “Артур Коппель” о программе захвата каменноугольных богатств обоих побережий (канадского и российского. – **А. В.**). После этого свидания Шифф и Отто Кон при содействии своего банка, известного под маркой “Кон, Лёб и К^о”, попытались

арендовать единственные на тихоокеанском побережье Северной Америки каменноугольные копи на о. Ванкувер. Когда эта попытка не дала практического результата, германцы, живущие в С. А. С. Штатах, в 1914 году выработали план вооружённого нападения на Ванкувер, чему, однако, помешали канадские власти” (альманах “Шпион, 1993, № 1).

Самого же Гарольда Лёба Хемингуэй, вероятно, увидел в Париже впервые, когда переехал в Европу корреспондентом газеты “Торонто стар”. Ведь Лёб был одним из посетителей знаменитой “Ротонды”, о чём Эрнест писал в 1922 году: “... завсегдатаев “Ротонды”... , как и многих других туристов, привела сюда обменная ставка 12 франков за доллар, и, когда восстановится нормальный обмен, им всем надо будет возвращаться в Америку. Почти все они бездельники, и ту энергию, которую художник вкладывает в свой творческий труд, они тратят на разговоры о том, что они собираются делать, и на обсуждение того, что создали художники, уже получившие хоть какое-то признание”.

Ещё более выгодная ставка доллара была в поставленной на колени Версальским договором Германии. Разумеется, американские поклонники искусств из “Ротонды” вскоре устремились туда. Известный критик Малькольм Каули вспоминал: “Снова мы двинулись на север: это был октябрь 1922 года, когда инфляция в Германии достигла самых крайних пределов. Когда мы пересекли границу, доллар стоил 800 марок: в Мюнхене эта цифра возросла до тысячи, а в Ратисбоне — до тысячи двухсот; на следующее утро в Берлине за доллар можно было купить 2 тысячи марок или пальто из чистой шерсти. (Заметьте, каковы служители муз: на каждом этапе своего, в общем-то, недолгого пути они внимательнейшим образом отслеживают курс доллара и его покупательную способность! — А. В.) На вокзале нас встретили Джозефсон и Гарольд Лёб, издатель “Метль”; они вдвоём редактировали журнал, платя за издание ни мне, ни им неведомо сколько марок или долларов... На сто долларов в месяц в американской валюте Джозефсон снимал двойной номер в отеле, который обслуживали две горничные, оплачивал уроки конной езды для своей жены, обедал в самых дорогих ресторанах, давал чаевые оркестрантам, собирал картины и делал пожертвования в фонд баствующих немецких рабочих...” Очень трогательно насчёт пожертвованной работой, которые голодали именно по той причине, по какой жировали Джозефсон и Лёб: одни богатели от падающего по несколько раз на дню курса марки по отношению к доллару, а другие не успевали купить еды на эту стремительно обесценивающуюся марку. Всё это так хорошо знакомо нам по 1992-му и 1998 году!

Но это уже другая тема, а мы, как нетрудно заметить, снова встретились с прототипом Роберта Кона Гарольдом Лёбом. В Германии тогда подвизался другой “филантроп” из “Кона, Лёба и К⁰” — сам Отто Кон, матёрый шпион и гроссмейстер германского масонства в годы Первой мировой войны, вывозивший из бывшего фатерлянда ценности фургонами. Впечатления, вывозимые из Германии американскими литераторами типа Джозефсона и Лёба, тоже представляли особую форму спекуляции — художественную. Каули: “Некто в Берлине, собираясь заплатить за коробку спичек бумажкой в десять марок, взглянул на билет, а на нём было написано: “За эти десять марок я продала свою добродетель”. Человек написал об этом длинную добродетельную повесть, получил за неё десять миллионов марок и купил на них своей любовнице чулки”. А мы спрашиваем: откуда в Германии взялся фашизм?

Кстати, у журнала Лёба и Джозефсона “Метла” (“Broom”) была весьма страшная обложка: залитая кровью зловещая фигура то ли мясника, то ли палача в капюшоне, несущего огромный кулёк какого-то фарша.

В 1924 году, когда Хемингуэй познакомился с Лёбом в Париже лично, литературные дела последнего пошли в гору. Прежде Лёб издавался только за свой счёт, а теперь его книгу взялось выпустить американское издательство “Бонни и Ливрайт”. С журналом у Лёба обстояло дело хуже (марка и франк стабилизировались), но, скрипя, он всё же издавал его, печатая не только себя любимого, но и серьёзных молодых американских авторов. В те годы окололитературная шушера типа Лёба ещё нуждалась в каком-то количестве талантливых писателей вокруг себя, пусть даже неевреев, в отличие от аналогичной шушеры в современной России (всяких Быкова и К⁰), которая ни таланта, ни русского духа не выносит совершенно, как упыри и уродцы из наших сказок. Да и почему они должны их выносить: ельцинское и постельцинское государство отдало им на откуп культуру, как Алле Пугачёвой эстраду, где идёт ус-

пешная война безголосых с голосистыми на уничтожение. А как иначе, ведь они думают так: “Вы, голосистые, будете петь, а нам, безголосым, что делать?” Одно успокаивает: никто теперь знать не знает и ведать не ведаёт, кто такой, скажем, Айсидор Шнейдер. А был, судя по письму Хемингуэя, “авторитет”! Та же судьба, без всякого сомнения, ждёт и наших упырей и уродов.

Предыстория появления Гарольда Лёба в качестве прототипа героя “Фиесты” Роберта Кона позволяет несколько иначе, чем прежде, взглянуть на взаимоотношения Кона с другими героями романа. Итак, молодой американский еврей, потомок богатейших ростовщиков, вынужден постоянно добиваться от жизни взаимности. Но если сравнить отношения между ним и жизнью с браком, то это брак не по любви. Кон умеет поначалу вызывать симпатию окружающих к себе — услужливостью, показной открытостью, отсутствием гонора богача. Но ненадолго. Симпатия проходит, как только люди понимают, что это и есть цель Кона. От женщин Роберт добивается любви — причём такой, о которой он читал в юности в романах. Что бы ни случилось, Кон не хочет ставить точку, когда симпатия к нему перерастает в противоположное чувство, и, уже ненавидимый окружающими, продолжает делать вид, будто ничего не изменилось. Все его увлечения: бокс, журнал, сочинительство, женщины — есть обладание без взаимности. Ради того, чтобы *вырвать* у жизни любовь, он готов на всё: в конце романа едва не забивает насмерть матадора Ромеро. Ничего антисемитского в образе Кона нет, но это, конечно, еврейский тип — оттого и терпеть не мог Хемингуэя критик Шнейдер.

Не менее интересно, кто в “Фиесте” противостоит Кону. Американский католик Джейкоб Барнс, натура лирическая, наделённая всем, чего лишён Кон, но лишённый мужественности. Кон — пассионарный тип, а Барнс — скопец. Это не только его физический изъян, но и духовный. Алкоголик Майкл Кэмбелл, например, — полноценный мужчина, но он тоже скопец. В “Фиесте”, помимо Кона, есть, в сущности, ещё только один пассионарий — юный испанский матадор Педро Ромеро. Между ними и разыгрывается коррида, в которой Кон, понятное дело, играет роль быка. Тавромахия в этом случае Ромеро не помогает: он избит в кровь. Едва ли жестокость Кона утрирована Хемингуэем, если вспомнить, что брат Гарольда Лёба, по словам Маяковского, убивал детей “из любопытства”. Правда, побеждает всё равно Ромеро — побеждает потому, что готов умереть. Кон раз за разом посылает его в нокаут, но Ромеро каждый раз встаёт и идёт на него. Барнс и Кэмбелл получили от Кона “по соплям” — и успокоились. А Ромеро — матадор, для него даже в неудачно складывающемся бою важен последний удар, и он его наносит, пусть и без ущерба для здоровья Кона. Но женщина, послужившая причиной схватки, остаётся с Ромеро, и завтра, еле стоя на ногах, он убьёт на арене всех своих быков.

Кону же, столкнувшемуся с таким сопротивлением, ничего не остаётся, как трусливо ретироваться. Ему, “быку”, приходится довольствоваться победой над пьяненькими “волами” — Барнсом и Кэмбеллом. Испанцы используют волов (оскоплённых быков) для того, чтобы они, когда бойцовых быков выпускают из загона, собирали их в стадо. Волы могут добиться этого, лишь безропотно подставляя под рога быков свои бока. Это один из самых впечатляющих образов в романе, где метод Хемингуэя проявился во всём блеске.

По всем законам классической драмы образ “быки—волы” претерпевает по ходу действия тайную рокировку. В середине романа Кэмбелл спрашивает Кона, зачем он, как вол, крутится возле быков. Но ближе к концу становится ясно, что бык — это как раз Кон, а они с Барнсом — волы. Они могут привести быка в стойло, откуда его выпустят на арену для смертельной схватки с матадором, но это лишь в том случае, если сами не погибнут от его рогов.

В сущности, перед нами схема взаимоотношений между пассионарными и непассионарными этносами. Русских в “Фиесте” нет, но как бы они поступили, оказавшись в этой ситуации? Люди из народа, может быть, вели бы себя подобно Ромеро, а вот интеллигенты, подозреваю, — точно так же, как Барнс и Кэмбелл.

Не знаю, был ли пассионарием прототип Кона Гарольд Лёб, но вышедший в 1926 году роман “Фиеста” положил конец его мечтам о писательской славе. Ни деньги, ни связи не могли ему помочь. Удар, нанесённый Лёбу Хемингуэем, был пострашнее того, что нанёс Кону едва державшийся на ногах Педро Ромеро: он выбросил Кона из литературы. Ни в Америке, ни в Европе

читатели не могли относиться серьёзно к писателю, о котором известно, что он прототип Роберта Кона из “Фиесты”. Гениально выбранная Хемингуэем фамилия персонажа не давала Лёбу и щёлочки надежды “перевести стрелки” на какой-нибудь другой прототип. Кон мог быть только Лёбом, потому что в названии известной во всём мире фирмы – “Кон, Лёб и К^о” – фамилии героя и прототипа стоят рядом. Никто уже не воспринимал Лёба в отрыве от Кона. Например, когда американский писатель Томас Вулф писал о нём, то вспомнил в первую очередь “Фиесту”: “Он... стал героем – или, точнее сказать, главным отрицательным персонажем – прогремевшего в 20-е годы романа, где описывалась жизнь разгульной молодой компании сначала в Париже, а потом в Испании”.

Таким образом, мы имеем все основания утверждать, что дочернюю “Кону, Лёбу и К^о” литературную секту “Шнейдер и К^о” возмутил не столько “антисемитизм”, сколько вызов, брошенный Хемингуэем всей этой бездарной корпорации, – точнее, не вызов даже, а увесистый камень, переполошивший их замшелое болото. А им-то уже казалось, что они хозяева литературной жизни. И, конечно же, они стали Хемингуэю мстить. К кампании дискредитации писателя удалось привлечь не только критиков, но и романистов, нелегко переживавших славу своего более талантливого коллеги. Олдос Хаксли написал о нём статью “Предумышленное низколобие”. В июле 1933 года появилась разностная статья друга Троцкого и Лёба Макса Истмена “Бык после полудня”. По словам Б. Грибанова, Истмен “утверждал, что Хемингуэй обладает весьма чувствительной душой, что он сам рассказывал, как был “до смерти перепуган”, попав на фронте под обстрел, и поэтому до сих пор занят тем, чтобы улучшить свой имидж, пытаясь изобразить себя “неистовым буяном, требующим побольше убийств, и в значительной мере озабочен тем, чтобы продемонстрировать свою способность воспринимать убийства в любых количествах... Это, безусловно, общеизвестно, что Хемингуэй не уверен в себе, в своей мужественности”. Эта черта, по словам Истмена, породила “литературный стиль, если можно так сказать, фальшивых волос на груди”.

Но Истмен просчитался насчёт неуверенности Хемингуэя в своих силах. Через несколько лет они случайно встретились в кабинете редактора издательства “Чарльз Скрибнерс” Максуэлла Перкинса. Хемингуэй тут же продемонстрировал Истмену волосы на своей груди, а потом расстегнул ему рубашку и показал Перкинсу, что у критика-троцкиста вовсе нет никаких волос, ни настоящих, ни фальшивых. Потом, не отпуская “попавшего под раздачу” Истмена, Хемингуэй попросил Перкинса найти книгу со статьей “Бык после полудня” и прищемил ею автору нос.

После смерти Хемингуэя большинство известных американских критиков придерживалось мнения, что “Фиеста” – лучший роман писателя. Наиболее своеобразно эту точку зрения выразил писатель Вэнс Бурджелли: “Как читатель, берущий на себя смелость говорить за других читателей, я выстраиваю его произведения в том порядке, в котором предпочитаю перечитывать их. При таком эксперименте “Фиеста” оказывается лучшим романом, романом вне конкуренции: я перечитываю его один раз в четыре-пять лет. Столь же часто я перечитываю пятнадцать-двадцать рассказов, преимущественно ранних, но включая “Макомбера” и “Килиманджаро”, произведения столь же выдающихся достоинств. Где-то за ними, но недалеко, следует “Прощай, оружие!”, к которому я возвращаюсь раз в семь-восемь лет”.

Тем удивительней, что “Фиеста”, самый издаваемый до 80-х годов прошлого века роман писателя, не переиздается в последнее время отдельным изданием ни в США, ни у нас. Наиболее значительными произведениями Хемингуэя теперь обычно называют “Прощай, оружие!” и “По ком звонит колокол”. Даже если бы это было так, всё равно “Фиеста” бесценна для изучения жизни и творчества Хемингуэя – это единственный его роман, в котором история, случившаяся в жизни, изображена почти такой, какой она была летом 1925 года в Памплоне.

В этом легко убедиться, взглянув на памплонскую фотографию прототипов (имеется в Википедии, в статье о “Фиесте”). Она могла бы даже являться прямой иллюстрацией к роману, если бы не присутствие первой жены Хемингуэя Хэдди. Прототипы пьют пиво за круглым столиком уличного кафе. На первом плане – Хемингуэй (один из прототипов Джейка Барнса) и уже податый англичанин Пэт Гатри (Майкл Кэмбелл), одетые совершенно одинаково.

во: белые брюки, твидовые пиджаки, галстуки, береты и теннисные туфли, что говорит о тогдашнем англофильстве Хемингуэя. За Эрнестом сидит кокетливо играющая глазками красавица Дафф Твисден (Брет Эшли) в шляпке, за Пэтом Гатри – лысый Дональд Стюарт (один из прототипов Билла Гортона). В центре, как уже сказано, – улыбающаяся Хэдди Хемингуэй. А вот несколько поодаль, между Дафф и Эрнестом, даже не за столиком, где ему места, очевидно, не нашлось, – какой-то плюгавый мужчина с расплощенным носом, в галстук-бабочке и роговых очках, похожий на провинциального банковского служащего. Это и есть Гарольд Лёб (Роберт Кон) – “бык в засаде”, так сказать; и это единственный его снимок, который мне удалось обнаружить. Подозреваю, что если бы Хемингуэй не встретил Лёба на жизненном пути и не заверстал его в герои романа, мы вообще бы не знали, как этот “знаменитый литературный деятель” выглядит. Ему бы спасибо сказать Хемингуэю за то, что он его обессмертил, как Шекспир Шейлока, а он, напротив, после выхода “Фиесты” исходил злобой.

Шекспир, я полагаю, упомянут к месту: не исключено, что роман Хемингуэя постигла судьба “Венецианского купца” Шекспира и некоторых произведений Марло, и он негласно запрещён в современной Америке за “антисемитизм”.

Тем, кто скажет, что увиденный мной подтекст “Фиесты” надуман и что Лёб-сын “за грехи отца не отвечает”, да и за грехи брата-детоубийцы тоже, имею честь сообщить, что Гарольд Лёб всё же пошёл по стопам отца и стал в конце 20-х – начале 30-х годов, по свидетельству Томаса Вулфа, активным пропагандистом сионизма. А до этого он был авангардистом, потом социалистом, потом троцкистом... “Наглость и, я бы добавил, откровенное бесчестие, которое руководило такими людьми, отталкивали меня, внушая отвращение”, – признавался Вулф. Какое чутьё, однако, было у Хемингуэя, до 1936 года политики сторонившегося! Он безошибочно выбрал прототипа героя, путь которого оказался типичным для тогдашней еврейской интеллигенции США и Европы: литература – социализм – троцкизм – сионизм.

Глава 4. “Вся жизнь пошла к дьяволу”

Размышляя над возможными толкованиями “Фиесты”, я, вслед за В. Бурджейли, пришёл к выводу, что этот роман, созданный двадцатисемилетним автором, сильнее, глубже и психологичнее всех других его романов, которые мне нравились. “Прощай, оружие!” превосходно написан и неподдельно лиричен, “Иметь и не иметь” по-толстовски аналитичен и беспощаден, но печатью гениальности, безусловным признаком которой является вдруг возникающий у тебя восхищённый вопрос: “Как это сделано?” – отмечена лишь “Фиеста”. Есть в романе некая молодая виртуозность, весёлая литературная игра (при всей потаённой драматичности содержания), делающие приведённое мной толкование романа далеко не единственным.

После выхода “Фиесты” по Парижу, конечно, поползли слухи о мужском бессилии Хемингуэя, дошли они и до его бывшей приятельницы Дафф Твисден, ставшей прототипом Брет Эшли, на что она со свойственным ей и героине романа остроумием отреагировала: “Бессилие Хемингуэя – это его жена и ребёнок”.

Подобного смелого литературного эксперимента вы не встретите ни в одном из последующих романов Хемингуэя. Я вообще не знаю другого мужчину-писателя, который бы отважился вести повествование от первого лица, если это лицо – скопец. В известном смысле, это рискованнее для репутации, чем писать от лица извращенца, ибо скопец вызывает лишь жалость.

Итак, Хемингуэй поверг в прах Кона-Лёба. Шумный успех, выпавший ему после “Фиесты”, свидетельствовал, что он может заставить конов и лёбов считаться с собой, даже сказав им всё, что о них думает. Но это абсолютно не значило, что мир стяжательства и посредственности хотя бы на минуту прекратил борьбу с такими, как он. “Фиеста” ещё не вышла в свет, а Хемингуэй уже попал в объятия богачки Полины Пфейфер, подруги любовницы Лёба Кити Канелл (в “Фиесте” – Френсис Клайн). Сам Хемингуэй описывал это в книге, не очень удачно названной вдовой писателя Мэри “Праздник, который всегда с тобой”: “Когда два человека любят друга, когда они счастливы и ве-

селы и один или оба создают что-то по-настоящему хорошее, они притягивают людей так же неотразимо, как яркий маяк притягивает ночью перелётных птиц. Если бы эти двое были так же прочны, как маяк, то разбивались бы только птицы. Те, чьё счастье и успешная работа привлекают людей, обычно неопытны и наивны. Они не умеют противостоять напору и не умеют вовремя уйти. У них не всегда есть защита от добрых, милых, обаятельных, благородных, чутких богачей, которые так скоро завоёвывают любовь, лишены недостатков, каждый день превращают в фиесту*, а насытившись, уходят дальше, оставляя позади пустыню, какой не оставляли копыта коней Аттилы”.

Богачи “прибегли к способу старому, как мир. Он заключается в том, что молодая незамужняя женщина временно становится лучшей подругой молодой замужней женщины, приезжает погостить к мужу и жене, а потом незаметно, невинно и неумолимо делает всё, чтобы женить мужа на себе”.

Да, в 1921 году Хемингуэй повезло: он женился на очаровательной тридцатилетней Хэдли Ричардсон, подающей надежды пианистке. Сочетание красоты, возраста и рода занятий жены вроде бы не сулили юному писателю ничего хорошего – в этом смысле показателен случай с матерью Хемингуэя, после замужества оставившей карьеру оперной певицы и до конца жизни не простившей этого его отцу. Но история не повторяется дважды. С Хэдли оказалось всё иначе. Она последовала за молодым мужем в Париж, в неизвестность, где жила вместе с ребёнком в квартире над работающей лесопилкой, питалась тем же, что и французские рабочие, и музицировала не перед рафинированными меломанами, а перед посетителями второразрядных кабачков. “Сердобольная” Полина в первый период знакомства с Хэдли очень её жалела и сокрушалась, что Эрнест так худо её содержит. Судя по всему, с этой стороны вызвать конфликт между Хэдли и мужем ей не удалось. Сложнее обстояло дело с самим Хемингуэем.

Во время своей с Хэдли жизни в Париже он вынужден был заниматься малоприятным для энергичного молодого человека занятием – экономить деньги. Он, разумеется, делал это не по скупости, а для того, чтобы поехать зимой в Австрийские Альпы, а летом – в Испанию. Однако появление всех этих богачей, Пфейферов и Мэрфи, не только бросавших деньги направо и налево, но и позволявших себе на публике *презирать* их (хотя на самом деле удавились бы за копейку!), не могло не внести трещину в сознание Эрнеста. Он был лучше, талантливее, благороднее, сильнее их, и они отлично знали это, но знали и то, что их якобы так *опостылевшие* им деньги позволяют им держаться в общественной иерархии выше таких гордецов, как Хемингуэй.

Так уж повелось в жизни, что деньгам можно противопоставить только деньги. Кто пытается соревноваться с владельцами презренного металла талантом, рано или поздно вынужден переводить его в сопоставимые величины, то есть в те же деньги. Ибо состязание таланта с миром денег всегда идёт по правилам последнего. Если мы хотим обособиться от мира, где правят деньги, нужно во всё уйти от системы его ценностей. Совсем не обязательно на этом пути вас ждут голод, холод, отсутствие уюта, болезни и даже смерть – всё то, чем пугают людей бескорыстных люди корыстные. Но одну систему ценностей покидают, лишь переходя в другую.

Система личных духовных ценностей не была Хемингуэем сформулирована так же чётко, как, скажем, теория его прозы. Экзотические в то время формы его досуга, к которым он прибегал, уходя от сволочной и бездарной жизни “гиен пера” и “шакалов ротационных машин” – ловля форели, горные лыжи и испанская коррида – легко перенимались скучающими богачами-бездельниками, никакой жизненной философии в эти развлечения не вкладывавших. Разница была и в том, что богачи без особых усилий могли позволить себе то, чего Хемингуэй добивался жесткой экономией, отказывая себе в обеде, а Хэдли – в цигейковом жилете.

Рассуждая отвлечённо, эту ситуацию можно представить так: лишённые воображения коны, лёбы, мэрфи и пфейферы топают след в след за молодым писателем-оригиналом, залезают толпой в чистейшие горные ручьи, распугивая деликатную форель; ломая лыжи, катятся кубарем по величественным склонам Форарльберга; похлопывают по плечу матадоров, позорно называя

* Наглядный пример того, почему название “Праздник, который всегда с тобой”, дословно “Неуходящая фиеста” (“A maveable Feast”), неудачно.

их пикадорами; привозят на другой год новых конов и лёбов и отнимают у Хемингуэя радость первооткрывателя всей этой экзотики. Как уйти от них, превращающих всё в “мертвую пустыню”? Ехать охотиться на африканских львов, что ли? Ловить диковинных океанических рыб? Так наш оригинал, увы, и делает. Ему мало одержать верх над конами и лёбами в литературе, ему хочется соревноваться с ними и в остальном. Но на это нужно много денег. В один не очень прекрасный день некто по фамилии Пфейфер может предложить ему их, а его шустрая ласковая племянница — руку и сердце, и Хемингуэй увидит в этом выход, не задумываясь о том, что между деньгами Лёба и деньгами Пфейфера нет особой разницы. И что он с таким же успехом мог бы жениться на любовнице Лёба Кити Канелл.

В жизни, разумеется, всё обстояло не так просто, как я это изложил. Отец лжи всегда предлагает своей жертве мешок оправданий, подчас весьма тонких. Формальный протестант, Хемингуэй после 8 июля 1918 года тяготел к католичеству. Полина Пфейфер была католичкой, так что создавалась иллюзия духовной целесообразности этого брака.

Подсознательно, однако, человек, тем более такой неглупый, как Хемингуэй, всегда знает, что хорошо, а что плохо. Драма усугублялась тем, что Эрнест не переставал любить Хэдли и сына. Не мог он не понимать и того, сколь аморально бросать жену, бывшую беззаветно преданной ему в период его бедности и безвестности, именно тогда, когда к нему пришла слава. Да и вёл он себя во время разрыва не лучшим образом. Когда в конце марта 1926 года Хэдли прямо ему заявила, что ей не нравятся его отношения с Полиной, Хемингуэй, чьим писательским и человеческим идеалом всегда была откровенность, потерял лицо. Он сказал жене, что она не должна была касаться этого вопроса, ибо тем самым рвёт цепь, которая связывала их между собой. Он полагал, что вина за всё дальнейшее теперь ложится на Хэдли, так как именно она первой заговорила об этом.

Забрав сына, Хэдли уехала. Она прислала Эрнесту полное достоинства письмо, в котором говорила, что рассматривала их брак как клятву быть с ним и в радости, и в горе. Но раз он хочет развода, он должен сам заняться всеми правовыми вопросами, связанными с этим.

Хемингуэй ответил прочувствованным письмом. Он утверждал, что она всегда была храброй, самоотверженной и великодушной. Что она была самым лучшим, самым честным, самым любимым человеком, которого он встречал в своей жизни...

Увы, в письме родителям, упрекавшим его за разрыв с Хэдли, он вскоре написал нечто совершенно противоположное, обвиняя её в мелочности, корыстолюбии, эгоизме и патологической ревности. Однако в разговорах со Скоттом Фитцджеральдом и Биллом Бёрдом (одним из прототипов Джейка Барнса) Эрнест утверждал иное: “Рассказывая Скотту о разводе, он говорил, что *вся их жизнь пошла к дьяволу* (курсив мой. — А. В.), как и должно быть со всякой хорошей жизнью, объяснял, какая Хэдли замечательная женщина. Встретившись с Биллом Бёрдом, он на вопрос, почему они разводятся, ответил кратко и безапелляционно: “Потому что я сукин сын” (Б. Грибанов).

Подобные игры не могут не привести прямого и честного человека к кризису. Хемингуэй пережил в то время тяжёлую депрессию, сравнимую лишь с той, что он испытал в 1960–1961 годах. Полине, которая уехала тогда на три месяца в Штаты, он писал отчаянные письма о своём тяжёлом состоянии, признавался, что думает о самоубийстве.

Но в октябре 1926 года вышла “Фиеста”. Книга имела шумный успех, и это вывело Эрнеста из депрессии.

Наверное, именно о днях триумфа Хемингуэя написал Михаил Булгаков в 1929 году в рукописи “Тайному другу”: “... в ваши руки попадает измызганный номер французского или немецкого иллюстрированного журнала, и вы видите избранника судьбы. Он в белых брюках и синем пиджаке. Волосы его растрёпаны, потому что с моря дует ветер. Рядом с ним, в короткой юбке и шляпе, некрасивая женщина с чудесными зубами”. Есть весьма похожая фотография того времени, запечатлевшая Хемингуэя и Полину Пфейфер на паровой палубе первого класса. Полина, действительно, некрасива, в модной шляпке — и с чудесными зубами. Избранник же судьбы как-то цинично усмехается под усами правым углом рта.

Глава 5. Победитель не получает ничего

Есть писатели, талант которых тесно связан с состоянием души. Уже в XX веке чаще встречались другие, способные работать и шлифовать мастерство независимо от нравственных установок (например, Исаак Бабель и Валентин Катаев). Хемингуэй всё же относился к первым. Даже придя в себя под влиянием успеха и женившись на Полине, он ощущает непоправимость разрыва с Хэдли. Уже в апреле 1927 года он публикует рассказ “Канарейку в подарок”, в котором звучит нота раскаяния, ставшая затем лейтмотивом “Снегов Килиманджаро”, многих страниц “Иметь и не иметь” и “Праздника, который всегда с тобой”.

Он был искренен в своих первых книгах, потому что не заключал никаких сделок с совестью. Он был писателем, в жизни которого не случилось ничего такого, о чём он не смог бы рассказать читателям. Некая смутная тень лежала на его сестрице — тот итальянский снайпер, невольным виновником гибели которого он стал на Пьяве, — но тогда была война, а на войне и похуже случается. А вот история разрыва с Хэдли, если усмотреть в ней поворот в судьбе (а так оно и оказалось), образовывала вместе и историей погубленного Эрнестом и одновременно спасшего его солдата некую не очень приятную последовательность. К нему вернулись, судя по рассказу “На сон грядущим”, ночные страхи лишиться во тьме души.

То, что критики называют автобиографическим периодом в творчестве писателя, завершилось у Хемингуэя не потому, что его биография окончательно слилась с творчеством: напротив, они разошлись — и самым болезненным образом. Он перестал быть писателем, профессионализм которого следует за непосредственностью, он превратился в чистого профессионала, мастерски изготавливающего истории.

Непосредственный писатель может создавать прекрасные произведения и вопреки собственным творческим установкам. Работая над “Фиестой”, Хемингуэй шёл наперекор продуманной и чёткой “теории прозы”, писал и ночью, и тогда, когда уставал, и когда не знал, что будет дальше. Он написал роман за шесть недель и почти год дорабатывал его.

“Прощай, оружие!” он создал согласно всем своим правилам. Глава мерно следует за главой, пейзаж сменяет пейзаж, монолог чередуется с диалогом и всякая деталь на том месте, где ей следует быть. При этом роман вовсе не схематичен, он куда лиричнее и спокойнее “Фиесты”, но как-то неощутимо слабее.

Угроза пустоты, таящаяся во внешне богатом красками и лирическими оттенками романе, оказалась не случайной. В эпиграфе к сборнику рассказов с многозначительным названием “Победитель не получает ничего” (1933) Хемингуэй написал: “В отличие от всех иных состязаний или же схваток, условия здесь таковы, что победитель не получает ничего: ни передышки, ни радости, ни какой-либо славы. А если он истинно победит, то не получит и мира в душе”.

Так и Хемингуэй: победив в чужой игре, он не получил мира в душе.

Резкие краски и контрасты начинают вытеснять прославленные хемингуэевские полутона. Теперь он пишет вполне бабелевский рассказ “Альпийская идиллия”, один из героев которого, крестьянин, относит тело умершей жены в дровяной сарай, пристраивает в углу стоймя... и так оставляет на зиму. Когда же находчивому герою нужно набрать в темноте дров, он вешает фонарь на отвисшую нижнюю челюсть покойной супруги.

В пору первого успеха Хемингуэя считалось, что, хотя в его произведениях не находят себе места интеллектуальные идеи, философия писателя воплощается в созданных им образах. Теперь же Эрнест, ощутив внутри себя пустоту, с вызовом стал говорить, что ничего, кроме пустоты, и быть не может. Он кощунствует, заставляя героя рассказа “Там, где чисто, светло” (1933) в извращённом виде читать молитву “Отче наш” (“Патер ностер”): “Отче ничто, да святится ничто твоё, да придёт ничто твоё, да будет ничто твоё, яко в ничто и в ничто”. Потешил бесов, нечего сказать!

Если развод с Хэдли закончил парижский период жизни Хемингуэя, то выход “Фиесты” совпал с концом той культурной ситуации в Европе и Америке, что продолжалась с 1918-го по 1926 год. При всём увлечении тогдашних гуманистических политикой и экономикой, они занимали в их сознании в лучшем

случае второе или третье место. Первое всё же принадлежало культуре. Так было, кстати, и в Советской России до 1928 года: только рапповцы да лефовцы талдычили про темпы и промфинплан. Но вот отбушевала литературная фиеста, и наступили — и на Западе, и в СССР — политические будни.

На западных единомышленников таких литераторов, как Троцкий, Бухарин, Луначарский, Радек, не могла не производить впечатления их головокружительная политическая карьера. Не являлся исключением и Гарольд Лёб, которому, как известно по “Фиесте”, было всё равно, каким образом утверждаться. Из сиониста он вдруг превратился, по словам Томаса Вулфа, в “знатока экономических законов”: “Его явно потянули за собой фантазии одного странного человека, который называл себя инженером и доказывал, что единственная надежда для человечества — это довериться технократам, чтобы они переустроили мир согласно рекомендациям, выработанным для индустрии. Выходило, что этим способом можно привести в действие все богатства, которые таит в себе природа, а также замыслы и открытия учёных, и тогда, учитывая, какая сильная у нас промышленность, несложно обеспечить каждому царскую жизнь — все будут зарабатывать не меньше пятнадцати тысяч в год. И тот перевёртыш (Гарольд Лёб. — **А. В.**) не только всё это заглотал, не раздумывая, он пошёл дальше: ровно через месяц у него была готова книга, где излагалась целая экономическая система на новый лад и говорилось, что техника обеспечит каждому доход в двадцать тысяч. Ну что же, теперь он с энтузиазмом двинулся по новонайденному пути, только, на мой взгляд, это всё та же самая избитая дорога; он с неё и не сходил”.

Книга Лёба, о которой упоминает Вулф, называлась “Жизнь в технократическом обществе” (1933). “Странного человека”, у которого Лёб слямзил “новые взгляды”, звали Говард Скотт; “фантазии” его разделял не только Лёб, но и, к примеру, Теодор Драйзер. Вулф не знал, что эти фантазии станут основой нынешней “стабильности” в западном технократическом обществе. Правда, “телеги, подвозящие хлеб всему человечеству” (Достоевский), двинулись отнюдь не ко “всему”, а преимущественно в Северную Америку и Западную Европу: во всех других местах их только нагружают — и там, конечно, полно нищих и голодных. Но никто не собирается распространять и на них “фантазии” Скотта и Лёба, напротив, если они или их вожди начинают слишком громко требовать этого, им подвозят американские авианосцы, ракеты и морскую пехоту в любом количестве. Так было в Гренаде, Панаме, Сомали, Гаити, Югославии, Ираке, Ливии... Этим же грозят Сирии и Ирану — да любой стране, в которой вдруг начинают плохо нагружать “телеги”. “Не верю я, гнусный Лебедев, телегам, подвозящим хлеб человечеству!” — как говорил один из героев “Идиота”.

Хемингуэй выбросил прототипа Роберта Кона из литературы, но вот в других областях хемингуэев не оказалось. И Коны-Лёбы процветали на ниве общественной, экономической и политической деятельности.

Но они, однако, не затем ушли из литературы, чтобы вычеркнуть её из своих планов. Лёб, обратившись в “веру” Скотта, не случайно говорил Томасу Вулфу: “...неужели вы считаете, что можно писать, ни черта не смысла в экономике?” Идеологи “технократического общества” нуждались в “инженерах человеческих душ”, то бишь в писателях. Прежде Лёб и прочие рекрутировали их в авангардизм, троцкизм, сионизм, теперь вот — в ряды технократов.

Они обрабатывали американских писателей не так жёстко, как это делали в Советском Союзе, но не менее настойчиво. Хемингуэй не стал исключением.

Он забросил политику примерно тогда же, когда забросил журналистику. Отношение к политике Эрнест сформулировал для себя ещё в 1922 году, когда стал свидетелем трагедии греческих беженцев в Восточной Фракии: “Помню, как я вернулся с Ближнего Востока с разбитым сердцем от того, что я увидел. И тогда в Париже я пытался выбрать, чему посвятить свою жизнь: бороться за справедливость или стать писателем. И вот, с холодностью змия, я решил для себя, что стану писателем, чтобы писать настолько правдиво, насколько это в моих силах”.

Знакомство Хемингуэя с выходцем из Южной Африки Уильямом Болито Райаллом, корреспондентом манчестерской “Гардиан” и бывшим английским разведчиком, укрепило его в стремлении выбросить политику из своей жизни и творчества. От Райалла Эрнест узнал, что продажность — это свойство не только провинциальных американских и канадских изданий, но и самых “не-

зависимых” и могущественных китов мировой прессы. Райалл рассказал Хемингуэю немало интересного о том, как и кем подкупаются газеты: он сам занимался подкупом французской прессы во время Первой мировой войны. Не менее хорошо Райаллу было известно, как покупаются политики.

Читая Хемингуэя-журналиста, отлично понимаешь, что зёрна жестокости и насилия, пышным цветом взошедшие в Европе при Ленине, Муссолини, Гитлере, Франко, были брошены в землю ещё в 1914–1918 годах. В 1918-м, побывав на итальянско-австрийском фронте, Хемингуэй узнал, что в итальянской армии возродили древнеримскую децимацию, когда за отказ идти в наступление расстреливали каждого десятого солдата (этот тип экзекуции очень полюбился Троцкому), а родителей и родственников несчастных лишали гражданских прав (форма использования заложников, также перенятая большевиками).

Увы, самому Хемингуэю приходилось точно так же врать в газетах, как это делали его коллеги. Даже если он этого не хотел, от его имени вралли другие. Как мы помним, он “вернулся с Ближнего Востока с разбитым сердцем от того, что увидел”. Судя по книге “В наше время”, Хемингуэй хорошо знал, что в трагедии малоазийских греков и сожжении древнего православного города Смирна виноваты турецкие войска. Но в своё агентство он в 1922 году послал другую информацию. 12 лет спустя Хемингуэй вспоминал на страницах журнала “Эсквайр”: “. . . у вашего корреспондента вся продукция за этот день сводилась к следующему: “Кемаль утверждает, что не жёг Смирны, – виноваты греки”, – скромной, по три доллара за слово телеграмме в адрес “Монумен-тал Ньюс-Сервис”, а появлялось это в таком виде: “В сегодняшнем конфиденциальном интервью, данном корреспонденту “Монумен-тал Ньюс-Сервис”, Мустафа Кемаль категорически отрицал какую-либо причастность турецких войск к сожжению Смирны. Город, по заявлению Кемала, был подожжён греческим арьергардом ещё до того, как первые турецкие отряды вступили в предместье”. Точно так ныне работают все ведущие западные СМИ: мы это видели на войне в Южной Осетии и видим в Сирии, на Украине. Хемингуэй, конечно, не виноват в той интерпретации, которую дало его телеграмме агентство “Монумен-тал Ньюс-Сервис”, но всё равно он послал заведомо одностороннюю информацию, зная, что работодатель поддерживает кемалистов. Иначе почему бы ему не заплатить еще 9 долларов и не приписать: “греки опровергают это”? Наученный историей с разоблачительными материалами об американском “МММ”, Эрнест уже не посылал в агентства и газеты то, что заведомо не станут печатать.

Если бы Хемингуэй последовал примеру многих молодых писателей, увлекшихся в ту пору политикой, то политический роман, вышедший из-под его пера, имел бы, конечно, не меньший успех, нежели его статьи в “Торонто стар”. Но он выбрал иной путь – “чистого искусства” – и, в общем, до 1936 года с него не сходил. На примере первой превосходной книги рассказов “В наше время” видно, что Эрнест, работая над главами-“интерлюдиями”, аналогичными по сюжетам и географии его газетным корреспонденциям, отсекает анализ и объективные выводы из происходящего. В статьях же всё это было, они порой с лаконичного анализа и начинались. Но, как известно, “величавость движения айсберга в том, что он только на одну восьмую возвышается над поверхностью воды”. В политической прозе, имеющей дело со злобой дня, этой величавости нет. Ну, а что правды нет, и так ясно.

Поскольку “правые” в Америке в конце 20-х годов, с наступлением “великой депрессии”, пребывали в коллапсе, политическим балом заправляли тогда “левые”. До поры до времени Хемингуэй ускользал от их настойчивых “приглашений на танец”. Так, в 1930 году он отказался принять участие в общественном движении американских писателей, возникшем на почве экономического кризиса, нищеты и безработицы в США. Хемингуэй мог себе это позволить, невзирая на заклинания “левых”: прохладные отзывы на последние его книги не уменьшили ни их тираж, ни популярность писателя. Тогда “прогрессисты” решили прибегнуть к дискредитации Хемингуэя как художника. Именно в это время написаны упомянутые статьи О. Хаксли “Предумышленное низкокобие” и “Бык после полудня” М. Истмена. История с Истменом, кстати, показывает, что Хемингуэй был далеко не равнодушен к высказываниям в свой адрес, даже если они принадлежат заведомо враждебному автору.

А в 1932 году, будучи на Кубе, он получил из Нью-Йорка корректуру “Смерти после полудня”. Вверху каждого листа был отпечатан колонтитул “Смерть Хемингуэя”. Осталось невыясненным, умысел это или просто неудачное рабочее сокращение, но болюющий воспалением лёгких Хемингуэй пришёл в бешенство и отправил редактору Перкинсу резкую телеграмму.

А между тем агитация Лёба и компании и политико-экономический крах 1929–1933 годов дали свои плоды. Забавно, что тотальный творческий дрейф “влево” американских писателей происходил практически одновременно с созданием Союза советских писателей. Это совершенно неисследованная страница американской культуры. Кто сегодня знает, и прежде всего в США, что не быть в 30-х годах “левым” означало для писателей иметь большие материальные затруднения? Администрация Рузвельта, прибегавшая к непопулярному среди “правых” промышленников экономическому опыту СССР для преодоления кризиса 1929–1933 годов, неофициально поощряла “красную агитацию”. Третья жена Хемингуэя, журналистка Марта Гельхорн, писала в то время резко антикапиталистические статьи о безработице, будучи сотрудницей уполномоченного президента США по проблеме безработицы Гарри Гопкинса. Именно тогда выросла многочисленная “левая” творческая интеллигенция, которую потом старательно выкорчёвывали при Трумэне, в эпоху маккартизма.

Издатели быстро поняли, откуда дует ветер. Хемингуэй стал получать от них письма с призывом определиться в политических симпатиях. Одному из таких пропагандистов, книготорговцу из Милуоки Полю Ромену, он ответил в 1932 году: “Вы надеетесь, что поворот “влево” и т. п. будет иметь для меня некое значение – пустое дело. Я не следую моде в политике, в переписке, в религии и т. д. В литературе нет “левых” и “правых”. Есть только плохая и хорошая литература...”

К 1935 году Хемингуэй находился в полной литературной изоляции. Два крупных критика, до последнего времени благосклонные к нему, – Эдмунд Уилсон и Малькольм Каули – тоже перешли в стан “левых” (причём Уилсон с уклоном в троцкизм). В письме к своему советскому переводчику И. А. Кашкину от 19 августа 1935 года Хемингуэй так характеризует сложившуюся вокруг него ситуацию: “Здесь у нас критика смехотворна. Буржуазные критики ни черта не понимают, а новообращённые коммунисты ведут себя так, как и по-добает новообращённым: они так стараются быть правоверными, что их заботит только то, чтобы не было ереси в их критических оценках. Всё это не имеет никакого отношения к литературе...”

...Теперь все стараются запугать тебя, заявляя устно или в печати, что если ты не станешь коммунистом, то у тебя не будет друзей, и ты окажешься в одиночестве. Очевидно, полагают, что быть одному – это нечто ужасное; или что не иметь друзей – страшно. Я предпочитаю иметь одного честного врага, чем множество таких друзей, которых я знал. Я не могу быть сейчас коммунистом, потому что я верю в одно: в свободу. Прежде всего, я думаю о себе и о своей работе. Потом я позабочусь о своей семье. Потом помогу соседу. Но мне нет дела до государства...”

Хемингуэй, в общем, правильно понимал, что между американскими буржуазными критиками и новообращёнными коммунистами-литераторами нет принципиальной разницы: и те, и другие были порождением одной среды и легко меняли политические взгляды в зависимости от политической конъюнктуры. В конце 40-х – начале 50-х годов, в эпоху маккартизма, все эти “новообращённые коммунисты” быстро переметнулись в противоположный лагерь – и найти в ту пору левого критика было столь же трудно, как в 30-е годы независимого. Именно *независимого*, потому что Хемингуэй, заметьте, не жалуется на отсутствие “правой” (буржуазной) критики при засилье “левой” – он сетует на отсутствие критики *независимой*.

Из опущенных мною строк большого письма Хемингуэя к Кашкину ясно, насколько серьёзно относился писатель к публикации своих произведений на языке Л. Толстого, Тургенева, Достоевского, Чехова, которых исключительно высоко ценил. Он даже о гонораре пишет как-то мимоходом и полушутя, видимо, не очень на него рассчитывая, что в те годы было для него, одного из самых высокооплачиваемых писателей в мире, нехарактерно.

Из письма также видно, что если не в житейском смысле, то в литературном изоляция оказалась для Хемингуэя полезной. Он пишет энергично, зло, исчезли вялость, пресыщенность, опустошённость... Он не только укрепляет-

ся в мысли, что одиночество — условие честной писательской работы, но и меняет отношение к целям творчества. “Ничто и только ничто” его уже больше не привлекает. Мы не знаем, что подготовило его новый недолгий взлёт, его “толстовский период”: зашедшая в тупик комфортная жизнь с Полиной, раскаяние, угрызения совести, скука или профессиональное упорство. Конечно, немалую роль сыграла русская классика.

Он взял в ту пору на вооружение толстовский метод, суть которого в том, что автор находится не где-то рядом со своими героями, а смотрит на них сверху, знает о них несколько больше, чем принято знать человеку о человеке. Он уже пробовал писать так когда-то в главах-миниатюрах из книги “В наше время”. Теперь он решил применить этот метод в больших произведениях. Второе, что перенял Хемингуэй у Толстого, — это потребность в саморазоблачении, беспощадность к себе, чего он прежде избегал.

По сей день приходится слышать и читать, что “Снега Килиманджаро” — это рассказ о писателе, в котором Хемингуэй видел полную противоположность себе. А как же тогда мемуарный “Праздник, который всегда с тобой”? Ведь это как бы воспоминания умирающего писателя Гарри из “Килиманджаро”, только развёрнутые в книгу! Книгу, которую не написал не только Гарри, но и сам Хемингуэй 30-х годов. Впрочем, есть более существенное, я бы сказал, высшее доказательство автобиографичности “Снегов Килиманджаро”: во время второго африканского сафари 1953–1954 годов Хемингуэй, покинув предгорья Килиманджаро, оказывается после авиакатастрофы практически в такой же ситуации, как Гарри, — правда, к его счастью, обошлось без гангрены.

Если в “Недолгом счастье Фрэнсиса Макомбера” толстовский метод умело замаскирован, то в “Снегах Килиманджаро” влияние “Смерти Ивана Ильича” даже не скрывается. Мысль рассказа высказана уже в эпиграфе, в котором гора Килиманджаро названа “домом Бога”.

У писателей-классиков случаются фразы настолько значительные, что их можно считать даже не стилистическими шедеврами, а своего рода визитными карточками в вечность. У Толстого, допустим: “Он хотел сказать ещё “прости”, но сказал “пропусти”, и не в силах уже будучи поправиться, махнул рукой, зная, что поймёт тот, кому надо”. У Достоевского: “Отцы и учителя, мысля: “Что есть ад?”. Рассуждаю так: “Страдание по тому, что нельзя уже более любить”. У Платонова: “Прежде он чувствовал другую жизнь через преграду самолюбия и собственного интереса, а теперь внезапно коснулся её обнажившимся сердцем”.

В “Килиманджаро” Хемингуэй написал мучительно красивую и загадочную фразу о своей жизни и своих книгах: “...Комти повернул голову, улыбнулся, протянул руку, и там, впереди, он увидел заслоняющую всё перед глазами, заслоняющую весь мир, громадную, уходящую ввысь, невысказанно белую под солнцем квадратную вершину Килиманджаро. И тогда он понял, что это и есть то место, куда он держит путь”. Дом Бога.

Второй взлёт писателя был стремительным, но коротким. Он закончился в 1937 году рассказом “Рог быка” и романом “Иметь и не иметь” — произведением об американской жизни, которого давно от него ждали. Ничего лестного, разумеется, он об этой жизни не сказал, и книгу сочли неудачной. Так почему-то считается до сих пор, хотя ключевая фраза из “Иметь и не иметь”, которую произносит умирающий Гарри Морган, цитируется едва ли не чаще других фраз Хемингуэя: “Человек... Человек один не может. Нельзя теперь, чтобы человек один... Всё равно человек один не может ни черта”.

Тематика романа была вроде близка “левым”, но и они встретили его в штыки. Это, в общем, понятно: один из героев “Иметь и не иметь” — писатель-приспособленец Ричард Гордон (прототипом послужил Д. Дос-Пасос), совершающий резкий поворот “влево”. В романе Гордон спрашивает у безработного коммунистического вожака:

- Вы читали мои книги”?
- Да.
- Они вам понравились?
- Нет, — сказал высокий.
- Почему?
- Не хочется говорить.
- Скажите.

– По-моему, все они дерьмо, – сказал высокий и отвернулся”.

Критика, “левая” и “правая”, сделала всё, чтобы роман не раскупался. Но в очередной раз обструкция не помогла: тираж разошёлся мгновенно. По признанию М. Каули, один рыбак из Флориды, занимающийся на своём катере тем же, что и хемингуэвский Гарри Морган, сказал ему: “Если вы собираетесь написать что-нибудь плохое о Хемингуэе, вам не следует разговаривать со мной. Хемингуэй создал этот бизнес – фрахтование судов, он привлёк сюда рыбаков”. Вот вам ещё одно свидетельство того, что литературное признание в США зависит вовсе не от спроса на книги и их предложения или, скажем, экономических законов. Этот рынок там, как у нас говорят, регулируемый.

За 77 лет, что прошли со дня выхода “Иметь и не иметь”, эпигоны Хемингуэя написали, наверное, десятки вольных переложений “неудачного” романа. Например, перу Ирвина Шоу, у которого Эрнест увёл свою будущую (четвёртую) жену Мэри Уэлш, принадлежит экранизированный в СССР роман, совпадающий даже по смыслу названия с “Иметь и не иметь” – “Богач, бедняк”. Ну, что ж: Хемингуэй увёл у И. Шоу жену, а тот переписал его роман. Ничего личного.

Глава 6. Хемингуэй и масоны

На первый взгляд, нет явлений, более удалённых друг от друга, чем Хемингуэй и масонство. Вообще-то так оно и есть: он крайне редко писал о масонах и масонстве, но вот для “детей вдовы” и этого оказалось достаточно, чтобы заиметь на писателя здоровенный “зуб”.

Первое упоминание о масонах у Хемингуэя мы найдём в антиамериканском фельетоне “Попробуйте побриться бесплатно”, напечатанном в канадской газете “Торонто стар уикли”, где будущий писатель сотрудничал, когда ему было 20 лет: “Страной и родиной храбрых” – так скромно именуют республику, расположенную к югу от нас, некоторые её граждане. Возможно, что они храбрые, но что касается свободы – никакой свободы там нет: за всё приходится платить. Время бесплатных завтраков прошло, а если ты попытаешься вступить в общество вольных каменщиков, то тут тебе напомнят, что это будет стоить семьдесят пять долларов”. Таким образом, благодаря свидетельству Хемингуэя, нам известен вступительный взнос в низовую американскую масонскую ложу конца 10-х годов. Для того времени он был немаленьким: простые каменщики (невольные, так сказать) не могли себе позволить стать каменщиками вольными.

А в романе “Иметь и не иметь” (1937) писатель позволил себе посмеяться уже над святой святых американского истеблишмента – масонской ложей “Череп и кости”: “Мужчины, которые на высоте в “Черепе”, редко оказываются на высоте в постели”.

Странное дело: Хемингуэй, достаточно равнодушный к таким явлениям политической и общественной жизни, как сионизм и масонство, обладал каким-то удивительным свойством обидно задевать их вождей, подчас могущественных: Лёба (“Фиеста”), президента США Трумэна (“За рекой, в тени деревьев”), члена политбюро французской компартии и секретаря исполкома Коминтерна Андрэ Марти (“По ком звонит колокол”), который, в нарушение резолюции IV конгресса Коминтерна от 9 декабря 1922 года о “несовместимости коммунизма с франкмасонством”, тайно оставался масоном. И пока французские коммунисты в середине 60-х годов не объявили Марти ренегатом, “Колокол”, самый “левый” роман Хемингуэя, был запрещён для публикации в СССР.

Спрашивается, зачем Хемингуэю, принципиальному эгоцентристу и даже эгоисту в творческих делах, нужны были эти импотенты и гомосексуалисты с черепами и костями, все эти лёбы, трумэны, марти? А так, ни за чем, как сказал бы Л. Толстой. Он и знать не знал, скорее всего, что Лёб станет известным сионистом, и что Трумэн и Марти – масоны. Просто он был одним из последних свободных западных художников, не закрывающих поминутно самим себе рот (как бы чего не вышло!). А за это надо было платить.

Но, как ни парадоксально, художники-индивидуалисты, усматривающие в аполитичности творческую необходимость и ничего больше, чаще других по-

падают в ловушки, расставленные политиками. Увы, профессиональные соображения никогда не были серьёзным противовесом политике. Ибо всякая независимость относительна и призрачна, кроме той, что имеет опору в Боге и совести.

Хемингуэй написал в “Снегах Килиманджаро”: “И ведь это неспроста — правда? — что каждая новая женщина, в которую он влюблялся, была богаче своей предшественницы”. Молодая честолюбивая еврейка Марта Гельхорн, дочь гинеколога и суфражистки, не была богаче Полины Пфейфер. Сойдясь с ней, Хемингуэй как бы отделял себя от своего героя. Но это только на первый взгляд. У Марты было то, что порой важнее денег: связи в высших кругах США. В частности, она дружила с женой президента Рузвельта Элеонорой. А бывший работодатель Марты и, как говорили злые языки, любовник Гарри Гопкинс, по утверждению Франсиско Франко в книге “Масонство” (изданной под псевдонимом Хакин Бор), был вторым по влиянию человеком в США и чуть ли не главным американским масоном.

Судя по произведениям Хемингуэя и свидетельствам его биографов, именно Полина стала для него во второй половине 30-х годов живым олицетворением того, что было ему так ненавистно в мире конов и лёбов. Здесь сказался, вероятно, хотя и физически активный, но замкнутый в кругу семьи тогдашний образ жизни Эрнеста. На самом деле Полина была уже не та, что десять лет назад. Она родила Хемингуэю, каждый раз в муках, двух сыновей. Когда-то она сыграла неблагоприятную роль в жизни писателя, но всякий человек — это, прежде всего, человек, а не функция (особенно если этот человек — жена и мать). Нет никаких сомнений, что Полина была порождением враждебного Хемингуэю мира, но не в меньшей степени его порождением была и Марта. Обмен Эрнестом “правой” Полины на “левую” Марту был, в сущности, столь же небескорыстным, как и “полевение” большинства американских писателей. Молодость, смазливость, авантюризм и “левые” убеждения — вот что отличало её от Полины, но и только. Как выяснилось впоследствии, буржуазным условиям она следовала неукоснительней, нежели её предшественница. Полина терпела Хемингуэя и пьяным, и грязным, и раздражённым. Не то Марта.

По дьявольской иронии судьбы, именно из уст второй жены, которую Хемингуэй считал губительницей своего таланта, он впервые услышал, что католику не пристало поддерживать испанских “красных”. Легко представить, как он на это отреагировал.

Заявления Хемингуэя по поводу испанских событий решительным образом изменили отношение к нему прессы. Когда стало известно, что он собирается поехать в Испанию, объединение американских газет НАНА предложило Хемингуэю стать специальным корреспондентом.

Следует сказать, что Хемингуэй и раньше симпатизировал испанским “левым” (преимущественно республиканцам). Однако то, что он писал до 1936 года о начавшейся в 1931-м испанской революции, агитацией за революцию не назовёшь. В самом деле, бывая едва ли не каждый год в Испании, Хемингуэй, в прошлом профессиональный журналист-международник, хорошо знал, что тамошние “правые” пользуются влиянием отнюдь не только в обеспеченных слоях общества, но и среди крестьян. Не мог он не знать и о том, что франкистскому террору непосредственно предшествовал *красный террор* (точнее, просто уличный разбой) после победы Народного фронта на выборах 1936 года. Во всяком случае, в “Колоколе” мы найдём описание кровавой бессудной расправы республиканцев над “правыми”. Едва ли мы ошибёмся, если скажем, что в 1936 году не просто группа генералов организовала военный мятеж, и одна половина испанского народа сошлась в кровавой схватке с другой. Сталин, например, отлично это понимал и отнюдь не сразу стал активно поддерживать республиканцев (и не бесплатно, кстати), хотя на их территории царил небывалый даже среди европейских коммунистов культ личности Сталина, о чем “левые” в нынешней Испании стараются не вспоминать.

В мае 1937 года Хемингуэй вернулся из первой поездки в Испанию. В памятный для него день 8 июля Марта с помощью Элеоноры Рузвельт устраивает для президента просмотр только что озвученного документального фильма голландского коммуниста Йориса Ивенса “Испанская земля”, сценарий которого написал Хемингуэй. А месяцем раньше, 4 июня, неозвученная лента демонстрировалась на II Конгрессе американских писателей. В зале фешене-

бельного Карнеги-холла в Нью-Йорке, где проходил Конгресс, присутствовало три с половиной тысячи человек. В большинстве своём это были коммунисты, троцкисты и сочувствующие “левые” масоны. По размаху и политической окраске мероприятие можно было сравнить лишь с I съездом Союза советских писателей в 1934 году. Да и атмосфера в писательских кругах “свободной” Америки мало отличалась от тогдашней советской. 1 февраля 1938 года председатель Лиги американских писателей прозаик-юморист Дональд Стюарт (прототип Билла Гортон из “Фиесты”) обратился к писателям США с предложением высказаться по двум вопросам: “Вы “за” или “против” Франко и фашизма (курсив мой. — **А. В.**)? Вы “за” или “против” законного правительства и народа республиканской Испании?” Франко был не ангел, а палач в духе главного комиссара Интербригад Андрэ Марти, но предельная “демократичность” выбора, заложенная в вопросах Стюарта, что-то напоминает, и не только из эпохи 30-х годов. Ах, вот что: ельцинское “Да. Да. Нет. Да”, когда телевидение вдалбливало людям в голову “нужные” ответы на вопросы референдума о власти в апреле 1993 года.

4 июня 1937 года одетый в толстый шерстяной костюм Хемингуэй взобрался на трибуну Конгресса американских писателей. По его красному лицу градом струился пот. Он поминутно ворочал шеей, борясь с душившим его галстуком. Он, охотник и рыбак, первый раз в жизни выступал перед столь многочисленной аудиторией. Но вероятно, писатель чувствовал себя неудобно не только поэтому. Никакой любви к собравшимся он не испытывал, как и они к нему, несмотря на устроенную овацию. Речь Хемингуэя походила на те, с которыми у нас любил выступать Шолохов. Тот ругательски ругал писателей, безвылазно сидевших в Москве и Ленинграде и занимавшихся интригами и доносами. Хемингуэй, в свою очередь, предложил собравшимся, многие из которых ещё недавно обвиняли его в малодушии и наигранной мужественности, отправиться в Испанию: “Писать правду о войне очень опасно, и очень опасно доискиваться правды. Я не знаю в точности, кто из американских писателей поехал в Испанию на поиски её. Я знаю многих бойцов батальона имени Линкольна. Но это не писатели. (О, сколько яду! — **А. В.**) В Испанию поехало много английских писателей. Много французских и голландских писателей. А когда человек едет на фронт искать правду, он может вместо неё найти смерть... Стоит ли рисковать, чтобы найти эту правду, — об этом пусть судят сами писатели. Разумеется, много спокойнее проводить время в учёных диспутах на теоретические темы”. Нанеся, таким образом, почтенному собранию чувствительную рану, оратор затем посыпал её солью, предположив, что соотношение вернувшихся к не вернувшимся из Испании будет 2:12.

Выступление Хемингуэя, конечно, мало понравилось собратям по перу, но они вынуждены были съесть его молча, а потом ещё долго аплодировали. Этого триумфа и ждал автор. Именно в этот период Хемингуэй прищемил нос Истмену, а потом показывал раскрытую книгу журналистам: “Это пятно от носа Истмена”. А дабы потерпевший не начал против него новую травлю в печати, Хемингуэй, кое-чему научившийся в Испании у коммунистов, напомнил Истмену, что его друзья-троцкисты из каталонской организации ПОУМ подняли в Барселоне мятеж против центрального правительства.

Теперь для американской “прогрессивной общественности” Хемингуэй был не талантливый инфантильный чудак, предпочитавший политике охоту и рыбную ловлю, а писатель № 1, американский Маяковский. Триумф, хотя и с сильным привкусом желчи, состоялся. В августе Хемингуэй возобновляет контракт с НАНА и снова отплывает в Испанию. За ним следует Марта.

Хемингуэй, вероятно, не задавал себе вопроса, почему мнение не только “левых” американских и европейских кругов, но и либеральных, выражавших волю крупного капитала, оказалось вдруг на стороне испанских “красных”. Уже после фиаско испанской революции на этот вопрос отчасти ответила Долорес Ибаррури: “Президент республики Мануэль Асанья и лица из его ближайшего окружения были масонами. Председатель парламента Мартинес Баррио, значительная часть членов буржуазных республиканских партий и даже лидеров социалистической партии тоже принадлежали к масонским группам, равно как и некоторые руководители национальных профсоюзных организаций ВКТ и НКТ... Приняв участие в интригах и махинациях, сплетённых за пределами нашей страны (курсив мой. — **А. В.**), они превратились в силу, оказывающую отрицательное влияние на судьбы республики”. При этом зна-

чительная часть “братьев”, как подчёркивала Ибаррури, впоследствии перешла к мятежникам.

Глава 7. Хемингуэй и НКВД

Бывшая сотрудница спецслужб Ирина Фёдоровна Огородникова, работавшая в нашей разведшколе в Тегеране ещё во время Великой Отечественной войны, а потом — в Иностранной комиссии Союза писателей СССР, как-то на редколлегии журнала “Новая Россия” уверенно сказала мне, когда речь зашла о Хемингуэе: “В Испании он стал агентом НКВД”.

Ну, мало ли что о ком говорят даже такие осведомлённые люди, как И. Ф. Огородникова, однако сведения в открытой печати о Хемингуэе, появившиеся ещё в советское время, отнюдь не противоречат утверждению Огородниковой. Так, в “Краткой летописи жизни и творчества Хемингуэя”, приложенной к его собранию сочинений (1982), читаем: “В Мадриде Хемингуэй выполняет ответственные задания республиканского командования” (А. Старцев). Биограф писателя Б. Грибанов уточняет: “Писатель... не раз брал в руки оружие и стрелял по фашистам. Более того, известно, что он выполнял некоторые ответственные поручения республиканского командования, *связанные с работой контрразведки* (курсив мой. — **А. В.**). Естественно, молодая спецслужба правительства Народного фронта не могла бы эффективно работать без прямой опеки дружественной советской. И уж ясно, что “разработку” всемирно известного писателя профессионалы из НКВД не отдали бы целиком на откуп любителям из Управления безопасности Испании. Иные из “ортодоксов” спросят: “А разве лучше, если бы Хемингуэй был сотрудником какой-нибудь импералистической разведки?” Нет, не лучше, но следует понимать, что тогдашняя советская зарубежная агентура была сформирована в годы, когда в НКВД правили бал Ягода, Агранов, Артузов, Бокий, Паукер и иже с ними, а публика эта всегда была далека от интересов русского народа, а стало быть, от интересов России. Какие у них были интересы, разговор особый и требующий отдельного исследования. Бокий, например, был официально осуждён за организацию масонской ложи (розенкрейцеров), и, судя по тому, что даже словоохотливый зять Бокия писатель Разгон по этому поводу не распространялся, тема до сих пор является закрытой. Так что из посылки “Хемингуэй — агент НКВД” отнюдь не следует, что он являлся *нашим* агентом. Хорошо известно, кто в Испании его “опекал”, — М. Кольцов и И. Эренбург, такие же перевёртыши, как новообращённые американские коммунисты, поскольку в годы гражданской войны они клеймили в белогвардейской прессе большевиков.

Что же толкнуло Хемингуэя на игру в шпионы и сыщики? Воспоминания об английском разведчике и журналисте Райалле, перед которым как личностью в молодости он преклонялся? Пример Марты, подозрительно долго для журналистки торчавшей в Мадриде? Любовь любовью, но ведь есть ещё и бомбежки! Знакомство с Кольцовым и Эренбургом, которым доставляло особое удовольствие относиться к живому классику фамильярно и покровительственно? Есть фотография мадридской поры, где стоящий в задумчивой позе Хемингуэй внимает разглагольствованиям развалившегося на койке Эренбурга. О связях этой “сладкой парочки”, Кольцова и Эренбурга, с НКВД в последнее время говорилось и писалось достаточно. В “Колоколе” Кольцов (Карков) ясно даёт понять окружающим, что он человек, держащий в руках тайные нити внутренней и внешней политики республиканской Испании. Хемингуэя временами тянуло к таким людям, призрачным и пустым, как инфузории, вероятно, потому, что их мир, как и мир реальных инфузорий, был ему совершенно неведом. Так, в первый раз увидев под микроскопом жизнь амёб и инфузорий, мы считаем её загадочной и сложной, пока не взглянем в третий и в четвёртый раз и не убедимся, что она всегда одна и та же, и загадочна только на примитивном, одноклеточном уровне.

Хемингуэй времён гражданской войны в Испании — “раздвоенный” писатель. Типичный пример этой раздвоенности — одновременно написанные сценарий фильма “Испанская земля” и рассказ “Под защитой горы”. Но рассказ, в отличие от фильма и газетных репортажей Хемингуэя, не увидел свет в 1937 году. И не мог увидеть, потому что в нём с откровенностью опустошённого человека Хемингуэй признаётся в том, что в фильмах и очерках, мягко

говоря, он показывает неправду. Это особенно очевидно в эпизоде танковой атаки у реки Харамы, имеющемся и в сценарии, и в рассказе. "...Наиболее удивительное, что было за этот день, это как здорово вышла у нас съёмка танков. На экране они неудержимо поднимались вверх по склону, преодолевая горные кряжи, точно огромные корабли, и с лязганьем ползли к призрачной победе, которую мы снимали на плёнку" ("Под защитой горы"). На самом деле французские танкисты-добровольцы отказались идти в атаку, и наступление захлебнулось. Оператор Джон Ферно снимал, как танковая колонна возвращается в тыл республиканских войск.

Но рассказ "Под защитой горы" не о мнимой танковой атаке. Он о пожилом французе, который, как и Фредерик Генри из "Прощай, оружие!", решил выйти из чужой войны и был застрелен людьми Андрэ Марти, интербригадовскими особистами. "Я понимал, что можно вдруг... увидеть всё происходящее ясно и правильно, как человек прозревает перед смертью; увидеть всю безнадёжность, весь идиотизм этого, увидеть всё, как оно есть на самом деле, — и тогда просто повернуть назад и уйти, подобно этому французу... В тот день ближе всех, пожалуй, приобщился к победе француз, вышедший из боя с высоко поднятой головой. Но его победа длилась только до тех пор, пока он прошёл всю половину спуска с горы. Он лежал, вытянувшись на склоне, всё ещё со скаткой из одеяла через плечо, и мы увидели его там, когда шли по ущелью к штабной машине, которая должна была увезти нас в Мадрид".

Не знаю, кого или что победил этот француз, — точно так же Франция "победила" Гитлера в 1940 году. Вышла, так сказать, "из боя с высоко поднятой головой". Недаром Кейтель, увидев на церемонии подписания капитуляции Германии французских представителей, спросил: "А Франция нас тоже победила?" Жуков мрачно кивнул. "Понятно", — сказал Кейтель, насмешливо блеснув моноклом. Поэтому я не думаю, что в случае с французским дезертиром злоешие особисты Марти были так уж неправы. На войне, как на войне. Другое дело, что Хемингуэй, оказывается, в глубине души был на стороне дезертира, а сам вскоре в Нью-Йорке призывал американских писателей ехать воевать в Испанию.

В сущности, француз был хорошо знаком Хемингуэю. Он разминулся с постаревшим лейтенантом Генри. Писатель уезжает в Мадрид, увозя с собой, в своей памяти мёртвого француза, как Ален Делон в фильме "На ярком солнце" тащит за яхтой на верёвке, которую в суматохе забыл обрезать, труп убитого и брошенного за борт приятеля-богача. Тело до поры до времени поκειται в воде, но приходит срок, и его вытягивают за верёвку, и хитроумный преступник разоблачен. Он, оказывается, возил с собой своё разоблачение.

Так, переступив через трупы застреленных особистами Марти интербригадовцев, Хемингуэй направляется, как ему кажется, вперёд — к своему триумфу в Нью-Йорке, а на самом деле едет назад, к собственному разоблачению.

"Разоблачение" — так и называется рассказ писателя (1938), в котором он, наряду с пьесой "Пятая колонна" (1937), отразил свою агентурную деятельность в Мадриде. Эти произведения, пересекаясь по сюжету, как "Испанская земля" и "Под защитой горы", точно так же совершенно противоположны по звучанию и пафосу. Тайная канва "Пятой колонны" состоит в том, что герой, американец Филип Ролингс, прожигая жизнь в мадридском баре "Чикотес", на самом деле следит за человеком в "берете и плаще", в котором подзревает франкистского шпиона. Но когда Ролингс передаёт подозрительно-го незнакомца своим подручным, те отпускают его. Кончается всё тем, что шпион убивает интербригадовца Уилкинсона, приняв его за Ролингса. В общем, сюжетец о бдительности для советских фильмов о диверсантах и вредителях конца 30-х годов.

Скорее всего, ближе к истине ситуация описана в "Разоблачении". Дело происходит в том же баре "Чикотес". Хемингуэй сидел в баре с десятифунтовым куском парной говядины, полученным в американском посольстве (вот как подкармливали!). За одним из столиков он (повествование ведётся от лица автора) замечает своего давнего приятеля Луиса Дельгадо, о котором, однако, было известно, что он уже больше года служит лётчиком у франкистов. Последний раз Хемингуэй видел Дельгадо в 1933 году в Сан-Себастьяне во время стрельбы по голубям. "Мы с ним держали пари на сумму, превышающую мои возможности, да, как мне казалось, превосходившую и его платежеспособность в том году. Когда он, спускаясь по лестнице, всё-таки запла-

тил проигрыш, я подумал, до чего же хорошо он себя держит и всё старается показать, что считает за честь проиграть мне пари”.

Узнал Дельгадо и официант, сообщивший об этом Хемингуэю. Поначалу писатель сказал официанту: “Не моё это дело”. Тот отходит недовольный и задумчивый: он понимает, что теперь может приобрести в лице Хемингуэя влиятельного свидетеля своей нелояльности, если не донесёт на Дельгадо. Официант снова подходит к писателю: “А вы? Ведь раз уж я вам сказал...” Хемингуэй повторяет: “Это ваше дело. В политику я не мешаюсь”.

Насчёт нейтралитета писателя в политике, конечно, даже у официанта возникли сильные сомнения. Подойдя в третий раз, он уже открыто спрашивает:

“— А если я этого не сделаю?... Я же отвечаю.

— Если хотите, подите и позвоните по этому номеру. Запишите. — Он записал. — Спросите Пепе, — сказал я”.

Человек, фамильярно названный Пепе, был начальником службы контрразведки Управления безопасности Испании. На самом деле под этим псевдонимом скрывался отец еврокоммунизма Сантьяго Каррильо, будущий генеральный секретарь компартии Испании и её либеральный могильщик в 1980-е годы. А в 1937-м он был заплечных дел мастером. “Конечно, — оправдывается Хемингуэй, — он узнал бы этот телефон, позвонив в справочное”. Как будто дело было в телефоне! Не телефона ждал от него официант (во время войны такие телефоны в барах, которые посещают иностранцы, официанты знали!), а одобрения, и получил его в виде телефонного номера. “...Я указал ему кратчайший путь для того, чтобы задержать Дельгадо, и сделал это в приступе объективной справедливости и невмешательства, и нечистого желания поглядеть, как поведёт себя человек в момент острого эмоционального конфликта, — словом, под влиянием того свойства, которое делает писателей такими привлекательными друзьями”. Видите, как накручено! Такой запутанной гаммы чувств у Хемингуэя я прежде не встречал. Тут тебе одновременно и “объективная справедливость” (необходимость задержать явного шпиона Дельгадо), и “невмешательство” (в чём оно?), и “нечистое желание” понаблюдать за мечущимся официантом. Не слишком ли много для порядочного человека, пусть даже и писателя? Есть что-то общее между этой беседой и разговором Ивана Карамазова со Смердяковым перед убийством Фёдора Павловича. “Зачем вы, сударь, в Чермашню не едете-с?”

Дельгадо арестовали, а потом, вероятно, расстреляли. О последнем Хемингуэй молчит. Молчит он и о том, что Дельгадо тоже мог узнать писателя, а в этом случае франкист не ушёл из бара только потому, что был уверен: старый знакомый его не предаст... Как всякий интеллигент-эгоист Хемингуэй, ощутив вину, инстинктивно склонен переложить её на другого. “Может быть, вам это понравится”, — говорит он официанту, прощаясь, но тот чисто по-испански быстро “уравнял” шансы: “Вы забыли свёрток, — сказал официант. Он подал мне мясо”.

Мясо — это то, чем вскоре обречён стать Дельгадо. Хемингуэй мог убедить кого угодно, что Дельгадо — враг, которого нужно уничтожить, если он не сдаётся, но никто не мог убедить его самого, что он поступил, как джентльмен.

Цена свободу больше всего, Хемингуэй выполняет в Мадриде унижительные для себя обязанности цензора, следит, чтобы кто-то из американской журналистской братии не написал бы что-нибудь в угоду франкистам...

В “Испанской земле” и “Пятой колонне” писатель перешагнул порог допустимого для честного писателя вымысла. Если сравнивать обстоятельства его реальной жизни с обстоятельствами жизни героев, получается следующая картина. Ник Адамс равен автору. Джейк Барнс имеет физический изъян, которого нет у Хемингуэя. Подразумевается, что и морально он ниже, ибо не осталось свидетелей, что Хемингуэй занимался сводничеством. Фредерик Генри постарше Хемингуэя в 1918 году и произведён из рядовых в офицеры. Разменивающий талант на комфортную жизнь писатель-эгоист Гарри равен Хемингуэю, однако Хемингуэй не умирает. Гари Морган беднее, но правдивее Хемингуэя. Филип Ролингс насквозь лжив, потому что придуман, дабы оправдать моральный проступок автора.

А в жизни обстояло так: преданный Дельгадо вдруг образовывал нравственную конфигурацию с обречённым на смерть пьяной шуткой итальянским солдатом и брошенной ради красивой жизни любимой женой.

Кто знает, может быть, жизнь была оставлена Хемингуэю в залог погубленной жизни солдата? Как бы там ни было, его душа была в ответе за душу того итальянца. Бросив Хэдли, он пал и, что печальнее всего, уже во второй раз, потому что смерть итальянца роковым образом тогда становилась первым падением. Разоблачение вины перед Хэдли и своим писательским долгом позволило ему в творчестве подняться до высот “Снегов Килиманджаро”. Донос на человека, не сделавшего ему ничего плохого и даже симпатичного, донос, дьявольским образом сосредоточенный всего в нескольких цифрах — телефонном номере, — делал крах этого блестящего одаренного художника необратимым.

Вернуть самоуважение писатель решил так же, как и в “Снегах Килиманджаро”, — разоблачением своей слабости. Появились рассказы “Разоблачение” и “Мотылёк и танк”, опубликованные в ноябре 1938 года, хотя по совести они должны были появиться, по крайней мере, на год раньше, когда американские добровольцы все ещё отправлялись по призыву Хемингуэя в Испанию.

Но что такое разоблачение без раскаяния? А на письменном столе писателя растёт новая стопа бумаги. Это “По ком звонит колокол”, своеобразное продолжение несчастной “Пятой колонны”. Роман обещан публике, его ждут. Я бы предпочёл не распространяться об этой книге, которой не люблю, но она отняла последние силы у Хемингуэя-романиста и, хочешь не хочешь, является вехой в его жизни и творчестве.

Справедливость требует отметить, что “Колокол” — это не халтура в духе “Пятой колонны” и “Испанской земли”. Роман написан профессионалом. Но холодным профессионалом. Впервые писатель выполняет “социальный заказ” высших кругов США (вероятно, не без участия Марты и Элеоноры Рузвельт), чего не было даже в “Пятой колонне”. Герой романа Роберт Джордан постоянно проводит аналогии между гражданской войной в Испании и гражданской войной в США, причём высказывает уверенность, что испанские республиканцы сыграют ту же роль в истории страны, что и республиканцы-северяне в США. Сомневаюсь, что Хемингуэй по собственной инициативе мог писать эти глупости. Республиканцы в Испании к 1936 году почти утратили политическое влияние и являлись лишь ширмой, за которой правила коммунисты и левые социалисты, поскольку Сталин в ответ на предложение премьер-министра Хуана Негрина передать им всю полноту власти высказался резко отрицательно. Он хотел, чтобы у власти находилось буржуазно-демократическое правительство, неявно, но надёжно контролируемое коммунистами, как некогда в “буферной” Дальневосточной республике (1920–1922). Джордан, разглаговльствуя о роли испанских республиканцев, не уточняет, каким образом эта марионеточная политическая сила нейтрализует после победы над “южанами” (франкистами) коммунистов, левых социалистов, троцкистов и анархистов. В общем, выполняя социальный заказ, Хемингуэй не очень углублялся в политические дебри. Всё это не достоинства и не недостатки. Дело в другом.

Романом “По ком звонит колокол” Хемингуэй нарушил заповедь, которую собственноручно начертал в “Смерти после полудня”: “...не следует путать серьёзного писателя с торжественным писателем. Серьёзный писатель может быть соколом, или коршуном, или даже попугаем, но торжественный писатель всегда — суч”.

Американской публике, как и следовало ожидать, роман понравился. Пресса хвалила его на все лады. За короткое время общий тираж книги на английском языке превысил миллион экземпляров. По иронии судьбы, этот самый политический и самый “левый” роман Хемингуэя, в котором деятельность коммунистов в Испании получила в целом высокую оценку, был до 1968 года запрещён в СССР, хотя и весьма оригинально: упоминать о нём и даже цитировать его разрешалось, причём в положительном духе. Ларчик открывался просто: запрету наши читатели были обязаны не столько внутренней, сколько внешней цензуре. Испанским коммунистам, например, не нравилось, что их Пассионария (Долорес Ибаррури) изображена в “Колоколе” болтливой восторженной тёткой, а французских товарищей, как мы уже говорили, оскорблял портрет заплечных дел мастера Андрэ Марти — главного комиссара Интербригад, члена политбюро ЦК ФКП и секретаря исполкома Коминтерна.

Что же касается сталинской цензуры, то ей, конечно, не понравился все- сильный московский советник Карков, прототип которого М. Кольцов

в 1940 году, когда вышел “Колокол”, уже сидел в тюрьме. А ведь именно Карков в романе ставит на место зарвавшегося Марти. Получалось, что “верному ленинцу-интернационалисту” автор предпочёл “диверсанта и троцкиста”. Взбешённый Марти на это и давил.

Ситуация с “Колоколом” весьма показательна для молодых писателей, стоящих перед выбором: браться за политику или нет. Совершенно чуждые сталинской идеологии “Фиеста” и “Прощай, оружие!” были напечатаны в “тоталитарном” СССР ещё при жизни автора, а почти коммунистический “По ком звонит колокол” — только через семь лет после смерти.

Глава 8. Замкнутый путь в тумане

1949–1952 годы были самыми творчески бездарными для Хемингуэя, хотя он продолжал сочинять романы, не прерываясь ни на день. Увы, все эти “Острова в океане”, “На земле, на воде и в воздухе”, “За рекой, в тени деревьев” лишены и того профессионального блеска, который мы ещё видим в “Колоколе” и испанских рассказах. Разрыв между мнимым и желаемым, впервые обнаружившийся в “Пятой колонне”, всё увеличивался.

Ситуация внутреннего двуличия, душевная и творческая трагедия усугубляются алкоголизмом. Может быть, писать так прямо об этом некорректно, тем более что я Хемингуэю, как говорится, не наливал. Современники и биографы уклончиво говорят о “чрезмерном пристрастии к выпивке”. Но сам Хемингуэй написал в письме И. Кашкину (1935) вполне определённо, что называется, по-русски: “Я пью с пятнадцатилетнего возраста, и мало что доставляло мне такое удовольствие”.

И впрямь, если физически сильный, тренированный и опытный мужчина постоянно ломает руки-ноги, разбивает голову, попадает в автомобильные катастрофы и неудачно заряжает ружья; если первого льва во время сафари убивает не папа-Хемингуэй, а бывшая модель Полина Пфейфер, до того толком не державшая в руках оружия; а на берег Франции в 1944 году вместе с англо-американским десантом первой высаживается Марта Гельхорн, а не её честолюбивый муж-войка, это не значит, что он был слаб, неумел или робок. Это значит, что он часто бывал мертвецки пьян. Как и герой “Колокола” Роберт Джордан, Хемингуэй предпочитал французский абсент, напиток, влияющий на деятельность головного мозга и погубивший в своё время Поля Верлена.

Нужно в который раз отдать должное писателю: благодаря сверхъестественной работоспособности и высокой профессиональной выучке он выбирался из этой, в общем-то, безвыходной для художника ситуации. Сыграло свою роль и честолюбие. Если один даровитый писатель, долгое время считавшийся первым, двенадцать лет топчется на месте, то первым провозглашается другой даровитый писатель. В конце 40-х годов Хемингуэя резко обошёл Уильям Фолкнер. В 1949 году он стал лауреатом Нобелевской премии, которая тогда существовала не для безвестных литературных пенсионеров, как ныне. Хемингуэй же премию получил лишь в 1954-м, хотя кандидатура его обсуждалась с конца 30-х годов. Я не очень верю появившимся после смерти писателя свидетельствам современников, что Хемингуэй крайне пренебрежительно относился к Нобелевской премии и корил себя за то, что не отказался от неё в 1954 году. Скажем, А. Е. Хотчнер пишет в книге “Папа Хемингуэй” (М., “Текст”, 2002): “Как часто Эрнест с завистью вспоминал о Жан-Поле Сартре, который смог отказаться от Нобелевской премии, когда ему присудили эту награду. “Я думаю, Сартр понимал, — однажды с печалью и сожалением сказал Эрнест, — что эта премия — проститутка, которая может соблазнить и заразить дурной болезнью. Я знал, что раньше или позже и я получу её, а она получит меня. А вы знаете, кто она, эта блудница по имени Слава? Маленькая сестра смерти” (с. 16). Между тем, Сартр отказался от Нобелевской премии в 1964 году, когда Хемингуэй уже три года как лежал в могиле. Может быть, он восстал из неё и явился поболтать к мистеру Хотчнеру о Нобелевской премии в качестве привидения? Поэтому не читайте “Папу Хемингуэя” Хотчнера — это крайне недостоверное свидетельство о жизни и творчестве писателя.

Вдохновлённый юной Адрианой Иванчич, Хемингуэй пишет “Старик и море” (1952). Эта повесть несопоставима, конечно, ни с “Макомбером”, ни с “Килиманджаро”, но она цельное и мастерски написанное произведение.

Кроме того, в “Старике” есть ещё нечто, тонко подмеченное писателем-соперником Фолкнером: “На этот раз он нашёл Бога, Создателя. До сих пор его мужчины и женщины творили себя сами, лепили себя из собственной глины: побеждали друг друга, терпели поражения друг от друга, чтобы доказать себе, какие они стойкие. На этот раз он написал о жалости — о чём-то, что сотворило их всех: старика... рыбу... акул, которые должны были отнять её у старика, — сотворило их всех, любило и жалело”. Фолкнер угадал: теперь Хемингуэй не столь категоричен в отношении христианской религии, как после Испании. Из письма к родственникам: “Хотя прежде я молился Богу, теперь, после того, как католическая церковь в Испании поддержала Франко, не хочу больше молиться”. Получив в 1954 году золотую нобелевскую медаль, Хемингуэй передал её в дар Святой Деве Карidad в соборе Эль Кобре на Кубе. Из “Опасного лета” (1960) мы узнаём, что он снова молится: “...я помолился за всех, кого можно считать заложниками судьбы, за всех друзей, больных раком, за всех знакомых женщин, живых и умерших...”

Начиная с 1953 года, Хемингуэй часто посещал Испанию, не особенно смущаясь тем, что там правит проклятый Франко. Он снова увлёкся корридой, и это невольно возвратило его память к временам “Фиесты”, тем более что его новый друг матадор Антонио Ордоньес был сыном Каэтано Ордоньеса, прототипа Педро Ромеро из “Фиесты”. Теперь Хемингуэй ясно понимает, что именно тогда, в 20-е годы, завязались главные узлы его жизни. “Опасное лето” — книга скорее очерковая, чем художественная, — дала хороший разгон пера для отложенных воспоминаний о Париже 20-х годов и жизни с Хэдли. “Праздник, который всегда с тобой” — вещь не только хорошо написанная, но и волнующая, как первые книги Хемингуэя.

Всё пришло туда, откуда начиналось. Человек играет в жизни свою роль, все прочие роли — чужие. Главную мысль о себе и своей жизни Хемингуэй попытался заменить десятками других, но не заменил, а лишь разменял главную. Когда он это осознал, душевный источник, так долго и щедро питавший его, иссяк. Хемингуэй полагал, что сам себя сделал, что развил свой талант тренировкой, как это делают со своим физическим даром спортсмены. Годы и испытания лишаю рекордсмена только результатов, они не могут отнять у него класс. “Техника не пропивается”, — как говорят русские футболисты. Но Хемингуэй ошибся — в его случае дело было не в профессионализме. Он спутал причину и следствие. Ему казалось, что в технократическом обществе иррациональную задачу можно решить рационально. Тот отсвет небесного огня, который, как зеркало, отразила его душа, он принял за свой собственный, поймал его в фокус творческой теории. Со временем зеркало потускнело: он остался один, без света в душе.

Самое ужасное в этих сумерках было то, что все годы, когда он шёл по жизни как маститый, уверенный в себе писатель, отлетели от него, шестидесятилетнего. Он вернулся в своё настоящее, в 20-е годы, в Париж, в Испанию, но теперь оно было в тени, как та половина Луны, что оказалась на прямой меж Землей и Солнцем. Возвратились не радости молодости, а её мучения: он, богач, снова считает копейки, как в парижской квартире над лесопилкой, а во всех остальных богачах ему мерещатся враги — лёбы, пфейферы и мэрфи. Когда осенью 1960 года Хемингуэй в последний раз приехал в Испанию, то одного из своих приятелей-миллионеров, Билла Дэвиса, описанного в “Опасном лете”, обвинил в намерении убить его.

Каждая строчка даётся ему теперь с мучительным трудом. После избрания Кеннеди президентом США Хемингуэя попросили сделать надпись на книге, которую предполагалось подарить новому хозяину Белого дома. Слепнувший писатель мучился над титульным листом целый день, а потом сидел и плакал в сумерках. “Отцы и учителя, мысля: “Что есть ад?” Страдание по тому, что нельзя уже более любить”.

Трагедия индивидуализма вовсе не в том, что человек оказывается один среди людей: он остаётся без Бога, а это страшнее. На пути греха не Бог отдаляется от нас, а мы от Бога: чем мы дальше, тем труднее нас окликнуть. Наступает время, когда заблудший вовсе не слышит Бога; ему кажется, что и Он не слышит его.

И тогда появляется мысль о самоубийстве.

Но здесь важно понять вот что: достаточно ли мысли о нём, пусть и навязчивой, чтобы человек привел своё намерение в исполнение? Думаю, что

нет. Неврастения, депрессия, суицидальные мысли – не редкость у писателей, как ни прискорбно. Что их – у Льва Толстого не было? Даже попытки покончить с собой были. Однако выбравшись из Ясной Поляны “на волю”, где домашние уже не помешали бы ему свести счёты с жизнью, Толстой не помышлял об этом. Можно даже сказать, что у душевно надломленных писателей мысли о самоубийстве – своеобразная прививка от самоубийства. Нужна последняя, уж очень основательная причина, чтобы не просто пугать домашних заряженным ружьём или привязанной к перекладине верёвкой, а спустить курок или оттолкнуть ногой табурет, стоя с петлёй на шее. Последней, решающей причиной самоубийства Хемингуэя стали жестокие пытки в психиатрической клинике. Тайна его гибели страшна и до сих не раскрыта, она заслонена другими громкими смертями того времени – самоубийством Мэрилин Монро и убийством Джона Кеннеди.

Помимо депрессии, Хемингуэй страдал многими заболеваниями, большей частью посттравматическими (они нередко и были причиной депрессии), но никто до ноября 1960 года не ставил ему диагноз “маниакальный психоз”. Не делал этого и его семейный доктор Вернон Лорд из городка Кетчум в штате Айдахо, где тогда проживал в своём доме Хемингуэй с Мэри. Но он, “просто сельский врач”, как говорил Лорд о себе, решил ввиду угнетённого состояния писателя показать его одному известному нью-йоркскому психиатру. К сожалению, словоохотливый по части всяких выдумок, вроде реакции мёртвого Хемингуэя на отказ Сартра от Нобелевской премии, А. Е. Хотчнер не сообщает нам фамилии этого психиатра, называя его просто “доктор Знаменитость”. Какая трогательная, политкорректная забота о конфиденциальности! Между тем, имя этого негодяя в белом халате следовало бы знать, как мы знаем имена докторов, замучивших Гоголя.

Пусть и трудно давались Хемингуэю его последние книги – “Опасное лето” и “Праздник, который всегда с тобой”, – но они не дают ни малейших оснований подозревать, что написаны душевнобольным. Более того, от них остаётся ощущение, что талант писателя окреп после кризиса конца 40-х – начала 50-х годов. А психические заболевания, вопреки распространённому заблуждению, ни к коей мере не способствуют развитию таланта. Талант – это ясность, цельность, логика, сила даже в самых далёких от реальности образах. Душевнобольные на это неспособны – говорю как бывший медик. И ещё: сумасшедшие никогда не характеризуют чётко поведение других сумасшедших и уж тем более – саму болезнь. Хемингуэй же в главе “Ястребы не делятся добычей” из неоконченной книги о Париже (неоконченной потому, что его упекли в “психушку”) написал о душевнобольной жене Ф. С. Фитцджеральда Зельде: “Её ястребиные глаза были ясны и спокойны. Я подумал, что всё хорошо и что, в конце концов, всё обойдётся, но тут она наклонилась ко мне и открыла свою великую тайну: “Эрнест, вам не кажется, что Христу далеко до Эла Джонсона?”

Никто в то время не обратил на это внимания. Это был просто секрет Зельды, которым она поделилась со мной, как ястреб может поделиться чем-то с человеком. *Но ястребы не делятся добычей* (курсив мой. – А. В.).”

Это одно из самых блестящих и тонких художественных определений сумасшествия, которые я знаю. Оно написано психически здоровым человеком, в какой бы меланхолии он ни находился. Автор этих строк ни в коем случае не перешёл ту роковую черту, которую перешла несчастная Зельда Фитцджеральд. Никакого маниакально-депрессивного психоза у Хемингуэя не было, только осложнённая болезнями, возрастом и угрызениями совести неврастения, так свойственная, увы, писателям вообще. Пил, кстати, он в ту пору по настоянию врачей мало. Но нью-йоркский Доктор Знаменитость “быстро во всём разобрался”, по словам Хотчнера, и направил Хемингуэя в психиатрическую клинику Мэйо на электрошоки.

В чём же, собственно говоря, этот подвох “разобрался”? Хемингуэй переживал депрессию не только из-за своего физического состояния и угрызений совести: ему казалось, что за ним по пятам следуют агенты ФБР, что повсюду рассованы “жучки”, телефоны прослушиваются, почта прочитывается, банковский счёт постоянно проверяется неведомыми аудиторами на предмет неуплаты налогов. . . Что ж, будто бы похоже на манию. Но только будто бы. . .

В начале 90-х годов прошлого века, когда в США был принят так называемый Закон о свободе информации, архивное дело Хемингуэя в ФБР рассе-

кретили, и все подозрения писателя... подтвердились, включая даже утверждение Хемингуэя о прослушивании его телефонных разговоров в самой психиатрической клинике, что врачи посчитали “обострением состояния больного”.

Мы знаем немало примеров пронизательности Хемингуэя, начиная с того, как он гениально раскусил Лёба, но тут, я думаю, одной пронизательностью не обошлось. Писатель был твёрдо уверен в тотальной слежке, а это значит, что у него могли быть тайные информаторы из ФБР или ЦРУ. Как-то плохо верится, что можно лишь с помощью одной интуиции с точностью предугадать все действия ФБР. Хемингуэй знал многих сотрудников американских спецслужб: ведь он в 1942–1944 годах на Кубе сотрудничал с военно-морской разведкой США, а его яхта “Пилар” была замаскирована под рыболовное судно в целях поиска немецких подводных лодок и начинена дорогостоящим секретным радиооборудованием. Контакты с разведкой Хемингуэй осуществлял через американских агентов в Гаване. Предположение, что он смог сдружиться с кем-то из них, вполне реально – Хемингуэй умел дружить. Так, например, сдружился он в Мадриде с советским подрывником Хаджи Мамсуровым (одним из прототипов Роберта Джордана), к которому вваливался с ящиком коньяку и под коньячок выпытывал подробности диверсионного и взрывного дела.

Таким образом, причины, по которым писатель оказался в сумасшедшем доме, не только не имели никакого отношения к причинам его действительно тяжёлого душевного состояния (ими никто не интересовался), но не являлись и симптомами психиатрического заболевания вообще. А теперь представьте себе состояние человека, хорошо знающего, что его лечат от несуществующей болезни. И как лечат.

Имея, видимо, основания опасаться “продвинутых” психиатров школы Зигмунда Фрейда, добивающихся своих целей при лечении точно так же, как Гарольд Лёб безуспешно добивался любви, Хемингуэй согласился лечь в клинику Мэйо в Рочестере, находящуюся под патронатом католической церкви. Но, увы, уже тогда в США кони и лёбы от психиатрии господствовали везде – в том числе и в подобных клиниках.

Мне доводилось слышать, что, когда людей пытаются электрическим током, электроды присоединяют к пальцам – и это очень мучительно. Представьте же, насколько мучительно, когда электроды присоединяют к вискам, смазанным для большего эффекта проводящей графитной смазкой. А именно так “лечили” сумасшедших в США. Обратимся к свидетельству знающего человека, американского писателя Кена Кизи, в 1959 году работавшего помощником психиатра в госпитале “Menlo Park” в Стэнфорде. Вот как он описывает в романе “Полёт над гнездом кукушки” (1962) процедуру электрошока, которой подвергся его герой Рэндел Макмёрфи:

“Повёрнуты регуляторы, и машина дрожит, две механические руки берут по паяльнику и сгибаются над ним. Он подмигивает мне и что-то говорит со шлангом во рту, пытается что-то сказать, произнести, резина мешает, а паяльники приближаются к серебри у него на висках... вспыхивают яркие дуги, он цепенеет, выгибается мостом, только щиколотки и запястья прижаты к столу, через закушенную чёрную резиновую трубку звук вроде “у-х-у-х-у!”, и весь заиндевел в искрах.

А за окном воробьи, дымясь, падают с провода.

Его выкатывают на каталке, он ещё дёргается, лицо белое от инея. Коррозия. Аккумуляторная кислота”.

35-летнему балагуру и здоровяку Макмёрфи за неделю сделали три электрошока. И, хотя он бодрился и по-прежнему хохмил, “каждый раз, когда громкоговоритель велел ему воздержаться от завтрака и собираться в первый корпус, челюсти у него каменели, а лицо становилось бледным, худым, испуганным”. 61-летнему и вовсе не здоровому Хемингуэю в декабре 1960 года сделали 11 электрошоков. Оттого-то, вероятно, 25 апреля 1961-го, когда писателя повезли обратно в клинику Мэйо, он неожиданно попытался выпрыгнуть из люка самолёта, а потом, на земле, рванул под его работающий пропеллер (оба раза ему помешал санитар-охранник). Хемингуэя всё-таки доставили в больницу, где его снова пытали электричеством в течение всего мая (9 шоков, по некоторым сведениям).

Может быть, если бы рядом с ним, стариком, была не моложавая и расчётливая Мэри Уэлш, а любящая его Хэдли, то до сумасшедшего дома и электрошоков дело бы не дошло. Но Хэдли – это была другая жизнь, которая,

увы, не состоялась. А Мэри, в сущности, оказалась на стороне его мучителей. В мае 1961 года она написала Хемингуэю в клинику: “Пожалуйста, не проси своих друзей забрать тебя из больницы, пока они не будут абсолютно уверены, что ты совершенно здоров. Никто из нас не хочет повторения того ада, в котором мы прожили последние три месяца”. Естественно, “совершенно здоровым”, особенно учитывая наступившую раннюю старость (Хемингуэй сильно сдал к шестидесяти годам), он не мог быть по определению. В сущности, Мэри предлагала мужу, одному из лучших писателей Америки, остаться в сумасшедшем доме до самой смерти, если вдруг врачи чудесным образом не объявят о его полном излечении. Но такие вердикты, насколько мне известно, они душевнобольным (или тем, кого считают душевнобольными) не выносят. “Просветление”, “ремиссия” – это да, но не полное исцеление. Психиатры ведь хорошо знают: можно вылечить даже рак, но не душевную болезнь.

Между тем, во время передышки между электрическими пытками, которую Мэри считала для себя “адам”, “сумасшедший” Хемингуэй продолжал внимательно следить за состоянием своего налогового счёта, чтобы ФБР в случае какой-то невыплаты не получило традиционную в США возможность судебной расправы над неудобным человеком. Конечно, Мэри было бы комфортней, если бы Хемингуэя подольше держали в пыточном застенке клиники Мэйо, но ведь и делами мужа она не занималась, живя, однако, на его деньги. Забудь Мэри дать адвокату указание заплатить налог за какой-нибудь крупный гонорар, поступивший на счёт, пока Хемингуэй лежал в клинике, к ней бы быстро, как черти из табакерки, явились ревизоры из ФБР и описали имущество. А они были наготове, судя по рассекреченному ФБР делу писателя.

Электрошок – ужасная пытка, но не менее ужасно состояние человека после него. Вот ощущения другого героя “Полёта над гнездом кукушки” К. Кизи – индейца по прозвищу Вождь: “Бывало, что после шока я целых две недели ходил полуобморочный, жил в этой мутной мгле, больше всего похожей на лохматую границу сна – на серый промежуток между светом и пустотой или между жизнью и смертью, когда ты знаешь, что уже очнулся, но не знаешь, какой сегодня день и кто ты, и зачем вообще возвращаться... по две недели. Если тебе не для чего просыпаться, то будешь долго и мутно плавать в этом сером промежутке...”

Таким образом, здоровенный Вождь от одного электрошока не мог прийти в себя две недели, а немощного Хемингуэя в декабре 1960 года лупили током прямо в мозг через два дня на третий, то есть *по три раза в неделю!* Каково же было его состояние?

Сам Хемингуэй говорил в январе 1961-го: “Чего эти специалисты по электрошоку не знают, так это того, что такое писатель; они не имеют ни малейшего понятия о сострадании и раскаянии. Всех психиатров надо заставить самих заняться литературным трудом, может, тогда они хоть что-то начнут понимать... Какой был смысл в том, чтобы разрушать мой мозг и стирать мою память, которая представляет собой мой капитал, и выбрасывать меня на обочину жизни? Теперь я не могу писать. Пациента лечили лучшие врачи в мире, но, к сожалению, он скончался”.

Есть основания предполагать, что одним из прототипов Рэндла Макмёрфи у Кизи и был Хемингуэй. На эту мысль наводят три обстоятельства. Свободолюбивый драчун Макмёрфи, как и писатель, знает толк в океанической рыбалке; он также попадает в сумасшедший дом и подвергается шокотерапии; а перед электрошоком уподобляет себя, пусть и в шуточной форме, Иисусу Христу:

“Ему накладывают на виски графитную мазь.

– Что это? – спрашивает он.

– Проводящая смазка, – говорит техник.

– Помазание проводящей смазкой. А терновый венец дадут?”

Хемингуэя же, дабы избежать огласки, зарегистрировали в клинике Мэйо 30 ноября 1960 года под именем его домашнего врача Вернона Лорда. Lord – это по-английски Господь. Как и Макмёрфи, писатель тоже пытался шутить по этому поводу: “Просто кошмар – лежать под фамилией “Господь” в католической больнице, и это мне, человеку, давно забывшему о католичестве!”

Да, так бывает в жизни. Автобиографический герой книги Хемингуэя “В наше время”, лёжа под артобстрелом, просил у Бога: “Иисусе, выведи меня отсюда, прошу Тебя, Иисусе... Я верю в Тебя, я всем буду говорить, что

только в Тебя одного нужно верить. Спаси, спаси меня, Иисусе". Герой выжил, но "на следующий день, вернувшись в Местре, он не сказал ни слова об Иисусе той девушке, с которой ушёл наверх в "Вилла-Роса". И никому никогда не говорил". Но о Христе невозможно забыть, если ты Его когда-либо просил о помощи, и Он тебе помог. Что-нибудь да обязательно о Нём напомнит: если не Сам Господь, так какой-нибудь образ из Книги человеческих судеб. Хемингуэй, по его словам, забыл о Боге, а принял истязания электричеством в католической больнице... под именем Господь.

В июле 1961 года Хемингуэю предстояло перенести третий курс "лечения" в "Институте жизни" в Хартфорде. Если бы врачи сочли его неэффективным, то можно с большой вероятностью предположить, что писателя, как и Мак-мёрфи, ждала бы лоботомия.

Утром 2 июля 1961 года, за неделю до очередной годовщины ранения на реке Пьяве, сыгравшего такую роль в его жизни, Хемингуэй зарядил ружьё, разулся, вставил дуло себе в рот и большим пальцем ноги спустил курок.

На мой взгляд, это было не самоубийство по собственной воле, а доведение человека до самоубийства. Писатель не видел другого способа избавиться от истязаний психиатров.

Гарольд Лёб пережил Хемингуэя на 13 лет. Казалось, он одержал общую победу в поединке, первый раунд которого проиграл в 1926 году. Как только Хемингуэй ослаб духовно и телесно, он попал в руки конов и лёбов от психиатрии и был замучен ими до смерти. Жизнь, что окружала Лёба перед смертью, была скроена по лекалам его "Жизни в технократическом обществе" и не имела ничего общего с идеалами Хемингуэя.

Однако, как только Лёб умер, "победы" не стало. Он, Лёб, одержал её при жизни. А теперь – кто помнит самое его имя? Даже фото Лёба удалось найти с трудом – причём рядом с Хемингуэем. Коны и Лёбы безымянны – *имя им легион*.

Таким, как Лёб, кажется, что жизнь можно вычертить подобно схеме. А хемингуэевский Ник Адамс из рассказа "Индийский посёлок" плывёт вместе с отцом в лодке по озеру, берегов которого не видно в тумане. Это озеро и этот туман – жизнь. "В этот ранний час на озере, в лодке, возле отца, сидевшего на веслах, Ник был совершенно уверен, что никогда не умрёт".

Когда туман вокруг жизни Хемингуэя рассеялся, оказалось, что он приплыл совершенно не туда, куда направлялся. Но он описал и туман, и озеро, и лодку... Он что-то прозревал в этом тумане – хотя, кажется, так и не увидел. Что из того? Это сделали другие, а Ник Адамс всё плывёт вместе с отцом по гладкой холодной воде озера, берега которого лежат далеко, возможно, за пределами нашей жизни. В этом смысле и Ник, и Хемингуэй бессмертны.

Хотя Hemingway по-русски – это "замкнутый путь". Замкнутый путь в тумане.

ВАДИМ КОВДА



ВЗДЫМАЕТСЯ СФИНКСОМ РОССИЯ...

* * *

Смолкайте, пустые желанья!
Уйдите, пожалуйста, прочь!
Я отдан был вам на закланье,
но больше мне с вами невмочь.

Отбуйствовал, отсуетился,
Словес наболтал на века...
И всё ж не сломался, не спился
и даже не умер пока.

Так полнитесь вечностью, строчки,
и сутью, что зрела во мне:
о маме, о сыне, о дочке,
о Боге, любви и войне...

Я вновь отрицаю бессилье.
И вижу: в глухом полусне
Вздывается сфинксом Россия
Вдали, предо мной и во мне.

КОВДА Вадим Викторович — москвич, член СП СССР с 1972 года, автор 10 книг стихотворений. Последняя книга вышла в Москве в 2006 году. Живет в Германии в городе Ганновер и в Москве.

* * *

Входит в силу моё поколение —
нарастают года и чины...
Начинаются скука и тленье
у мужчин, что не знали войны.

Матерет моё поколение —
дачки, премии, власть и почёт...
Там, где было безумство и жженье, —
лишь смиренность да трезвый расчёт.

Толще книги и выше оплата.
Чаще — в креслах, всё реже — в толпе.
Всё, что вы презирали когда-то,
всё с лихвой накопили в себе.

Улыбаетесь хитро и сухо.
Малой группкой сплотили ряды.
Не избегли томления духа,
избежали былой чистоты.

Значит, это и есть ваше счастье...
Ну, так что ж, ну, так что ж — поделом!
Не прошли испытание властью.
Не прошли испытанье рублём.

1982

ХОЛОКОСТ МОИСЕЯ

И возопили люди Моисея:
— Куда мы прёмся до краёв земли?
Там в рабстве и спокойней, и сытнее!
Какого чёрта мы сюда пришли?

Лицо перекопилось Моисея:
— Какой вы богоизбранный народ?!
Вы жалкий сброд, деляги, фарисеи...
Для вас жратва важнее всех свобод?!

Гремел надрывный голос Моисея:
— Забыли вы, кто Бог ваш? Кто отец?
Хочу, чтоб вы повымерли скорее!
Пускай родятся новые евреи...
Еврей — не значит трус или подлец!

И горлом кровь пошла у Моисея.
Хрипел он, не подъявля головы:
— Вдруг новые окажутся мерзее,
Корыстней и наглей, чем даже вы?

Не это ль вижу в мареве Москвы?..

ПАМЯТИ ДОКТОРА ЯНУША КОРЧАКА*

Среди самых священных историй
я не помню священной такой.
Доктор Корчак, Вы шли в крематорий,
чтобы детский продлился покой?..

Но сиял ли тогда в поднебесье
строгий глаз среди литой синевы?
Ведь Христос-то — Он знал, что воскреснет.
Ну, а Вы, доктор Януш, а Вы?..

Вот чугунные двери закрыли.
Вот одежды заставили снять.
Что Вы, доктор, тогда говорили?
Вы могли во спасенье солгать?

Но какое же это спасенье?
Все мертвы, и страдания — не счесть.
Слышу пенье, негромкое пенье...
Спасены от распада и тленья
только совесть людская и честь.

Вы глядели спокойно и немо.
Вы другой не искали судьбы:
вместе с дымом — в безмолвное небо,
вместе с дымом — из чёрной трубы.

Растворились в просторе широком,
по пространствам ветра разнесли...
Я вдыхаю Вас, старый мой доктор,
чую в каждой частице земли...

НА ДРУЖЕСКОЙ ВСТРЕЧЕ ВЕТЕРАНОВ (подо Ржевом)

Фриц морщинистый, пряткий, поджарый,
Малость выпил — его не унять:
— Нет-нет-нет! Мне не снятся кошмары.
Но хочу я хоть что-то понять.

— Мы вас били... Но всё потеряли...
Я ведь помню... Я в здравом уме...
Это как же мы ВАМ! проиграли?
Вон у вас всё доныне в дерьме!

— Как мы шли и как пели крылато!
Вот уж Химки! Нам скоро домой!
Проиграли бы Англии! Штатам!!
Ну, а вам-то... Ах, Боже ты мой!

* Януш Корчак (1878–1942) — литературный псевдоним польского писателя, врача, еврея по национальности, Генрика Гольдсмида, имевшего возможность спастись, но выбравшего смерть в газовой камере Трешлинки вместе с 200 воспитанниками детского дома из Варшавского гетто.

— Мусор, ямины, грязь и вонища
среди тучной и щедрой земли.
Тут у вас до сих пор пепелище,
словно танки недавно прошли!

— Сколько лиц, измождённых и пьяных!
Как мутна в вашей речке вода...
Это мне непонятно и странно,
что мы вас не добились тогда...

А наш Ваня дышал перегаром.
Улыбался... И — слёзы из глаз...
Фриц сосал дорогую сигару
и угрюмо косился на нас.

2006

* * *

*Бывали хуже времена,
Но не было подлей.*

Н. Некрасов

Живу среди деляг и выжиг
и научился понимать,
что надо выжить, выжить, выжить
там, где не стоит выживать.

И потому душе тревожно...
Дерьмом заляпанный Парнас,
где честно выжить невозможно...
Ну, а нечестно — не для нас.

Всё, что любил, осталось в силе,
и никуда не надо лезть,
Покуда годы сохранили
тоску, достоинство и честь.

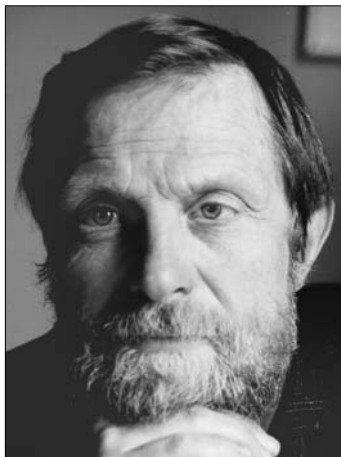
* * *

Я говорю о том, что стало ясно,
Что тяжело далось, что тяжко сознавать.
Я говорю о том, что говорить опасно,
Я говорю, о чём нельзя сказать.

Пусть чутким станет ум, отверзнутся пусть уши...
Зачем я говорю? — о том не мне судить.
Я буду говорить... И будет больно слушать.
Я буду говорить, что больно говорить.

Читатель дорогой, прости... Но речь готова.
Прочти и сохрани... Не изменись в лице.
Да! в вещи КНИГЕ той в начале было Слово...
Пусть слово прозвучит и обожжёт в конце.

МИХАИЛ ЧВАНОВ



БРАНДЕНБУРГСКИЕ ВОРОТА

РАССКАЗ

Прошло каких-нибудь полчаса, как вертолёт, забросивший нас сюда, топорливо скрылся за ближайшей вершиной, поросшей худосочной приполярной тайгой, и над неудобным эвенкийским посёлком, состоящим из беспорядочно наставленных по берегу безликих деревянных домов, похожих больше на бараки, воцарилась прежняя тягучая предненастная тишина. Я сидел около сельсовета, в котором нас пристроили на ночлег, на обмотанных оленьими шкурами трубах теплотрассы и ещё, кажется, не верил, что нахожусь в самом центре студёно-жутковатого Верхоянского хребта, что за теми вон увалами — второй полюс холода на нашей планете, холоднее только в Антарктиде. И, на первый взгляд, на самом деле было трудно поверить: горы как горы, дома как дома во всех строящихся временно, а на деле самых постоянных лесных посёлках. Только вот слишком уж чахлая тайга здесь, да ещё эти трубы, укутанные в оленьи шкуры, высоко поднятые над вечной мерзлотой, — а теперь их закрывали в широченный деревянный кожух, который, в свою очередь, набивали опилками, — и говорили о том, что сегодняшнее робкое и мягкое солнышко — большая редкость в здешних местах. И если бы хоть немного знать приметы, то без труда можно было бы увидеть, что уже во всём чувствуется приход долгого, утомительного, но такого привычного здесь ненастья, и потому так тихо и благодатно греется в робких солнечных лучах посёлок.

ЧВАНОВ Михаил Андреевич родился в 1944 году в Башкирии. Автор более двадцати книг прозы и публицистики, председатель созданного им Аксаковского фонда. Лауреат Всероссийской литературной премии имени С. Т. Аксакова, премии имени К. М. Симонова, Большой литературной премии первой степени Союза писателей России, премий “Имперская культура” имени Э. Ф. Володина и “Александр Невский”. В 2000 году награжден орденом Преподобного Сергия Радонежского III степени, в 2010 году — орденом Почета. Почётный гражданин Уфы. Вице-президент Международного Фонда славянской письменности и культуры.

Стоило солнышку лишь наполовину закатиться за гору, за которую торопливо улетел вертолёт, как от земли потянуло нутряной ледяной стужей. И ещё тише и меньше стал и без того тихий и маленький посёлок, и сразу, словно по команде, из десятков труб потянулся сизый, пока ещё робкий дымок.

Была та предвечерняя пора, когда по всей России, наверное, в деревнях, — разумеется, в тех, которые ещё живы, — растопляют печи, и так не похожий на привычные российские веси, неуютно расхристанный эвенкийский посёлок, без подворий и огородов, сразу стал мне ближе и даже как-то уютнее.

Над крышами домов только что начавшего сумерничать далёкого приполярного посёлка всё веселее и увереннее видяся вкусно пахнущий сизый дымок, и я невольно поёжился от начинающей пробираться свежести и вдруг с лёгкой печалью подумал, что, намёрзшись, тут не прижмётся сладко спиной к горячим кирпичам, потому что печи тут в основном железные, из бензиновых бочек...

Мои мысли прервал вывернувшийся из-за соседствующего с сельсоветом магазина невысокий большеголовый мужик — явно русский, потому я, наверное, и обратил на него невольное внимание здесь, в эвенкийском посёлке. Он был одет в серый заношенный пиджак и, несмотря на лето, в меховую шапку с торчащими в стороны ушами.

Увидев меня, мужик повернул в мою сторону и широко и радостно улыбался. Я ждал, рассматривая его. Он был не просто большеголовый, а верхняя часть головы его, примерно от уровня глаз, по всей окружности была значительно шире нижней, словно была взята от другой головы.

— Здравствуй! — Добро сморщившись всем лицом, мужик, как старому знакомому, протянул мне руку. — Прилетели. Снова искать?.. А мне сказывали, что должны прилететь, жду, жду... И вот смотрю, в такую непогоду — вертолёт! Думаю, наверное, они. Больше некому. Пассажирский сейчас не придёт. В такую погоду может только санрейс, но у нас вроде бы никто смертельно не заболел, так, чтобы уж совсем помирать... Из прошлогодних кто-нибудь есть? — Он всё ещё радостно тряс мне руку.

— Есть. Вон за сельсоветом на скамеечке сидят.

— Пойду, поздороваюсь, — словно извиняясь, что оставляет меня, снова сморщился он в улыбке.

— Конечно, — сказал я, и он, ещё раз извинительно улыбнувшись, зашел за угол, а я опять стал смотреть на печные дымы, на горы, окружающие посёлок.

Когда минут через десять я вернулся к ребятам, он сидел у них в ногах, — кто из ребят стоял, кто сидел на лавочке, — прямо на студёной земле, обхватив колени руками, и что-то рассказывал. Открытая, простодушная улыбка не сходила с его лица.

Ребята снисходительно посмеивались.

— Дима, правда, что жена у тебя немка? — увидев меня, небрежно и нарочито громко спросил Юра Неганов, при этом он откровенно подмигивал мне: слушай, мол, концерт... Это было его любимое выражение.

Меня покорило и этот тон, и то, что ребята по-прежнему сидели на лавочке или стояли и смотрели на Диму сверху, а он сидел у них в ногах прямо на вечной мерзлоте, и был этот Дима по крайней мере в два раза старше того, кто спрашивал.

— Правда, — просто и открыто поднял он глаза на меня, и при этом лицо его опять добро сморщилось, отчего стало по-детски доверчивым и беззащитным.

Я хотел было отойти, боясь стать свидетелем какого-нибудь грубоватого розыгрыша или скабрезного анекдота, но что-то меня удержало. Скорее всего, эта по-детски доверчивая и беззащитная улыбка.

— И немецкий язык ты знаешь? — продолжал Юра Неганов.

— Да почти уж забыл, — смущённо улыбнулся Дима. — Сколько лет прошло! Одно время думал, что совсем забыл, а вот два года назад в геологической партии тут был практикант-геолог из ГДР, — оказывается, помню. Много мы с ним по вечерам у костра говорили...

— Так что, на самом деле жена была немка? — осторожно переспросил Володя Хабаров, который, как и я, был в посёлке впервые.

— Правда, — по-прежнему простодушно и открыто ответил Дима, которого уже давным-давно полагалось звать по имени-отчеству. — Эльтруда. Я невольно оглянулся на ребят, надеясь прочесть ответ на их лицах, но, кроме нас с Володиёв Хабаровым, Диму давно уже никто не слушал, все были заняты своим разговором.

— Наверное, наша — из немцев Поволжья или из Казахстана? — предположил Володя Хабаров.

— Нет, настоящая, из Германии, — улыбнулся Дима.

— А где же ты на ней умудрился жениться? — снова подмигнул мне Юра Неганов. В прошлый прилёт он, видимо, уже слышал этот рассказ и теперь великодушно потчевал им нас.

— Там, в Германии, — улыбнулся Дима.

— А как ты очутился-то там, в Германии? — всё так же небрежно-нисходительно, как с ребёнком, продолжал говорить Юра Неганов. Даже здесь, в “поле”, на лацкане его заношенного пестротканого пиджачка красовался вузовский значок. — Ну, заливаешь! Ну, заливаешь!

Но Дима, к моему удивлению, не обиделся. Он словно не замечал его тона:

— Я служил там.

— А где же она сейчас? — не унимался Юра.

— Там, в Германии осталась. — Не расцепляя рук, Дима покачивался взад-вперёд.

— Дима у нас такой! — довольный произведённым впечатлением, продолжал Юра Неганов. — Своих ему мало! Ему иностранок подавай! Так, Дима?.. — И тут же забыв о нём, включился в общий экспедиционный разговор: что надо будет сделать завтра в первую очередь, какие докупить продукты... А Дима, забытый, сгорбленный, по-прежнему обхватив колени руками и покачиваясь, продолжал сидеть на земле.

Я впервые видел этого Диму, я ничего не знал о нём, но вдруг мне стало обострённо больно и ясно, что не заливаешь он, что за всем этим, за его беззащитной и открытой улыбкой стоит какая-то горькая правда. И хотя больше уже никто не обращал на него внимания, я боялся какого-нибудь нового нелепого и бесцеремонного вопроса.

— Холодно так сидеть, на земле-то, — торопливо сказал я.

— Да нет, — повернулся он ко мне и опять по-детски улыбнулся. — Привык... Было дело... Идётся, как привал, садись так. Это, значит, чтобы бежать трудно было. А куда бежать-то?! Бывает, задница примёрзнет, — засмеялся он. — А потом идёшь, и словно она чужая, словно не кожа у тебя там, а лист холодной жести, только не звенит...

До меня не сразу дошло, о чем это он: “Идётся, бывало...”

— А где лагерем-то будем вставать? — спросил он. — Как в прошлом году, около меня, что ли?

— Не знаю, — растерялся я. — Я тут в первый раз.

— Лагерем-то около меня будете вставать?.. — повторил он, обращаясь уже к ребятам. — Я спрашиваю, лагерем-то...

— Да нет, наверное, — наконец, откликнулся кто-то из ребят.

— Да, я всё тебя забываю спросить, — вспомнил о Диме Юра Неганов, — зачем зимой и летом в шапке ходишь?

— Да у меня голова что-то мёрзнет, — смутился Дима, снял и снова нахлобучил шапку.

— Голова мёрзнет? — наигранно удивился Юра.

— Да не то чтобы особо мёрзнет, — совсем смутился Дима, — а словно давит её изнутри, распирает, даже страшно порой становится: как бы не лопнула... Как сказали тогда в Германии... поедешь... утром проснулся, а её давит... Вот с тех пор... Так не около меня встанете, что ли?

— Нет, Дима, нынче на этой стороне озера встанем, — наконец, услышал его Вася Василенко. — Да прямо около лодочной стоянки. Приходи в гости. Тебе же по пути... Приходи...

— Приду обязательно, — сморщился Дима в радостной улыбке. — Как же!.. Два лета рядом жили. Уж, можно сказать, почти родные. Я, правда, нынче свой сезон там, в карьере, закончил. Но специально приду... Отозва-

ли меня в посёлок, говорят, тут нужен, всё равно зима на носу... У меня ведь теперь жильё есть...

Но его уже опять никто не слушал.

— ...А я думаю, если они около меня встанут, тогда, может, и я там ещё с месяц поработаю, — пояснил он уже одному мне.

Чувствуя перед ним какую-то вину, я присел рядом с ним на корточки.

Он сразу откликнулся широкой доброй улыбкой. Тогда я осторожно спросил:

— И дети были?

— Две дочери. Двойняшки... Эльза и Маша.

— А что с ними? — вырвалось у меня, хотя я знал, что этого вопроса задавать не следовало.

Но он, как-то уж слишком безбольно и беззащитно улыбнувшись, пожал плечами:

— Остались там, в Германии.

Меня подмывало ещё кое о чём спросить, но я сдержал себя.

— Ну, ладно, мне на работу... — Видя, что ребятам не до него, Дима поднялся. — А я думаю, дай, загляну, вдруг они, вместе ведь жили... И вы заходите, у меня ведь теперь и жильё!.. Да тут, в посёлке... — уже второй раз и намеренно громко, чтобы все услышали, сказал он, но и сейчас на это никто не обратил внимания. Дима сразу заторопился. — Ну, ладно, до встречи!..

— До свидания! Приходите! — торопливо сказал я.

— До встречи, Дима, заходи! — хватился кто-то из ребят, его прошлогодних знакомых.

Дима снова нахлобучил шапку, сделал несколько шагов в сторону, но все ещё что-то медлил, стоял и тихо улыбался.

— А как же всё это случилось? — не выдержал я.

— А! — несколько не удивился он моему вопросу, видимо, привык к нему. И неожиданно для меня вместо того, чтобы отказаться, сославшись на необходимость идти на работу, снова сел на студёную землю и снова привычно сцепил руки на коленях. — Служил в ГДР. В сорок восьмом меня призывали. Там и женился. Разрешалось это на сверхсрочной...

Я торопливо опустил перед ним на корточки.

— У нас так несколько человек было... Мой пост был у Бранденбургских ворот. Ходят из Западного Берлина и обратно, а мы проверяем. Две Германии, да ещё Западный Берлин — у кого и там, и там родственники...

На корточках было неудобно, ноги быстро затекали, но я не решался сесть, как он, на студёную землю: от неё и так палило стужей, и я время от времени привставал.

— Ну, так стоим мы на контрольно-пропускном посту. Вот идёт человек из Западного Берлина в нашу зону. Его проверяет немецкий полицейский. А я в его дело не вмешиваюсь, смотрю со стороны, но, если мне что-нибудь покажется подозрительным, я должен незаметно нажать кнопку — и на следующем контрольно-пропускном пункте его уже проверят основательно. А у неё как раз два брата в Западном Берлине нашлись — уже после того, как я женился. Дом родительский здесь, она присматривать за ним осталась, а они, оказывается, ещё в сорок пятом подались туда. И теперь объявились. Сначала я насторожился: они по разрешению властей приходиться стали... А потом смотрю, ничего — люди как люди... И так они вокруг меня, и этак — и всё добром. Полубили они меня очень, что я сестру их так жалею... И вот арестовывают меня вдруг. Говорят, пытались они проташить что-то, и как раз через мой контрольно-пропускной пункт. И якобы как раз, когда я дежурил. До сих пор толком не знаю, что там было и было ли... — Он доверчиво улынулся, вздохнул.

— У тебя есть отец, мать? — спрашивают на допросе.

— Есть, — говорю.

— Кто отец?

— Кочегарил в котельной, — отвечаю. — Сейчас не работает — инвалид войны.

— А мать?

— Мать уборщицей в школу пошла. Кому-то надо работать.
— Братья, сёстры есть?
— Три сестрёнки, все школьницы....
— А тут у тебя ещё два брата числятся?
— Братья на фронте погибли, — отвечаю.
— Зачем после армии на сверхсрочную остался?
— Командование предложило, — говорю, — вот и остался... Я на хорошем счету был, — пояснил он уже мне. — Потом — хотел помочь им встать на ноги, старшая-то сестрёнка уже на выданье была. — Он замолчал, упершись подбородком в колени, словно забыл о нас.

— А как ты женился-то? — осторожно спросил его Володя Хабаров.

— Да как, — задумчиво улыбнулся Дима. — В столовой она у нас работала, полы мыла. Ну, шмыгает и шмыгает. Однажды обратил внимание: слабенькая, ведро чуть несёт, через силу, жалко стало. И всё вздрагивает, и всё — как мышка, словно в детстве её кто напугал. Потом-то это у неё прошло, — широко улыбнулся он. — А тогда: сделают ей замечание, да и не замечание даже, а скажут, где ещё мыть, так она белая вся делается, как бы застынет, и слёзы на глазах. Я не мог смотреть... Ведро возьмёшь поднести, а она перепугается вся: "Найн, найн!" Потом улыбаться стала, так, чуть-чуть, как увидит меня. Стал спрашивать через других: одна, мать, параличом разбитая, лежит, отец в войну без вести пропал на Восточном фронте, только потом от неё узнал — под Сталинградом... Ну, а там и не знаю, как получилось... Пошёл я к командиру, а он: "Ну, — говорит, — не думал я, что ты такой смелый... Добавил ты мне хлопот, — вздыхает. — Я-то что! Пойду выше докладывать..." Да что тут рассказывать!.. Как-то само собой...

— Так у тебя, небось, до армии невеста была? — всё так же осторожно спросил Володя Хабаров.

— Как же, была — из соседнего двора! — Дима весь засветился. — Да какая там невеста! — махнул он рукой. — Так, переглядывались, только перед самой армией в подъезде раз и поцеловал. Правда, переписывались два года... А потом она замуж выскочила за Петьку Ярёмкина, он ещё в школе за ней ухлёстывал. В армию он не пошел по здоровью — в техникум поступил... Может, ещё из-за неё я и остался на сверхсрочную-то... — Он безболезненно махнул рукой. — Ну, так дальше... — Что-то вроде тени мелькнуло на его лице, но он тут же прогнал её.

— Как же это так, говорят, отец вернулся с войны инвалидом, два брата отдали жизнь за родину, а ты?.. Так, может, и родина твоя теперь тут? Может, ты её променял? Выбирай!

— Нет, родина моя — Россия, — говорю.

— Тогда собирайся, поедешь на родину.

— А семья?

— А куда ты поедешь, туда с семьёй не ездят, — смеются. — К тому же жена твоя не нашего подданства. Тем более что она подвела тебя.

— А хотя бы проститься с семьёй можно будет?

— Нет. Поезд твой отходит через час. Да и зачем — только лишний раз нервы мотать — и ей, и себе. — Дима растерянно улыбнулся. — И повезли меня бесплатно домой, в Россию, а потом так же бесплатно — от границы и до океана, только уже в другом вагоне, с решётками, — он усмехнулся. — Как в туристическом путешествии, всю посмотрел...

Рассказывал он по-прежнему легко и безболезненно, как о чём-то действительно лёгком и безболезненном, по крайней мере, внешне так казалось, и от этого у меня по спине мурашки бегали. Видимо, он уже рассказывал это не раз, а может, и сотни раз: и там, у Тихого океана, где ему часто приходилось сидеть на земле, на снегу ли — вот так, сцешив руки на коленях, — и, может, ещё где, и здесь, в посёлке. Может быть, так, рассказывая всякому, кто попросит и не попросит, ему легче было все эти годы носить в себе беду, она хотя бы на время рассказа как бы выветривалась из сердца, её как бы частью брали себе те, кому он рассказывал, а они, в свою очередь, рассказывали ему свои беды, часто не менее безысходные и точащие, рвущие душу, и уже было легче: ты уже не один, кругом такие же люди...

И вот сейчас: попросил я, и он не стал отнекиваться и даже не задумался, стоит ли рассказывать этому человеку, которого и видел-то впервые, и даже как бы обрадовался просьбе, лишь печально улыбнулся и сел в привычную позу на землю, стужённую, скованную вечной мерзлой тоской, и стал легко и безбольно рассказывать, словно не о себе, свою необычную и такую обычную для русского человека жизнь:

— Через семь с половиной лет — вольный я казак. Стою на берегу Тихого океана, солнышко ласковое, как вот сейчас. Куда? Радио над головой: “Широка страна моя родная...” Поехал домой. Отец к тому времени уже умер. На работу нигде не берут... Вот тогда я и запил... Сколько я с того времени выпил! Наверное, море-океан, — засмеялся он, покачал головой. — Вот так и жил: годы летят, с каждым годом всё быстрее, а я только рад этому... Перебиваюсь случайными заработками. И тут приезжает свояк, муж средней сестры из Мирного:

— Назначают меня главным инженером в Айхал. Поехали!

— Но у меня ни специальности, ни трудовой книжки.

— Поехали! Всё-таки я главный инженер. А там, гляди, и приобретёшь какую специальность,

Уговорил, поехали. Действительно, пристроил меня помощником при монтаже карьерного экскаватора. Работаю месяц, второй — понравилось мне это дело. Собрали первый экскаватор, хожу, как на празднике: стоит громадина, надо же, мною собран, а через день начнём грузить руду... Но работать на нём мне не разрешают — нет удостоверения помощника экскаваторщика. “Ладно, — говорит свояк, — собирай пока второй экскаватор, а потом что-нибудь насчёт курсов придумаем”.

Стали собирать второй. А тут главного инженера, свояка моего, неожиданно переводят в другое место, а у меня документов по-прежнему нет, и ни на какие курсы меня не берут. Мало того, сразу уволили. Ну что, прожил я последние деньги, куда деваться? Опять домой? Матери-старухе, сёстрам на шею? С грузовым самолётом — ребята помогли — добрался до Якутска. Ну, в Якутске меня, конечно, ждут не дождутся! Туда сунулся, сюда сунулся. В конце концов, осел в аэропорту, тут семь бичей уже года три отираются: кто куда ехал, но так и не доехал. Ну, и пристроился я к ним, взяли. А то и это проблема: в речном порту свои бичи, на рынке — свои, и строго соблюдаются границы, попробуй, выйди на охоту на чужой территории. И загудели мы там! А потом примелькались, что ли, или начальство какое высокое должно было приехать, и выгнала нас милиция из аэропорта. Тогда перебрались мы в другой аэропорт — Маган, местных авиалиний... Там народ попроще... — Дима тихо, как бы даже виновато улыбнулся. — Ну, дохожу я совсем, можно сказать, погибаю, одеколон для меня — вместо марочного коньяка, а так — всё дрянь разная... И вдруг однажды останавливается мужик. Холодыря, стою около автобусной остановки, трясёт меня.

— Пропадаешь? — спрашивает.

— Пропадаю, — говорю. В таких случаях лучше, что спрашивают, то и говори, — скорее отвяжутся. Людям нравится, когда с ними соглашаются, когда по-ихнему. — Пропадаю, — говорю. А сам думаю: чего тебе надо? Значительность сам себе хочешь показать? Обычно до нас никому дела нет, как до тех собак, что вместе с нами, брошенные, в аэропорту отираются. Разве только какой-нибудь начальничек для виду, выкобениваясь перед холюдами, строгость напустит: “Как тебе не стыдно!.. Когда страна!..” Или бабочка какая нервная, накрашенная, брезгливо отвернётся, зашипит, как кошка. А так словно нас и нет... И им хорошо, и нам. Живём вместе, на одной земле-планете, а друг друга не замечаем. И этот:

— Что же это ты так, а? Как же ты дошёл до этого, а? У тебя же руки вон, как лопаты.

Смеюсь:

— Зато у меня документов к этим рукам нет. Человек без документов, что машина без бензину. А сам думаю: “Какого тебе надо?! Там за углом Витька Молодцов с денатуратом ждать должен, ведь может и не вытерпеть!”

— А почему без документов?

— Ты что, мужик, — не стерпел я, ведь замерзаю совсем, — с Луны свалился или родился только что?! Ты разве не знаешь, почему люди без документов бывают?... Между прочим, люди рождаются без документов, их только потом выдают. А мне, может, забыли выдать... может, кончились... может, бумаги на мои документы не хватило...

А он не отвечает:

— Печи класть умеешь? — спрашивает.

— А при чём тут печи?

Трясёт меня всего, а он ещё про печи!..

— Я тебя спрашиваю: печи класть умеешь? — строго так. “Точно, начальник, — думаю, — голос выдаёт...”

— Не боги горшки обжигают... — говорю.

— Я тебя в третий раз спрашиваю: печи класть умеешь? И что вообще можешь?

— Там всё приходилось, было бы из чего.

— А у нас как раз не из чего. Глины нет, песка нет, одна вечная мерзлота. Приглашали геологов: нет, говорят, у вас глины, и песок не тот. И печники у нас разные были, ничего у них не получалось.

— Раз есть вечная мерзлота, должна быть и глина, — смеюсь. — Вечномёрзлая глина: тяжёлая такая, как свинец. Её ни ломом, ни кайлом — и брать не берут, и вязнут в ней, как в свинце. Много нашего народу на ней надорвалось... Ты не тех геологов приглашал, гражданин начальник, — смеюсь. — У меня, кстати, специальность помощника карьерного экскаваторщика, только вот документов нету, но до этого я почти полжизни проработал самым карьерным экскаватором — и всё в вечной мерзлоте. И эту проклятую глину я издавала чувствую-чую. Она где-то ещё глубоко внизу, а я её, родимую, уже чую.

— Поедешь со мной?

— Поеду, — говорю, а сам думаю: никуда он меня не возьмёт, так, одни разговоры, но, может, хоть накормит. Меня же трясёт! Из подсобки нас сегодня выгнали, на носу зима.

— Без дураков?

— Без дураков.

— Даже не спрашиваешь, куда?

— А мне хоть куда, — смеюсь. — Дальше, где я был, уже некуда — там Америка, чужая сторона. — А сам думаю: или уже мерещится от холода мне, или на самом деле, как мать говорила: “Терпи! И даже когда уже больше некуда будет — терпи! Такая доля наша. Это как проверка нам, Бог испытывает... Терпи и терпи — Бог всё видит! И когда вытерпишь своё, явится к тебе посланник Божий, Михаил Архангел, и воссияет над тобой счастливая звезда...”

— У нас, — говорит, — глухой эвенкийский посёлок на Верхоянском хребте, ничуть не хуже тех мест, где ты отдыхал, и я там единственный русский. И ни одной кирпичной печки на весь посёлок. Жестяные буржуйки или жестяные бочки из-под бензина — в лучшем случае. Дров уходит уйма. Вроде живём в тайге, а дрова уже за сто километров возим.

— Не пугай, — смеюсь. — Всё равно поеду.

— А сможешь?

— А другого-то печника у тебя всё равно нет, раз на меня позарился. Обманывать не буду — не печник я, хотя приходилось. Но дед у меня и прадед были печники. Да и отец, по крайней мере себе и соседям клал... Ну, ладно, прощай...

— Что, не поедешь?

— Так не возьмёшь ведь... Не печник я. Мог бы, конечно, обмануть...

— Возьму.

— Возьмёшь? — Смотрю на него: мужик как мужик, вроде кругом такие. — А скажи хоть, — осторожно спрашиваю, — кто ты такой, уж не Михаил Архангел, случаем?

— Нет, — говорит, — не Михаил Архангел. Я — совхозный зоотехник из Баянджи. Полетели! Многие до тебя пробовали, попробуй и ты. А то про-

падёшь... Погода лётная, через час регистрация, должны улететь. Вот тебе билет. Товарищ у меня в Якутске отстал, якут. Пока летишь, будешь Протопоповым. Документов-то у тебя, говоришь, всё равно нет. Ты вон как продубел, сойдёшь за якута.

— Так я же сам Попов!

— Ну, так вот, теперь станешь Протопоповым...

— И вот уже пятнадцать лет я здесь. Зоотехник Иван Митрофанович давно уехал, а я остался... Живу вот... — обвёл он взглядом студёные горы.

— Что-нибудь знаете о своей семье? — осторожно спросил я.

— Нет, — он расцепил руки, сведённые вокруг колен, махнул рукой. — С тех пор — ничего.

— Может, напишете в ГДР, — предложил Володя Хабаров. — Сейчас времена изменились.

— Зачем? — безболно спросил его Дима. — Мне и тот немец-практикант предлагал поискать. Зачем? Я уже старый, и она уже старая, да и в Западной Германии, я думаю, давно она. Полагаю, братцы перетянули её потом. Да и замужем, скорее всего. Дай бы Бог! Одной-то мыкать! Что ей тогда, лишь двадцать исполнилось.

— А дочери?

— Дочери? — печально улыбнулся он. — Они уже взрослые. Я им тогда, маленьким, был нужен, а теперь они без меня проживут. Теперь я им лишь в обузу. Да и вряд ли они знают обо мне... А до сих пор перед глазами. По два годика им как раз исполнилось... Зачем? Живут они теперь, поди, спокойно, добропорядочно, по-немецки, а тут вдруг какой-то сибирский русский отец объявился. А она... Только рвать нервы под старость друг другу.

— Да, Дима, я уже забыл, — закурив, снова встрял в разговор Юра Неганов. — А вторая-то жена кем была?

— Не было у меня второй жены, — повернулся к нему Дима.

— Как же так, Дима?!

— Да так, больше я уж не женился... — Он помолчал. — Первые годы ещё на что-то надеялся. Даже там, — махнул он рукой на восток, — а вдруг... А потом уже поздно было. Не хотел никого оставлять сиротой, одиноким... Теперь уж поздно...

Он по-прежнему говорил как-то слишком легко и безболно, словно не о себе, словно пересказывал прочитанную книгу или, скорее, фильм, который видел по телевизору — книг-то теперь не читают...

— Ладно... ребята. Я ведь на работу шёл. Слышу — вертолёт. Думаю, наверное, они прилетели... Я пока тут, на лесопилке...

— А кирпичи-то разве больше не делаешь? — небрежно пыхнул дымом Юра Неганов.

— Почему не делаю?! — Дима сразу оживился, просветлел. — Я ведь говорил... Теперь там, вот увидите, целое производство... Так и называется — цех! Теперь там!.. А зимой на лесопилке... — Дима замаялся. — Теперь ведь я почти не пью, — с напускной небрежностью, а на самом деле застенчиво признался он. — И жильё мне дали! Теперь у меня крыша над головой! — с плохо скрываемой гордостью сказал он уж в который раз и смутился, увидев, что и сейчас никто не прореагировал на его сообщение. Но тут же опять оживился: — У нас ведь теперь почти сухой закон в посёлке, — словно сбросив какую-то тяжесть, легко засмеялся он. — Уже слышали, небось?.. Когда это постановление вышло, собрали сход. Все идут, смеются: видано ли — чтобы взять вдруг и пить бросить. Это как солнце — взяло бы да и не взошло. Ведь уже не раз пытались, но обычно дальше разговоров дело не шло... Ну, пришли. “Вот такое дело, мужики, — говорит председатель сельсовета, — докатились мы совсем, как говорится, дальше некуда. Как дети малые, правительство за голову схватилось. Что будем делать — по талонам водку продавать? Или, например, только один день в неделю — в пятницу или там в субботу?” А старики-эвенки говорят, они больше нас, русских, в водку почему-то втягиваются... Почему так? Я вот видел, те же немцы — те хоть и пьют, да всегда знают меру. А у нас — словно не защищённые мы от неё, и кто-то этим хитро пользуется. Так вот, старики-эвенки говорят:

“Нет, мы не умеем помаленьку, как ты говоришь, культурно пить, как по телевизору показывают. И не надо нам никаких талонов или дней. Что это за питьё — две бутылки в месяц! Только душу тянуть. Или давай пить по-старому, или совсем от неё откажемся. А то ведь действительно скоро пропадём...” Так и решили... Во дают! — засмеялся он. — Как в сказке: эвенки отказываются пить. Мы, русские, отказываемся пить. Хотя русских-то тут я, наверное, один. Хотя нет, вон второй появился, и тоже Попов, и тоже не дурак выпить. А другие, не скособоченные, тут и не окажутся.

— Ну, и как? — хохотнул Юра Неганов. — Кончилось собрание, и...

— Держатся — вот уже почти полгода! — с весёлым восторгом сказал Дима. — А с другой стороны, здесь легче держаться. А куда денешься, если её совсем в посёлок не завозят? За полтыщи километров за ней не побежишь. Может, уже и не рады, что так решили, — засмеялся он, — а что делать — сами виноваты, могли не соглашаться. Но, в общем-то, хорошо. Раньше, как придёт вертолёт — весь посёлок пьяный. А по праздникам — и говорить нечего! И оленей бросят. А у них нет греха хуже, как оленей бросить. Некоторые, правда, голосовать голосовали, но в тайге тайком самогонку гонят, как суббота — все вдруг в лес, все культурные вдруг такие — кто по грибы, кто по ягоды.

— А ты? — усмехнулся Юра Неганов.

— И я голосовал, — засмеялся Дима. — И меня пригласили на собрание. Открытка пришла: “Уважаемый Дмитрий Иванович...”

— Ну, и ты с тех пор, конечно, не пьёшь! — захохотал Юра Неганов. — Раз собрание — то ты... ну, может, что не завозят...

— Ну, и что — не завозят, — усмехнулся и Дима. Реплика Юры Неганова на сей раз, кажется, задела его, и он не смог скрыть этого. — Неужели меня бы это остановило! Да и разве водка — моё питьё! Сколько я выпил за свою жизнь, чтобы не просыпаться, разве на водку у меня хватило бы денег! Да и водка для меня — вроде шампанского, и не берёт она меня уже вроде. Да вы знаете... — махнул он рукой.

— Да уж знаем, пока есть тракторы, тебе не грозит никакой сухой закон, — снова хохотнул Юра Неганов, посмотрев на меня: вот, мол, обещал я тебе развлечение. Он был доволен: Дима Попов не подвёл его передо мной. — Так что, ты навсегда завязал?

— Надо бы! — не замечая его тона, смущённо пожал плечами Дима. — Кто знает, куда выведет... Надо бы! Сколько можно... Ну, ладно, я пойду...

— Заходи, Дима, мы тебе всегда рады, — демократично протянул руку Юра Неганов — у него было хорошее настроение.

— Зайду, — обрадовался Дима. — Заходите сами. У меня теперь ведь жильё, прописка... Как у всех. Теперь я... Ну, ладно, пошёл я. Я ведь на работу шёл, на лесопилку. А так-то я по-прежнему, мы ведь теперь целый цех по производству кирпича открыли. Уже целых шесть тысяч в год... Иду, слышу, вертолёт. Дай, думаю, по пути загляну. Может, знакомые прилетели, с которыми на перешейке между озёр жили вместе...

И он встал и пошёл, на прощание ещё раз добро и застенчиво улыбнувшись. Я долго смотрел ему вслед и словно ловил себя на чём-то нехорошем: я, например, не люблю, когда я ухожу, а мне смотрят в спину.

— Я тебе говорил, экземпляр покажу. — Очень довольный собой, подошёл ко мне Юра Неганов. — Бичара матёрый! — поднял большой палец. — Я их на Чукотке видел-перевидел, а этот всем бичам бич... Завязал он!.. — хохотнул Юра Неганов и покачал головой. — Так я и поверил!.. Что ему этот сухой закон! Он его не касается. Чего он только не пил! И йод, и формидрон — средство от пота ног, и даже ацетон — перемешает его с пивом, если вдруг завезут, тут обычно польское или чешское, — он облизнулся. — Северным морским путём... Завязал он!.. Сейчас не знаю, а то ведь он и жил-то там, за первым озером, на перешейке, прямо в своих кирпичах. И никому дела нет, жив он там или нет. Бывало, придёт к нам в лагерь. “Хоть, — говорит, — на людей посмотрю...” А уж самое обычное его питьё — солярка. Я же говорю: пока ходят тракторы, никакой сухой закон ему не грозит...

— Да брось ты!.. — не выдержал Володя Хабаров.

— Что — брось! — вспыхнул Юра. — Вон ребят спроси. Иногда нет, нет Димы, послушать бы от скуки про его немецкую бабу, пойдёшь к нему, а он спит прямо у бочки, и планг во рту! Бичара ещё тот!..

Стало уже темнеть, и мы один за другим потянулись к сельсовету. Экспедиция только начиналась. Я был уверен, что ещё не раз встречу Диму Попова, и мы поговорим с ним. Я чувствовал перед ним какую-то вину.

Но больше я его не встретил: на другой день мы уехали из посёлка, а к нам в лагерь он почему-то ни разу не пришёл, впрочем, от посёлка до него было целых пять километров, не считая двух бродов через речку, которая вздулась от дождей. Я надеялся встретить его на обратном пути, но неожиданно подвернулся вертолёт, выполнявший санрейс, — за все время, как мы прилетели в посёлок, не было ни самолёта, ни вертолёта, и было бы глупостью не воспользоваться счастливой для нас оказией.

Вместе с нами летел, сопровождая больного, а заодно по своим поселковым делам председатель сельсовета.

Внизу, словно мальчишки осколками зеркала, стреляли в нас зайчиками бесчисленные болота. Как они только держатся на этих суровых склонах! Слева, сильно накренившись при крутом развороте вертолёта, открылась долина Дулгалаха — есть такая река на Верхоянском хребте. И вдруг внизу по ней, как корабли в кильватерной колонне, только, в отличие от неё, на более значительном расстоянии друг от друга, поплыли чёрно-серые бараки: один, второй... пятый... На эти бараки обратил я внимание ещё утром, когда вертолётчики, неожиданно сев около нас, развернули карту, прося совета, где в горной тундре искать стойбище оленеводческого стада №6: там был больной. У каждого из этих бараков на карте стояла надпись: пустующий зимник, пустующий зимник... Может быть, я не обратил бы на них такого внимания, если бы они не были расположены примерно на одинаковом расстоянии друг от друга: шестой, седьмой... десятый... Вертолётчики не смогли сказать ничего определённого по поводу этих бараков, и я скоро забыл про них, и вот сейчас они вдруг один за другим поплыли под нами.

— Тут что, дорога какая была? — растерянно спросил я. — Неделию назад я пересекал эту долину и не заметил ничего такого.

— Да, зимник, — нахмурился председатель сельсовета. — С Лены, с Батамая, сначала вверх по Тумаре, потом с перевала вниз по Дулгалаху — почти тысячу километров — до рудника Эсэхайя люди шли... по этапу... Знаете, около Депутатского?... Дневной переход от барака до барака — в среднем тридцать километров... Не дошёл, чуть отстал — твоя вина... Почти двадцать лет шли — и только в одну сторону... Старики наши много могли бы рассказать, но не расскажут... Редко, но бывало: бежали. Если кто из наших принимал или одежду, еду давал — самого по этой дороге отправляли... Давно это уже было, а бараки так и стоят, словно ждут...

Я неотрывно смотрел вниз. Душа охолонула, замерла внутри... Рядом смотрел вниз врач, молодой парень, попавший в Якутию год назад по распределению...

— Вот так и живём, — перевел председатель разговор на другую тему. — Совхоз — один из лучших в Якутии, по итогам прошлого года завоевали переходящий вымпел Министерства сельского хозяйства РСФСР, а связи с нами — никакой. Нет, когда зимой надо мясо вывозить, самолёты будут десятками летать, а вот когда нам надо... Авиатранспорт — самая главная наша проблема. Спасает лишь зимник, по нему все грузы забрасываем, а то и не знаю, что делали бы. Иногда месяцами в Сангаре сидим. А дней пятнадцать-двадцать — самое обычное дело... Вот как сегодня: роженицу санрейсом вывезут вместе с этим больным, здесь рожать ни за что не дадут — забота о человеке, а обратно уже никому дела нет: ребенку, бывает, месяц исполнится, а она всё в аэропорту в Сангаре с ним сидит...

Долина Дулгалаха с гнетуще царапающими душу бараками, снова качнувшись, наконец, ушла влево, но они всё ещё плыли перед моими глазами, и я плохо слушал председателя.

— ...И вот ещё одна проблема: отопление. Заметили, кругом лес вырубил? Посёлок маленький, а вырубил чуть ли не с целую Бельгию. Лес

и так-то здесь растёт плохо, медленно: лёд да камень, да морозы такие. Уже за сто километров за дровами ездим. Жрут эти железные печки: затопишь — в доме жарится, а потухла — тут же холодно. Поэтому они у нас, как атомные реакторы, беспрестанно работают. У семидесяти процентов жителей — железные печки. Только недавно стали кирпичные появляться — в год одна-две. Нет глины, нет песка. С конца войны пытались тут глину найти — ничего не получалось. Специально геологов приглашали — не нашли.

— Ну, вы же говорили, что у вас уже есть кирпичные печки. Что, из привозного кирпича? — спросил врач.

— Да разве столько привезёшь! — засмеялся председатель. — Золотой будет, если не дороже. Ну, в конце-то концов, — кирпич действительно можно завезти, а глина, песок для раствора? Чем этот кирпич скреплять будешь?.. Есть у нас тут один специалист. Геологи не нашли, а он нашёл. Хоть мало, но нашёл. Десять лет искал, если не больше. На него уже все плюнули, тем более что разъехалось давно начальство, которое завезло его сюда: ну, живёт человек на перешейке за первым озером, беглый не беглый, бич не бич — не поймешь, кто. Документов нет, но зла никому не делает, и ладно. А он, в конце концов, нашёл. И кирпичи из неё жжёт. И печи кладёт. Какая-то чёрная глина, и печи из неё чёрные получаются. Все говорят, что нельзя из неё делать кирпич, а он делает, мало, конечно, да ещё со срывами большими, как загуляет, но делает, и стоят его печи, и греют хорошо. Сейчас даже что-то вроде цеха организовали. Уже до шести тысяч кирпичей в год довели. Для вас это, может, смешно, а для нас — большая цифра: четыре-пять кирпичных печей в год. Вся надежда на него, если опять не сорвётся, не запьёт снова в чёрную...

Перед глазами всё ещё плыли дулгалахские бараки, и до меня не сразу дошло, что он говорит о Диме Попове, и внутри что-то дрогнуло.

— Он ведь и жил-то до последнего времени там, на перешейке. Пригласили его на заседание сельсовета: “Слушай, на тебя вся надежда. Ты сделал великое дело: твои печи стоят и греют. Сможешь за пятнадцать лет, к двухтысячному году, ликвидировать в посёлке железные печи? Хотим такой пункт вписать в культурно-социальную программу развития посёлка, если ты возмёмся за это дело... — К двухтысячному? — спрашивает. — Это же чёрт знает когда!.. — Да нет, — говорим, — всего через четырнадцать лет. Век кончается”. А он сидит и понять не может. А потом как схватится за голову, словно чем его ударили: “Да вы что, граждане начальники, это не просто век, это ведь второе тысячелетие нашей эры кончается!.. На самом деле — неужели третье тысячелетие? Ведь вроде вот только в школе проходили про какой-то Древний Рим, впереди ещё, по крайней мере, полвека было, так далеко, что об этом никто думать не думал”. И нас тоже — как бы стукнуло: а ведь правда, — третье тысячелетие! До этого тоже как-то всё времени не хватало подумать: то одно, то другое... Глядим друг на друга растерянно. А он привстал даже от волнения: “Вот те на: пил бы, пил — и вдруг третье тысячелетие! Или: пил бы, пил — и даже не знал, что уже наступило третье тысячелетие. А может, и конец света, ведь, говорят, написано где-то. Ты по-прежнему хлещешь какое-нибудь средство для чистки окон и не подозреваешь, что уже наступил конец света!.. Неужели это так близко, а? Нет, вы подумайте; на носу третье тысячелетие нашей эры! Вы хоть понимаете это, мужики? Хоть кто-нибудь задумался над этим?!” И плачет, и смеется: “Неужели не понимаете?..”

Вертолёт снова резко повернул, и председатель сельсовета вслед за мной невольно посмотрел вниз, где, чуть не задев брюхо вертолёта, медленно и равнодушно-угрожающе плыли, занимая собой пространство от горизонта и до горизонта, серо-сыпучие, вымороженные временем и стужей, голо-неуютные горы.

— Вот так, — снова повернулся он ко мне, — греют его печи. Вся надежда на него...

Нашему постоянному автору МИХАИЛУ АНДРЕЕВИЧУ ЧВАНОВУ исполнилось 70 лет.

От всей души поздравляем его и желаем новых творческих успехов на пользу Отечеству нашему!

ВЕРА КУЗЬМИНА



ЧТО Ж МЫ ДЕЛАЕМ С СОБОЙ?

* * *

— Снова пензию посеял, сивый мерин, гладкий гусь!
— Я люблю тебя, Расея, дорогая наша Русь!
— Весь пинжак-то взади в пятнах, где валялся-то, стерво?
— Ты веками непонятна!..
Бабка тащит самого.
Деду восемьдесят с гаком, не уралец, из минчан.
Колыму прошёл — не плакал, целину пахал — молчал.
Горб, надсада и мозоли — что колхозник, что зэка...
Профиль Сталина кололи возле левого соска,
Сыновей ушедших ждали — не служившим стыд и срам,
И смеялись над вождями, и скорбели по вождям.
— Горе луковое, Сеня! Обоприся на плечо.
Всё Расея да Расея, хоть бы пел другое чо.
Мят да кручен, бит да ломан — ни к чему такая жись...
Слава Богу, вроде дома, на завалинку садись.
Завтра стопку не проси-ко, не подам, палёна мышь.
Вишь, заря-то — как брусника, что ж ты, Сенюшка, молчишь?
Вишь, ворота как осели у соседа в гараже...

Спит на лавочке Расея, уходящая уже.

КУЗЬМИНА Вера Александровна родилась в г. Каменск-Уральске Свердловской области. Закончила Каменск-Уральский медицинский колледж. Работает медсестрой в городской поликлинике. В "Нашем современнике" печатается впервые.

БРОШЕНКА

Не жемчужины — горошинки, не милы, не хороши,
Ходят лишеньки да брошенки, просят медные гроши.

Получают — щедро, скупое ли? Не копейся — не жена.
Им сестрица — Дунька глупая, навсегда Лопухина.

Отцветут ромашки-лютики, в шею выгонят цари,
И в конце дорожки крутенькой — кабаки-монастыри.

Улетит душа безмужняя не голубкою — чижом.
Может, вспомнит про ненужную не сумевший да чужой?

Не сумевший да не сдюживший, не горюй — не суждено.
Дай же Бог тебе жемчужину, не ячменное зерно.

Откупился медным грошиком не сумевший да не муж.
Русь ведь тоже баба-брошенка, да и лишенька к тому ж.

ЛЮБИ

Люби меня за немудрящие
Еду, победу и беду.
За травянисто-серых ящерок
Под лавкой в яблочном саду.

За руку, что махала поезду,
А после падала без сил:
Он с первого абзаца повести
Солдат и ссыльных увозил.

За бабкин крест — сосновый, тёсанный,
Её же крестик в три рубля.
За “козьи ножки” с папиросами,
За сходство “я люблю” и “бля”,

За то, что не бывала маленькой —
Ну, разве что в твоей горсти.
За первый мокрый снег. За валенки.
За то, что не смогла уйти.

ТРОЕ

Россия, ты бессмысленная кручь. Россия, ты великая кручина.
На лезвии застывший тонкий луч — кручиниться ты многих научила.
Кручиниться и кружками стучать — надеяться, что выпьешь — полегчает,
Да вряд ли — слишком много палачат.
Страшнее и честнее с палачами.
Всё в кружках — и рождение, и смерть, и хищные новёхонькие звёзды.
Всё, кроме тела, а оно — конверт. Там нет письма, лишь надпись:
“Не опознан”.
Возьми моё письмо, пока жива, возьми моё молчание ржаное.
Любовница, дитя, сестра, жена — кем хочешь, буду, только помни: трое!
Россия, ты и я.
Пойдём с тобой по комариным безлошадным кручам.
Нас ждут Исеть, и Волга, и Тобол...
Прости, любимый, ты и так измучен.

Бросай письмо, ему тепло в снегу, согреют волки, зайцы, лоси, лисы.
Крутой изгиб твоих бровей и губ — в моём письме постскрипtum.
Не дописан.

Бросай, оно дойдёт в немую Русь, понятное замотанной скотине,
И пьяный шут солёный белый груздь положит на него посередине,
Пацан сопливый сложит самолет и бросит в чёрный двор его с балкона...
Пусть лужа прочитает и поймёт...

(Но лишь прошу — не надо за икону!)

Бросай, пусти, не жди, не плачь, не пой, не для тебя:

“Гори, моя лучина...”

Зачем? Зачем ты выдохнул со мной: “Россия, ты великая кручина...”

Оставь кручёных петель тихий хрип, стук топоров,

Копыт и мокрых кружек,

Крутую тяжесть плах, крестов и плит...

Оставь, хотя ты нужен.

Очень нужен.

КАЗЁННЫЕ

Щи, да каша солёненька, да утопанный плац.
Где вы, белые слоники, старый бабушкин плащ?

Мы с рождения пороты, под колени — горох,
Верно служим опорами ненадёжных эпох:

И штыками, и досками, и лопатой-кайлом.
Бьют ботфорты петровские сквозь века напролом.

Мы иные — казённые. Чёрен крик воронья.
Если точно — казнённые не за други своя,

За других, кто удачливей, чья вода голуба,
Несмышлёншей-мальчиков — молоко на губах,

За игрушки и бантики, за бабулин компот,
За конфетные фантики, груди книжек и нот.

Мы казён... мы казнённые. Нас никто не спросил.
Щи пустые, солёные. Плиты общих могил.

Ложки гнуты и кручены. Не поют соловьи.
Дорастёшь до поручика? Добренчишь до статьи.

Раны-раны, наколочки. Что такое — домой?
Может, в чём-то и сволочи, да зато не дерьмо.

Мы иные — казнённые от суровой казны...
Не пытайте резонами, помолитесь за ны.

СЕМЕЙНЫЙ ЛУК

Мужское “цыть”, наколки-клейма,
Что раньше было — всё зола...
Засох на грядках лук семейный,
Уборка — бабские дела.

Не хватит рук — тащи в подоле,
Суши, раскладывай на печь.
Молчат — от самой сильной боли.
Ох, лук семейный, горечь-речь...

Бывают руки без наколок,
Да свой у каждой бабы крест.
Храни мужей, святой Никола,
Храни таких, какие есть,

Храни мужей, святой Егорий,
Простим всегда... почти всегда.
Ох, лук семейный, горечь-горечь,
Растёт на грядках лебеда.

Подсохший лук — янтарь кубастый,
Угрюмый, ёмкий и лихой.
Скорее — туча солнце застит,
Успеть убрать, пока сухой.

Летит на выжженный пригорок
Семян пушистых кисея.
Ох, лук семейный, горечь-горечь
В подолах глупого бабья...

ОБХОДЧИК

Вдоль истоптанных обочин
Мать-и-мачеха растёт.
Плачет пьяненький обходчик
Возле крашенных ворот:

— Ох, Ирина ты, Ирина,
Что ты делаешь со мной?
Изнутри засов задвинут —
Что я трезвый, что хмельной.
Ждут верёвка и берёза
Возле Каменки-реки...

А глаза его тверёзы —
Голубые васильки.

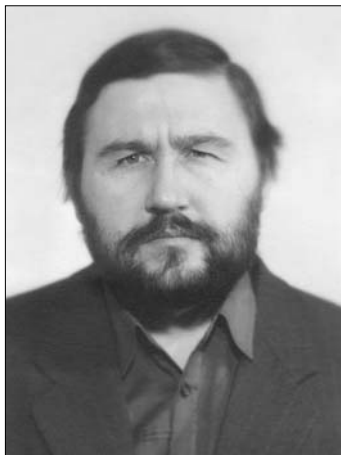
Камень.
Выбитое имя.
Фото.
Шрамик над губой.

Что ж мы делаем с другими?
Что ж мы делаем с собой?

И пальтишки, и шинели,
И Таруса, и Рязань
Испокон веков жалели,
Хоть не верили слезам.
Может, слова бы хватило —
Разогнать хмельную муть,
Чтобы в корень не скосило,
Чтобы узел растянуть.
Пожалеть никто не хочет,
Потемнели образа...

Плакал пьяненький обходчик —
Васильковые глаза.

НИКОЛАЙ КОНОВСКОЙ



Я ЧУВСТВУЮ НЕСЧАСТЬЕ МАЛЫХ СИХ...

КОГДА УМЕР ХОЗЯИН...

...И вот, когда умер Хозяин,
Набежали временщики и падальщики,
В ожидании найти
Спрятанные несметные сокровища.
Нашли:
Две пары стоптанных сапог,
Три кителя,
Патефон и несколько пластинок к нему,
Триста рублей денег —
Всё, что смог накопить оклеветанный
За всю свою жизнь.
На страну же,
Лежащую между трёх океанов,
Им сохранённую,
Оставшуюся бесхозной,
Не обратили никакого внимания.
.....
Позже, яко татки в ночи,
Раскопав могилу,
С воинского мундира
Срезали даже золотые пуговицы...

КОНОВСКОЙ Николай Иванович родился в селе Варваровка Алексеевского района Белгородской области. Окончил Литературный институт имени Горького. Автор книг "Равнина", "Твердь", "Зрак", "Врата вечности", подборок в периодической печати. Член Союза писателей России. Живёт в Москве.

ЗНАКИ

...Когда ж возмездье не пришло,
И мир, как свиток, не свернулся —
В гробу Иуда тяжело,
Наверное, перевернулся.

Что ж! — продано всё... Плачь — не плачь.
Но как бывали все речисты:
Плешивый, меченый, горбач,
Горбатый, трезвенник пятнистый.

И не нашёлся — пьян иль глуп —
Не слушавший пустые враки,
Кто опустил бы ледоруб
На эти проклятые знаки.

ПОНИМАНИЕ

Чем долее живу, тем обострённей
Своим звериным, внутренним чутьём
Бесчувственного отвергаясь круга,
Я чувствую несчастье малых сих:
Пичуг небесных, яростной зимой
Приговорённых к смерти; в колесе
Забот вседневных мечущихся белок,
Вертлявых хлопотуний, их одних,
Доверье к человеческой руке
Ещё не потерявших; стай собак,
Живущих во дворах товарных станций
Нечаянным и редким подаяньем
Как род людской, грехолюбивый; сук,
Голодных и чадолюбивых сук?
Своих детей смиренно отдающих
На гибель неминуемую, в глаза
Убийц детей так преданно глядящих;
Да я и сам; коль вправду, без лукавства,
Подобье человеچه Серой Шейки,
Смертельно чую беспредельный хлад
И говорю, в грядущий рок вперяясь:
“Ужель река, и небо над рекой,
И всё, что есть живого в них — замёрзнет?”

ГЛОТОК

Живы, не умерли, не походили с ума.
Сном неслучившимся более бредить не склонны...
Вот и сковало светящимся — это зима,
Беглым сиянием посеребрившая склоны.

Плоть нечувствительней, медленнее кровотоков.
Что-то забытое тшится звучать из-под спуда.
Дали немереной, горнего ветра глоток
В сердце врывается и разрывает сосуды.

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ВЕЧЕР

Памяти Л. Бородина

...Всё длится и длится литературный вечер,
Вызывая во мне непонятное самому,
Почему-то возникшее
Ощущение недоумения и жалости.
С чужою помощью, к металлическому микрофону,
Один за другим,
Выходят его соратники,
Несломленные борцы с режимом,
Ещё решительнее не приемлющие режим нынешний, —
Старые, больные, немощные,
По лагерям и тюрьмам
Навсегда потерявшие здоровье,
Но взамен обретшие веру православную,
Прекраснодушные ненавистники помрачения,
Уничтоженного совсем другою силою...

Потом, на улице, вдруг неожиданно вспомнилось,
Как одна из последних блаженных дивеевских
Благословляла приходящих к ней ревнителей веры
Не добиваться безрассудно и жертвенно
Возвращения поруганной святыни:
Всё в руках Божиих —
Придёт время —
И ключи от монастыря
Вам принесут сами...

НОЧЬ

В мире затерянном, в полночи — нет ничего,
Кроме растущего, неизъяснимого чувства...
Молнией вспыхнули и обрели божество
Два истрадавшихся, два одиноких безумства.

Встала над пропастью — страстью набухшая мгла:
О, проникающе-неощутимая вещьность!..
Плавнo-податлива, дрогнула, обволокла
Плоти сжигающей, испепеляющей — вечность...

ПРОСТИ...

“Из дольного мира собирающимся на тот свет
Не взять ничего, кроме дел своих — злых или добрых”.
И вот, перед смертною бездною, робок и сед,
Стою, собиравшийся некогда сдвинуть и горы.

Не чаю, прощаю и горько роняю “прости”
Всему, что соделал невинною болью и крахом,
Остатие дни в онемевшей сжимая горсти
И бедную Родину, огненным ставшую прахом.

Есть у А. С. Пушкина пачка отдельных листов, объединённая под одной обложкой с названием “Table-talk” – “Застольные разговоры”. Вольно или невольно, этот приём взял за основу Юрий Коноплянников, выбрав для своих текстов именно эту блестящую пушкинскую форму записи. Но по общему объёму застольных разговоров, анекдотов, сценок и просто заметок, собранных воедино, книги Юрия можно рассматривать как единый кулуарный роман или своеобразную хронику жизни актёров и писателей нескольких поколений. Как описания кухни, в которой в лучшие для писателей годы варились все и вся: люди, события и даже мысли. Это был целый мир, довольно изолированный, малодоступный и тем более малопонятный обычному человеку – не писателю, не художнику и т. п. Не творцу. Мир этот оказался хрупким на поверку и в одночасье развалился или испарился, но Юрий Коноплянников успел зафиксировать многое. Не знаю уж – как, трудолюбиво ли и сосредоточенно-скрупулёзно делал записи все эти годы автор или по вдохновению и наитию, когда придётся, утром, вечером или ночами, трезвый или под хмельком, но, однажды начав, он через годы довёл их до конца, удержал главную интонацию своей книги: интерес к человеческой душе. Как мало в наше время произведений, обладающих этим свойством! Отгораживаясь, как в театре, ширмой от своих персонажей, предоставляя им произвольно высказываться, почти документально фиксируя происходящее, автор, таким образом, раскладывает всё смешное на некий спектр оттенков, сохраняя *уровень остроумия индивидуумов*. Рассматривать этот местами площадной юмор, которым пользуются его герои, эту иногда изысканно нарочитую пошлость и грубость, – рассматривать всё это надо как смесь лицедейства, юродствования, ёрничества, петрушничества, паясничанья, шутовства, скоморошества, то есть как некую русскую сборную солянку, в которой обязательно найдётся что-то смешное на любой вкус. Чтение получается выборочным, но весьма приятным: тут улыбнёшься, тут засмеёшься, а тут и вовсе перечтёшь сценку, как весьма остроумную. Когда-нибудь молодой драматург откроет книгу “Быль и небыль” и обнаружит, что и выдумывать ничего не надо: здесь полно материала для десяти пьес, драм и комедий. В нашей сегодняшней философской бесплодности давайте остановимся хотя бы на реставрации прошлого и человека, нам она предстоит, если верить русским мыслителям. Такова сверхзадача произведений Юрия Коноплянникова.

Как-то раз, очень давно, молодыми, мы сидели с Юрием Коноплянниковым на подмосковной даче, под елями, соснами и луной, под звёздами, со стаканами сухого вина. Пели ночные птицы. Мы говорили о пустяках, смеялись, Юрий уже тогда был прекрасным собеседником. Но как только я заговорил о литературе, он сразу же менял тему – как будто это было ему не очень близко, даже неинтересно. Да и весь его несколько официальный вид – в костюме советского покроя, в белой рубашке, при галстукке даже в кресле на даче – никак не наводил на мысль о будущем писателе. И, конечно же, я не мог догадаться, что уже в то время он чувствовал свою тему и методично отправлял в копилку своей памяти события и образы, создавая портретную галерею наших братьев по “цеху”.

Ведь без “Застольных разговоров” в актёрском и в писательском деле никак нельзя.

Сергей Акчури

БЫЛО — НЕ БЫЛО

Театральные миниатюры

* * *

Я, похоже, поистине был прирождённым артистом. До сих пор смеюсь, вспоминая, как мой сокурсник Владимир Полигин — его потом, к сожалению, отчислили — уговорил меня без репетиции сыграть этюд, в ходе которого я должен был вбежать в аудиторию и сообщить, что жена сына родила.

В связи с тем, что предложение поступило в коридоре, когда показывались готовые, отрепетированные работы, в которых я страстно играл то полярика, то тракториста, то председателя колхоза, стало быть, невзирая на установку знаменитого моего учителя, народного артиста СССР Иосифа Раевского — не выходить на сценическую площадку без репетиции, — я согласился выскочить с этой мимолётной фразой, придуманной Полигиным, надеясь, что пронесёт. Однако не пронесло. Я влетел и ляпнул:

— Жена мужа родила!

И я ещё долго потом переживал это обстоятельство, казня себя за то, что сказанул такое, пока внук великого Василия Качалова, известный на всю Россию-Азию-Европу театровед Алексей Барташевич не познакомил нас с трагедией Еврипида “Царь Эдип”, где царица Мeneвра действительно мужа себе родила.

Таким образом, оказалось, что моя оговорка произрастала из античной трагедии, что, конечно же, в корне меняло ситуацию с собственной оценкой моих профессиональных качеств.

* * *

Юрий Александрович Завадский имел однажды неосторожность по-разному поздравить двух своих блистательных актрис. И тут же получил за это: прочитав не только свою поздравительную открытку к 8 марта, но и Серафимы Бирман, Фаина Раневская выскочила на сцену, вопя:

— Где эта проститутка Завадский? Как Серафима — так *дорогая*, — потрясая открытками, негодовала она, — а как Фаина — так *уважаемая*?!

* * *

Вузовский театральный процесс интересен тем, что до того, как ступить на большую сцену, в большую жизнь, ты, наряду с обретением знаний (профессионального образования), получаешь практический опыт закулисных отношений в самой театральной среде.

Помимо сценических площадок в гитисовских аудиториях — малого и большого залов в институте, — имелся ещё и Учебный театр (он и сейчас имеется и находится там же: в Большом Гнездиловском переулке). На нас он производил царственное впечатление. Выступая на его подмостках, мы становились как бы уже московскими артистами. Тут было всё не понарошку, а как в настоящем производственном театральном коллективе. Здесь и премьеры от-

мечались так же, как у “маститых”. Помню “Прощание в июне” Александра Вампилова. Счастливый (я играл Гомиру – и хорошо, кстати, играл!), сижу я рядом с замечательной, очаровательной, прелестной – и это не перебор с эпитетами, так на самом деле и было! – Эдой Петровной Перовой, хореографом, преподавателем танца на нашем курсе. Собираюсь налить ей в рюмку водки. Она просит не делать этого, а я настаиваю. И потом только понимаю, что этого действительно не следовало делать. Выпив водки, Эда Петровна стала очень приподнятой и вдруг сказала мне, показывая в сторону художественного руководителя курса (на тот момент это был народный артист России Павел Осипович Хомский):

– А у Паши парик.

– Не может быть, – сомневаюсь я.

– Парик, парик, – смеётся она. – Хочешь, подойду и сдёрну?

– Не надо, – ужасаюсь я.

Но Эда Петровна стоит уже рядом с Хомским и пару раз чувствительно дёргает его за волосы. Оставив в полной растерянности, ничего не понимающего Хомского, она возвращается на место и сообщает мне шёпотом:

– Нет. Не парик!

* * *

Юрий Александрович Завадский, обидевшись за что-то на артистов, как утверждали злопыхатели, почти полгода не появлялся в театре. И тут вдруг на сдache – на предпоследнем прогоне нового спектакля по пьесе Валентина Азерникова “Возможны варианты” – он появился.

Когда в финале, по окончании прогона, в зале раздались аплодисменты, то и артисты на сцене тоже захлопали (и я, как студент ГИТИСа, ученик Павла Хомского, постановщика данного спектакля, также был в числе аплодирующих). А Ростислав Плятт, хлопая, приблизившись к рампе, жмурясь от света софитов и всматриваясь в зал, ища “дорогого Ю. А.”, не без юмора произнёс:

– Юрий Александрович, эти аплодисменты – знак восторга и приветствия в честь вашего появления в театре!

После чего Юрий Александрович Завадский, видимо, от избытка чувств ещё несколько месяцев благополучно не посещал своё детище – Театр имени Моссовета.

* * *

Как-то на днях в разговоре с Ириной Дитц, моей замечательной подругой ещё со студенческих времён, по-прежнему на сцене рвущей страсти, прошёлся я по коммерческой составляющей современного театра:

– Да народ-то в театр уже не ходит, – скептически заявил я. – Восемьдесят процентов населения – нищие люди!

Ирина достойно, с былым молодецким задором ответила мне:

– Ходят, – сказала она и объяснила, кто именно и почему: – Учительницы! Чтобы с ума не сойти.

* * *

В день похорон “серого кардинала” советской эпохи Сулова Михаила Андреевича, секретаря ЦК КПСС, отвечавшего за идеологию в стране и в партии, в Калининском ТЮЗе шёл утренник – спектакль по сказке Самуила Маршак “Терем-теремок”.

Олег Фёдоров, артист и член КПСС, играл в нём Волка.

Когда траурная процессия на Красной площади у Кремля, которую показывали в комнате отдыха по телевизору, приблизилась к завершению, Фёдоров, будучи в костюме Волка и никак не ожидая, что за спиной может стоять и не игриво наблюдать за происходящим не кто-нибудь, а сам директор теа-

тра — Цыганов Анатолий Иванович, — торжественно спел, переделав их на свой лад, очень мелодичные строчки из песни, посвящённой закрытию XXII Олимпиады в Москве: “До свиданья, наш ласковый Миша! (Это он Суслову вслед! — Автор.) Отправляйся в свой сказочный мир!”

* * *

В кризисный момент, — а таковой был у Вахтанговского театра, как доверительно поведали мне когда-то друзья, студенты-“щукинцы”, когда его возглавлял Евгений Рубенович Симонов, — народному артисту СССР Николаю Олимповичу Гриценко, гениально сыгравшему Фёдора Протасова в “Живом труппе”, Вадима Рощина в “Хождении по мукам”, Александра Каренина в “Ане Карениной”, немецкого генерала в “Семнадцати мгновениях весны” и так далее, выпала неблагодарная роль... Он стал героем одного театрального анекдота, дискредитирующего режиссёрский талант Е. Р. Симонова.

У всех, к примеру, с любовницами было всё в порядке, а Николай Олимпович подбирал себе, как утверждали недруги, “по интеллекту”, — кассирш из магазина (он ведь, по их заверению, всего четыре класса окончил и нигде больше не учился, был шахтёром по профессии — самородок из Донбасса). И так ловко всё выходило: приводит, мол, Гриценко на очередную премьеру спектакля, поставленного Симоновым, очередную “сестру-милашку” из кассирш (Николай Олимпович якобы их сёстрами называл). А она, сестра-кассирша, после спектакля во время премьерного хвалебного застолья в адрес Симонова не выдерживает и просит слова:

— Можно и я скажу, — говорит “сестра”, волнуясь, — я вот, когда смотрела, все вокруг плевались и говорили про спектакль: “Ну, такое говно! Такое говно!”... А мне так понравилось!

* * *

В общежитии на Трифоновке жили не только гитисовцы. Два этажа арендовались там для отдельных студентов таких известных вузов страны, как Театральное училище имени Бориса Щукина и Художественное училище имени Василия Сурикова.

Африканец Тадес, гражданин Эфиопии, лет десять учился в Советском Союзе (естественно, в Суриковском художественном училище).

Очень хорошо обжился, освоил все советские традиции — особенно те, что связаны с выпивкой. Не терялся ни при каких обстоятельствах: женщин лёгкого поведения, которых приводил в общежитие, представлял как тётечек... И прокатывало: консьержи и консьержки считали, что у африканца действительно проживают в СССР сёстры его родителей, регулярно навещающие племянника. Ни у кого даже мысли не возникало: почему же он чёрный, а тётушки — белые? Вот какое безрасовое общество было в СССР.

И когда некий бородатый господин с режиссёрского отделения Щукинского училища поставил “нашего африканца” в тупик хмельным вопросом: “Ты что, эфиоп твою мать, против советской власти имеешь?” — Тадес не растерялся и стал объяснять, что мы братья навек, потому что христианская религия зародилась сначала в Эфиопии, затем через Армению (хотя исторически, мы знаем, путь был иным — не через Армению, а от Византии. — Автор.) пришла в Россию. Ну, не терялся, словом, парень ни перед какой по-настоящему грозной ситуацией.

Трагедия явилась с совершенно неожиданной стороны, когда мы в морозный день пошли пить пиво возле ларька на Трифоновке. Я спросил Тадеса, который через несколько дней навсегда уезжал в свою страну, — он ехал принимать наследство капиталиста-отца: “А жигулёвское пиво у вас в Эфиопии имеется?” — “Нэт”, — ответил Тадес. “А водка?” — “Нэт”, — сказал Тадес, и у него на глазах навернулись слёзы. “Как же ты жить будешь?” — посочувствовал я, разбавляя пиво водкой, делая ерша для полировки. “Нэ знаю!” — всхлипнул и чуть не расплакался от отчаянья мой африканский друг.

* * *

В Одесском Театре юного зрителя в семидесятые годы прошлого века (при советской власти ещё!) работал дворником подпольный миллионер по имени дядя Вася. И все это знали: и что миллионер, и что подпольный. А зачем работал? Ну, работа, наверно, нужна была ему для отдушины и для прикрытия миллионов. И был в этом театре директор, по фамилии Мягкий Виктор Иванович – аферист, каких свет не видывал: квартирами торговал! Получал, скажем, театр бесплатно от государства квартиру, а директор приглашал по одному нуждающихся в ней из числа артистов или из обслуживающего персонала и вымогал за получение жилья деньги.

И вот как-то накануне, перед очередными льготами от государства по случаю празднования 30-летия Победы в Великой Отечественной войне, пришёл к директору дядя Вася и подал бумагу на те самые привилегии, положенные ему как якобы участнику войны. Директор в неё, в эту бумагу, заглянул и пришёл в ужас, кинул дяде Васе назад его бумажку, зловеще шепча: “Спрячь и никому не показывай!” Бумага на самом деле подтверждала, что такой-то Василий свет Иванович или Степанович действительно служил в Румынской сигуранции (полиции), которая хозяйничала во время войны в Одессе.

На все случаи жизни, оказывается, хранил дядя Вася необходимые для каждого факта в отдельности документы.

* * *

Перед открытием только что построенного здания МХАТа на Тверском бульваре (год 1972) нас, студентов ГИТИСа, отправили в этот будущий храм искусства на субботник. Давид Григорьевич Ливнев, в ту пору доцент кафедры актёрского мастерства, руководивший нами, точно бригадир, пошутил по данному поводу:

– Вы войдёте в историю, – сказал Давид Григорьевич, подводя черту под окончание субботника.

– Какую? – удивились те из студентов, кто были рядом.

– Ну, как же?! – хихикнул наш доцент. – Вы выносили мусор из МХАТа!

* * *

В Учебном театре ГИТИСа в сезон 1973–1974 года выпускной курс Всеволода Порфирьевича Остальского с блеском играл комедию Алексея Толстого “Касатка”.

У студентки Татьяны Николаевой (ныне она – Татьяна Аркадьевна Савенкова, заслуженный деятель искусств Российской Федерации, руководитель Санкт-Петербургского Государственного детского драматического театра на Неве) почти совершенно не было никакого текста в этой незабываемой постановке, но Татьяна слепила свой образ настолько ярко, что расхожее выражение “не бывает маленьких ролей” здесь точно соответствовало истине.

На заднем плане искрился медовый месяц, молодые герой и героиня громко резвились и хохотали там, в барских покоях, на барских перинах, за ширмами. А Татьяна в цветастом сарафане и с важно поднятой головой, молча вышагивая вдоль портала по авансцене и неся на вытянутых руках, чтобы не расплескать, деревянное ведро, дойдя до середины сцены, поворачивалась к залу и сообщала, выдержав паузу:

– Помои... От господ!

Публика валилась из кресел от смеха.

* * *

Выпускник ГИТИСа Семён Напольный – одессит, закончил факультет актёров музыкальной комедии и поступил на работу в Одесский театр оперетты. Одновременно с ним я устроился в Одесский театр юного зрителя. Мы, есте-

ственно, дружили и встречались, иногда по институтской привычке совместно посещали какие-нибудь культурно-просветительские мероприятия и программы. Как-то в наших общих походах в Зелёный театр парка имени Т. Г. Шевченко на киносеансы я заподозрил неладное.

— Сень! А что ты меня всё на эту комедию — “На Ивана Васильевича” — убалтываешь? В чём тут дело? — на пятнадцатый или двадцатый раз после посещения очередного показа кинокомедии “Иван Васильевич меняет профессию” спросил я. — Она тебе так нравится? Тебе так нравится эта кинокартина?

Смутившись, Семён признался:

— Извини, конечно, Юр, но я хожу смотреть эту комедию исключительно затем, чтобы ещё раз увидеть, как ты смачно смеёшься!

Это был замечательный друг — Семён Напольный! Говорят, живёт он сейчас в Америке. Я же давно вернулся в Москву. А что делает Семён за океаном, когда у нас сегодня куда интереснее, чем в Америке?

ЮЛИЯ САНИНА

* * *

Татьяне Ивановне

*Усталая, а стало быть, довольная,
Ко мне вчера зашла на огонёк
Техническая служащая школьная,
В недавнем прошлом — тоже педагог.*

*До пенсии до самой — мама рóдная! —
В каком-то институте,
на краю
Ещё интеллигентной части Родины
Она работу делала свою.*

*Во дни зарплаты боязно поморщиться,
А пенсия нужна стране самой.
И ей открылся светлый путь — в уборщицы,
Чтобы по склону лет не шла с сумой.*

*Однажды как-то, встретившись с начальником
Из бывших институтских “главарей”,
Она, навстречу кинувшись отчаянно,
Скрыть не сумела радости своей.*

*Наполнившись взаимными расспросами
О буднях,
время быстро потекло,
И сбивчиво поведал бывший босс её,
Что и ему изрядно повезло:*

*Он во Дворце культуры служит
дворником
И купит, что поест, на Новый год.
Пенсионерским
колотый
топориком,
Песочком был притрушен гололёд,*

*Но искушённый глаз из осторожности
В работе рук ещё искал изъян...*

*Как символ Интеллекта и Надёжности,
Беседовали двое россиян.*

*Люблю тебя, духовную и статскую,
Страна моя!*

*Хвала тебе и честь:
Твой дворник, защитивший
кандидатскую,
Работает, покуда хочет есть.*

*Настанет срок — и лёд слоями плотными
Сползёт, как всё кончается вокруг.
И... баб с ломáми
сменят бабы с мётлами
И с корочками доктора наук.*

* * *

*Где жизненный итог — не разобрать:
Сложилось исторически, что лишь
Париж увидев, можно умирать.
Но ехать ли для этого в Париж?*

*Любые наши вина и сыры
Достойны их любого короля.
Роскошны подворотни и дворы,
Почти как Елисейские Поля.*

*Душевных ран в душе не утаишь,
Но внешние приходится терпеть.
Помойка наша — истинный Париж:
Её увидев, можно умереть.*

*Как их шансон, мне песенка моя
Мила, пусть и не слишком весела.
В Париже не была, по счастью, я,
А то бы на чужбине померла.*

г. Воронеж

АНАТОЛИЙ КУРАСОВ

ГВОЗДИ

*Люди — гвозди, власти — молотки,
Бьют по шляпкам в нужном направлении,
Слева, справа — было бы с руки,
Были бы послушны в управлении.*

*С левым креном — те, кто полевей.
С правым — кто всегда и всюду правые.
В доску забивай, с размаху бей,
Направляя головы упрямые!*

*Главное — не дать гвоздю упасть,
Искривиться не по направлению.*

*Ну, а что скреплять — то знает власть,
Применяя гвоздь по назначению.*

Е. ЕВТУШЕНКО

*Рядился он и под партийца,
Рядился он и под народ:
То в Думу ряженный явился,
То дал на Запад полный ход.
Он из Америки не слышит,
Предав Россию задарма,
Как в нищете живёт и дышит
Народ на станции Зима.*

Московская область

АЛЕКСАНДР КОКШИЛОВ

* * *

*Час не ровён, о, Русская земля,
В песок горюч уйдёт твоя основа:
В России только три богатыря,
И все они — с картины Васнецова.*

*Они ещё прочней любой стены,
Ещё в руках немеряная сила,
Но всё-таки, увы, утомлены,
И седина их головы побила.*

*Молодшему из них за сотню лет,
Куда старей-седей другие оба.
Проехали...
Я кланяюсь вослед,
За них переживаю до озноба.*

*Они ещё врагам внушают страх,
На них ещё надежда, как на Бога.
Но копится беда на рубежах —
Час не ровён...
И им нужна подмога.*

г. Волжский

ОЧЕРК И ПУБЛИЦИСТИКА

ЗАПИСКИ РУССКОГО ПУТЕШЕСТВЕННИКА

Известный российский путешественник и исследователь животного мира тайги Камиль Фарухшинович Зиганшин является автором интереснейших книг о диких животных и романов о русских старовеках. Ряд его произведений публиковался на страницах нашего журнала. Некоторое время назад он в составе экспедиции Русского географического общества, осуществляя проект исследования супервулканов “Огненный пояс Земли”, совершил путешествие по Северной и Южной Америке, пройдя оба американских континента с севера (от Аляски) до крайнего юга (Огненной Земли). Записки об этой необычайной экспедиции, несомненно, вызовут пристальный интерес наших читателей.

КАМИЛЬ ЗИГАНШИН

ЧЕРЕЗ ОГНЕННЫЙ ПОЯС

1. От Аляски до Огненной Земли

Прежде чем приступить к своему повествованию, поясню, с какой целью Русское географическое общество организовало экспедицию “Огненный пояс Земли”.

Первопричиной явился угрожающий рост вулканической активности и объективная реальность извержения супервулканов с чудовищными последствиями для всего живого на Земле. Супервулканы – это самая грозная стихийная сила на нашей планете. Они имеют огромные размеры и мощь, в десять тысяч раз превосходящую силу извержения обычного вулкана. Взрыв супервулкана (именно взрыв, а не извержение) влечёт катастрофические изменения условий жизни на нашей планете.

Последняя подобная глобальная катастрофа случилась в Тобе на Суматре 75 тысяч лет назад. Миллиарды кубических метров пепла попали в атмосферу, и солнечные лучи долго ещё не могли пробить эту толщу. Произошло длительное глобальное понижение температуры на 19–21 градусов. В результате этого в разы сократилась численность животных, а часть видов вообще вымерла. Не меньшие потери понёс и растительный мир.

В отличие от обычных вулканов, имеющих форму конуса, супервулканы представляют собой огромные ложбины или понижения в земной коре, называемые кальдерами. При классическом извержении лава поднимается по жерлу и, заполнив кратер, изливается наружу. В супервулканах же магма заперта в гигантских подземных резервуарах. Скапливаясь в них, она начинает давить на земную кору. Это продолжается в течение сотен тысяч лет. Когда

давление достигает критической отметки, происходит взрыв чудовищной силы, в результате которого гибнут целые континенты. Таких спящих “монстров” на Земле несколько, и один из самых “созревших” находится в Йеллоустонском парке в США. В настоящее время “резервуар” под его кальдерой заполняется магмой с угрожающей скоростью. Поскольку период между взрывами этого монстра находится в интервале 600–700 тысяч лет, а последнее извержение произошло 640 тысяч лет назад, Земля живёт в преддверии очередного катаклизма, в котором неизбежно погибнет большая часть человечества.

Идея обследования вулканов Тихоокеанского пояса – самого беспокойного на нашей планете, – была выдвинута краснодарским геоморфологом, опытным путешественником, чемпионом России по спортивному туризму Константином Мержовым. Ему и выделили грант для выполнения программы, рассчитанной на 900 дней. Она предусматривала обследование семидесяти вулканов, разбросанных по витиеватой окружности побережья Америки. Протяжённость маршрута оценивалась в 70 тысяч километров.

Среди основных целей экспедиции выделю три: научная – получить одномоментный срез состояния вулканов Тихоокеанского пояса, оценить степень их активности; спортивная – совершить первое в истории непрерывное кругосветное путешествие по меридиану Земли, используя самые разные средства передвижения: снегоходы с санями, лыжи, автомобиль, велосипеды, катамаран и... свои ноги. Наконец – медицинская цель – наблюдение за изменениями физического и психического состояния в малочисленной группе людей при длительных нагрузках.

Не могу не рассказать об участниках экспедиции, моих верных друзьях. О Константине Мержове (ему 44 года) я уже говорил, а вот рачительному заводу и обаятельному балагуру Алексею Казаченко исполнилось всего 25 лет. Не знающему ни минуты отдыха хронометристу, красавцу с лучезарной, располагающей с первого взгляда, улыбкой Николаю Коваленко тоже 25 лет. Редчайшему, несмотря на его молодость, специалисту в области медицины Андрею Колодкину тоже 25, а похожему на былинного богатыря заведующему снаряжением Илье Семёнову – 24 года. И единственный очкарик в экспедиции, молодящийся пенсионер с писательскими наклонностями – автор этих строк!

2. Парадоксы Аляски

В общей сложности 20 часов мы провели в воздухе, добираясь с пересадками в Атланте и Солт-Лейк-сити до Анкориджа на Аляске – конечной точке перелёта, и Анкоридж порадовал нас звёздным небом и привычным для россиян двадцатиградусным морозом, согретым теплом дружеских объятий соотечественников – Виктора Семёнова и Василия Данилюка. Они помогли загрузить багаж в машину и повезли сквозь чернильную тьму безлунной ночи в гостиницу.

С утра отправились в турне по магазинам закупать провиант, снегоходы и недостающее снаряжение. Анкоридж представляет собой одно-двухэтажный блин, широко размазанный по пойме реки Матануска, с несколькими торчащими небоскрёбами из стекла и бетона посередке. Его с трёх сторон подпирают пилообразные отроги гор, а с четвёртой (с запада) ограничивает залив Кука. Численность населения – 300 тысяч человек, но пешеходов на улицах почти нет – все на колёсах. Как правило, на грузопассажирских внедорожниках “Форд”, “Шевроле”, “Тойота” немислимых размеров и с полуметровым дорожным просветом. На некоторых установлены подвесные ножи для очистки пути от снега. Получается вездеход в квадрате! Легковых машин средней величины мало, а малагабаритные – вообще в диковинку. Не любят американцы их.

Дороги и тротуары в Анкоридже, несмотря на обилие снега, чисто выскоблены. Ходить и ездить по ним одно удовольствие. Удивило то, что для пешеходов зелёный горит всего 6–8 секунд. Но, надо отдать должное водителям, ни один из них не тронется, пока пешеход не освободит проезд.

Поразило, что местные жители, невзирая на мороз, одеваются довольно легкомысленно: трикотажная курточка, непокрытая голова. Одна крупногабаритная тётя прошествовала мимо нас в тоненькой кофточке, в короткой юбке

и со штиблетами на босу ногу. Нос посинел, а она улыбается, – похоже, ей хорошо. Наша команда, облачённая в пуховики, рассчитанные на пятидесятиградусный мороз, вызвала у местных снисходительные улыбки.

Русских здесь довольно много. Жизнь у них складывается по-разному. Кто-то вписался в американскую систему и счастлив. Кто-то только и думает, как бы поднакопить деньжат и вернуться на родину.

Порт в Анкоридже занимает огромную территорию. Разделённые проездами площадки заставлены тысячами ярко окрашенных контейнеров. Мимо них то и дело проползают длиннющие эшелоны с сырой нефтью. Тянут их от побережья Северного Ледовитого океана, сотрясая окрестности чудовищными гудками, сразу четыре жёлтых локомотива: иначе им не одолеть многочисленные горные перевалы.

А вот продукты в Америке отвратительные – нужных нам тушёнки, сухарей, круп и т. п. в магазинах не было. Всё какие-то суррогаты в красивой упаковке. А привезти с собой провиант мы не могли – на американской таможене всё съестное конфискуют. Неприятно удивил хлеб – он тут вообще никакой: ни запаха, ни вкуса. Жуёшь какую-то пресную, вязкую, по вкусу похожую на бумагу, массу.

23 февраля, перед утренней пробежкой, Костя поздравил нас с Днём Советской армии и Военно-морского флота. По этому случаю распили четверть яблочного сока (кстати, это один из немногих американских продуктов, не вызвавший нареканий). Наш ежедневный тренировочный маршрут охватывает периметр порта с выходом на смотровую площадку возле устья реки Матануска. Поскольку уровень воды в заливе за зиму упал метра на два, припай вдоль берега обвалился, образовав непроходимые, смёрзшиеся валы. Мимо них с шорохом ползти непрерывной лентой льдины. Стало понятно, отчего у причалов нет судов, – залив плотно забит этим подвижным крошевом. Открытые окна воды просматриваются лишь на выходе из залива Кука, километрах в пяти от порта. Проплывающий лёд довольно грязный. Видимо, из-за городских стоков.

На севере проступает нечёткая громада Аляскинского хребта. Перед ним тянутся кряжи пониже. Их заснеженные пики, тронутые первыми лучами солнца, на глазах разгорались нежным пурпуром.

... Чем больше общаемся с сопровождающими нас русскими, тем откровенней они становятся в своих высказываниях об американском образе жизни. И к нам постепенно приходит понимание, что не всё тут так радужно, как показалось вначале. Из их слов следовало, что, да, здесь красиво, удобно, но вся система настроена на то, чтобы человек непрерывно вертелся, работал на пределе, лишь только расслабился – эта система выбрасывает его на обочину. В последние годы многие разорились, особенно те, кто набрал кредиты. А уж если заболел, то это катастрофа для семейного бюджета.

... Каждый, кто прожил на Аляске более года, может приобрести лицензию на отстрел одного лося и двух оленей-карибу. В ней указано, где и в какие сроки можно охотиться. Кроме того, даётся разрешение (пермит) на ловлю красной рыбы (здесь её называют сэлман, кинг-сэлман, сэлман-рэд, сэлман-сильвер) – 15 голов на главу семейства и по 10 на каждого члена семьи. Нарушения правил охоты редки – штрафы и сроки за незаконный отстрел или отлов токовы, что на всю жизнь отбивают желание браконьерить. К примеру, за лося год тюрьмы гарантирован.

Для эскимосов, алеутов и индейцев промысловые нормы ещё выше. Белые американцы как бы искупают свою вину за уничтожение большей части коренного населения при захвате самых лучших земель в период колонизации. В этом “деле” их англоязычные предки были ненасытны и чрезвычайно жестоки.

Недаром, когда прославленный вождь индейцев Сидящий Бык, выступая в сенате США, заявил: “Белые люди не выполнили ни одного договора, заключённого с индейцами”, никто не смог его опровергнуть.

На Аляске любой взрослый может, как и во времена колонизации, разгуливать по улицам с кольтом или револьвером на бедре. Не разрешается заходить с оружием только в общественные учреждения. Наш знакомый Василий Данилюк как-то открыл свой оружейный сейф – так там оказался целый арсенал нарезных карабинов, пистолетов и боеприпасов к ним. Видно, без этого в Америке не проживёшь!

И болеть в Америке не стоит – цены на медицинские услуги просто умопомрачительные. Одни сутки в больнице стоят 5500 долларов в Анкоридже. Кого-то выручает страховка, но не все имеют возможность оплачивать её (в месяц надо платить порядка 400 долларов за взрослого и 200 за ребёнка) Понятие декретных денег вообще не существует, как и самого декретного отпуска – женщина работает до последнего дня и за роды придётся заплатить 15–16 тысяч долларов! Максимум, на что идёт администрация, – предоставляет роженице недельный неоплачиваемый отпуск. А через неделю после родов – пожалуйста на работу!.. В то же время поражает трогательное внимание к инвалидам и старикам. Вот такие парадоксы!

Американцы с детства приучены к повиновению закону поистине драконовскими мерами. Законодательство так устроено, что даже за незначительный проступок можешь угодить за решётку лет на десять. И хотя в тюрьмах условия содержания хорошие, терять свободу никому не хочется. Ещё американцы приучены информировать полицию о любых нарушениях или подозрительных ситуациях. Если, например, к соседу приехали незнакомые люди на крутой тачке, то кто-нибудь обязательно запишет номер, сфотографирует и сообщит дежурному. Это у них один из способов борьбы с нарушением законов (в первую очередь с сокрытием доходов). Всё, что говоришь, американцы воспринимают буквально. Если скажете, что мёд в России вырабатывают из снега, а по московским улицам ездят сани, запряжённые белыми медведями, то, скорей всего, вам поверят. В общем, шутить с ними опасно, ибо можете оказаться в неприятной ситуации.

Живущие здесь наши соотечественники очень переживают, болеют за Россию и радуются каждой позитивной информации с далёкой родины. Все-го в США проживает около двух миллионов русских. Тут надо пояснить – русскими американцы называют не только этнических русских и жителей России, но и всех, кто приехал из стран бывшего СССР. На Аляске к русским относятся заметно лучше, чем в других штатах (видимо, действует историческая память).

В самом Анкоридже сейчас проживает 10 тысяч россиян. Многие полицейские владеют минимальным словарным запасом для общения с ними. Вообще интерес к России на Аляске большой. В двух школах даже изучают русский язык. Меня, почитателя староверов, в особенности порадовало то, что в этом штате здравствует немало староверческих общин. Некоторые существуют ещё со времён царствования Екатерины Великой. Больше всего их на островах.

... Наконец нашли два подходящих, способных выдержать многокилометровую гонку через горы и заваленную снегом тайгу, снегохода “Скидо Арктик” мощностью по 150 л. с. Они хоть и бывшие в употреблении, но заводятся и тянут как новые.

Завтра установим на санях дышла, полозья, прикрепим к снегоходам фаркопы, погрузимся, и после обеда в путь! Настроение сразу изменилось. Все повеселели, охвачены предстартовым возбуждением. Так происходит всякий раз, когда собираешься в незнакомый край, а сейчас особенно, потому как край этот – волнующая воображение россиянина Аляска. Да, чуть не забыл, – утром Анкоридж очередной раз потрянуло сильное землетрясение. Да так, что стёкла испуганно задрезбужали. Огненный пояс не дремлет!

3. К Юкону!

Утром под наблюдением трёх лосей, стоящих на краю подступающей прямо к дому Василия Данилюка тайги, загрузили на широкую платформу снегохода и сани. Расселись по машинам и поехали к озеру Биг-Лэйк. По обочинам ещё несколько раз видели сохатых, флегматично обкусывающих кончики веток.

Съехав на лёд, прицепили к снегоходам сани, загрузили в них снаряжение, провиант, канистры с бензином и помчались по укатанному собачьими упряжками тракту между высоких стен густого, по большей части хвойного, леса в глубь промороженной насквозь Аляски. Провожатые махали вслед шапками до тех пор, пока наш караван не скрылся за деревьями. В такие минуты радостное ожидание – что там впереди? – всегда немного омрачается грустью от расставания с людьми, ставшими почти родными.

... Чем ближе к Полярному кругу, тем глубже снежный покров. Особенно глубок он в распадах и котловинах — намело ветрами. На водоразделе его заметно меньше. Наверное, поэтому по гребням увалов так много парнокопытных. Как-то, выворачивая из-за туполобого утёса, чуть не врезались в лосиху. Увязая по брюхо в рассыпчатом снегу, она едва успела освободить дорогу. Тяжело дыша, повернула голову и посмотрела на нас с укоризной: мол, поосторожней, ребята!

Село Руби, вытянувшееся на правом берегу реки Юкон, оказалось довольно большим и благоустроенным. Население смешанное. Преобладают алеуты и эскимосы (они по большей части полнотелы, медлительны), есть и индейцы атабаски и тлингиты (эти худощавы, резковаты и менее дружелюбны, к тому же многие пьют).

Здесь, наконец, заправили под завязку и баки, и канистры. Мы, а в особенности водители снежных мустангов, были счастливы. Чтобы не искушать себя соблазном заночевать в тепле обустроенной “жилухи”, Костя сразу поддал газу, и мы помчались по обрывистому берегу мимо занесённых снегом домов. Лагерь разбили у высокого скалистого мыса, обрамлённого острокопечными елями. Солнце скрылось как раз тот в момент, когда мы натянули палатки. Но обугленный горизонт ещё долго тлел в огне заката.

Закованный в лёд Юкон, беспрепятственно собирая приитоки, продолжал раздаваться вширь. Горы отступили, их очертания смягчились. Там, где река прорезала очередную холмистую грядку, скалистые берега вздымались на 100–120 метров. С последней сглаженной цепи открылась унылая панорама: покрытая снегом пустыня, оживляемая одинокими монахинями-ёлочками, обнажёнными лиственницами, тонконогими берёзками. Все они какие-то сутулые и корявые. Растут, бедные, заваливаясь в разные стороны, с трудом удерживаясь корнями за мягкую, сейчас заиндевевшую, моховую подушку. Но не будь этих отважных первопроходцев, некому было бы готовить почву для наступления высокоствольных лесов.

Снега всё глубже. Лоси уже еле ходят — проваливаются по грудь. Сделают несколько шагов и останавливаются, чтобы отдышаться.

Нескогда добрались до “перекрёстка”: места соединения северной и южной веток тракта. Объединившись в одну, он покидает долину Юкона и устремляется напрямик к Тихому океану. Лес практически исчез. Если и встречается, то небольшими куртинками. Совершенно лысые, накрытые белыми холстинами, кряжи кажутся безжизненными, но строчки и ямистые траншеи выдают присутствие зверей: зайцев, горных баранов, песцов, овцебыков. Есть даже сохатые. Правда, непонятно, чем они тут питаются.

От мороза и резкого ветра, сбивающего дыхание, из глаз постоянно текут слёзы. Они замерзают на усах, бороде, стягивают рот. меховая опушка капюшона, брови, ресницы сплошь в искристом куржаке.

Достигнув морского побережья и проехав вдоль него километров шестьдесят, встали на ночёвку. Не успели обустроиться, как при ясном небе на нас с гор обрушилась клубящимся валом пурга. Она словно караулила нашу группу — нагрязнула сразу, как только освободили от снега площадку и принялись разворачивать палатки.

Ужин готовили внутри палатки, подпирая спинами рвущиеся от яростных порывов капроновые скаты. От заправленной бензином горелки в палатке вскоре стало трудно дышать. Приходилось периодически приоткрывать полог и запускать свежий воздух, сдобренный вихрями снега.

Разбушевавшийся буран то выл голодным волком, то по-разбойничьи свистел, то стонал, как раненый медведь. Ночь тянулась бесконечно... В голове каждого крутились тревожные мысли, невольно проигрывались худшие варианты. Но к утру ветер выдохся, подутих. С трудом пробившись наружу, принялись откапывать палатки, — из снега торчали одни оранжевые макушки. К счастью, обещанный сорокаградусный мороз миновал эти места. Наш метеоролог Николай Коваленко, ежедневно фиксируя всевозможные метеопараметры портативной метеостанцией, ни разу не зафиксировал температуру ниже 32 градусов. Сегодня — минус 21. Сказывается близость океана. В континентальной части всегда значительно холодней. Ветер при порывах достигал 25 метров в секунду и пронизывал до костей.

4. На земле золотоискателей – в краю северного сияния

База первых золотоискателей – Ном, по северным меркам довольно большой посёлок. Своим появлением он обязан золотой лихорадке, охватившей Аляску, точнее – полуостров Сьюарда, в самом конце XIX века, когда в ручье Энвил-Крик шведы обнаружили несколько золотых самородков. Золотоносный полуостров назван в честь Уильяма Генри Сьюарда – госсекретаря США при Аврааме Линкольне и позже. Именно этот деятель сумел ловко облапошить правительство Российской империи и приобрести для США Аляску за 7,2 млн долларов (то есть территорию в 1 518 800 кв. километров по цене 4,94 доллара за кв. километр – невиданная в истории человечества воровская сделка!). А после обнаружения здесь золота эта полоса арктической пустыни (ближайшее дерево находится в 120 км южнее) ожила. Именно тогда число жителей было рекордным – 20 тысяч человек. Новое рождение, точнее сказать – возрождение, последовало во времена Второй мировой войны, когда через Ном шла по ленд-лизу в Советский Союз военная техника, в основном самолёты.

По уровню развития инфраструктуры (одних церквей одиннадцать, заправок станций – три), количеству домов Ном смело можно назвать городом. Тем более что численность населения в настоящее время перевалила за пять тысяч. Здесь даже есть свой памятник – собаке хаски. Возле центральной гостиницы стоит “Столб Мира”? на нём указатели: “Лондон – 4376 миль”, “Россия – 164 мили”...

Тут нам сразу улыбнулась удача, или, как говорят старатели, подвалил фарт. Первый встреченный нами житель городка оказался эскимосом, сносно говорящим по-русски. Звали его Ила (почти Илья). Узнав, что мы совершаем кругосветное путешествие и завтра отправляемся на мыс Принца Уэльского, он стал уговаривать Костю переночевать в его доме – хоть и на полу, но в тепле. Ему очень хотелось пообщаться с русскими из загадочной России. Командор, видя, как загорелись надеждой наши глаза, смилостивился: отступил от железного правила ночевать только в палатках. Пока ехали к дому Илы, навстречу попало человек шесть. Почти все шли шатающейся походкой. Увидев нас, они выкрикивали какие-то непонятные приветствия. Мы вопросительно поглядели на Илу.

– Пьяные! Есть такая проблема, – качает он головой. – Зато у нас нет преступности, и вы можете спокойно спать с открытой дверью.

Войдя в дом, мы, к разочарованию любознательного эскимоса, не раздеваясь, повалились на расстеленные пенки, – настолько вымотались. На прозвучавший через час клич дежурившего Кости: “Подъём! Ужин готов!” – никто, кроме Лёхи и хозяина, не отреагировал.

До посёлка Уэйлс добирались, несмотря на безупречно ровный накат по всей трассе, почти двое суток. Самый западный населённый пункт Северной и Южной Америки встретил нас лаем собак и улыбками розовощёкой ребятни. В их карих глазах сквозило жадное любопытство. Удивило количество детей на дороге. Потом сообщили – детвора шла из школы.

Посёлок представляет собой одну улицу с тремя десятками одноэтажных строений, в которых проживает 156 эскимосов. Дома на метровых сваях. Стены, обращённые к Берингову проливу, заложены до крыши снежными блоками. Здесь нет иных укрытий от стихии? кроме длинных и низких домов. Условно для жизни из-за сложных погодных условий здесь очень тяжёлые, но ни у кого из них и мысли нет покинуть этот голый, скалистый, открытый всем ветрам мыс. Живут эскимосы охотой на моржей, белых медведей, рыбалкой. В межсезонье ловят сетками, привязанными к концам длинных шестов, морских птиц прямо на лету.

Из дома напротив вышли две женщины. Шагали, слегка раскачиваясь и весело чему-то смеясь. На ногах белые меховые унты, из-под отороченного капюшона выбиваются длинные, цвета воронова крыла волосы. Увидев нас, они замолкли и прошли, насторожённо поглядывая. Эта перемена красноречивей слов свидетельствовала о том, что мало они видели от белых поступков, вызывающих уважение и доверие.

Когда мы прощались с водителем, к нам подбежал молодой эскимос и, повторяя одну и ту же фразу, стал тыкать в сторону двухэтажного здания. Оказывается, хозяин этого внушительного строения американец Дэн (он здесь единственный белый – все остальные эскимосы, правда, утратившие язык

предков) выкупил этот полуостров и теперь собирает с каждого приезжего дань – 100 долларов. Развивая свой экзотический бизнес-проект, землевладелец построил гостиницу и сдаёт одно койко-место за 100 долларов за каждую ночь. Наше появление сулило Дэну хорошие барыши, но Костя, чтобы не платить, приказал разбить лагерь прямо на льду Берингова пролива, между заваленных снегом торосов. До захода солнца оставалось ещё часа два. Мы не удержались – полезли на самую высокую точку мыса Принца Уэльского: гранитного горба, являющегося частью доледникового сухопутного перешейка, соединявшего Аляску с Чукоткой, Северную Америку с Азией.

Залитый нежной позолотой заката оледеневший снежный покров, звонко похрустывая под ногами, с каждым шагом истончался. Ближе к макушке он вообще исчез – сдуло ветрами, иссушило солнцем. Каменные струпья покрывала лишь льдистая корка. Чтобы не упасть, последние метры шли, поддерживая друг друга.

Вершина мыса отмечена туром, сложенным из угловатого плитняка и торчащим из него небольшим крестом из двух дощечек, – совсем уж скромно для столь знакового географического объекта. Как-никак – самая западная точка Америки!

На нашем мысе Дежнева – самой восточной точке евразийского материка – всё немало солидней: шестнадцатиметровая четырёхгранная башня с бронзовым бюстом Семёна Дежнева и чугунной плитой “Семён Иванович Дежнев, 1605–1672”, рядом лиственный крест.

Закатный свет, разливаясь по западной части небесного свода, попутно окрашивал пурпуром торосистые льды Берингова пролива, возвышающиеся вдаль над ними американский остров Малый Диомид (самая западная точка Северной Америки) и российский Большой Диомид (самая восточная точка Азии). Их разделяет узкий пролив шириной 1200 метров, по которому кроме государственной границы проходит линия перемены даты. Чуть дальше проступает сквозь синеватую дымку мыс Дежнева (ширина пролива – 86 км). Воздух заполняли мельчайшие кристаллики льда. Они летали, кружились, вспыхивая розовыми блёстками в прощальных лучах завершившего трудовую вахту светила. И величественная тишина царила вокруг.

Перед сном вышли полюбоваться уже ночной панорамой – когда ещё бываешь на этом краешке земли! На чёрном небосводе густо мерцали ярко начищенные звёзды. Медовая, растущая луна, поскитавшись между ними, убежала за горизонт, догонять подружку. Сразу стало темно – хоть глаз выколи. Зато из открывшихся тайников высыпала уйма новых звёзд. Следом по искристому бархату пробежал бледный сноп света, и почти сразу заиграли зеленовато-сиреневые сполохи, похожие на складки гигантского занавеса, покачиваемого ветром. Его извивы то сходились, то расходились, разгораясь всё ярче и ярче. Эти волнообразные колебания сопровождались идущими из неведомых глубин шорохами и свистом переменной тональности. Когда сполохи охватили половину свода, они внезапно погасли, и небо опять стало угольно-искристым, но через непродолжительную паузу вновь радужно заиграло причудливо закрученными лентами и вьющимися языками холодного пламени. Не успели мы налюбоваться этой феерией, как небо погасло. Через минутку, на этот раз совсем ненадолго, оно озарилось бьющими из тьмы серебристыми зарницами и потухло. Но мы ещё долго стояли среди наступившего безмолвия под впечатлением незабываемого представления, имя которому северное сияние!

В Анкоридж вернулись на самолёте. Путь, который на снегоходах героически преодолевали шесть дней, на самолёте занял меньше двух часов.

5. Там русский дух! – В гостях у русских староверов

10 марта при активном содействии Ильи Иванова удачно, всего за 2000 долларов, купили семиместный заднеприводный автомобиль “Сафари”, выпущенный компанией “Дженерал Моторс” в 1997 году. Ребята из автосервиса провели ревизию и определили, какие запчасти потребуются для восстановительного ремонта. Они же взяли доставить их за сутки.

Чтобы сэкономить финансы, ремонт решено было делать своими силами в любезно предоставленном Ильёй Ивановым тёплом гараже. Поскольку

драндулету уже 14 лет, он проржавел настолько, что ребятам то и дело приходилось прибегать к помощи зубила и кувалды. Я, чтобы не мешаться, ещё с вечера сговорился с Сергеем Натёкиным ехать на поиски глухой староверческой деревни Берёзово, затаившейся вдали от основных дорог. Мне очень хотелось увидеть своими глазами, как живут на Аляске последователи огнепального протопопы Аввакума, хранящие на чужбине верность не только древнему православию, но и русской культуре вообще.

Где находится их поселение, Сергей знал приблизительно, и мы долго безуспешно плутали по глухим просёлкам. И проплутали б ещё, не заметь на лесной дороге бабуся в белом платке, рассекавшую на РАФ-4 свежеснеговывпавший снег. Коль в платке – стало быть, староверка, решил я. Дабы не смущать женщину, дождался, когда машина скроется за деревьями, и поехали, придерживаясь рассыпчатой колеи.

Через полчаса, миновав буреломный лес, увидели среди атласных русских берёз строения. У въезда в деревушку стояло длинное здание с табличкой на русском “Школа”. Тут же, у крыльца стоял и РАФ-4. Осторожно постучали в дверь. Открыла та самая “бабуся” в длиннополой юбке с множеством оборок. И вовсе не бабуся, а молодая, улыбчивая женщина – местная учительница, Антонида. Узнав, что мы из России, обрадовалась, пригласила нас в кабинет. Усадив за отдельный столик, достала розовые бумажные стаканчики, налила брусничного морсу, нарезала ломти свежеспеченного, с хрустящей корочкой, хлеба:

– Отведайте нашего кушанья! Токмо испечён.

Мы из вежливости пытались отказать, но Антонида мягко настаивала:

– Что ж вы такие стеснительные. Откушайте, а то я плохо думать буду!

На вкус хлеб отличался от привычного нам. Заметив наше удивление, она с улыбкой пояснила:

– Мы в опару молотый перец добавляем.

Когда мы собрали со стола в ладошку даже крошки, довольная Антонида повела нас в класс, общий для всех двадцати двух учеников. Вторая учительница, постарше возрастом, как раз что-то объясняла им.

Большинство детей с чисто славянской внешностью: русоволосые, со смышленными, живыми серо-голубыми глазами. У всех старинные имена: Дарья, Нил, Лукьян, Прокоп. Сидят каждый за отдельным столом, отгороженным от соседних невысокими перегородками. Учебная программа построена так, что с первого класса прививаются навыки самостоятельной работы. Учитель подключается лишь тогда, когда ребёнку что-то непонятно. Физику, химию дают поверхностно. Основной упор делается на математику, геометрию, историю, литературу, русский, правоведение. Уровень получаемых знаний у детей настолько высок, что Ульяна Фонова и Епифан Реутов в прошлом году на олимпиаде по русскому языку в США были отмечены золотой и серебряной медалями. В этой школе кроме обычных каникул не учатся ещё семь дней на Пасху.

Чтобы не отвлекать детей, я попросил учительницу познакомить меня с кем-нибудь из знатоков истории общины. Антонида вздохнула: “Ноне все мужики в море” и предложила пообщаться с дедом Ермилом – единственным из глав семейств, кто сейчас дома.

– У нас нельзя чужим в избу, ежели хозяин в отлучке. А он радый будет. Оба сына, что с ним живут, в море. Сноха с бабой Марфой к внучке поутру уехали.

К дому Ермила шли по натоптанной снежной тропке, вьющейся между стоящих вразброд среди леса аккуратных домов. Деревня оказалась небольшой – девять, как сказала Антонида, “дымов”. Вид изб несколько озадачил – построены не из брёвен, а из дощаных щитов, между которых проложена теплоизоляция. Во дворах образцовый порядок, почти во всех по три-четыре ухоженные пуховые козы: для молока и пряжи.

Дед Ермил сидел в сенях на оленьей шкуре и, склонив посеребрённую голову с окладистой бородой, тесал из березовой заготовки топорище. Природа, похоже, кроила его по особому заказу: крупная, несколько тяжеловатая медвежья фигура, покатые плечи, узловатые пальцы натруженных рук.

– Здравствуй, радость моя, – силпо пробасил он учительнице.

На меня же, худосочного очкарика, только настороженно покосился. Антонида низко поклонилась и пояснила цель визита. Узнав, что я писатель,

участник российской кругосветной экспедиции, да ещё автор двух романов о староверах, удостоенных нескольких всероссийских премий, и собираю материал для третьего, старик заметен помягчел. Испытующий взор стал доброжелательным. Он, не торопясь, снял фартук, разгладил сивую, похожую на лопату бороду и пригласил в дом. Сам прошёл вперёд твёрдым, во всю ступню шагом.

Здесь уже чувствовался русский дух: три стены чисто выскоблены, “глухая” разрисована охрой — пышные цветы на фоне затейливого орнамента; неокрашенный, плотно сбитый пол отщёрт песком добела, на нём тканые дорожки; в углу над столом божница, заставленная иконами, рядом, на деревянном гвозде, лестовки. У окна ткацкий станок, прялка, тут же в берестяном коробе клубки пряжи.

Пока я оглядывал внутреннее убранство, дед Ермил надел за перегородкой белую рубаху, расшитую по краю красными нитками, затянул поясок с кистями и приставил самовар к трубе, выведенной в печной дымоход. Вскоре мы, прихлёбывая заваренный из толчёных плодов шиповника чай (мне, как я успел заметить, хозяин достал отдельно стоящую гостевую кружку), беседовали об их житье-бытье на Аляске.

— Ну, коль имеешь интерес, слушай. В этих краях мы недавно, с 83 года. Наши корни вообще-то из Тамбовской губернии, но как послабление вышло, так вся община на Дальний Восток перебралась, — землю щедро давали, до ста десятин на семью. Мой дед со всей оравой под Владивостоком надел получил. При большевиках им пришлось всё бросить и в Китай погаться. Там я и родился.

— Фантастика! Я ж, дядя Ермил, тоже в тех краях двадцати лет прожил. А вы не помните, из какой деревни ваши?

— Вот это да тебе! Антонида, гляди-кась — гость-то земляк почти!

— Поистине пути Господни неисповедимы!

— Из Смирновки, недалече от Раздольного. Слыхал?

— Про Смирновку не слышал, а вот в Раздольном бывал. Мой однокурсник оттуда — ездили к его родителям в гости... А на Аляске-то как оказались?

— Ну, слушай дале. Из Китая перебрались сперва в Бразилию, опосля в Николаевск — то в штате Орегон. Там много брата с нашего стада и поныне, да простору в нём маловато. Засим сюда и уехали — здесь, на воле, жизнь в радость. Жительствуем по большей части рыбалкой. Промышляем в море-окияне за 150–200 верст отсель. Я, правда, ужо не ходок — ноги подводят. Вот столярничая, пимы из руна кому потребно катаю. За выход робята сетями до 600 пудов берут — то пока море не встанет. А ежели мороз вдарит так, что море льдом покроет, на перемёт начнут. Наживку — на крючья, а лесу сквозь лунки тянут. Рыба, слава Богу, кормит, но всё тяжельче. Сам посуды: цена на горючку за десять годов выросла с доллара до четырёх, иначе — на рыбу без перемен. А ещё за промысловую лицензию заплати, катер и каждого, кто в море ходит, страхуй. В остатке — токмо на хлеб. Но Господь милостив, покада без скудобы обретаемся.

— Ну что вы, деданя, всё про мужиков. Гость ещё подумает, что бабоньки без дела сидят, — встряла Антонида.

— Так и расскажи. Я, что ль, против?

— Да вы уж сами. Мне к детишкам пора. — Антонида встала, поклонилась и вышла.

— Что правда, то правда, домовитые оне у нас. — Опять заговорил дед, после того как за учительницей закрылась дверь. — Ткут полотна, холстины, сучат пряжу, шьют и вяжут. И чадородьем не обижены. Вот у меня три сына, две дщери. Готовят тоже оне. Трапезничаем токмо своим. Потому все крепкие, здоровые. Лишь сахар, соль, муку берём у одноверца в лавке. Она чистая. Да и туды мало ездим. Люд-то ноне в городе дичает. Иные просто в безумство впали. Не ведают, что творят! Поганят рот срамословием, табачным зельем. Блуд, как ржа, их души разъедает. Господи, упаси от сих бесовских искушений. Эх, слабнет народ... Знамо, идти вниз легче, чем наверх к Господу... Мы не курим, бражничаем токмо по великим праздникам. Брагу ставим на берёзовом соку. Одеваем всенепременно вот такие рубахи навыпуск с косым воротом и с пояском.

Тут дед Ермил, в подтверждение своих слов, встал на некоторое время во весь рост.

– Бород не бреем: Христос же с бородой!.. Бабы ходят в сарафанах, заполах. Замужние в платках, чтоб волос не казать. Девицы с косами и непокрытой головой. Американцы нас уважают за трудолюбие и честность. Но мы чужаков – людей не отеческой веры – в свою обчину не допускаем.

– А если человек не вашей веры, но добрый христианин, он что, не может посвататься?

– Отчего же нет. Может, но прежде должен пройти обряд переправы, и ежели есть серьёзные намерения, испытует три года по всей строгости. А до того молодые просто “дружат”, как мы говорим – “играют”.

– Я пока шёл к вам, церкви что-то не видел.

– Оно и неудивительно. Наша церква в сосняке, отсюда не видать. Мы, мужики, ходим в неё каждый день, женский пол токмо по седмицам. Тогда воссоединяемся в общей молитве и молимся с двух часов ночи до восьми-девяти утра, покуда все шесть слав не прочтём. Ночная-то молитва доступна Богу. По правде сказать, часть канонов первоисточного православия размылась временем, но основу блюдём крепко, без перемен. С этим у нас строго.

Дед тяжело вздохнул и замолчал.

– Дядя Ермил, может, ещё что расскажете? – обратился я с надеждой.

– Погодь, – промычал он сквозь зубы. – Чтой-то колено опять ломит, мочи нет... Тепла, видать, недостаёт. Вот ведь оно, паря, студёно море как откликается...

Старик встал, прихрамывая, подошёл к большой белёной печи, отодвинул заслонку. Набил топку берёзовыми поленьями, подсунул завиток бересты и запалил огонь.

Вернувшись на место, продолжил свою неторопливую, обстоятельную речь, иногда всё же морщась от боли.

Заметив, что старик заговорил медленнее, с остановками, я понял, что пора завершать беседу. Тем более что Сергей уже заждался меня. Прежде чем проститься, достал из сумки диалог о староверах “Золото Алдана”, подписал её и вручил деду. Прочитав аннотацию к книге, он подивился:

– Как так? Татарин, а об нас написал!

– Жизнь подвела к этой теме. Ваши одноверцы в 1971 году на Сихотэ-Алине спасли нас с другом от голодной смерти. Даже пожив у них всего три дня, я понял, насколько искажено в миру представление о старообрядцах. Потом судьба подарила ещё несколько встреч с вашим братом. Многовековая преданность отеческим идеалам, трудолюбие, сметливость, терпение, позволяющее жить в достатке даже на бесплодных землях, не могла не вызвать искреннего восхищения. Со временем появилось желание поделиться своими чувствами и мыслями.

– Спаси Христос!.. Читать я люблю.

Я поклонился и направился, было к двери, как старик остановил.

– Погодь чуток, – произнёс он и скрылся за перегородкой.

Вышел весь какой-то торжественный. Протянув тёмную деревянную иконку Богородицы, он с чувством произнес:

– Возьми! То моё тебе благословение на дальнюю дорогу. Иконка сия намоленная, благоносящая. Не сумлевайся – поможет, ежели тяжко будет... Матерь Божья лучше всех оберегает от нечистой силы! – убежденно добавил он...

6. По дорогам Канады

14 марта ремонт машины был закончен, и сегодня мы покидаем гостеприимный Анкоридж. Впереди тысячи километров заснеженных гор и безлюдных лесов Аляски, Канады, вулканы и каньоны Нижних штатов Америки. Лишь в Мексике, а возможно, в Гватемале, мы надолго – до самой Огненной Земли – пересядем на велосипеды.

Провожать нас приехали все, кто помогал готовиться к дороге. За две недели мы сроднились с этими милыми, добросердечными людьми. Даже такое непродолжительное знакомство оставило неизгладимый след в наших сердцах. Интересно, отчего мы, русские, такие дружные за границей, дома живём каждый сам по себе? Видимо, дух землячества в человеке наиболее ярко проявляется, когда он оторван от Родины.

Ехали, несмотря на то, что обзор был сильно ограничен (печка не работала, и намерзающую на переднее стекло изморозь приходилось то и дело соскабливать ножом, а остатки оттаивать ладонью), довольно резво. Асфальт чистый, с бляшками льда на некоторых участках. По краю дорожного полотна косая насечка, как только наезжаешь на нее, так колёса начинают тревожно гудеть, сигнализируя водителю: “Осторожно – обочина близко!”

Приподнятое настроение вскоре было подпорчено поломкой машины – отказал бензонасос. К этому времени мы были уже в 370 километрах от Анкориджа. Пронизывающий ветер, быстро выдувал из салона остатки тепла. Чтобы не замёрзнуть, навалили в лесу сухостоин и развели у обочины костёр. Время от времени подбрасывая хворост, наслаждаемся теплом. На наше счастье, машина встала на перевальной седловине, и нам каким-то чудом удалось по сотовому связаться с Ильёй Ивановым. Через минут двадцать получаем СМС: “Нашёл в Анкоридже бензонасос за 300 долларов. Выезжаю”. Через четыре часа бесценная запчасть была у нас.

...Едем мимо бесчисленных озёр, острозубых хребтов с чуть облесёнными склонами. На высоте 700–800 метров деревья вообще исчезают, и голые скаты превращаются в готовые горнолыжные трассы – осталось лишь подьёмники установить.

Миновали мощный, весь в глубоких разломах глетчер. На выходе из ущелья его край обрывался искрящимися ступенями, высотой не менее 80 метров. Одна ледяная башня на наших глазах скололась и, постояв, слегка наклонившись, секунды три, рухнула на берег реки и рассыпалась. Почему-то сразу вспомнилась, описанная Обручевым, Земля Санникова.

...Скоро граница с Канадой. Горы, отступая к горизонту, становятся всё ниже, силуэты мягче. Чистые спокойные небеса сияют так, что вверх смотреть больно. А вон и американские пограничники показались. Машут: “Проезжай, проезжай!” Оказываются, американцы документы проверяют только при въезде в их страну. Хочешь покинуть Штаты – катись на все четыре! Подумалось, а ведь если бы не продали Аляску, здесь могла бы быть граница России... Впереди – скромная табличка “Канада”, но сам КПП появляется лишь через 27 км. На нём развеивается гордый бело-красный флаг с кленовым листом в центре.

Наш день протекает по незыблемому распорядку. В 7:00 завтрак, в 8:00 выезд. Через каждый час пути, в течение которого за рулём сидят попеременно Костя и Илья, остановка на 10 минут. Её используем для поддержания физической формы (пробежки, приседания, растяжки...). Тогда же происходит смена водителя. В 13 часов обязательный двухчасовой обеденный перерыв – и снова в путь до 18 часов. Трудовое законодательство свято блюдём – рабочий день восьмичасовой. Костя, будучи способным учеником четырёхкратного чемпиона России по спортивному туризму Николая Рундквиста, считает, что для успеха столь длительной экспедиции главное – не устраивать гонки и обязательно питаться три раза в день с включением в рацион горячих первых, вторых блюд и салатов из свежих овощей. Последующие месяцы полностью подтвердили эффективность такого подхода.

За дорогой канадцы ухаживают спутая рукава – асфальт сплошь в снежном накате. Да и чего ради чистить – впереди несколько сот километров почти безлюдной местности. К сожалению, и качество дорожного полотна заметно упало: все чаще попадаются знаки и светоотражающие флажки, предупреждающие об ухабах, рытвинах, сужениях. Зато на указателях вместо “миль” привычные для нас “км”.

Ровно в 18:00 остановились на оборудованной автостоянке. Машины, въезжая на нее, располагаются по кругу, а центр остается нетронутым. На нём мы и поставили палатки. Вскоре из-за леса выплыла улыбочивая луна. Вокруг нее красовался белесый обруч – верный признак приближения мороза. При лунном свете сразу ожила, повеселела округа.

Днём побродили по весьма необычному лесу, выросшему на окраине городка Ватсон-Лейк возле одноимённого озера. Это вообще-то парк, в котором на бесчисленных столбах и щитах развешаны или прибиты гвоздями десятки тысяч разноцветных табличек, вымпелов с эмблемами предприятий, фамилиями и адресами людей, названиями деревень, городов, компаний, именами любимых, родовыми гербами, автомобильными номерами и т. п.

Этот “лес” пользуется у канадцев огромной популярностью. Они едут сюда со всех уголков страны, чтобы заявить о себе, о своих пристрастиях, о любимом предприятии, о своей семье. Мэр города, придумавший столь оригинальный ход, не пожалел денег на рекламу и, эксплуатируя неистребимую страсть людей ко всякого рода меткам, обеспечил многократный рост доходов местным гостиницам, ресторанам, автозаправкам и городской казны.

Мы тоже оставили свои “метки” (два вымпела) и сфотографировались на память под знамёнами России, Краснодарского края, Башкирии и Русского географического общества.

В этих краях индейцы многочисленны. Мужчины с чёрными гривами волос и, несмотря на мороз, без головных уборов. Странно было видеть седоволосых пожилых индианок, восседающих за рулём громадных “Фордов”. Кстати, канадские водители правил не признают – гоняют так, что только свист стоит. Мы здесь, пожалуй, самые дисциплинированные – едем строго в соответствии со знаками (за всё время ни одной машины не обогнали!).

7. Через каньоны к Ванкуверу

Вот уже третий день мы в одиночестве рассекаем под тоскливый вой метели перегородившие дорогу ребристые сугробы. (Я и не предполагал, что Канада настолько слабо заселена, что можно проехать несколько сот километров и не встретить ни одного селения). Временами видимость почти нулевая. В такие моменты останавливаемся, чтобы не улететь под откос. Иногда за счёт скорости удавалось вырваться из объятий снежной круговерти, но она каждый раз нагоняла нас. Лишь на четвёртые сутки прояснилось, и навстречу нам выползла первая машина.

Всего по Канаде едем восьмой день. Чем ниже спускаемся, тем гуще становятся леса, выше и мощнее деревья, тоньше снежный покров. А сегодня даже попадались проталины. На них крохотными солнышками горят подснежники – нетерпеливые храбрецы, рвущиеся навстречу теплу и свету.

Если вчера наш путь пролегал по местам, очень похожим на Валдайскую возвышенность в зимнюю пору (размашистые, утыканные сумрачными елями холмы), то сегодня совершенно иная картина. Грандиозные каньоны следуют один за другим, и каждый поражает своей мощью и затейливостью. В них безветренно, сверху ласково припекает солнышко. В общем, благодать!

В восемь утра с некоторой грустью покинули уютную стоянку под крышей разлапистых канадских сосен, оборудованную на берегу озера, живописно втиснутого в каньон Марбел. Оно заковано в толстый, потрескавшийся от морозов голубоватый лёд. На этой стоянке имелось всё, что необходимо для отдыха и ночёвки путников: столы со скамьями, очаги, площадки для палаток, туалеты и даже ручной насос для воды.

Вскоре въехали в ещё более внушительный каньон Фрасер. Здесь уже всю властвовала весна: талые воды рыли ходы, подтачивая снизу сугробы; деревья, наполняясь живительными соками земли, загустели. Прелую листву пронзила щетина зелёных ростков. Размеры и невероятно сложный рельеф каньона до такой степени поразили нас (глубина более километра, ширина – около двух), что командор остановил машину и, выбежав на его край, с азартом принялся фотографировать. От него бросились врассыпную отдохавшие в кустах среди высокой прошлогодней травы олешки, очень похожие на сибирских косуль. Один оленёнок запутался в сухих тесёмках травостоя, упал и, инстинктивно прижавшись к земле, затаился. Чтобы не беспокоить малыша, мы отъехали метров на сто ниже.

Рыжеватая вершина каньона упиралась в острозаточенный скальный гребень поперечного хребта. Дно затянуто лесом, преимущественно хвойным. Под его пологом глубоко внизу гремел, ворочал камни стремительный белопенный поток, принимающий из боковых, высоко расположенных ложбин и расщелин жемчужные дуги водопадов. Поскольку склоны каньона сложены из довольно рыхлых осадочных пород, оползни, уносящие в речку многометровые участки дороги, здесь рядовое явление. На месте одного из оползней дорожники как раз вели восстановительные работы. Уже отсыпали новое полотно, укрепили его бетоном и готовились к асфальтированию. Окажись мы

здесь двумя днями раньше, пришлось бы разворачиваться и добираться до Ванкувера более длинным, окружным путём.

В самой широкой части этого довольно протяжённого каньона расположен городок Лиллоет – весьма крупный для здешних мест населённый пункт. Микроклимат здесь из-за высоких гор до того мягкий, что в широкой котловине благоденствуют даже виноградники.

Долгожданный миг: выезжаем на берег широкого залива, с которого открывается вид на столицу Западной Канады – город Ванкувер. Это довольно крупный мегаполис – километров пятьдесят в диаметре, рассечённый полноводной рекой Фрейзер. В глаза сразу бросается толпа серых небоскрёбов, с нечеткими из-за сизой дымки над городом контурами. Левее, на юго-востоке, над синеющими вдали хребтами сияет белая вершина вулкана Бейкер. Там уже территория США. Он первый из семидесяти, на которые нам предстоит подняться, провести измерения и описать.

8. В США как на вулкане

Сегодня пересекли границу между Канадой и Соединёнными Штатами Америки.

Американские пограничники, узнав, что мы русские, сначала долго изучали материалы про нашу экспедицию на сайте Русского географического общества (версию на английском языке), потом проверяли документы на машину, дотошно исследовали записи в наших дневниках – не занесли ли мы туда что-нибудь про их военные объекты... Затем вновь засели за компьютеры. Не обнаружив ничего подозрительного, офицер проставил в наших паспортах печати о въезде в США. Обрадованные, мы заскочили в машину и помчались к Бейкеру – одному из самых активных и высоких вулканов Каскадного хребта (3976 метров).

В долинах уже по-летнему тепло. Деревья в зелёной дымке – из почек наполовину выросли смолистые пахучие клювики. По мере набора высоты холодало. Дорога запетляла сквозь хмурый обомшелый хвойный лес. Здешние лесники его не чистят – земля сплошь в поваленных лесинах. (А может, и правильно, что не чистят, ведь в природе всё должно идти своим чередом, по её, а не нашим законам).

До кратера добрались к обеду следующего дня. Первые пятьсот метров шагали по накатанной снегоходами и лыжниками тропе среди мощных и высоких, как на подбор, елей и канадских сосен. Когда тропа рассыпалась на одиночные следы, идти стало намного трудней: склоны крутые, а снег всё пышнее и глубже. Надежда на наст не оправдалась: перед этим несколько дней валил обильный снег, и теперь он лежал пухлым, не слежавшимся одеялом. Вскоре пришлось тропить поочерёдно. Когда встали на обед, все повалились на “пенки” как подкошенные – до того с непривычки устали. Лишь дежуривший Илья вынужден был возиться с горелками и котелками.

Тем временем небо затягивали свинцовые тучи, атмосферное давление падало. Приближалось ненастье. На склоне всё чаще встречаем оголённые небольшими лавинами участки. Густо повалил снег. Стало очевидно, что до вершины сегодня не дойти. Чтобы случаем не накрыло лавиной, палатки поставили под отвесной, с отрицательным уклоном, стеной. Спали после такой мощной физической нагрузки как убитые. Не мешали даже оглушительные хлопки, издаваемые при порывах ветра капроновыми скатами. Вскоре палатки так замело и обжало снегом, что хлопки прекратились, а вой ветра едва пробивался.

Утро одарило ясным небом и слепящим солнцем. Из-за выпавшего за ночь снега идти стало ещё тяжелей. Чтобы не терять темп, впереди идущих сменяли каждые пять минут. Вдруг, как это часто бывает в горах, откуда-то налетела армада черных туч, и хлопья снега на глазах вновь поглотили округу. Мне, единственному очкарику в нашей команде, приходилось то и дело останавливаться, чтобы протереть стёкла. Снег валил такой плотной стеной, что, казалось, вдохни полной грудью – и захлебнёшься его хлопьями.

Запахло сероводородом. Дышать стало ещё труднее. Когда проходили мимо парящих едким газом фумарол, спазмы перехватывали дыхание и приступы кашля сгибали пополам. Пар инеем оседал на одежде, бороде, бровях.

Все побелели, словно наделили маскировочные халаты. Лёха зафиксировал на электронной карте GPS координаты этого фумарольного места. Временами снегопад становился настолько густым, что впереди идущий терялся в белой мгле. Звуки гасли, очертания камней искажались до такой степени, что скалы превращались то в громадное дерево, то в какое-то чудище.

Я брёл в самом хвосте. В одном месте неловко поскользнулся и, пытаюсь сохранить равновесие, отступил в сторону, а там пустота!.. Открыл глаза – вокруг лёд. Понятно – угодил в трещину. С трудом освободив руку, расковырял снежные комья над головой. Край трещины вижу, но дотянуться до него не могу. Стал кричать. Минут через десять появились сначала Лёха, за ним Костя. Не дождавшись меня на гребне, они вернулись по следу. Когда я с их помощью освободился из ледяного плена, Костя сунул мне под нос громадный кулак и сказал:

– Говорил тебе, иди в середине цепочки!

Заглянув в расщелину, я перекрестился: будь она поглубже, мог бы и кости переломать.

Впереди показался громадный свисавший с уступа горы снежный надув. Непонятно было, как эта многотонная махина до сих пор не рухнула. Заходить под него было страшновато, но делать километровый крюк не хотелось. Пока шли, я всё бормотал: “Господи, спаси и сохрани”. Пронесло!

Наскоро перекусив в скальной нише, продолжили восхождение. Вершина возникла столь неожиданно, что мы, на всякий случай, прошли сквозь снежную муть ещё немного. Когда поняли, что уже спускаемся, вернулись. Радость от восхождения омрачилась тем, что снежная завеса не позволила сделать качественные снимки кратера. Фотографии получались смазанными, нечёткими.

Спускаться было легче. Тем более что в прорехи туч то и дело ободряюще выглядывало солнце, а выдохшийся ветер лишь едва шевелил колючую позёмку.

9. Райская Калифорния

Штат Калифорния встретил нас прекрасной погодой. После многодневных, почти непрерывных дождей и плотной, низкой облачности ясное небо стало наилучшим подарком для нас. Как пояснил один соотечественников, окрестности Рейньер и Святой Елены – самое гнилое место в Америке.

На границе штата, проходящей чуть ниже увенчанного белоснежными вершинами водораздельного хребта, инспектор санитарной службы задал нам всего один вопрос: не везём ли мы с собой фрукты? Получив отрицательный ответ, поднял шлагбаум.

Изучая после ужина карту, я увидел, что пройдено более половины маршрута по США, и настала пора поделиться впечатлениями о штатовских дорогах.

То, что дороги в Америке в хорошем, по большей части, можно сказать, в идеальном состоянии, а пробки, благодаря многоярусным развязкам, двухуровневым мостам и грамотной организации уличного движения, редчайшее явление – факт общеизвестный. А вот то, что все дороги, включая скоростные автобаны, бесплатные – это для нас стало приятным сюрпризом. Платные дороги, возможно, имеются, но нам не встречались.

Стоянки представляют собой заасфальтированные площадки с разметками отдельно под фуры, отдельно для легковых машин. Вокруг аккуратно подстриженные газоны. Вдоль них тротуары с фонарями и отходящими вбок тропинками к столикам и скамьям под навесом. Посреди таксофоны, информационные стенды, краны с водой, розетки для зарядки аккумуляторов, просторные туалеты с кабинками для инвалидов. В них есть не только туалетная бумага, жидкое мыло, зеркала, но и бумажные полотенца. Чистота, как в аптеке.

Вдоль дорог, как и у нас, тянутся ЛЭП. Но и здесь свои особенности: опоры, даже высоковольтные, не бетонные, а деревянные (прямые, приличной толщины, пропитанные светло-коричневым антисептиком столбы). Полицейских, на первый взгляд, мало, но вскоре мы убедились в ошибочности этого впечатления. Дело в том, что машины, патрулирующие дороги, в отличие от наших, не имеют специальной окраски и надписей. Более того, мигалки на крышах настолько плоские, что издали не заметны. Зато когда полисмен

включает так называемое СГУ, то машина начинает зловеще реветь и мигать несчётными красными и синими огнями спереди и сзади. А так – стоит на обочине обыкновенный джип. Если машину остановили, водитель должен открыть окно и не двигаться. Выходить без команды полисмена категорически запрещено. А вдруг ты собираешься на него напасть?.. Попытка дать взятку, как правило, заканчивается тюрьмой.

Любопытно, что государственный номер при регистрации автомобиля можно придумать самому и указать его в заявлении. Поэтому некоторые авто-владельцы имеют номера с довольно оригинальным сочетанием букв или цифр. Например, на машине нашего друга Ильи Иванова из Анкориджа гордо красуется “СССР”, пониже мелкими буквами “Аляска” – просто и патриотично!

Штат Калифорния показался нам самым интересным по разнообразию рельефа и флоры. Мощные горные массивы, высокогорные плато и котловины, заставленные крохотными, метров под двести, конусами непонятно происхождения, щелеобразные каньоны с бурунистыми речками и искрящимися водопадами чередуются с просторными, плодородными долинами, на которых пасутся огромные стада коров, отары овец и табуны лошадей. На двух ранчо видели даже гурты альпак (одного из четырёх видов южноамериканских лам).

Все места выпаса ограждены многокилометровой оградой (пять рядов кантани, продёрнутой сквозь металлические стойки) и в основном поливные – климат в Калифорнии довольно сухой. Об этом свидетельствовали и обширные пустоши с черными скелетами обгоревших деревьев.

... Миновало 45 дней со дня старта экспедиции. На снегоходах пройдена Аляска, на автомобиле – Канада, штаты Вашингтон, Орегон, Калифорния, совершены восхождения на два действующих вулкана. Всего за плечами нашей команды более 9000 километров и весомый объём фото- и видеоматериалов. Гудбай, Америка!.. Хотя правильнее будет сказать: “Гудбай, Соединённые Штаты!” Если честно, расставался с этой страной без сожаления. Что интересно, как только мы въехали в Мексику, все вздохнули с облегчением. Было ощущение, что из красиво и богато обставленной тюрьмы вырвались на волю. Ни у кого из членов нашей команды желания пожить в Америке не возникло. При всей красоте и ухоженности, от этой страны осталось чувство ненатуральности, искусственности и жизни и нравов в этой стране. При этом нам очень понравилась необычная природа Штатов.

Сегодня День космонавтики и очередная годовщина первого полёта человека в космос! Это был гражданин Советского Союза – Юрий Гагарин.

И представьте себе наше возмущение, когда как-то на автозаправочной станции двое молодых американцев стали доказывать, что первым в космос полетел их астронавт. Мы чуть не подрались с ними, убеждая, что они заблуждаются. Ещё раз убедились: обучение в США построено таким образом, что каждый американец уверен, будто все достижения человечества принадлежат его стране, что все иные народы – второй сорт. К сожалению, в последние десятилетия и мы живём по навязанным ими правилам. Всё оглядываемся: как бы не осудила нас “мировая общественность” в лице полосато-звёздного дядюшки Сэма.

10. Буэнос тардэс, Мексика!

Покинув последний крупный населённый пункт США на нашем пути – город Тусон (штат Аризона), мы в 10 утра подъехали к мексиканской границе. Она проходит прямо посреди городка Ногалес (чопорного на американской стороне и бойкого, весёлого на мексиканской). Как ни странно, мексиканцы на КПП даже документов не спросили. Мельком глянув в салон, небрежно махнули рукой: “Валяйте!”.

Через пару километров видим: дорога сужается, а возле будки стоят вооружённые люди, – второе КПП! Здесь одетые во всё чёрное мексиканские таможенники и пограничники сначала тщательно обследовали багажник, салон, а потом стали сличать фотографии на паспортах с нашими физиономиями. Узнав, что мы из России и совершаем кругосветное путешествие, сразу помягчели, а когда Константин подарил им виллел Русского географического общества, и вовсе растаяли.

Отъехав, мы долго гадали, почему на первом КПП у нас не проверили паспорта? Ведь мы могли второе КПП спокойно объехать по многочисленным боковым улочкам. Видимо, это такая форма “активной” борьбы с контрабандой, как у нас с наркотрафиком!

Колыбель загадочных цивилизаций майя и ацтеков встретила слепящим солнцем, бледным от зноя небом и тридцатиградусной жарой. На выжженном плато – лишь многоствольные кактусы, колючие кусты, пучки пожухлой травы. Лесов на севере Мексики практически нет. Лишь изредка мелькнёт жиденькая роща.

Панорама довольно однообразная: раскалённая, безводная равнина в зубчатой кайме невысоких гор. Земля желтоватого, иногда красноватого цвета. Кое-где монотонность равнины нарушают оплывшие конуса небольших вулканчиков. За два первых дня нам не попалось ни одного ручья, ни одного водоёма. Вернее, они были, но все пересохшие. У дороги, на приметных возвышенностях простирает руки к небесам гипсовый Иисус Христос. На широких участках отвесных скал можно увидеть и нарисованное изображение Девы Марии. В селениях почти у каждого дома – миниатюрные часовенки.

На дорогах и в посёлках нет ни белых, ни чернокожих афроамериканцев – одни мексиканцы (потомки испанцев и индейцев). Что интересно, в Мексике мы задышали свободно, полной грудью. Здесь живут легко и просто, без мифов, обставленных красивыми декорациями и приукрашенных искусственным макияжем. Эта естественность сразу подкупает, располагает к стране, пусть не самой богатой, но активной и жизнерадостной.

Дороги в хорошем состоянии. Правда, изрядно портят впечатление заваленные мусором обочины. Машин много, но в основном подержанные: длинные американские громилы вперемешку с более компактными японскими и корейскими. Через каждые 60–80 километров шлагбаум и контролёр, собирающий плату за проезд. Рядом два-три автоматчика – попробуй, не заплати! За два дня нам пришлось раскошелиться шесть раз по 61 песо (примерно – 6 долларов США).

В отличие от Америки, здесь встречи с военными обычны. Мимо нас проследовало несколько больших колонн. Все бойцы экипированы так, будто едут на войну. Будучи в Мехико, на приёме у нашего посла узнали об истинной причине такой концентрации силовиков в северных провинциях страны, но об этом позже.

Полицейских тоже предостаточно, все на внедорожниках. Один непременно в кузове с собакой. Они периодически проводят облавы: поперёк автострады ставят несколько машин, и выборочно проверяют документы и грузы у проезжающих. Тем не менее, местные водители на правила не обращают внимания – гоняют похлеще наших. При знаке “60 км/час” (мили здесь не признают) едут под сто. И хотя мы соблюдаем ограничение скорости, особенно в населённых пунктах, в Лос-Мочисе нас всё же подловили (первый случай за два месяца): при знаке “40 км/час” мы “неслись” со скоростью аж 47 км/час!.. И снова нас выручили сувенирные значки экспедиции и симпатия мексиканцев к России.

Наша ближайшая цель – огнедышащий вулкан Фуэго-де-Колима. Едем к нему параллельно Калифорнийскому заливу. Когда дорога приблизилась к берегу почти вплотную, свернули на стоянку и наперегонки побежали к океану – жутко хотелось освежиться. Однако радужные разводы на воде заставили повернуть обратно.

Вот и первые сады появились... Фруктовые деревья самые разные: папайя, апельсины, лимоны, кофе, авокадо. Любопытно то, как мексиканцы омолаживают старые деревья: берут и отпиливают ствол на высоте метра полтора. Через неделю-две из пенька выстреливают новые побеги, растущие благодаря мощной корневой системе необычайно быстро.

Животноводство тоже развито. Хозяйства по преимуществу крупные. Большая часть их занимается выращиванием коров. Коровы, правда, какие-то страшенькие, мало похожие на наших бурёнок. Мосластые, вымя тощее, на спине горб, как у верблюда, под шеей “борода” болтается. Зато неприхотливые – жуют даже пересохшие стебли кукурузы. Помимо крупного рогатого скота разводят коз, овец. На юге ещё и шерстистых свиней. Поразило обилие лошадей: породистые, ухоженные, шерсть лоснится, гривы расчёсаны. Особенно много их в районах, где преобладают индейцы.

Множество гигантских, занимающих десятки гектаров модульных теплиц поначалу вызывало недоумение. К чему такие расходы при таком жарком климате? Потом сообразили: у них иное назначение – для сохранения влаги и защиты от палящих лучей солнца.

Вместо проволочных оград вдоль дороги всё чаще видим капитальные заборы, сложенные из дикого камня. За ними на полянах иногда стоят небольшие, на восемь-двенадцать семей, пасеки.

Жара всё нарастает. Днём температура поднимается до 36 градусов. Чтобы ноги не сварились в горных ботинках, всем купили сандалии.

Приближаемся к цепочке невысоких вулканов, изъеденных оспинами кратеров. Вокруг безжизненные лавовые поля, состоящие из торосистых нагромождений чёрных, уродливых глыб с довольно острыми, шершавыми краями. Проехав их, останавливаемся на ночёвку у края леса.

На следующий день мы спустились в долину и вновь едем мимо залатанных лоскутами полей сахарного тростника, ананасов и остролистой агавы, идущей на изготовление текилы. Агаву в этих районах выращивают в гигантских масштабах. Причём агаву голубую – только её сердцевина пригодна для производства текилы. Из её сахаристого сока изготавливают попутно и слабоалкогольный напиток – пульке.

Перед городом Гузман сквозь дым пожарищ проступил, наконец, крутостенный контур вулкана Фуэго-де-Колима (3820 метров) – первый из тех, что мы должны обследовать в Мексике. Через минут тридцать его можно было уже рассмотреть детально.

Красивее вулкана я пока ещё не видел: идеальный конус, колоритно иссечённый цветными потоками лавы, издали напоминающими старческие морщины вокруг глаз. Из кратера то и дело вылетают сизые клубы. Ветер тут же подхватывает их и вытягивает в длинную, уходящую за горизонт цепочку.

Фуэго – классический образец стратовулкана. Они образуются множеством слоёв затвердевшей лавы, перемешанной с вулканическим пеплом. Среди других он выделяется необычайной крутизной склонов. Это связано с тем, что здешняя лава, в отличие от лавы гавайского типа, жидкой и текучей, – густая и вязкая (напоминает перезревшее тесто). Поэтому её большая часть застывает прямо на склоне.

Заехав на широкое предвершинное плато (1600 м), встали на ночевку рядом с недавно разбитым садом авокадо. До ужина я прогулялся вдоль длинных рядов молодых саженцев. Несмотря на невероятную жару, приживаемость высочайшая – 97%. Такой фантастический результат обеспечивается упорством и трудолюбием крестьян. Они часами закачивают воду из горных ручьев в бетонные и застеленные плёнкой бассейны и оттуда без усталости поливают из шланга каждую лунку. Кроме авокадо тут выращивают лимоны, мандарины, папайю.

Утро. Низкое солнце не жжёт, а лишь нежно ласкает. Фуэго тоже утихомирился – отдыхает после ночной вахты. В лесу стоит невообразимый птичий гул. Особенно громко и истерично радуются появлению светила павлины. Восхищает, с какой лёгкостью эти громадные птицы перелетают с дерева на дерево.

11. Как рождаются вулканы

История возникновения вулкана Парикутин трагична и комична одновременно.

На кукурузном поле крестьянина Дионисио Пулидо была яма. В неё практичный малый бросал мусор и сухие стебли. При этом, сколько бы ни бросал, яма никогда не заполнялась.

В первых числах февраля 1943 года из неё стал доноситься приглушённый рокот. Причём сила его час от часа нарастала. Это встревожило крестьянина. Было очевидно, что вот-вот должно что-то произойти, но через пару дней гул прекратился, и земледелец успокоился.

Две недели спустя, 20 февраля, когда Дионисий рыхлил мотыгой поле для посадки маиса, земля зашевелилась, и от ямы прямо к нему побежала, расширяясь, трещина. Одновременно зашатались, как будто пьяные, растущие вокруг поля деревья. Через расширяющуюся на глазах трещину повалил

дым, сквозь который мелькали огненные сполохи. Дионисий в панике побегал домой.

Утром обеспокоенные жители деревни обнаружили на месте ямы миниатюрный конус высотой два метра. Из него то и дело вырывались клубы пепла. Вскоре к ним прибавились разлетающиеся веером камешки, а спустя несколько часов и раскалённые камни. Далее события развивались с кинематографической скоростью – 22 февраля из “прыща” полезла, потрескивая, огнедышащая лава, и вскоре на месте поля вырос настоящий вулкан, возвышающийся над плато на 350 метров.

В общей сложности извержения продолжались ещё восемь лет. За это время конус новорождённого достиг высоты 2774 метра, а выползавшая из жерла магма запечатала под многометровой каменной бронёй десять селений. Более 4000 человек остались без крова. Одно радовало: никто не погиб ни от лавы, ни от вулканических бомб.

Дионисий же выгодно продал свой участок с разбушевавшимся вулканом известному мексиканскому художнику Атлю, который за несколько лет, проведённых у вулкана, сделал более одиннадцати тысяч рисунков и не менее тысячи пейзажей.

К Парикутину проще всего попасть через старинный городок Ангахуан, притулившийся на краю впадины. Лишь только мы въехали в него, нас “атаковали” всадники на разномастных лошадях. Они окружили машину и, цокая по брусчатке, долго скакали рядом, убеждая, что нам к вулкану даже на внедорожнике не проехать, и предлагали подвезти на лошадях за умеренную плату (30 долларов в оба конца с человека). Но мы, приученные Костей к экономии средств, решили добираться самостоятельно.

Изрядно поплутав по узким улочкам и почти утратив надежду найти выезд к Парикутину, напоследок свернули в неприметный проулок. Вскоре увидели, что он упирается в высокий забор. Илья хотел было повернуть обратно, но Костя решительно скомандовал: “Едем!” Только подъехав к нему почти вплотную, обнаружили съезд вправо. Это и была та самая “засекреченная” дорога!

Миновав сосновый лес, оказались на бугристом лавовом поле. Посреди него возвышалась грозный перстом колокольня. Вокруг шести-семиметровый слой иссиня-чёрных комьев застывшей магмы, а колокольня невредима! Уцелели даже алтарь с иконостасом. Не чудо ли?! Через километр подъезжаем к не тронутой лавовым потоком, щедро присыпанной вулканическим пеплом площадке с базарчиком и массивными печами под навесами. Здесь уставшие паломники и туристы могут отдохнуть и подкрепиться блюдами индейской кухни, приготовленными дородными мексиканками.

Мы интересуемся, как проехать к вулкану. Индейцы наперебой принимают объяснять, что самостоятельно ехать к нему нельзя – требуется разрешение шерифа. Мы просим самого представительного, седовласого сеньора помочь связаться с ним.

Сделав несколько звонков по мобильнику, тот сообщает, что шериф разрешил, но только в сопровождении местного гида, которому мы должны будем заплатить 20 долларов. Гид сейчас занят с другой группой и приедет за нами завтра в девять утра.

Делать нечего! Отъезжаем в сторонку и встаём на ночлег. В назначенное время находим вчерашнего сеньора. Он созванивается с гидом. Слушает его, разочарованно кивая головой. Затем разворачивает карту-схему и сам объясняет дорогу к вулкану.

Отблагодарив индейца, взбираемся на лесистую гряду и едем по ней между двух лавовых потоков. На многих стволах сосен видны косые насечки и жестяные воронки для сбора живицы. Через полчаса выезжаем на голое плато, покрытое раскалённым от палящих лучей солнца черным пеплом. Посреди слегка дымит симпатичный конус – Парикутин.

На восхождение отправляемся сразу, без раскочки. Хотя вулкан не из высоких, попотеть, “буксуя” на текучей мешанине из пепла и крупчатой пемзы, всё же пришлось изрядно.

Поскольку на Фуэго я не ходил, мне очень хотелось реабилитироваться: подняться на Парикутин первым. К моей радости, это удалось! Видимо, ребята ещё не восстановились.

Воронка кратера встретила нас парящими фумаролами и жутковатым лунным ландшафтом. Его безжизненность смягчалась робко пробивающейся между базальтовых глыб зеленью.

Сверху хорошо просматривалось всё двадцатипятикилометровое лавовое поле, навсегда похоронившее близлежащие селения. Единственным свидетельством того, что в этих местах жили люди, была та самая колокольня. Потoki лавы обогнули её, и теперь она возвышается, как символ торжества Божьей воли.

12. Мехико и священный вулкан Попокатепетль

После Парикутина мы побывали на вулкане Невада де Толука, это в центре штата Мехико. И, наконец, поднявшись на поперечный хребет, с высоты 3200 метров увидели сквозь смог обширную холмистую котловину с бескрайним городом Мехико. Над ним висело бледное, будто вылинявшее, небо и такое же бесцветное солнце.

В этом городе нам предстояло провести несколько дней. Надо оформить визы в Панаму, купить велосипеды, отправить в РГО фото, видеоматериалы и бухгалтерские отчёты для получения следующего транша.

Столица Мексики особого впечатления не произвела. Для меня она была интересна лишь тем, что на сегодняшний день Мехико не только один из самых многолюдных мегаполисов на нашей планете, но и самый неохватный по занимаемой территории – 200 километров в поперечнике! Ещё в нём находятся одна из самых больших площадей мира (площадь Конституции) и крупнейший в Латинской Америке кафедральный собор.

Основали город в 1325 году ацтеки. Так что Мехико ещё и старейший город Нового Света. В доколумбовы времена он входил в число самых красивых городов мира. Правда, из построек того периода почти ничего не осталось, а современные постройки, за редким исключением, весьма заурядны.

Вечером провели встречу с журналистами. В их числе был собственный корреспондент “РИА Новости” Юрий Николаев, регулярно освещающий через своё агентство ход нашей экспедиции. В Мексике он работает не первый год. После общения с ним мы поняли, что родились в рубашке. Оказывается, мало кому удаётся без осложнений проехать по северным, граничащим с США, мексиканским штатам. Поскольку через них проходят основные каналы поставок наркотиков в США, Канаду, там постоянно происходят разного рода разборки между конкурирующими бандами, ограбления с расстрелом водителей и пассажиров автомобилей и автобусов. Теперь было понятно, отчего в тех краях так много вооружённых до зубов армейских патрулей. (На коррумпированную полицию президент уже не надеется).

Что ещё для полноты картины следует рассказать о Мехико?

Те телевизионные программы, которые нам довелось посмотреть, сделаны на высоком профессиональном уровне. Каналы самые разные, есть и чисто тематические (музыкальные, исторические и т. д.). Характерно, что на телевидении и радио не слышно иностранных песен. Конечно, это уже перебор, но, на мой взгляд, приоритет национальной культуры всё же необходим.

И ещё такая деталь – сомбреро здесь не носят. Как я понял, у мексиканцев это такой же сценический атрибут, как малахай у башкир или атласные шаровары у украинцев.

Наутро, оставив часть вещей в консульстве, отправились к вулкану Попокатепетль (5426 метров). Он обосновался посреди отрогов Поперечной Вулканической Сьерры, всего в 55 километрах к юго-востоку от столицы, и в любую погоду заметен даже из окон приземистых лачуг.

В переводе с ацтекского Попокатепетль означает “дымящая гора”. Индейцы всегда с большим почтением относились к вулканам, и у каждого племени был свой объект поклонения. Но лишь Попокатепетль вызывал единодушный священный трепет и любовь всех индейских племён. Подобно тому, как японцы поклоняются Фудзияме, непальцы – Джомолунгме, а масаи – Килиманджаро, они почитают свой “Эль-Попо”.

Достигнув отметки 3800 метров, мы упёрлись в шлагбаум. Отсюда уже отчётливо был слышен гул и видны исторгаемые из жерла вихрастые клубы жёлто-бурого дыма. Пока мы любовались этим завораживающим зрелищем,

подошёл охранник и объяснил, что вулкан в фазе повышенной активности, и он пропустит нас только по письменному распоряжению директора. Чтобы попасть к нему, следовало спуститься в городок Амекамека – в нём находился офис национального парка.

Директор встретил любезно, но был неумолим:

– Я не могу дать разрешения! В последние дни вулкан разбушевался – кроме вулканических газов и пепла выбрасывает магму.

Костя объясняет, что мы все имеем большой опыт, хорошо оснащены и подготовлены. Выслушав его, директор берет лист бумаги и довольно точно чертит на нем профиль вулкана:

– Куда вы хотите подняться?

Командор ставит точку на вершине. Директор меняется в лице и, перечеркнув рисунок, начинает, темпераментно жестикулируя руками, говорить, что это невозможно ни при каких обстоятельствах, что у кратера уже погибло много людей. Он не может допустить новых жертв.

Поняв по выражению наших глаз, что его слова не возымели действия, задал прямой вопрос:

– Вы что, приехали, чтобы умереть в Мексике? – Немного помолчав, твёрдо объявил: – Я не допущу гибели гостей из России! Если нарушите запрет, депортируем из страны!

Этот “аргумент” нас доканал – решили не лезть на рожон, тем более что впереди Орисаба (5636 метров) – самая высокая гора Мексики и вторая на североамериканском континенте (уступает лишь Мак-Кинли).

За чаем директор рассказал нам, что на Попо главную опасность представляет не лава, а мощные грязевые потоки, образующиеся от таяния глетчеров при извержении. Ледниковая вода, смешанная с пеплом и кусками застывшей магмы, устремляется селем вниз, сметая все на своем пути. Последнее крупное извержение, сопровождавшееся выбросом пепла на высоту шесть километров, произошло в сентябре 2000 года. В прошлом году было зафиксировано появление нового конуса внутри кратера. Именно с этого момента охранную зону парка значительно расширили, а на вулкане установили видеокамеру. С её помощью вулканологи могут наблюдать за происходящим в режиме реального времени.

13. На земле загадочных майя

За спиной уже вся Мексика. Впереди плоский известняковый полуостров Юкатан – колыбель цивилизации майя, сосредоточивший в себе огромное количество археологических памятников. Костя, увидев на карте, что мы находимся вблизи их пирамид, после недолгих колебаний дал команду сворачивать и ехать к ним. Просёлочная дорога вывела нас на вытянутую гряду, затянутую густой сельвой, и через несколько километров упёрлись в шлагбаум. Сбоку от него под навесом за столом читал книгу представительный седоглавый мексиканец. Узнав о цели нашего визита, он придал своему лицу ещё более значительное выражение и стал записывать в засаленный журнал наши данные. Поняв, что мы из России, оживился, пожал каждому руку, – оказывается, до нас русские здесь не бывали. Заполнив все графы, объяснил, что музей по дорожке слева, а к пирамидам следует идти прямо. Поднимая перегороживающую проход трубу, он не без гордости добавил, что посещение парка и музея бесплатное.

К возвышавшимся над деревьями пирамидам канувшего в Лету царства вела уютная лесная дорога. Её в нескольких местах пересекали тропы, вытоптанные... мириадами муравьёв.

Культовые сооружения расположены на обширной, ровной площадке. В центре небольшая пирамида. Перед ней, стоящий на каменных блоках, то ли стол, то ли жертвенник округлой формы. Справа, наискосок, пирамида повнушительней. К её вершине, где некогда возвышались башни, вели отполированные за многие века каменные ступени. На самом верху – плиты с едва различимым орнаментом. Третья пирамида, более длинная, но частично разрушенная, расположена слева от центральной. От всего этого комплекса веяло покоем и вечностью. Трудно поверить, что в былые времена здесь кипела жизнь.

Перед тем как покинуть парк, посетили стоящий прямо в лесу музей, хранящий уникальные экспонаты эпохи, предшествующей нашествию конкистадоров. Молодой экскурсовод, студент-историк Стефан рассказал, что некоторые пирамиды майя по размерам не уступают египетским. А длина основания пирамиды Чолула (440 метров) больше, чем у знаменитой пирамиды Хеопса. Мы узнали, что у майя существовал культ бога Кукулькана, пернатого змея с человеческой головой. Это он дал людям знания, которые легли в основу развития их общества. В 1935 году недалеко отсюда был найден каменный барельеф с его изображением: человекоподобное существо, восседавшее на трубе с заостренным носом. Посреди трубы странное расширение, похожее на кабину, а из хвостовой части тянутся прямые линии (вырываются струи пламени?). На голове “пассажира” некое подобие шлема с “антеннами” наверху. Чем не инопланетянин?..

В более поздней цивилизации ацтеков бога Кукулькана неизменно связывают с бородатым Кетцалькоатлем, воплощавшим силу Земли (коатль) и силу Неба (кетцаль). По преданиям, он явился со стороны солнца и обучал ацтеков наукам. А когда его миссия завершилась, он удалился на корабле к утренней звезде, пообещав вернуться.

Видя, с каким интересом мы слушаем, Стефан поведал и о порабощении европейцами американских континентов, которое началось именно с полуострова Юкатан в 1517 году.

14. В джунглях Гватемалы

Гватемала – царство мотоциклистов, при этом женщины лихачат похлеще мужчин. Одной рукой руль держат, в другой – сотовый телефон, а за спиной малыш головой вертит. Большинство женщин в колоритных национальных костюмах (запашные юбки, цветистые вышивки на рубашках и накидки, украшенные вышивками из серебристых и золотистых нитей). Любимый цвет: фиолетово-сиреневый. На головах по-особому сложные грубо тканые, преимущественно бордового цвета, платки. При необходимости прямо на них водружают тяжеленные корзины и шествуют, небрежно помахивая рукой, а то и обеими. Впечатлила самобытность одежды на некоторых мужчинах: короткие штанишки из лёгкого пёстрого материала, поверх них – домотканая юбочка. Одеты так пока меньшинство, но говорят, что костюмы, соответствующие канонам культуры майя, входят в моду. Почти 500 лет испанцы приобщали аборигенов к европейским традициям, а душа индейца всё равно тянется к истокам.

Нравственные устои вообще мало изменились. Разводы – большая редкость. Каждая супружеская пара имеет по пять-семь детей. Старые люди окружены вниманием, и, хотя пенсию получают немногие, большинство благодаря заботе детей и внуков не бедствуют. У гватемальских дорог (они бесплатные) есть интересная особенность: все крупные камни по обочинам раскрашены. Где-то в оранжевый цвет, где-то в белый, где-то в жёлтый. А на гранях скал нарисованы флаги ведущих партий с многообещающими лозунгами.

Поднявшись по змеевидным извилинам дороги на высоту в две с половиной тысячи метров, увидели обрамлённое зубчатой короной вулканов озеро Атитлан. Оно смотрелось очень эффектно. Запечатлев сказочную панораму озера, поехали по всё той же узенькой дорожке дальше в расчёте, что она выведет на более широкую. Но в итоге въехали на тесную, предназначенную только для велосипедистов и всадников улочку старинного городка. Пришлось сразу сложить зеркала заднего вида. И всё равно, протискиваясь между домов, мы то и дело царапали о выступы сложенных из камня стен бока и двери машины. Изумлённые жители прильнули к окнам: автомобиль ехал по этой улице впервые за всё время существования селения. Но и этот экзамен наша машина благодаря мастерству Ильи сдала на “пять с плюсом”. Заночевали у дороги, ведущей к неразлучной парочке: вулкану Акатенанга (3968 метров) и примыкающему к нему стратовулкану Фуэго (3763 метра). Их лысые вершины, окутанные венчиками из пухлявых облачков, напоминали головы седовласых великанов.

Утром вышли налегке. Взяли только воду и небольшой запас продуктов. По тропе, разделяющей надель, шагали довольно резво. Но когда эта тропа загнулась круто вверх, пришлось, цепляясь за выступы камней, свисавшие

корни, стволы бамбука, буквально подтягиваться на руках. Молодёжь задала такой темп, что я еле поспевал.

На моё счастье, после отметки 3000 метров тропа запетляла пологим траверсом. Я приободрился, но метров через сто пятьдесят она снова устремилась резко вверх. Настроился было на очередной рывок, как вдруг шедшие впереди ребята остановились и, скинув рюкзаки, скрылись в кустах. Оттуда донеслись сдавленные стоны.

Подойдя ближе, я увидел, что они выносят из колючих зарослей окровавленного мужчину лет сорока в форме охранника парка. Низ рубашки и штаны обильно залиты кровью. Когда раненого положили на землю, Андрей Колодкин, наш доктор, приступил к осмотру.

Сквозная огнестрельная рана, проходящая через бедро и нижнюю часть живота, выглядела настолько страшно, что я отвернулся. Тем временем Андрей, повидавший, работая на “скорой помощи”, и не такое, открыл походную аптечку, надел перчатки и, набрав в шприц какое-то лекарство, сделал укол. После чего приступил к остановке бьющей из ран крови. А мы подавали ему то ножницы, то салфетки, то тампоны. Лицо индейца тем временем порозовело, появился пульс. Когда Андрей стал вводить в рану тампоны, он с такой силой забил руками и ногами по земле, что пришлось всем навалиться на него.

Наконец кровь остановлена, раны перевязаны. Мужчина приоткрыл глаза и стал, пересиливая боль, что-то торопливо бормотать. Сообразив, наконец, что мы его не понимаем, умолк и только временами, стиснув зубы, мычал от боли. Мы с Колей и Ильёй принялись рубить бамбуковые жерди, нарезать верёвки, а Костя с Лёхой мастерить из них носилки. Настелив поверх перекладин ветки с длинными листьями, уложили раненого и понесли, сменяясь, в долину. Чем ниже спускались, тем суше становилась земля. Последние километры шли в облаке вулканической пыли, поднимаемой шестью парами горных ботинок. Она развела глаза, забивала лёгкие, но мы не сбавляли темпа. Увидев на склоне земледельца с мотыгой, попросили его как можно быстрее бежать в деревню и вызвать полицию, “скорую помощь”.

Когда, наконец, вышли на дорогу, нас уже поджидали все жители селения, а минут через двадцать подъехали и полицейские. Они погрузили пострадавшего в машину и помчались в город. Надо было видеть, с какой благодарностью смотрел на нас в эту минуту гватемалец. Такой взгляд дорогого стоит!

Местный учитель, знавший английский, подтвердил, что раненый действительно охранник национального парка. Зовут его Диего. Во время обхода он заметил на тропе обросшего человека. Поскольку в последнее время случались нападения на туристические группы (отбирали продукты, снаряжение, камеры, деньги), Диего попытался задержать его для выяснения личности, но сидевшие в засаде подельники открыли по нему огонь. Тяжелораненый охранник скатился с обрыва в колючий кустарник. Это его и спасло – бандиты не стали продираться за ним сквозь острые шипы. Выходит, Диего – наш спаситель! Караулили-то не его, а нас. Спасибо ему!

15. Вулканы Центральной Америки

Пакайя – один из активнейших вулканов на Земле. С XVII века он двадцать три раза изливал на окрестности раскалённую магму и не прекращает бурную деятельность по сей день. Последнее крупное извержение случилось в 2010 году. Тогда Пакайя за сутки выбросил столько пепла, что он покрыл округу в радиусе 50 километров десятисантиметровым слоем. Особенно сильно пострадали селения, расположенные на склонах вулкана: помимо пепла они подверглись “бомбардировке” раскалёнными камнями и сгустками раскалённой магмы, что вызвало многочисленные пожары.

Конус вулкана невысокий (2552 метра) и технически не сложный – специального снаряжения для восхождения не требуется. У подножья нас встретили всадники и предложили подвезти поближе к кратеру. Мы вежливо отказались и, заплатив за вход в национальный парк 75 кетцалей (примерно 300 рублей), пошли по тропе, усыпанной вулканическим пеплом и шлаком. В этот день я был в прекрасной форме и даже притормаживал, чтобы не отрываться от ребят.

На склоне то и дело натыкались на полузасыпанные бетонные и кирпичные коробки домов с обугленными дверными проёмами. Обильное извержение магмы случилось и за две недели до нашего прихода. Но не из главного кратера, а из разлома между двух конусов. Буро-красное лавовое поле ещё не совсем остыло, и из трещин веяло жаром, как из раскалённой духовки. Лёха, допив воду, бросил в одну из щелей пластиковую бутылку – она мгновенно вспыхнула, словно облитая бензином. Стало страшновато. Ведь, чтобы пройти к главному конусу, следовало пересечь всё это огнедышащее пространство. На наше счастье, верхушки комьев лавы уже остыли, и мы пошли, ступая по ним. Из-за нестерпимой жары заранее сняли с себя почти всю одежду, но всё равно чувствовали себя, как сталевары у мартеновской печи.

Николай на ходу измерял датчиком температуру верхнего слоя – в большинстве мест она равнялась 180 градусам. Под ногами ничего, кроме пышущих жаром буро-красных глыб. Вскоре даже в горных ботинках стало чувствительно жечь ступни, едко запахло химией. Но поворачивать обратно было неразумно: мы были уже посреди лавового поля. Прибавляем шаг и проходим мимо грота, образованного причудливым нагромождением застывших глыб. Из его красноватого нутра дохнуло таким жаром, что подумалось: а не здесь ли врата ада.

Когда спускались, сверху то и дело доносился какой-то гул. Мы каждый раз оглядывались – не камнепад ли догоняет?! Слава богу, нет! По всей видимости, это рушились внутренние стенки кратера.

Вечером, уже во дворе Пабло, добавила адреналина чудовищная гроза. Огненные жгуты молний с шипением вонзались в залитую водой землю всего в нескольких метрах от нас. Как мы остались живы, уму непостижимо. Вода лилась с небес сплошной стеной. Мы едва успели убрать палатки с пути хлынувшего со склона холма грязевого потока. Вещи даже в рюкзаках промокли так, что их пришлось выжимать перед тем, как вешать сушиться.

Рано утром 12 мая покинули гостеприимный Сан-Лукас и вновь взяли курс к вулканам Акатенанга и Фуэго. Стоят они так близко, что со стороны напоминают двуглавый красавец Эльбрус, только без снежных куполов. Поднялся на них 8 мая, как вы помните, нам помешала операция по спасению тяжело раненого сотрудника национального парка. Автомобиль оставили во дворе того же дома, что и в первый раз. Хозяина Рональдо не было, но его сыновья встретили нас как героев и тут же освободили место под тенистым деревом.

Проходя мимо крыльца, мы с удовлетворением отметили, что подаренный нами выпел Русского географического общества висит на самом видном месте, у входа. Ещё подъезжая к деревне, с тревогой наблюдали, как навстречу нам из-за вздыбленных кряжей выползают разлохмаченные груды облаков. К моменту старта они залили всю окрестность сырым туманом. Сразу резко похолодало.

Первый километр шли по тропке, разделяющей поля кукурузы. Её сажают здесь на расстоянии раза в два больше, чем у нас в России. Труднообъяснимое расстояние при такой острой нехватке земли, но оно, наверняка, имеет своё, неизвестное нам, рациональное объяснение.

Сквозь туман видим копошащихся на наделах крестьян. Заметив нас, они радостно машут руками, желают успешного восхождения.

По мере набора высоты характер леса менялся: на смену субтропическому с лианами, пальмами и непроходимым колючим подлеском пришли разлапистые сосны. Чем выше мы поднимались, тем ниже становились они. Туман густел. Из-за белой мути казалось, что на нас наступают скелеты рукастых чудищ. Вблизи они превращались в обугленные пожаром деревья. Временами “молоко” становилось до того густым, что из поля зрения исчезал даже впереди идущий. Были видны лишь камни под ногами и растущие в беспорядке пучки травы. При каждом шаге они появлялись из ниоткуда, а если обернуться и посмотреть назад – пропадали в никуда. Полный сюрреализм!

Наконец, обливаясь потом, мы проббили облачный покров, и на нас брызнули лучи стоящего в зените солнца. Стало жарко. Если бы не порывы холодного ветра, нам пришлось бы совсем худо. Деревья и трава исчезли. Одни голые камни, испятнанные мазками лишайника. Подъём из-за возросшей крутизны склона давался всё труднее. Несмотря на ветер, я снял даже безрукавку. Первый купол, усеянный ноздреватой золой и мелкой галькой, походил на прокопчённую лысину великана. Взобравшись на него, расселись на вулкани-

ческие бомбы. Перекусили шоколадками, попили воды. После чего спустились в неглубокий, хорошо выраженный боковой кратер идеально круглой формы.

Проведя традиционные измерения температуры почвы, уровня загазованности и физических размеров кратера, полезли на главный конус, усыпанный исторгнутыми из нутра Земли комьями магмы. Пространство между ними заполнял толстый слой чёрной крупки. Стоило наступить на неё, как она приходила в движение, и если не успеваешь пересечь этот поток скользкими шажками, то “едешь” вместе с ним вниз до тех пор, пока не упруешься в крупную глыбу. А если таковой на пути не окажется, то можешь катиться вниз метров сто, после чего повторять подъём.

Из последних сил, цепляясь за острые кромки застывшей лавы и проворно пересекая сыпуны, пытаюсь догнать наших. Но чем выше, тем тяжелее даётся каждый метр: уже ощутима нехватка кислорода. Останавливаюсь через каждые 10–15 метров. И вот наконец последний шаг! Передо мной открывается громадная воронка, забитая чёрным пеплом и пористыми гранулами. Между комьев лавы сочатся струйки пара. Вокруг них солнышками желтеют пятна серы. Ребята, оседлав вулканические бомбы, уже жуют кто курагу, кто шоколад. Я, глотнув воды, оглядываюсь.

Вершину широко кольцом опоясывали “жирные” облака, проткнутые вдали вулканами пониже. И такая библейская тишина обступала нас, что казалось, будто не существует в мире ничего, кроме этих каменных стражей, парящих над уходящими вдаль белыми бурунами. Пока я предавался созерцанию, отдохнувшие Лёха и Николай побежали наперегонки к противоположному гребню кратера, разведать переход на Акатенанга.

От спуска у меня осталось ощущение, будто он тянулся бесконечно. Шагал и удивлялся: как я утром смог осилить эти затяжные крутяки?! Спускаться и то страшно – того и гляди покатишься кубарем в пропасть! Это изумление было настолько велико, что даже заглушило радость оттого, что всё же сдюжил, дошёл до кратера. Правда, не в первой двойке, как на Пакайя (там я выложился до упора и после этого ещё не восстановился), а замыкающим, но, тем не менее, по гребню кратера потоптался и наряду с флагами России и РГО поднял флаг Башкирии.

16. Шаровые молнии в вулкане

Уже три месяца, как мы в пути, однако результаты медицинского и психологического мониторинга стабильно хорошие. Из заболеваний – одно простудное и радикулит. Из травм – несколько ссадин об острые кромки вулканической породы. Так что расход медикаментов невелик.

Помимо армейского распорядка и полноценного питания помогают переносить нагрузки витамины, которые мы пьём под строгим контролем доктора ежедневно. Начиная с Гватемалы, ещё принимаем и противомаларийные препараты: риск заражения малярией актуален до Боливии включительно.

Думаю, не лишним будет пояснить, как мы поддерживаем связь с Россией. Чтобы отправить в РГО топик или новость, заезжаем в ближайший городок и, поймав на свой ноутбук сеть беспроводного доступа, по-быстрому передаём в Москву заранее приготовленные фотографии с текстами. Если найти открытую сеть не удаётся, подъезжаем к кафе, заказываем на шестерых один чай и получаем пароль для входа в интернет. Для личной переписки используем СМС-сообщения. В зависимости от количества передаваемых знаков они обходятся в 8–12 рублей каждое.

Въехали в самую плотно заселенную страну Центральной Америки – Сальвадор. Горы здесь пониже, зато леса и погуще, и побогаче. Осыпавшись с деревьев плоды покрывают землю местами сплошным ковром. Хозяиственный Коля набрал полный мешок манго, и теперь на привалах мы обедаем ими. На полянах и в лесу половина растений – это наши комнатные цветы. Живности тоже прибавилось. Когда я углубился в кущи и присел подумать о смысле жизни, меня здорово напугал броненосец. Он затаился в траве, а в решающий момент, недовольно фыркая, побежал прочь, да так шумно, что переполошил стаю ярко раскрашенных попугаев.

Народ в Сальвадоре беднее, чем в Гватемале, но ещё приветливее. Стоит с прохожим поздороваться, как его лицо расплывается в доброй улыбке и,

кажется, начинает светиться изнутри. На улицах стайки школьников: девочки в белых гольфах, клетчатых юбочках, белых сорочках, мальчики в чёрных брюках и светлых рубашках.

Помимо автомобильного транспорта в этой стране много и гужевого, запряженного волами. Что любопытно, колёса у повозок деревянные, без металлических ободков. Часто видим мини-заводики по обжигу кирпича и черепицы: три-четыре печи, поддоны с готовой продукцией под длинным навесом прямо у дороги – покупай и грузись. Удобно!

В Сальвадоре запланировано одно восхождение – на вулкан Сан-Мигель. С трассы его хорошо видно, но, пока пробирались к нему, прилично поплутали: то свернём не туда, то нужный поворот зевнём – указателей-то нет. Ещё проколы замучили – аж четыре за день! Так что к его подножью подъехали только к вечеру.

На ночёвку встали на склоне, покрытом чёрным “керамзитом”. По боковому срезу дороги видно, что его в последний раз насыпало три метра!

Когда разворачивали лагерь, из чащи вышел и направился к нам местный житель, худощавый индеец лет сорока.

– Хуан Мигель, – представился он.

Из его туго набитой заплечной сумки торчали фазаны хвосты. Мы были в недоумении: у человека ни ружья, ни лука, как же он их добыл? В этот момент индеец вскинул рогатку, одновременно растягивая резину на весь размах рук, выстрелил. Поворачиваем головы: метрах в двадцати на земле бьёт крыльями фазан, второй скрылся за макушками деревьев. Оказывается, местные жители охотятся с рогаткой! Правда, она несколько отличается от нашей: вилка узкая с параллельными сторонами, а резина длинная и очень тугая. Стреляют тяжёлой галькой, шарикоподшипниками и даже гайками – все эти боеприпасы лежат на дне “ружейной” сумочки. Я был так восхищён возможностями “древней пращи”, что принялся уговаривать Хуана продать её для моей этнографической коллекции. Когда сделка состоялась, поинтересовался, не продаст ли он и висевшее на поясе в толстом кожаном чехле мачете. Мачете сальвадорских мастеров считаются самыми лучшими в Латинской Америке. Они заменяют местным и топор, и нож, и косу, и газонокосилку.

К моему удивлению, индеец легко согласился. И цена оказалась приемлемой – 10 долларов.

Пока общались, Николай накрыл стол. За трапезой Хуан рассказал, что, когда он был маленьким, из кратера вулкана несколько раз текли огненные реки, а сейчас лишь слегка потряхивает. Тем не менее посоветовал быть наверху осторожнее, потому что из жерла иногда вылетают “красный град” и “горячие лепёшки”.

В тропиках осадки выпадают, как правило, во второй половине дня, поэтому на Сан-Мигель вышли спозаранку. Поначалу поднимались почти вприпрыжку, но примерно через километр лес сменился до того густыми зарослями высокого кустарника, что пробраться сквозь него можно было лишь звериными тропами-тоннелями, и то лишь встав на четвереньки. Одолев их, облегчённо вздохнули. Но рано радовались – через метров пятьдесят путь преградила стена травы высотой в три метра (!). Пробивая сумрачные траншеи (неба не было видно), промокли от обильно выпавшей росы. Наконец и эта полоса препятствий позади. Ура! Основной конус уже совсем рядом! К нему вела узкая, шириной не более полутора метров рыхлая перемычка, разделявшая два боковых кратера. Она состояла из округлых комочков чёрной и красноватой пемзы. То, что она такая узкая, мы не могли разглядеть, так как находились внутри наехавшего на нас облака. И хорошо, что не видели, иначе вряд ли решились бы идти по ней.

Взойдя на скальный выступ, полезли по базальтовым плитам, присыпанным вулканическим пеплом и шлаком туда, где грозно урчало жерло. Текучий шлак то и дело стаскивал вниз, но мы, цепляясь за подворачивающиеся глыбы, упорно продолжали карабкаться вверх. До кромки кратера оставалось совсем немного. Последний рывок – перед нами разверзается огромный провал, завершающийся конусообразной воронкой – жерлом. Из его невидимого истока вылетают клубы пепла, с боковых стен бьют струйки вонючего, желтоватого цвета пара. Отсняв эту жутковатую картину, мы прошли вдоль ребра кратера к месту, где была возможность спуститься по ступенчатым уступам

к базальтовой террасе, опоясывающей кольцом, теряющуюся в дыму, раскалённую утробу напряжённо рокошущего Сан-Мигеля.

Сойдя на неё, осторожно приблизились к краю, покрытому ещё не остывшими вулканическими бомбами: следы ночного выброса. Обдало жаром, густо пахло серой. Тут перед нами что-то неуловимо меняется, и мы видим в дыму четыре – нет, вон и пятый проступил – ярких фиолетово-зелёных тороидальных кольца, каждое с метр в диаметре. От них исходит пульсирующий свет.

Я замешкался, а Костя успел вскинуть фотоаппарат, но в этот момент раздались хлопки, и... кольца разлетелись быстро гаснущими брызгами. Феерическое зрелище! Вроде радоваться надо, а мы чуть не плачем – такой снимок зевнули! Первым вспомнил о цели посещения вулкана неутомимый труженик Николай. Достав свой термощуп, лазерную линейку, он приступил к измерениям. Мы же не сводим глаз с курящегося провала в надежде ещё раз увидеть нечто подобное. Когда Коля завершил стандартный перечень работ, и мы полезли обратно на гребень кратера, всё равно временами оглядываемся – а вдруг?! Выбравшись наверх, Лёха достал две плитки шоколада и разделил на всех.

– Ну, как вам “летающие тарелки”? – спросил командор, отхлёбывая из пластиковой бутылки воду.

– Оптический обман или игра света. Что-то вроде радуги, – рассудительно произнёс Коля.

– Ничего себе радуга! С таким треском разлеталась! – возразил Андрей.

– Эх вы, индейцы! Это разновидность шаровой молнии.

17. Никарагуа, Коста-Рика, Панама

Чем отличается Никарагуа от других стран Центральной Америки? Сразу бросается в глаза более высокий уровень развития аграрного сектора. Плодородные равнины распаханы, засеяны. Гор мало, в основном пологие гряды холмов. На огороженных бесчисленных пастбищах пасутся тучные стада породистых коров и конские табуны. В южной части страны тянутся на десятки километров банановые плантации (и молодые, и плодоносящие).

На высоких, открытых всем ветрам возвышенностях выстроились рядами белокрылые ветряки, вырабатывающие для страны почти дармовую электроэнергию. И вырабатывают, похоже, немало: рядом стоят мощные трансформаторные подстанции.

Городки уютные, чистые. На улицах удивило необычное сочетание видов транспорта: между громадных “Тойот” ползают доверху гружённые одноосные арбы. Если за предыдущие три месяца мы видели всего одну “Ниву” (кажется, в Канаде), то тут за полдня проехали три “Нивы”, две “семёрки”, один “уазик”, новенький курганский автобус (очень даже симпатичный) и, конечно, труженик КамАЗ.

Индейцы здесь преобладают. Их легко отличить от потомков испанцев по более грубым, резким чертам лица и крепкому телосложению. Одеты они все по-европейски. Пока только в Гватемале встречали целые районы, где индейцы ходят в национальных костюмах.

Что ещё бросилось в глаза в Никарагуа? Вдоль дорог много навесов, под которыми в гамаках с отрешённой задумчивостью раскачиваются мужчины (женщинам не до того – они в это время стирают, готовят еду, нянчат малышей). Как нам объяснили, именно в Никарагуа делают лучшие гамаки, а в Сальвадоре самые крепкие мачете. Ну, вот и всё на сегодня. Ребята давно спят, а я при свете налобного фонарика всё тюкаю одним пальцем по клавиатуре ноутбука, лишь временами поглядывая на десятки тысяч светлячков, мечущихся вокруг меня. (Они настолько яркие, что видны метров за пятьсот). Так что буэнос ночес, сеньоры и сеньориты! Вернее, буэнос тардес, – в России-то уже день!

...Побыв на вулкане Масая, мы въехали в Коста-Рику. Вытянутая узкой закорючкой с севера на юг Коста-Рика, пожалуй, самая ухоженная и красивая страна Центральной Америки. Благодаря удачному расположению между двух океанов, с избытком обеспечивающих страну влагой, а также плодородию земли, щедро сдобренной высокоминерализованным пеплом вулканов,

её горы и долины покрыты буйной растительностью, среди которой немало реликтовых видов. Не случайно фильм “Парк юрского периода” снимался именно здесь.

Но понаслаждаться экзотически-пышной красотой этого края нам удалось лишь первые три дня – на четвёртый начался давно ожидавшийся сезон тропических дождей, и мы до глубины самых внутренних органов прочувствовали, что кроется за этим будоражающим воображение россиянина понятием. Солнечный, брызжущий радостью и покоем зелёный рай в одночасье превратился в пропитанный водой хмарь.

Ливни здесь настолько бурные и щедрые, что через 3–5 секунд на тебе не остаётся ни одной сухой нитки. Не ливень, а водопад! Слава богу, что тёплый. Невольно удивляешься – как такая огромная масса воды могла полдня парить над землей. А потом, когда насквозь мокрый летишь на скорости 50 километров в час на велосипеде с горы, дрожишь от холода, а на подъёмах, наоборот, чувствуешь себя так, словно в турецкой бане. Вдобавок ко всему, ущелья нашпигованы влажными лохмотьями вновь вызревающих туч. Так что теперь постоянно дышим водной аэрозолью. Единственный промежуток времени, когда можно отдохнуть от сырости и хоть немного обсохнуть, это утро.

Подъём на самый высокий перевал Центральных Кордильер (3300 метров) чуть не добил нас. Помимо изнуряющей крутизны склона, на этой высоте весьма прохладно, всего 8 градусов. Вдобавок ко всему, пошёл холодный дождь. К вечеру мы до такой степени заоченели, что руки не слушались: палатки целый час ставили. Зато на следующий день за три часа спуска сбросили 2700 метров. Летели вниз на такой скорости, что на серпантине двое ребят не вписались в поворот и, врезавшись в бетонный бордюр, улетели в кусты. К счастью, отделались лишь синяками и царапинами, да на колесах выбило с десятков спиц.

Коста-Рика местами напоминает Швейцарию. Ухоженная, чистая, благополучная. Неудивительно – больше ста лет без войн! А в Гватемале и Никарагуа война завершилась недавно – на исходе XX века. Тут даже по собакам заметно, что страна не бедствует. До этого, начиная с Мексики, на них трудно было без слёз смотреть – до того худые (рёбра ивовыми прутьями выпирают), вялые. В Коста-Рике же все упитанные, бодренькие и хвостами весело помахиывают.

Впечатляет и то, как костариканцы берегут свою и без того богатую флору и фауну. Недаром говорят: Коста-Рика – страна заповедников и национальных парков. Под них отведено 25% территории. В мире немало стран, где и этот достойный уважения показатель выше: 30 и даже 40%. У нас, я думаю, он не более 3% (правда, вся Восточная Сибирь практически заповедник).

В непроходимой тропической сельве обитают обезьяны-ревуны, пумы, ягуары, муравьеды, еноты, оцелоты, ленивцы, дикобразы, игуаны, белки. Ну, а от птичьего гама по утрам просто звон стоит. Тут и разномастные стаи попугаев, туканов, и крохотные колибри, и много других, незнакомых нам пернатых. Среди цветов лениво порхает морфа, самая большая бабочка. Индейцы считают, что эти бабочки – лесные боги, охраняющие территорию. Вечерами разом, как будто по чьей-то команде, начинают оглушительно звенеть цикады.

Ночью воздух наполняется мириадами ярко мигающих огоньков-фонариков – светлячков. Их тут так много, что кажется, будто на чёрном бархате тропической ночи мечутся в броуновском движении тысячи созвездий. Возникает иллюзия, будто сам летишь среди звёзд! Но когда такой огонёк вдруг сядет на тебя, то при свете налобного фонарика видишь, что это обычный, зеленоватого цвета жучок.

Приятным сюрпризом было отсутствие кровососов. Вечером изредка кусают москиты, а днём муравьи – и всё. Правда, чешутся эти места потом долго.

Растительность тут такая буйная, что листья папоротника в три-четыре метра длиной, трава в рост человека, а “лопухи” по два метра в диаметре! Может, поэтому так много муравьёв-листогрызов?

Нетронутая природа настолько красива, разнообразна и богата, что от иностранных туристов отбоя нет. Не удивительно, что туриндустрия обеспечивает 85% поступлений в бюджет государства. Основные доходы идут с побе-

режья, но и в горах можно увидеть велосипедистов, мотоциклистов. Немало иностранцев приезжает и в полуторамиллионную столицу – Сан-Хосе. Среди них мы встречали представителей самых разных стран, но в большинстве всё же американская молодёжь. Их сразу видно: джинсы носят настолько низко, что трусы наполовину наружу. Ребята с виду крепкие, спортивные, но когда здороваются, ощущение, будто не мужская ладонь у тебя в руке, а пучок верёвочек. Поскольку я привык жать от души – они, бедняги, аж приседали.

Сан-Хосе не произвёл на меня впечатления, хотя чистенький, благоустроенный, уютный. Не утомляет – нет бестолковой суеты. В то же время хватает и бродяг, и попрошаек.

... Вулканов в Коста-Рике изобилие. Нашу команду интересовали только два, самые знаковые и интересные. Первый, красавец Ареналь, – “молодой” и весьма деятельный стратовулкан (конус идеальной формы возвышается над окрестностями на 1720 метров). В старину индейцы обожествляли его и, чтобы смягчить крутой нрав, приносили многочисленные жертвы. Но в середине XVI века он надолго задремал, и люди, привлечённые плодородием почвы, стали селиться прямо у подножья, а о жертвоприношениях забыли. Проснувшись в 1968 году, он похоронил эти деревни под огнедышащей лавой. С тех пор небольшие извержения происходят практически ежемесячно.

Возле Ареналья расположено одноименное искусственное озеро площадью 80 квадратных километров, являющееся крупнейшим водохранилищем в стране. Оно пользуется огромной популярностью у любителей виндсерфинга всего мира.

Второй вулкан – Поас (2574 метра) – тоже активен. Стоит он в окружении густых, обомшелых от постоянных дождей лесов. Поднявшись на него по оборудованной тропе, мы попытались перейти для съёмки начавшегося извержения на противоположный край кратера, но не сумели пройти сквозь густо перевитые лианами и корявыми стволами дебри и двух метров!

Поас рекордсмен среди американских вулканов по диаметру кратера – полтора километра! В его широком, залитом лавой кратере свинцово поблёскивает горячее кислотное озеро. По соседству с ним из жерла беспрестанно исторгаются шишковатые клубы пара. Они достигают таких размеров, что можно подумать, будто именно здесь находится главная фабрика по “производству” облаков.

Выше основного имеется ещё два спящих кратера. Они поменьше, их склоны уже поросли лесом. На дне самого высокого приютилось изумрудное озеро Ботос. Оно столь красиво, что одним своим видом навеивает покой и радость.

Дороги в Коста-Рике в прекарсном состоянии (ещё бы, асфальта не жалуют – укладывают сразу тридцать сантиметров). Одно плохо – узковаты. Из-за обильных и частых дождей полноводных рек и ручьёв с избытком. Соответственно, и мостов много, но они такой ширины, что проехать может только одна машина. Поэтому перед каждым стоит знак, указывающий, у кого преимущество. Деревья, подступающие к дороге с двух сторон, смыкают раскидистые кроны до того плотно, что едешь порой в зелёном тоннеле.

Жажду во время отдыха утоляем обычно соком увесистых, будто чугунные ядра, кокосов. Наловчились сбивать их длинной жердью или метко брошенным камнем. Прочную желтоватого цвета “броню” вскрываем сальвадорским мачете. Тут важно одним точным ударом отсечь верхнюю часть плода так, чтобы образовалось отверстие в полость, заполненную чуть беловатым, всегда прохладным соком, и при этом не отрубить себе палец.

После того как сок выпит, соскребаем ложкой со стенок белую студенистую, весьма питательную массу и с наслаждением поглощаем её. (Сбивать лучше незрелые кокосы – у созревших мякоть жёсткая.) В качестве высококалорийной добавки балуем себя гроздьё бананов, растущих тут же.

Северная часть Коста-Рики заселена плотно. Много шикарных вилл, вокруг них на лугах пасутся породистые скакуны с аккуратно подстриженными гривами. Южная – намного реже. Непрístupные горы и непроходимые леса затрудняют её освоение. Встречается лишь хуторки и небольшие усадьбы у дорог. Удивляет то, что многие дома расположены практически вплотную к проезжей части. При этом двери всегда широко распахнуты и внутренность жилища хорошо просматривается.

Народ в Коста-Рике спокойный, открытый. Возможно, это связано с благоприятным климатом и щедрыми дарами природы. Встречались даже нату-

ральные донкихоты. Так, возле вулкана Ареналь на острых камнях пробило облысевшую покрышку, а следом и запаску – на ней лопнул корд, и тонкая стальная проволока в нескольких местах проткнула камеру. Что делать?

Проезжавший на квадроцикле пожилой костариканец, узнав о нашей беде, развернулся и повез Илью в ближайший городок. Объехав три автомастерские, они всё же нашли покрышки подходящего размера. Доставив Илью к нам, он категорически отказался от денежного вознаграждения.

Когда судьба сталкивает с такими отзывчивыми людьми, невольно спрашиваешь себя: “Как бы ты поступил?”

... Узкий перешеек, остроносой мотыгой вонзившийся в громаду Южноамериканского континента, оканчивается Панамой – последним мини-государством Центральной Америки. По уровню жизни эта страна значительно превосходит все другие государства региона, включая даже весьма благополучный туристический рай – Коста-Рику. Секрет прост: через неё проходит приносящий казне колоссальные доходы Панамский канал, и имеется оффшорная зона, привлекающая в страну крупный капитал. Без этих железобетонных подпорок быть бы Панаме заурядной банановой республикой.

Доходами от канала многие десятилетия пользовались американцы. Но после того, как патриотически настроенные офицеры совершили в Панаме военный переворот, пришедший к власти генерал Торрихос добился от США подписания договора о возвращении канала и примыкающих к нему земель с 1 января 2000 года под юрисдикцию его страны. В результате этого судьбоносного решения Panama за довольно короткий период неузнаваемо преобразилась. Города украсили шедевры современной архитектуры, великолепные бульвары с фонтанами и зонами отдыха. Для малоимущих построены и продолжают строиться десятки благоустроенных посёлков (дома передаются в пользование с рассрочкой оплаты в тридцать лет, при этом первый взнос делает само государство). Пенсионерам на многие услуги предоставляется пятидесятипроцентная скидка, а связанные с ней потери частных компаний компенсируются из бюджета.

То, что страна на подъёме, стало понятно уже на КПП. Здания паспортного и таможенного контроля просторные, светлые. В помещениях кондиционеры, со вкусом подобранная мебель. Даже дезинфекция машин автоматизирована: заезжаешь в камеру, и через пять секунд процедура завершена. Глядя на всё это, понимаешь, насколько велика роль руководителя в экономическом благосостоянии страны. Верно на Руси говорят: “Каков поп, таков и приход”.

Встретила нас Panama безоблачным небом и ярким солнцем. После недели проливных дождей, пропитавших затхлой сыростью всё снаряжение и одежду, это было особенно приятно. Правда, погода баловала недолго. Уже на следующий день с Атлантики налетел тайфун, и всё опять погрузилось в густой туман, сдобренный косыми прядями дождя.

Вулканами эта страна не избалована. В нашем маршрутном задании значится только один – Бару. Он же является самой высокой точкой Панамы – 3475 метров.

Чтобы успеть подняться на кратер до полудня, когда небосвод ещё свободен от туч, мы заночевали прямо у ворот одноимённого национального парка. Купив у охраны разрешение на восхождение, вышли на Бару задолго до рассвета. Первые километры протекторы ботинок “буксовали” по размытой потоками воды тропе, выдирая из неё окатыши. Потом долго поднимались по крутому склону, покрытому струпьями угловатых плит. Взойдя на скалистый утёс, запечатлели на видео, как из-за горизонта проклёвывается и, на глазах наливаясь светом, выплывает пунцовая капля. Во все стороны сразу брызнули живительные лучи. В какое-то неуловимое мгновение светило оторвалось от обугленных зубцов и, на ходу раскаляясь добела, поплыло, пробуждая залитые туманом долины ото сна. Мы старались не отстать от него, и через минут двадцать стояли на самой высокой точке кратера.

Удивительно, сколько гор уже перевидал, а душа и сердце не устают восхищаться их неповторимой, каждый раз новой, красотой. Перевожу взгляд на заросших товарищей. Они тоже потрясены. Илья широко улыбается и вскидывает руки вверх. Мы на вершине! Мы счастливы!

... Дорога от столицы Панамы оказалась довольно спокойной, без резких подъёмов и спусков. Перед городом автострада взлетела на холм, и с него как-то сразу открылся вид на громадный ажурный мост, перекинутый через

залив, в который и выходит Панамский канал. Слева выгнули шеи гусаки портовых кранов, а справа, возле голубоватого острова, на рейде стоят, ожидая очереди, океанские суда. Вода в самом канале грязно-серая, но ближе к выходу в Тихий океан приобретает сочно-бирюзовый цвет. Прямо под нами, под мостом, проплывал ослепительно белый семипалубный лайнер.

Внезапно открывшаяся с моста в проёме между двух лесистых холмов плотная группа белоснежных небоскрёбов Панама-Сити произвела сильнейшее впечатление: наши глаза уже отвыкли от такого множества высоченных бетонных башен.

Въехав в город, мы опять ахнули: нас окружали фешенебельные особняки, зелень, цветы, идеальная чистота. При этом историческая зона не тронута, более того – тщательно отреставрирована. И, что больше всего восхищает, – всё это выросло за какие-то 10 с небольшим лет! Как только в казне появились за счет национализации канала дополнительные доходы, так правительство сразу пустило их в дело: на строительство дорог, жилья, благоустройство. Всё это вызвало колоссальный рост числа новых рабочих мест. Доходы граждан стали расти, люди стали покупать больше товаров, и, как следствие, начали развиваться отрасли, производящие их. Страна стремительно пошла в гору! Никаких резервных фондов и никаких экономических кризисов!

Как вы понимаете, в таком городе в палатке не поночуете. Пришлось сесть в отеле, в шестиместном номере с душем, кухней, бассейном во дворе, компьютером и интернетом. За всё это 80 долларов, то есть 400 рублей с человека. В центре, среди небоскрёбов, это очень даже неплохо. Но объективности ради должен отметить, что все первые этажи в решётках, дворы за колючей проволокой. Видимо, криминал и тут силён.

Днем разбрелись по городу: кто продукты подкупить, кто в посольство, кто на встречу с журналистами. Я пошёл искать веломагазин, чтобы приобрести необходимые запчасти – Костя назначил меня главным ремонтником. Иду и попутно щёлкаю на цифровик понравившиеся городские сюжеты. Вдруг наперез мне из здания выходит полицейский и вежливо просит сначала показать паспорт, а потом то, что я сфотографировал. Я повиновался. Просмотрев последние кадры, сержант связался с кем-то по рации, а меня попросил задержаться. Через минуты три подъехал офицер и тоже предложил показать снимки. Убедившись, что белобородый изможденный дедушка, в красных шортах, неопределённой национальности, не моджахед и не иностранный шпион, отозырял и пожелал весёлого времяпрепровождения.

Чем ещё удивила Панама? В целом, народ здесь очень спокойный, я бы даже сказал – флегматичный (видимо, нет повода волноваться). В отличие от других стран Центральной Америки, в Панаме много негров. Но живут они обособленно в негритянских кварталах. Мы их проезжали: грязные улицы, обшарпанные дома...

На следующий день к нам по поручению чрезвычайного и полномочного посла России в Панаме Алексея Александровича Ермакова приехал консул Георгий Павлович Полин – высокий, спортивного телосложения молодой и обаятельный дипломат. Он повёз нас в гости к отцу Александру, настоятелю недавно открывшейся в Панама-Сити православной церкви.

Узнав о масштабах и целях нашей экспедиции, батюшка, тоже молодой человек, с улыбкой, располагающей с первого взгляда, прочитал, стоя перед ликом Христа, охранную молитву за здоровье путешественников, а затем пригласил в дом на чаепитие.

Вскоре подъехали несколько соотечественников, хорошо знающих дороги и вулканы в Колумбии и Эквадоре, в которых нам предстояло серьёзно поработать. В их числе седовласый старший советник посла Валерий Алексеевич Артасов и Алексей Воротников, талантливый, деятельный бизнесмен, регулярно оказывающий церкви щедрую финансовую помощь. Из общения с ними мы почерпнули много полезной и важной для себя информации. Тронутые столь радушным приёмом, прощаясь, оставили для нужд прихода наш автомобиль. Батюшка, даже зная о необходимости ремонта, радовался неожиданному приобретению как ребёнок.

Уезжали из устроенного неустанными трудами отца Александра и матушки Анны духовного центра в приподнятом настроении и с ощущением прикосновения к тёплому свету Отечества. Для меня было приятным сюрпризом то,

что и бабушка и матушка читали мои недавно изданные книги о людях, сильных духом — старообрядцах (романы “Скитники” и “Золото Алдана”). Узнав, что я автор этих произведений, они сердечно благодарили за внимание к Расколу и староверчеству, одному из самых трагических периодов в истории России, круто изменившему вектор её развития.

18. Страна на экваторе

Время летит, словно быстрая птица: уже пятый месяц, как наша команда в пути. Неделю назад пересекли экватор и пылим по дорогам Эквадора уже в Южном полушарии. Любопытно, что контур этой страны, напоминающий сердце, рассечённое двумя внушительными рубцами Западных и Восточных Кордильер, довольно точно повторяет профиль Южноамериканского континента.

Казалось бы, люди хорошо изучили свою планету, тем не менее, Южная Америка по-прежнему остаётся средоточием исторических тайн, загадочных явлений. Это огромный котёл, в котором “варилась” иная история человечества. Возможно, с участием инопланетян или каких-то земных, но неизвестных нам существ. Так, в Колумбии, Перу, Коста-Рике то и дело находят золотые “летающие кораблики”, сделанные в доколумбову эпоху. Отличаясь в деталях, все они имеют горизонтальные крылья и вертикальный киль. Возможно, прообразом им служили реальные летательные аппараты пришельцев с иных планет или представителей исчезнувших допотопных цивилизаций Земли.

Само название Эквадор (на испанском оно означает “экватор”) у меня ещё со школы ассоциировалось с чем-то таинственным. Это представление ещё более усилилось, когда узнал, что инки, спасая свои сокровища от алчущих конкистадоров, увезли их по тайным тропам как раз сюда, на территорию современного Эквадора, и основали среди огнедышащих вулканов царство Эльдorado.

Знакомство с Эквадором началось с его столицы, города Кито, в котором мы провели два полных дня. Он вытянулся на несколько десятков километров по дну широкой впадины между двух хребтов на высоте 2800 метров над уровнем моря. Впадина уже не вмещает его, и город расплзся длинными языками по крутым межгорным распадкам. Самые крайние постройки достают теперь до облаков. Дно котловины весьма холмистое. Если Москва стоит на семи холмах, то Кито, пожалуй, — на всех семидесяти! С высоты птичьего полёта мегаполис напоминает многолапого крокодила, спина которого покрыта бугристым панцирем.

Здесь климат не соответствует названию страны: бодрящие 14 градусов никак не вязались с традиционным представлением об экваторе. Кстати, его линия проходит всего в семнадцать километрах от города и отмечена массивной тридцатиметровой стелой, на которой водружён макет земного шара, опоясанного золотой цепью. Внутри стелы находится музей истории Эквадора, а от западной и восточной стен в обе стороны отходят полосы, символизирующие экватор. Так что здесь можно одной ногой стоять в Северном, а другой в Южном полушариях и наблюдать (правда, почему-то не всегда) интересное явление: вода, сбегая в воронку, в разных полушариях закручивается в разные стороны (в южном — по часовой стрелке, в северном — против). А на самом экваторе сливается без завихрений. Пользуясь этим свойством воды, можно определять линию прохождения экватора с точностью в несколько метров.

Небоскребов, таких как в Панаме, в Кито нет. Но зато сохранилось огромное количество построек колониального периода. Современные дома в основном из стекла и бетона, кубовидные, невысокие — двух-трёхэтажные, с широкими, открытыми террасами. (Может, поэтому Кито и занимает такую большую территорию). Улицы крутые, напоминающие город моей юности — Владивосток, или, как мы его ласково величали, Владик.

Двухэтажный президентский дворец на площади Независимости довольно скромный и по размерам, и по отделке. Вход в него охраняют солдаты в форме гвардейцев XVIII века с красными пиками. Слева от него здание правительства. Тут же на площади отдыхают горожане с детьми: беззаботно прогуливаются, едят мороженое, кормят голубей, а президент страны и министр

ры спокойно работают в пятидесяти метрах от своего народа. По периметру площади расположены также кафедральный собор, магазины, рестораны, музеи. Необычайно красочно выглядит площадь вечером при свете прожекторов и фонарей.

Впечатлила католическая базилика с изящными, ажурными шпилями, vyplненными в неоготическом стиле. Особенно понравились многочисленные витражи. Каждый – это картина библейского содержания, выполненная из кусочков разноцветного стекла.

Но всё же наиболее яркая достопримечательность Кито – гигантская статуя Девы Марии. Она установлена на вершине одного из холмов на постаменте, представляющем собой копию земного шара. Говорят, что это единственная статуя, на которой Мадонна изображена с крыльями. Она держит на цепи змею, извивающуюся у её ног.

Много монастырей. Все они в образцовом состоянии. На дверях келий таблички с именами проживающих в них монахов. При этом, как мне показалось, самих мирян не отнесёшь к числу прилежных прихожан – костёлы во время службы полупустые.

Ещё город богат скверами, парками. В них эквадорцы играют в волейбол, танцуют, слушают игру гитаристов, аккордеонистов, поют или просто лежат на траве. Чувствуется, что горожане любят свою столицу: вокруг домов и на балконах цветы, на улицах идеальная чистота. В каждом районе имеется свой небольшой рынок.

Несмотря на обилие разнообразных исторических, природных и этнографических достопримечательностей в стране, туризм здесь не развит. Даже в старой колониальной части Кито иностранцы – редкость. Отели полупустые, хотя цены вполне доступные. Так, номер на пятерых в хостеле нам обошёлся всего в 36 долларов.

Последние годы у власти стоят левые партии во главе с президентом-социалистом Рафаэлем Корреа, известным своим антиамериканизмом. Страна живёт по разработанной им и его соратниками концепции “Социализм XXI века”. Дай Бог им успехов!

Население, а это в основном малорослые индейцы и метисы (испанцы + индейцы), похоже, не бедствует, что подтверждается средней продолжительностью жизни: у мужчин 72 года, у женщин – 78. Чернокожие жители встречаются, но реже, чем в Панаме. Радует, что население не чурается носить национальную одежду, правда, это по преимуществу люди среднего и старшего возраста (непременная шляпка и большой яркий одноцветный платок на плечах у женщин, и пончо со шляпой и шарфиком на шее у мужчин). Девушки же – в джинсах или брюках в обтяжку, а если в юбках, то в кожаных сапогах с голенищем выше колен. Женщины в этой стране, пожалуй, самые красивые по сравнению с теми, что мы видели с начала экспедиции: фигуристые, с миловидными лицами и выразительными глазами. Каждая вторая – просто красавица. Курящих не встречали. Хочу подчеркнуть, что в Центральной и в Южной Америке курение не приветствуется.

Громадный Кито может гордиться и тем, как грамотно и успешно решена транспортная проблема. Пробок здесь почти нет, хотя машин море. Для скоростных метробусов выделены две специальные полосы, отделённые от дорог общего назначения высоким бордюром. Чтобы не препятствовать движению остального транспорта, эти полосы на перекрёстках уходят под землю. Посадка в метробусы (они похожи на комфортабельные троллейбусы) осуществляется с высоких крытых площадок-павильонов. Практически это метро, только наземное.

Эквадорцы очень отзывчивы. Такой пример: при отправке тёплых вещей из Панамы в город Ушуйай, расположенный на Огненной Земле, я, чтобы максимально облегчить рюкзак, вместе с пуховиком, тёплыми сапогами, шапкой, рукавицами отправил и свой пуховой спальный мешок. Уже первая ночь в Эквадоре показала ошибочность этого решения: здесь хоть и экватор, но совсем не жарко. Чтобы исправить положение, поехал в центр. Выйдя из автобуса, заинтересовался у молодого человека, как найти спортивный магазин. Так юноша, видя, что я не понимаю по-испански, провёл меня прямо до входа в него.

Семьи в Эквадоре, как правило, большие. Родители детей обожают. Малыши спокойные, улыбкивые. Плачущим не видел ни одного.

В Эквадоре мы должны были подняться на два вулкана. Крепко спящий, но зато самый высокий Чимборасо (6310 м) и действующий – Котопахи (5897 м).

Чимборасо хоть и не такой рослый, как гималайские восьмитысячники, зато его вершина удалена от центра Земли дальше, чем у Эвереста (8842 м). Этот парадокс объясняется тем, что наша планета по форме не шар, а сплюснутый у полюсов особой формы эллипсоид – геоид, и имеет наибольший радиус у экватора.

К Котопахи мы отправились на велосипедах, с двухпудовыми рюкзаками на багажниках. Дорога постоянно шла в гору. Это само по себе не сахар, а с тяжеленными рюкзаками на багажниках так и вовсе тяжко. Вдобавок ко всему после полудня начался дождь. На высоте 3000 метров он вдвойне неприятен. Во время отдыха между ходками подкрепляемся бананами. Их продают в деревушках связками весом по 6–7 килограммов всего за 2,5 доллара.

С местом для ночёвки снова проблемы: вдоль дороги по стволам деревьев натянута рядами колючей проволоки. За ней частные наделы самых разных размеров. В конце концов, от безысходности, на свой страх и риск перелезим через ограду и ставим палатки на краю пастбища. Смотрим на альтиметр – высота 3500 метров!

Утром, забравшись на очередной отрог, увидели снежный купол Котопахи. Отсюда красноватая дорога стала ровней. Леса вокруг давно вырублены и горные склоны до высоты 3800–3900 метров покрыты лишь травой. Выше – одни голые камни. Там выживают одни лишайники.

Здесь уже минусовая температура. Дует сильный порывистый ветер, окрестности затянуты тучами. На наше счастье, к вечеру прояснилось. Кругом, куда ни глянь, – дали, дали без конца. Голо и дико кругом. На север и восток дыбятся друг за другом зубчатые цепи. Безжизненная, неприступная горная страна. На западе у горизонта облака, круто взбитые, упругие, с красными боками. Быстро смеркалось. На небосводе вызревали первые звёздочки, но остроконечные пики тлели не угасающими кострами до тех пор пока сгустившаяся тьма ни потушила кровавые сгустки заката. Сразу дохнуло холодом. Помрачневшие склоны смотрели угрюмо, недружелюбно. В тишине всё отчётливей раздавался монотонный крик какой-то птицы. . .

С высоты 5897 метров открывалась ещё более впечатляющая, чем из лагеря, картина: бесконечные гряды хребтов, заполнявшие пространство от горизонта до горизонта, замысловатая вязь ущелий и долин, зажатых между ними, головоломные извивы рек, лохмотья облаков. На юге над тучами грозно возвышается мрачноватый конус Чимборасо. Отсюда хорошо просматривается и впадина, приютившая столицу Эквадора. Над нами бездонный, тёмно-синий колокол со сплящим билом посередине.

(Окончание следует)

ВАЛЕНТИНА ЛОКУН

ОЛЕГ ЖДАН: ТРАЕКТОРИЯ ЖИЗНИ — ТРАЕКТОРИЯ ТАЛАНТА

Эстетика Олега Ждана выростала из советской литературы и, прежде всего, из традиций русской психологической прозы. Отечественная критика отмечала в стиле О. Ждана *“дыхание чеховской традиции”* [1. С. 154]. Писатель начинал свой путь в литературу в России и писал на русском языке. Этот язык так и остался главным языком его творчества. Вместе с тем, прозаик тесно связан с родной белорусской землёй, он творит в силовом поле национальной литературы и, естественно, не может не учитывать опыта этой литературы. К тому же здесь сложилось, можно сказать, целое направление русскоязычной литературы, ядром которого является творчество Б. Спринчана, А. Каштанова, Э. Ялугина, М. Герчика, К. Тарасова, Г. Бубнова, Н. Циписа, Е. Поповой... Эти писатели существенно обогащают белорусскую литературу как в плане содержательном, так и в жанрово-стилевом.

Идейно-художественные искания О. Ждана проходили в русле художественных исканий своего времени, в контексте доминирующей эстетики 70–80-х годов. Первая книга прозы писателя *“Во время прощания”* вышла в 1975 году. Затем одна за другой появляются *“В гостях и дома”* (1977), *“Знакомый”* (1977), *“Черты и лица”* (1985), *“По обе стороны проходной”* (1987), *“Самостоятельная жизнь”* (1990). Прозаик начинал с малых повествовательных форм, в которых превалировала тема любви, дружбы, верности. Но уже тогда у него был свой творческий принцип: *“И всё же вначале была мысль, точнее, тема. Слово — это уже знак качества, кирпич в руках каменщика, податливое дерево у плотника или столяра”* [2. С. 3]. Этими словами писатель предваряет свой сборник *“По обе стороны проходной”*. Таким образом, первичной для О. Ждана всегда была мысль или, по автору, тема, которая включала в себя определение смысла жизни человека, её цели и оправдания. *“С темой сложнее. Тут, если не нашёл, — всё, крышка. Немалая загадка — тема”* [2, с. 3]. Вероятно, оттого, что первоначальные темы — о центре Вселенной, о середине Земли, о любви возвышенной и неземной — были слишком далеки от реальной жизни, они не приносили автору внутреннего удовлетворения. Писатель упорно искал новые смыслы в жизни и в литературе. Уезжал на восток страны, работал на Карагандинском металлургическом комбинате, в Приташкентской геофизической партии, на строительстве Братского лесопромышленного комплекса *“и не нашёл ответа ни на один вопрос”* [2. С. 3].

Вернулся на родину, работал на Минском тракторном заводе, учился в Литературном институте и *“оказался далеко от начала, однако ничуть не ближе к тому, что хотел узнать”* [2. С. 3]. Как видим, труден путь постижения истины, художественной в том числе. Вот и О. Ждану непросто было осознать, что его главная тема – *“люди того же завода и цеха”* [2. С. 4]. Люди, смысл жизни которых заключался в обыденном, каждодневном труде.

Определив сферу своего творческого интереса, О. Ждан, вместе с тем, расширил тематические горизонты всей белорусской литературы, ибо тема города была одной из наименее разработанных в ней, хотя уже и были написаны *“Песня Двины”* Т. Хадкевича, *“Сотая молодость”* В. Карпова, *“Не могу без тебя”* Л. Гаврилкина, *“Спираль”* В. Карамазова, *“Самый высокий этаж”* А. Савицкого. Но прочные традиции городской прозы ещё не сложились, в отличие, допустим, от прозы *“деревенской”*.

Источником творческого вдохновения для О. Ждана стал тракторный завод. Правда, был ещё один центр притяжения – маленькие городки, особенно его родной Мстиславль. Они представлялись ему *“чем-то вроде маленьких источников с той чистой водой, из которых вырастают реки побольше”* [3. С. 7]. Здесь и людей автор находил особенных: *“приветливых, с твёрдым пониманием добра и зла, смешного и серьёзного, безобразного и прекрасного”* [3. С. 7].

Есть и ещё одна особенность прозы О. Ждана советского периода: повествуя о своих героях, он повествовал и о себе самом. *“Каждый из героев Олега Ждана, – отметит известный российский критик В. Бондаренко, – это “один из нас”. Вместе же получается великое многоголосое Мы... Мы Олега Ждана – это не механистическое, легированное, нержавеющей, роботизированное Мы. Это Мы – современной народной жизни”* [4. С. 381].

Художественная проза О. Ждана 70–80-х годов вмещала в себя огромную силу жизнеутверждения, она была пронизана чувством *“коллективистской”* дружбы, космическим единением земли и неба. Созданная писателем художественная модель мира соответствовала духовным требованиям своего времени, гуманистическим устремлениям советской литературы. Прозаик не сосредотачивался на социальных противоречиях жизни людей (хотя внутренней боли в его текстах достаточно), трагизме эпохи, он стремился охватить своё время в его морально-эстетических аспектах, чтобы в итоге углубиться в философию жизни отдельного человека, производственного *“коллектива”* или города в целом.

Конец 80-х и 90-е годы – это период социальной ломки, пересмотра и почти полного отрицания советской эстетики. Многие писатели оказались в глубоком духовном и творческом кризисе. Рушились те идеологические каноны, моральные идеалы, которыми жило уходящее в историю искусство. Вместе с ним уходили и герои: герои-романтики, мечтатели, герои-трудяги, герои-странники. Новый социум актуализировал, прежде всего, критическую литературу. Здесь явно солировал голос И. Шамякина: *“Paradies auf Erden”* (1993), *“Вернісаж”* (1993), *“Сатанинский тур”* (1995), *“Выкармак”* (1996). По-своему индивидуально-неповторимыми оставались тексты В. Быкова: *“Ваўчыная яма”* (1998), *“Сцяна”* и *“Труба”* (1998), *“Дваццаць марак”* (2000), *“Балота”* (2001); В. Казько: *“Да сустрэчы”* (1997), *“Бунт незаптрабаванага праху”* (2000); Ю. Станкевича *“Псеўда”* (1997); А. Козлова: *“Я і прарок Уродка”* (1996), *“Дзеці начы”* (1999) и др.

О. Ждан только в 2006 году публикует повесть *“Сопровождающий”* (*“Всемирная литература”*, № 2), которая, к сожалению, осталась незамеченной критикой. А между тем, это одно из самых ярких публицистических произведений О. Ждана. Здесь очевидна перекличка с метафорическим *“Сатанинским туром”* И. Шамякина. Концепт дороги или, по-белорусски, *“шляху”*, традиционный для белорусской литературы (*“адвечным шляхам”*, *“млечны шлях”*, *“крыжовы шлях”*), у О. Ждана, как и у И. Шамякина, насыщается consistentной антижизни, антидвижения, мотивом социальной и духовной тупиковости.

Объектом художественного исследования в своей повести О. Ждан избрал политическую интеллигенцию. Случай достаточно редкий в отечественной литературе. (В этой связи вспоминается разве что повесть Т. Бондарь *“Пусты п’едэстал”* (2003).

О. Ждан моделирует ситуацию, в которой условно всё: от сюжетных ходов до расстановки идейных приоритетов. Даже герои психологически *“ориентированы”* на заложенную в них идею.

В Москве скончался бывший партийный босс Пилухович. В своём завещании он просил похоронить его на родине, рядом с могилой матери, и обязательно по христианскому обычаю: с отпеванием в церкви. *“Человек должен быть похоронен там, где родился”* [5. С. 82], – убеждал окружающих Пилухович.

Герой уехал в Москву, ибо *“хотел послужить Родине. Время было такое: если служишь Родине – жизнь твоя удалась, если нет – жил напрасно...”* [5. С. 82]. Однако получилось так, что и он жил напрасно, ибо заслужил немного: *“не сожгут в крематории, а закопают на кладбище Богом забытого городка”* [5. С. 82].

Все герои повести хотели служить Родине, но не вышло, и *“жизнь не удалась”*. Все они, говоря словами Грумаша, *“хотели другой жизни”* [5. С. 77], а вместо неё получили *“хорошее приключение”* [5. С. 69]. Все они – неприкаянные и социально, и духовно. Они деградировали вместе с деградирующим обществом: *“Люди научились добывать разные мелкие удовольствия, и это заменяет им счастье. Регулярная зарплата заменяет большие деньги, старательный секс – любовь, послеобеденная сытость заменяет ощущение полноты жизни”* [5. С. 97]. Печать отчуждённости проступает даже на лицах героев: *“полное отсутствие интереса к жизни”* выражало лицо Грумаша, а Бельчаков и Тузенков *“безучастно смотрели на пролетающие пейзажи”* [5. С. 90].

Настоящей фантазмагорией представляется эта поездка сопровождающему гроб Войцеховскому: *“семьсот километров по небу, триста по шоссе. Рядом с полированным гробом с латунными ручками. Особенно странно выглядело это в ночной тьме. Очень уместен сейчас был бы голос Бога: куда спешите?”* [5. С. 88].

Не меньшей фантазмагорией воспринимается и параллельная поездка трёх чиновников в Брест, где застрелился – или ему помогли – некий не менее ответственный чин Б. Д. Все они едут в никуда. В небытие. Утратив перспективу жизни, они теряют и саму жизнь.

Время их ушло. Возвратно: *“Траектория у времени проста, как у летящей стрелы”* [5. С. 97].

Новый герой О. Ждана утрачивает свою внутреннюю притягательную силу и социальную значимость, затерявшись в лабиринтах постсоветского времени.

Ситуация отчуждения как доминирующий момент постмодернистской литературы проигрывается О. Жданом в повести “Гений”. Произведение впервые было опубликовано в 2011 году в журнале “Нёман”, № 9, хотя первая редакция текста создана в 1990 году. Это удивительно тонкое по психологическому рисунку и глубокое по философии повествование. Оно свидетельствует о новом этапе эстетических и нравственных поисков писателя.

Главный герой – талантливый художник, который утверждает себя в бунте, каждодневном и решительном, но совершенно бесплодном, ибо мир представляется ему неискренним и жестоким.

“Каждый настоящий художник пишет такую (жизнь. – В. Л.), какой живёт сам. Бессмысленная ведь не значит – без содержания. И это в человеке главное, за что его можно уважать или презирать” [6. С. 115]. В этих словах прочитывается идея субъективности искусства, именно та идея, которую будет активно защищать главный герой повести – художник Трифон. Фамилии у него нет, генетически отсутствует: *“Мать моя – подкидыш, я незаконнорожденный. Нет у меня настоящего корня, нет и традиции. Тришка я”* [6. С. 119].

Тришка – это не совсем придуманный автором образ. За его основу взята реально существующий художник. Вначале писатель хотел *“заклеймавать, нават пракляси”* [7. С. 6] своего Тришку, однако логика художественного развития характера была настолько убедительной, что писатель изменил своё решение, ему захотелось своего героя уже *“абараніць”*. *“Я і сам толькі ў канцы аповесці зразумеў майго героя і дараваў яму”* [7. С. 6].

Дар великого художника или, по О. Ждану, *“вывих”, “тайная болезнь”* появилась у Тришки не в первом классе и даже не в детском саду, *“он с этим вывихом родился, а правильнее – зародился”* [6. С. 116]. Когда его просили нарисовать кошку, он избрал собаку, а если собаку, то рисовал кошку. Таким образом, он уже тогда, в самом начале своего пути, отстаивал право художника на свободу.

Герой давно понял, что люди стремятся соответствовать некоему идеалу. Не любят они правды о себе, *“особенно если эта правда – для всех”* [6. С. 120]. Хотя бы красивее, моложе, удачливее. Тришка же хотел правды, сущности во всём. Он отвергал современную жизнь за её ненатуральность. *“Мир уже давным-давно идёт не туда и не так. Жаждет не того, добывается ничтожного. Ликует от ненависти, наслаждается унижением, радуется от злости”* [6. С. 119].

Так кто же такой Тришка? Эгоцентрический тип с задатками великого художника или жертва? Нельзя ответить однозначно. В нём всё переплелось: и талант, и монстрность, и эгоцентризм, и мученичество. По жизни Тришка везде был изгоем. Только ненависть помогла ему выжить. Вместе с тем, художник, по О. Ждану, это, прежде всего, мученик. Всё искусство рождается в муках: *“Христос – на муку, а вы – на удовольствие?”* – недоумевает Тришка. – *“Все на муку, кроме глупцов и тиранов”* [6. С. 121]. Герой устал от жизни, разочаровался в ней ещё до рождения, разуверился в людях.

“Человек заслуживает уважения и сочувствия, а ты издеваешься над людьми” [6. С. 118], – упрекает Тришку его приятель-предатель, тоже художник. Это антипод Тришки, но, по сути, образ-функция.

Повесть О. Ждана – это ещё и полемика о сущности искусства, о формах его развития, причём оппонент Тришки проецирует её на развитие человечества. *“История отдельного человека, если пренебречь масштабом, – есть история человечества. История художника – история культуры”* [6. С. 123]. А поскольку альтернативы у человечества нет – *“либо вырождение, либо...”* [6. С. 123], – то нет альтернативы и у искусства. Оно должно быть направлено на восславление гармонии мира. Именно стремлением к красоте живёт и развивается настоящее искусство. Кстати, таким стремлением пронизаны картины самого приятеля-предателя Тришки. Но парадокс: успеха он тоже не добился. . .

“Творчество начинается там и тогда, когда художник удовлетворяет своё чувство, и кончается там, где в расчёт берётся хотя бы один человек” [6. С. 135], – убеждён герой О. Ждана. Тришка ратует за субъективизм в искусстве. Оно должно питаться исключительно чувством художника, ибо чувство насыщает искусство страстями и живыми эмоциями. *“Только чувство – программа гения, доверие, которое он испытывает к самому себе”* [6. С. 123], – развивает свою теорию герой:

– *“У Босха был Христос, а у тебя?”*

– *“У меня – я”* [6. С. 116], – уверенно заявляет Тришка, беря на себя одновременно роль мессии, спасителя рода человеческого, и роль гения.

Мысль о гениальности внушила Тришке его мать. И он принял эту мысль как непреложную истину. *“Каждое измученное лицо – гений”* [6. С. 133], – продолжает герой. Таким образом, гениальность – это, прежде всего, чувство муки как особенное состояние души. *“Разве не гениальна его бездарная мать?...”* [6. С. 133]. Парадоксален главный вывод героя: *“Гений не сила, а слабость, он совершенен, а потому не может бороться с толпой. У них, гениев, особая, сквозная судьба и доля: не исчезать окончательно, а умирать и снова возрождаться”* [6. С. 133]. Тришка не получил хорошего образования, христианская вера его не удовлетворяла, поэтому он придумал свою веру с идеей о множественности жизней. Не состоявшись в этой жизни, он надеялся состояться в иной.

Герой мечтал о свободе: творческой и социальной. Свободы творческой он добился. Не свободен был только от матери, которую чаще всего *“переносил с трудом”*, иногда только жалел, – когда удавалась работа, – но тогда он и врагов своих готов был любить. И вот, наконец, свободен он и от матери. *“Свобода, одиночество, тишина. И это же облегчение утром: нет её, нет, нет. Один! И вечером не будет, и следующим утром.”*

Только так и должен жить художник. Племя, семья или государство – объединения слабых. Сбиваются в стаи из страха <...>. Потому, в конце концов, и образовывалось человечество, и не образовался человек” [6. С. 129].

Итак, да здравствует свобода, да здравствует человек! Это была конечная цель бунтующего против мира Тришки, смысл его внутренней борьбы. Но может ли человек жить в мире и быть свободным от него?

Тришка пишет картину, пытаясь совместить замысел с конечным результатом и, таким образом, преодолеть извечную драму художника. Но картина

ему не удавалась: *“ненависти не было в ней. Он хотел примириться с миром, а мир мириться с ним не хотел. Он намеревался показать, какими они, люди, были, и какими могли бы стать, а их удовлетворяло то, какие есть. Хотел показать путь к новой, а может, и вечной жизни, но она, вечная, им не нужна, — только нынешняя минута, удовольствие, всеобщий и поглощающий оргазм”* [6. С. 134]. Толпа снова отвергла Тришку. И он понял причину своего неуспеха. Он заложил в картину не только идею ненависти, но и идею добра, надежды. Он *“уравновесил”* легкомыслие — сомнением, веселье — печалью. *“Нет, не природу поправляя, а судьбу”* [6. С. 135]. Он отступил от себя прежнего, в нём вновь победила слабость. Именно от слабости он пытался объединить и примирить непримиримое: добро и зло, любовь и ненависть. *“А если примирить, то и примириться”* [6. С. 136].

Так был ли Гений? *“Не было никакой гениальности. Был маленький невезучий человек, мечтавший выцарапать из нищеты и безвестности, спасти свою ничтожную, но единственную жизнь”* [6. С. 136].

Тришка — новый герой О. Ждана, он не был ни частью коллектива, ни носителем народной мудрости и жизнотворящей энергии. Это грубый, безжалостный, аморальный и всё-таки значительный, целеустремленный и последовательный в своём жизненном поведении герой. Сознание нового героя О. Ждана отмечено признаками катастрофизма. Мир рухнул, и герой, наделённый могучей творческой индивидуальностью, пытается уйти за пределы этого мира, которому человеческая вседозволенность угрожает полным параличом духа.

* * *

Постепенно О. Ждан будет отходить от “кодекса чести” одного человека и приближаться к чему-то более масштабному-глубокому: сакрально-национальному, общечеловеческому. Философско-мировоззренческий поиск писателя сопряжён с идеологемой национальной идентификации. Этот поиск вовлекает в себя весь духовный спектр человека, но, прежде всего, его бытийный статус и ментальные основы — с целью постижения всё укрепляющейся национальной непохожести, индивидуальной неповторимости. Национальное начало становится приоритетным в художественном осмыслении жизни и характера человека.

Отечественная история оказалась благодатной почвой в поисках новых духовных и нравственных приоритетов в белорусской постсоветской литературе. В историческом прошлом авторы искали те доминанты духовности, которые оказались утраченными в перестроечной жизни. Актуализировались и традиции исторической прозы: Я. Борщевского, В. Ластовского, но особенно В. Короткевича, одного из основателей романтико-просветительского отображения истории. В этом направлении отечественной прозы с успехом проявили себя О. Лойко, И. Шамякин, Л. Дайнеко, К. Тарасов, О. Ипатова, В. Ковтун, В. Орлов, А. Наварич, Ф. Сивко, А. Бутевич, Э. Ялугин, Я. Конев и другие писатели. В зависимости от эстетического сознания писателя проявляется и особый характер нравственной “задачи” художественной реконструкции истории. Вместе с тем, авторы, углубляясь в исторические пласты жизни своего народа, решали не столько просветительские задачи, сколько проблемы современности: национальные, духовные, нравственные.

Проблема власти и национальной свободы — основная “задача” О. Ждана в его романе “Князь Мстиславский”. (Впервые роман был опубликован в 2009 году в журнале “Нёман”, № 7–9, отдельной книгой вышел в 2010 году в издательстве “Литература и искусство” в серии “Свет минувшего”).

В основе романа — факт исторический, в тексте отображены реальные события начала XVI века. Доскональное знание белорусской истории в её общеславянском и европейском контекстах, использование документальных и других свидетельств позволили автору глубоко проникнуть в психологическую атмосферу той эпохи.

В романе нет войны как военной баталии с грохотом боевых действий, атаками, пожарами и т. д. Автор пишет скорее о **жизни** на войне — драматической, несвободной, угнетающей человеческое достоинство.

Сублимируются и переплетаются разные стилистые пласты, документальное изображение и авторское повествование, речевая стилизация и авторский язык. Заметно стремление писателя к эпической прозе. Хронология ис-

торических событий подана чаще всего посредством инверсии. Экскурсом отражены и страницы жизни правления Ивана III, история его непростых взаимоотношений с Александром Ягеллоном. Кстати, драма этих отношений, как и драматические перипетии брака Елены и Александра, рассматривались И. Шамякиным в “Великой княгине” (1996). Но роман И. Шамякина более ориентирован на современность, он более публицистичен, более запрограммирован, чем дискурс О. Ждана.

Князь Мстиславский – главный герой романа. Это историческая фигура, на примере которой писатель стремится решить одну из главных проблем произведения, проблему выбора: может ли выбор человека быть моральным, если он, этот человек, поставлен в условия принуждения?

Герой О. Ждана не хочет войны. Он хочет мира и созидания своему княжеству. “Мне бы мира годков пять... – мечтает Михайло Иванович. – А если б Александр освободил от ордынщины... Я бы много что сделал. Ну, а пока построю придел к божнице Святой Троицы – тесно, людям помолиться негде на праздник. Потом новый храм во славу Господа – такой, чтобы со всей Руси – и Литовской, и Московской – приезжали дивиться. Два моста надо построить через Вехру... да через Сож... Нет, пять мало, годков бы десять” [8. С. 31–32].

Михаил Иванович Жеславский из рода Гедиминова, прямой потомок Великого князя Евнута, который после крещения принял имя Иван. Все потомки Ивана-Евнута были православными. Жеславские, поясняет автор, на самом деле были Заславские – по названию княжества, которым владели с 1345 года. По воле великого князя Александра Михаил Иванович стал удельным князем Мстиславским.

Князь Мстиславский представлен автором во всём противоречии современной ему жизни. Правда, писатель не даёт нам возможности “напрямую” наблюдать за движением внутреннего мира героя. Структурно характер героя не наделён саморефлексией. Писатель фокусирует внимание на патриотической доминанте образа, демонстрируя при этом более чем демократические отношения князя с простыми людьми.

Сдержанно принял народ мстиславский нового князя: “Чего радоваться чужаку?” [8. С. 49]. Не всем нравились его новшества. А начал князь с кладбища, с главного для всех славян места, которое соединяет умерших и живущих в единую природно-космическую духовную сферу. “Что как завтра Второе пришествие?” [8. С. 46]. Паны-бояре тоже не хотели Жеславского, хотя и Москва им не нужна, “не надо мстиславским боярам Москва, нет лучшего места на земле, чем родное, даже Мессия, когда настанет час, пройдёт сперва через Мстиславль, а потом уже через Москву” [8. С. 51–52].

О. Ждан создаёт достаточно реалистическую картину жизни Мстиславля, за которой угадывается жизнь всего белорусского средневековья. Народ индифферентен к правителям и королям. По-разному люди воспринимают и войну: “Молодые, может, и хотят повоевать, а у кого семья... – отвечает за всех Савка Кумар. – Ни воевать, ни в осаде сидеть. Им всё едино, что Жигимонт, что Василий. Не народ, а быдло... Когда князь Острожский бил московитов, стояли здесь, на обрыве, ждали – кто кого. Когда князь Ростовский воевал Литву и положил на Вехре семь тысяч, тоже стояли, открыв рот. Им всё одно. Главное, чтоб веру православную не трогали и еда какая-никакая была” [8. С. 110]. Однако конфликт войны и мира был порождён не столько религиозными мотивами, сколько борьбой за землю: “Спор меж Василием и Жигимонтом, – отметит князь Мстиславский, – не за веру. Не за Смоленск даже або Мстиславль. За великие земли спор, и докончання ему пока что не видно...” [8. С. 103].

О. Ждан решает проблему власти как проблеме ответственности перед людьми и перед Богом: “Княжеское звание – не подарок, – убеждает собеседника князь. – Это такая работа изо дня в день. Нет ни одного дня, чтоб любой человек в княжестве, – хоть холоп, хоть вольный кмет, – не вспомнил о нас” [8. С. 198].

Вместе с тем, любая власть безнравственна, кроме той, что служит Богу: “– А самое лучшее – ни московскому государю, ни польскому королю не служи, а одному Богу и своим людям”, – поправляет князя отец Никодим.

“– Подскажи как, владыко!.. Как служить Богу и своим людям, коли побач такие могутные соседи, и терпеть они не могут, что вот это маленькое кня-

жество – само по себе. Каждый считает, что наша земля – его земля, наши леса, реки, озёры – его леса, реки, озёры, что одному ему можем мы слушать от рождения до самой смерти, не для себя, а для него жить!..” [8. С. 250].

Но это и есть главное противоречие всякой власти. И во все времена.

Князь Мстиславский всё больше будет утверждаться в мысли, что “княжество, – это не золото и серебро... Не слава... Это – крест. Сперва охота получить его, а напотом... Хочешь не хочешь – надо” [8. С. 199].

Практически все герои романа поставлены в условия личностного выбора – жизни или смерти, служения отчизне или предательства. Выбор у князя Мстиславского особо ответственный: от этого выбора зависит не только сохранение его княжеской чести, а, прежде всего, жизнь людей его княжества. Об этой ответственности, сопряжённой со здравым смыслом политика, князь помнил всегда. Во избежание массовой резни и разрушения Мстиславля князь сдал Мстиславль без сопротивления, **но встретить воеводу Щеню не вышел**. Но это только начало его внутренней драмы.

Вскоре герой О. Ждана будет поставлен в ещё более жёсткие условия выбора: он должен отказаться от Литвы и присягнуть Василию. “Отложиться от Литвы и присягнуть Москве? Послать грамоту Жигимонту, что слагаю присягу с себя?... Но родился я в самой середине Великого княжества Литовского, в тридцати верстах от Менска, в городе Изяславле... Ты знаешь, – обращается князь к святому отцу, – мстиславское княжество мне и счадкам моим на веки вечные отдал Александр Ягеллон, Великий князь Литовский, Жемойтский и Русский... Как же я предам брата его Жигимонта?..” [8. С. 158]. В этих словах – всё отчаяние князя, масштабы его душевного смятения. Ведь “менять государство – значит, менять жизнь” [8. С. 202]. Нет, князь не за себя боится, а “за сынов своих, за дочек... Ну, и за людишек в городе” [8. С. 202]. Нелегко даётся князю его выбор, никто не решается разделить его ответственность. Тогда он обращается к природе, едет в лес и там, в шуме деревьев он слышит “гул человеческих судеб, казалось, там, вверху, встречаются прошлое и будущее, и гул оттого, что – известно всё, ничего не скроешь, не спрячешь, и нет утешения ни внизу, ни вверху” [8, с. 233]. Нет утешения князю. Остаётся только здравый смысл, который победил все другие смыслы. Князь присягает на верность великому князю Василию, государю всея Руси. И не только присягает, но и совершает при этом “крестное целование”. Однако и здесь побеждённый князь сумел сохранить если не честь, то своё внутреннее достоинство: “Не покрестился ты, как поцеловал крест. И потом не покрестился” [8. С. 234], – заметил его неискренность Щеня.

Таким образом, О. Ждан сумел создать яркий образ исторической личности, отобразить эпоху. А вместе с тем попытался постичь философию войны и мира, жизни и смерти. “А может, другой жизни и не бывает? Может, война и есть нормальная наша жизнь, а замирение – только чтоб с силой собраться... Один построил – другой спалил, одного родили – другого погубили... Не надо удивляться ни жизни, ни смерти. Равны они, жизнь и смерть” [8. С. 224–225]. И в этом трагическом водовороте жизни и смерти человек изменить ничего не может, ибо ни жизнь, ни смерть ему не подвластны. “Жизнь, смерть... Об этом думать не надо. Оно само приходит-уходит. При чём тут мы, люди? И жизнь, и смерть – от Бога” [8. С. 225]. Что же остаётся для человека? Душа. За душу человек всегда в ответе, она – связующее звено прошлого и будущего. “Душа для человека – всё. Она знает и то, что было, и то, что будет. Она главней всего. Ты помрёшь, а у неё тогда и начинается настоящая жизнь” [8. С. 247]. Жизнь в будущем.

Роман “Князь Мстиславский” получил высокую оценку в отечественной критике. По мысли Д. Мартиновича, О. Ждану “удалось погрузиться в прошлое и открыть для читателей спрятанную в глубине веков Атлантиду – прошлое родного Мстиславля и своей страны” [9. С. 2].

Критик Ю. Сапожков воспринял роман, прежде всего, как “попытку разобрататься в смысле жизни, в её жестоких противоречиях, попытку заглянуть в глубины прошлого, во многом определяющего наше сегодняшнее поведение”. Для Ю. Сапожкова “Князь Мстиславский” – “вещь сложная и тоже противоречивая, как сама жизнь. В ней ни одного персонажа сугубо положительного. В ней нет судей – только судьба” [10. С. 206]. Но главное всё же не это. Весьма своеобразно прочитывает критик образ Михаила Ивановича

Жеславского, считая, что *“унижение не возвышает”* [10. С. 204], а принародное целование креста на верность Василию – это *“полное поражение”* Михаила Ивановича. Особенно смущают последующие параллели критика – пусть и не прямые – с героями войны 1941–1945 годов: начальником заставы А. М. Кижеватовым, полковым комиссаром Б. М. Фоминым, здесь же озвучивается и имя Власова. Каждое историческое время имеет свою идеологию и своих героев. Это разные уровни развития человеческого сознания и разные морально-этические приоритеты. *“Полное поражение”* князя в чём? В спасении города и человеческих жизней? Думается, в этом последнем поступке и проявился настоящий характер князя, его мужество и величие духа. Герой попрали свою княжескую гордость, смирил гордыню, но сохранил жизнь людям. Он руководствовался не честью, а здравым смыслом. Кстати, как подчёркивает писатель, многие удельные князья в своих поступках часто этим смыслом руководствовались. Именно в таком решении образа – основная заслуга автора романа *“Князь Мстиславский”*.

Православная тематика – это новое направление в отечественной прозе.

Вспоминается удивительно тонкое по психологическому рисунку философской мысли повествование В. Ковтун *“Пакліканыя”* (2007). Роман посвящен святой Евфросинье Полоцкой, великой заступнице земли белорусской. В 2007 году был опубликован роман-хроника Н. Еленевского *“Время пастыря”*, где автор открывает имя священника Лунинецкой церкви Тихоновича Платона Максимовича – автора первой белорусской грамматики.

Роман О. Ждана *“Государыня и епископ”* (2012) в определённом смысле перекликается с текстом Н. Еленевского. Писатель тоже *“открывает”* епископа Конисского. Оставаясь верным мстиславской истории, О. Ждан пытается определить роль православной церкви в развитии белорусской государственности. Как и раньше, прозаик отталкивается от исторически-реального факта посещения Мстиславля императрицей Екатериной Алексеевной по пути следования в Тавриду. Переплетаются две разностилевые повествовательные линии: *“линия”* светской жизни, наполненная светлым юмором, иронией, и *“линия”* жизни и деятельности архиепископа Георгия Конисского, где доминирует драма, письмо психологически-аналитическое.

Георгий Конисский был одним из образованнейших людей своего времени. Окончил знаменитую Киево-Могилянскую духовную академию *“с особой похвалой”* и там же был оставлен преподавателем по классу красноречия, стал профессором философии, а потом и профессором богословия. В 27 лет было совершено торжественное пострижение его в монашеское служение Богу, а в сентябре 1789 года, на двадцать седьмом году служения, Георгий был возведён в сан архиепископа и назначен членом Святейшего Правительствующего Синода, стал епископом Могилевским. *“Пришло время отстоять нашу веру! Пришло время заблудшим овцам возвратиться в свои стада”* [11. С. 12], – такую задачу ставил перед собой великий святитель.

Продолжалось противостояние православной церкви и инославных: католиков, униатов. Писатель, как и в романе *“Князь Мстиславский”*, вводит в текст множество исторических и документальных свидетельств, среди которых и воспоминания самого Конисского. Спокойной жизни на мстиславской земле не было уже почти двести лет. Особенно злобствовали *“псы Господни”* – доминиканцы, они силой отнимали храмы у православных, принуждая их носить на себе огромные деревянные кресты с еловыми венками. Засилие католицизма продолжалось и после подписания договора о вечном мире между Россией и Польшей в 1686 году. Согласно этому договору, пять епархий имели право сохранить православие, однако ко времени служения епископа Георгия осталась одна – могилевская. Воссоединение с Православной церковью всех отнятых у неё епархий Георгий Конисский считал своей главной задачей – *“иначе зачем он ходит по земле?”* [11. С. 19]

Георгий Конисский в отображении О. Ждана – личность масштабная. Это не только священник, вся жизнь которого была направлена на укрепление Православной Церкви. Это – герой возрожденческого плана. Он добивался веры во имя своего народа, а не той, которая его духовно уничтожала или унифицировала. Георгий желал соединения всех национально-просветительских и духовно-христианских сил с целью более успешного, прогрессирующего продвижения народной жизни. Консолидирующей силой в этом процессе, по его убеждению, должно стать Православие – истинно белорусская вера.

Проповеди епископа – это образец ораторского искусства. Они “многожарные”: проповедь-обращение, проповедь-просьба, проповедь-мольба, проповедь-благословение, проповедь-благодарение. Они характеризуют Конисского как великого национального деятеля, страстного заступника белорусского народа. Наряду со святой Евфросиньей Полоцкой, Василем Тяпинским, Афанасием Филиповичем, Кириллом Туровским, Симеоном Полоцким... Они – из кагорты “пакліканых”.

Георгий добился своего: польский сейм утвердил Трактат о свободе вероисповедания в Польше. Закончилось его трехлетнее мучительное пребывание в Варшаве. Но удовлетворения не было, ибо по сути ничего не изменилось: истязания православных продолжались. Задумано было покушение и на самого епископа, но ему удалось тайно убежать в Смоленск. Ситуация изменилась лишь после того, когда Могилев вошёл в состав России. Приход за приходом, целыми деревнями крестьяне возвращались в православие.

Георгий выполнил главную задачу своей жизни. Но церковь нуждалась в поддержке государства. И в этом плане епископ Конисский возлагал большие надежды на Екатерину. Он был многим обязан императрице, ощущал её поддержку, хотя и был несколько озадачен её указом, который позволял отнимать земли у монастырей и церквей.

Создавая портрет великого подвижника, О. Ждан одновременно стремится проникнуть в нравственные основы христианского гуманизма, коснуться сущности таких понятий, как вина и покаяние. Затрагивает он и основу основ Православия – положение о греховности человеческих поступков. Георгий обвиняет себя в грехе равнодушия к родителям, в том, что не проводил их в последний путь, *“грех малой любви к родителям и терзал его душу. Но как ты тепл, а не горяч и не холоден, то извергну тебя из уст Моих”* [12. С. 10]. Он вновь и вновь приходил к родительским могилкам, *“плакал, стоя на коленях, захлёбываясь от старых слёз. Они простили его”* [12. С. 11]. Есть и другие грехи, которые терзали душу епископа, – он знал о них. Но были и такие, о которых он не подозревал, но и за них он тоже в ответе. Он чувствует свою вину и за пьяного Савку Кумара, за своё непощение, что не выслушал того, не помог. *“Разве прощение – не один из главных камней христианства?”* [12. С. 25].

Вот так, постепенно, О. Ждан приблизился к одному из главных постулатов христианского учения – идее прощения.

Жизнь священника – жизнь особенная. Это – жизнь-служение, жизнь-самоотречение. Но всё вместе – это подготовка человека к главному: к смерти. Георгий никогда не забывал об этом. И был всегда к этому готов. Менял только смысл прощальных слов. *“Сперва едва не со слезами на глазах: “Если Ты бессмертен – сделай бессмертным меня!” Потом – “Спасибо, Господи!” Ещё позже – “Продли!”* [12. С. 38]. Но то было время *“несогласия и себялюбия”*. Оно давно ушло в прошлое, сменилось смирением. Теперь Георгий твёрдо знал свои последние слова: *“Спасибо Тебе за жизнь. Прости, что не оправдал надежд”* [12. С. 38]. Но эти слова он скажет не здесь. На земле у него иная заключительная миссия: выступить перед императрицей. Он должен передать ей своё и всего православного люда восхищение и любовь, *“передать так, чтобы она почувствовала его”* [12. С. 38].

Текст О. Ждана включает в себя два художественно-структурных центра, которые всё время сближаются. Но если образ епископа представлен крупным планом, в психологическом и духовном движении, развитии, то облик Екатерины остаётся “за кадром”. Её присутствие незримо, её образ как бы растворён в атмосфере подготовки мстиславцев к исторической встрече.

И только в конце романа эти два идейно-нравственных центра сходятся. Возникает сцена удивительного духовного катарсиса, очищающего не только героев О. Ждана, но и нас, читателей. Писатель приводит документальные слова епископа, слова, выстраданные всей его подвижнической жизнью. Георгий проникновенно приветствует и славит Екатерину. Но, вместе с тем, он прощается с ней, зная, что больше они не увидятся. Его богоугодная и её великая жизни приближаются к вечности. *“Как продлить её? – К западу только жизни твоей не спеши, ибо воскликнем мы, как Иисус Навин: стой, солнце, и не двигаясь, дондеже вся противная нам мерьям твоим победиши!..”* [12. С. 38]

Георгий Конисский – образ высочайшей духовной силы. Это личность глубоко нравственная, которая проявляется через своё служение Богу и Родине.

Но это и новый герой О. Ждана, несущий в себе новую веру в человека, новое понимание мира, новые нравственные и морально-этические ориентиры.

* * *

Критик А. Новиков на литературном портале приводит признание О. Ждана: *“С Мстиславлем, родиной, связаны, так или иначе, почти все сюжеты моих рассказов – и современных, и исторических. Когда-то казалось – что мне эти Мстиславские читатели! Теперь – нет важнее...”* Сместился вектор творческой заинтересованности О. Ждана 2000-х годов. Теперь для писателя нет ничего важнее истории родного Мстиславля. Ибо *“если не я, то – кто же?”* – признался писатель в разговоре с автором этой статьи.

Истории Мстиславля посвящён последний по времени дискурс “Белорусцы”: повесть в трёх сюжетах (Нёман, 2013, № 6). Основная идея повести прочитывается уже в её заглавии. Кто такие белорусцы под небом славянским? И не только славянским, а общеевропейским – по своей онтологической сущности, ментальности, психологической уникальности? В чём, например, проявился князь Мстиславский как белорусец – не в этом ли остро подмеченном: *“Не покрестился ты, как целовал крест. И потом не покрестился”*. Сумел же князь в условиях полного подчинения остаться внутренне “неподчинённым”, достоинство своё сохранить, и не только своё, а народное, ибо от лица народа выступал. Не в этом ли “архетипичность” характера князя?

В “Белорусцах” писатель вплотную подошёл к созданию национальных **характеров-типов** – белорусцев, которые и являются представителями своего уникального по психологии народа. Три внешне автономных сюжета повести – “Скандал в Великом посольстве”, “Царёв град”, “Путешествие” – являются, по сути, триптихом и решают одну и ту же художественную задачу.

“Скандал в Великом посольстве” построен, как и вся историческая проза О. Ждана, на документе. На этот раз писатель использовал дневник Петра Вежевича, стольника и подкомория князя Мстиславского. От его имени и ведётся повествование.

Начало 1635 года. После Смоленской войны в Москву было направлено посольство для подписания вечного мира. От Польской короны его представлял Александр Песочинский, от Великого княжества Литовского – пан Казимир Сапега. Принимал посольство в Москве великий князь Михаил Фёдорович, царь всея Руси.

Автор проигрывает ситуацию, идентичную целованию креста князем Мстиславским. *“Мы сняли шапки, когда называли титулы. Но теперь не снимем, поскольку я наделён достоинством нашего короля. Не больше, но и не меньше”* [13. С. 17], – с вызовом, хоть и несколько высокопарно, пытается отстоять свою “вельможность” пан Песочинский. *“После свершения посольства все мы пошли к царской руке. Целовал ли пан Песочинский руку царя, я не заметил, – свидетельствует очевидец встечи, – а вот пан Казимир Сапега точно не целовал* (выделено мною. – В. Л.), *только приложился челом”* [13. С. 18].

“Сюжеты” повести интересны своим “фоном”, который насыщен деталями быта, своеобразным историческим “бытовизмом”, обрядовыми действиями, секретами древних рабочих профессий и другими “атрибутами”, характерными для того времени. Автор тонко подмечает остатки синкретической культурной традиции в жизнедеятельности людей этого края.

Впечатляет “Царёв град”, где основной темой повествования О. Ждан снова выбирает войну, на этот раз русско-польскую войну 1654–1667 годов. Однако здесь художественное решение темы войны концептуально иное. Писатель как бы полемизирует с собою прежним. Теперь для него главное – **образ войны** и её трагический исход для народа мстиславского.

“Заповеди Божьи соблюдайте и дела наши с радостью исправляйте; творите суд в правду, будьте милостивы, ко всем любовны, примирительны, а врагов Божиих и наших не щадите” [13. С. 27], – такими словами в Успенском соборе напуществовал московский государь Алексей Михайлович своих верноподданных, отправляя их на войну. Князю Трубецкому со своим особым большим полком предстояло идти к Брянску, затем на Мстиславль, Могилёв... Брянск сдался без боя. Впереди был Мстиславль: *“Больше восемнадцати тысяч ратников шагало – пыль стояла столбом. Позади строя на двукон-*

ных хорошо окованных повозках везли короткоствольные полевые пушки” [13. С. 28]. Так начиналась, пожалуй, одна из самых кровопролитных в истории белорусского народа войн, ибо там погиб каждый второй белорус [14].

Мстиславцы, вопреки ожиданиям Трубецкого, отказались открыть ворота города и сдаться на милость москвитов. Они выбрали сражение, втайне надеясь на помощь войск Януша Радзивилла.

Все сплотились против общего врага, забыв о своих внутренних обидах и конфликтах. На переговоры к Трубецкому ушли вместе: отец Павел, ксендз Мартин и униат Софроний. Просили пощадить людей и город. Позже и тоже вместе ксендзы, священники униатских и православных храмов будут молиться под ядрами и пулями о спасении Мстиславля.

“Понять здешний народ трудно, – отметит в недоумении князь Трубецкой. – Лезут католики в каждую щёлку, два костёла подняли меньше, чем за пять-десять лет, униаты выжили православных с Афанасьевского пляца, а всё равно вопили все вместе: “Бьёмся!” – и, конечно, местный воевода вдохновлял всех” [13. С. 35].

О. Ждан романтизирует образ войны, как это делали его далёкие предшественники: Стендаль, Лермонтов, Л. Толстой. В тексте чувство восторга, страха и боли сливаются воедино. “Ох, как красиво и страшно горела она (Замковая гора. – В. Л.) в ночи!” [13. С. 43]. Мстиславцы не встали всем городом на колени в молитве, они, осуждённые на смерть, “стреляли из мушкетов, пищалей, швыряли горящие головешки, брёвна... Сам воевода Друцкой-Горской и войт Вырвич стояли среди шляхтичей с саблями и пищалами в руках. Страшное веселье накатило на них: чем ближе подбирались по горе ратники Трубецкого, тем азартнее становились их лица. Страх исчез с первыми выстрелами, казалось, еле сдерживались, чтобы не перепрыгнуть городень навстречу войсковцам” [13, с. 43–44].

Мстиславль пал. Он и не мог устоять перед многотысячным полком князя Трубецкого. Тут же меняется и структура повествования. Из текста уходит романтика. Доминируют уже другой стиль, стиль трагедии и иные традиции: Р. Олдингтона, Э. Ремарка, Э. Хемингуэя, М. Горьцкого. Писатель изображает страшную картину после сражения. “Тела лежали везде, куда ни посмотри: стреляные, резаные, колотые. Одни – лицом к земле, словно пытались бежать и пика или пуля догнала их на бегу, другие – на спине, будто хотели в последний раз глубоко вздохнуть и взглянуть в небо, одни – широко раскинувшись, иные, напротив, подобрал под себя и руки, и ноги, словно затаившись в траве <...>. Тела лежали и в посадке, в переулках больших и малых. Было видно, что не только убежали, но и защищались, – и в одиночку, и сообща. Лежали на дорогах, на порогах хат, будто надеялись спастись за дверьми, висели, перевалившись через прясла. Противно было на всё это глядеть” [13, с. 49].

Таким образом, О. Ждан создаёт очень яркий, впечатляющий “образ” войны. Здесь реалистическое изображение граничит с натуралистическим, отчего степень боли, степень неприятия войны только усиливается.

“22 июля великою потугою и усильством через штурм мстиславский замок был захвачен. Народ всякий шляхетский, мещан и жидов, а также простых людей в пень высекли... среди трупов живых находили и в плен в Москву забирали, побито было больше десяти тысяч человек, – записал свидетель боища” [13. С. 50].

В истории города та ночь так и осталась под именем московского князя – “Трубецкая резня” [13. С. 50].

Вопрос правильности/неправильности выбора князя Мстиславского и воеводы Друцкого-Горского, думается, ещё ждёт своего обсуждения и соответствующей нравственной оценки.

* * *

Историческая проза О. Ждана сопряжена с реализмом экзистенциально-эпического направления, который и становится для писателя источником потенциального богатства эстетических, художественных и духовных поисков. Художественное отображение феномена исторического прошлого Мстиславля подвигло прозаика к исследованию менталитета и самоидентификации белоруса и белорусского народа, привело его к необходимости осмысления спе-

цифики национального бытия и, как результат всего этого, – создание характеров-типов.

Постсоветская проза О. Ждана стремится к генерированию новой философско-художественной концепции, которая своей сущностью связывается с национально-возрожденческими традициями. Автор усиливает патриотическую доминанту своих текстов. Его герой – всё тот же странник, но уже не идейно ориентированный, а национально детерминированный. Это тип героя исторического, который внутренне “произрастает” из духовной субстанции своего древнего народа. В этом его неоспоримая сила и главное отличие. Но это тоже – странник. Переходя из одного исторического времени в другое и осознавая философию этого времени, он начинает всё глубже понимать и своё достоинство и нравственную силу, а также достоинство и силу своего народа. Имя этому страннику – **белорусец**.

Талант Олега Ждана многогранен, он не только прозаик, автор ряда книг, романов, десятка повестей и большого количества рассказов. Он ещё и драматург, киносценарист, переводчик белорусской прозы на русский язык. А недавно он успешно дебютировал в жанре детской сказки. К сожалению, размеры этой статьи не позволяют нам затронуть все аспекты его творческой деятельности. Писатель в поиске. А это значит, что он ещё не раз порадует своего читателя и зрителя новыми произведениями.

Литература:

1. Букчин С. Правда жизни и литературные соблазны / С. Букчин. “Нёман”, 1986. № 1. С. 143–158.
2. Ждан О. А. По обе стороны проходной: повести о необычных и обычных людях. М., “Молодая гвардия”. 1987. С. 383.
3. Ждан О. Черты и лица: повести/. М., “Советский писатель”, 1985. С. 304.
4. Бондаренко В. Сюжеты нашей жизни. В кн.: О. А. Ждан. По обе стороны проходной: повести о необычных и обычных людях. М., “Молодая гвардия”. 1987. С. 288–383.
5. Ждан О. Сопровождающий: повесть. – “Всемирная литература”. 2006. № 2. С. 63–101.
6. Ждан О. Гений: повесть. “Нёман”, 2011. № 9. С. 115–137.
7. Хількевіч У. Трышкін кафтан генія?: Гутарка У. Хількевіча з А. Жданам. “Звязда”. 2012. 17 сакавіка. С. 6.
8. Ждан О. А. Князь Мстиславский: роман. Мінск, “Літаратура і Мастацтва”, 2010. С. 256.
9. Мартинович Д. ”Свет минувшего”. О мстиславской истории. – “Кніжны свет”. 2010. 17 верасня. Выпуск 14.
10. Сапожков Ю. Меж духом и словом: критические статьи, диалоги, эссе. Минск, “Літаратура і Мастацтва”, 2012. С. 272.
11. Ждан О. А. Государыня и епископ: роман. “Нёман”. 2012. № 9. С. 3–45.
12. Ждан О. А. Государыня и епископ: роман. “Нёман”. 2012. № 10. С. 3–44.
13. Ждан О. Белорусцы: повесть в трёх сюжетах. “Нёман”. 2013. № 6. С. 3–63.
14. Конан У. Гісторыя эстэтычнай думкі Беларусі: у 3-х тамах. Т. 1. Мн., “Беларуская навука”. 2010. С. 440. С. 176–214.

ЮРИЙ ПИЩИКОВ, ИГОРЬ ДОКУЧАЕВ

ОПЕРАЦИЯ “БАГРАТИОН”

Из книги “Не подлежит забвению никогда”

Расстановка сил

В апреле 1944 года линия советско-германского фронта выглядела следующим образом. На Юге соединения Красной Армии вышли на границу Румынии и уже нацеливали свои удары на Бухарест. Их соседи справа, на Юго-Западе, отбросили гитлеровцев от Днестра и подступили к предгорьям Карпат, разрезав немецкий Восточный фронт на две части. На севере, полностью освободив Ленинград от блокады, наши войска вышли к Чудскому озеру, Пскову и Новоржеву. Таким образом, между этими далеко разнесёнными друг от друга флангами южных и северных группировок Красной Армии, продвинувшихся далеко на запад, оставался огромный выступ в сторону Москвы. В военно-оперативном обиходе его называли “Белорусский балкон”. Передняя часть этого выступа проходила по линии городов Витебск–Рогачёв–Жлобин и находилась не так уж далеко от Смоленска, а значит, и от столицы СССР.

Гитлеровские войска на этом плацдарме (группа армий “Центр”, в которую входило более шестидесяти дивизий) преграждали прямой и наиболее короткий путь советским войскам на запад. И, кроме того, фашистское командование, располагая там хорошо развитой сетью железных и шоссейных дорог, могло быстро маневрировать своими силами и бить во фланги группировок советских войск, наступающих южнее и севернее этого выступа. С него же, обладая хорошо развитой аэродромной системой, авиация противника наносила бомбовые удары по нашим группировкам на севере и юге. Не исключена ещё была и возможность налётов на столицу СССР, в том числе и массированных.

В то же время немецкие войска на этом выступе и сами находились под угрозой ударов советских войск с юга и севера под основание “Белорусского балкона”, следовательно, под угрозой окружения. Но для того чтобы осуществить окружение такого масштаба, нужны были огромные силы. Советским войскам сначала надо было разгромить в Прибалтике группу армий “Север”, на Украине – группу армий “Северная Украина” и только после этого можно было охватить с двух сторон группу армий “Центр”.

Военные руководители Красной Армии и вермахта прекрасно понимали, что на протяжении определённого времени обстановка в этой зоне будет оставаться стабильной. Гитлеровцы, используя этот фактор, усиленно укрепляли оборонительную систему, главным образом, на предполагаемых ими направлениях ударов советских войск. А советское командование на основании всех видов разведки, в том числе используя обширную информацию со стороны партизан, изыскивало наиболее слабые и уязвимые районы и участки фашистской обороны для последующего быстрого и успешного её глубокого прорыва.

Ещё в конце апреля 1944 года Верховный Главнокомандующий И. В. Сталин в присутствии генерала А. И. Антонова посоветовался с Жуковым о широком плане ведения боевых действий на летнюю кампанию, в результате чего было **обращено особое внимание на группировку противника в Белоруссии, с разгромом которой, как отметил и обосновал Г. К. Жуков, рухнет устойчивость обороны противника на всём её западном стратегическом направлении.** Несколько позднее (через три дня) этот план был рассмотрен более детально с участием Жукова, Василевского, Антонова. Как непосредственную подготовку к операции в Белоруссии было решено провести наступательную операцию на Карельском перешейке, конечной целью которой был вывод Финляндии из войны.

Планы Ставки

Работа Ставки по этому вопросу проходила в обстановке строгой секретности, в ходе боёв, которые велись на разных фронтах с ещё большей активностью, чтобы противник не заметил изменений, происходивших в нашем тылу, где Ставка готовила силы и средства для проведения операции по освобождению Белоруссии.

Вот что пишет по этому поводу генерал С. М. Штеменко (в то время — начальник Оперативного управления Генштаба): *“В полном объёме эти планы знали лишь пять человек: заместитель Верховного Главнокомандующего, начальник Генштаба и его первый заместитель, начальник Оперативного управления и один из его заместителей. Всякая переписка на сей счёт, а равно и переговоры по телефону категорически запрещались, и за этим осуществлялся строжайший контроль. Оперативные соображения фронтов разрабатывались тоже двумя-тремя лицами, писались обычно от руки и докладывались, как правило, лично командующими”.*

Окончательно план операции был рассмотрен 20 мая 1944 года, после чего Сталин приказал вызвать командующих фронтами, которым предстояло осуществлять операцию, получившую, по предложению Сталина, название “Багратион”. Это были: И. Х. Баграмян, К. К. Рокоссовский, Г. Ф. Захаров и И. Д. Черняховский. Заседание в Ставке с командующими фронтами было проведено 22–23 мая.

На этом заседании произошёл случай, о котором много говорили и писали различные военачальники и историки и который фигурирует в кинофильмах об этом периоде войны. В процессе обсуждения плана операции И. В. Сталин дважды отсылал К. К. Рокоссовского в соседнюю комнату **“хорошенько подумать над своим предложением”**. Возвратясь, Рокоссовский упорно настаивал на необходимости нанесения противнику двух мощных ударов, а не одного — главного. **“Настойчивость командующего фронтом, — сказал Сталин, — доказывает, что организация наступления тщательно продумана. А это — надёжная гарантия успеха”**. В конечном итоге, замысел Рокоссовского оказался исключительно обоснованным и результативным.

На этом совещании Сталин поручил Жукову взять на себя координацию действий 1-го и 2-го Белорусских фронтов, а Василевскому — 1-го Прибалтийского и 3-го Белорусского.

Для проведения операции “Багратион” необходимо было **перегруппировать в новые районы войска пяти общевойсковых, двух танковых и одной воздушной армии.** Всё это надо было провести скрытно, чтобы противник не заметил этой перегруппировки и не разгадал намеченный план наступления. Была проведена огромная работа по дезинформации противника для создания убедительной видимости, что удар готовится на юге, в границах 1-го Украинского фронта. Удар этот, разумеется, готовился, но на более позднее время, и это придавало демонстративным действиям реальное содержание.

С этой целью в районах дислокации войск 1-го Украинского фронта достаточно открыто осуществлялись манёвры частей и соединений на якобы намеченных для наступательных ударов направлениях, а ночью, с соблюдением всех мер маскировки, части возвращались обратно. Было значительно увеличено число наземных частей ПВО и интенсивно патрулирующих истребителей ПВО для якобы предотвращения разведывательных и бомбардировочных налётов немецкой авиации. Предпринимались и многочисленные иные меры для дезинформации противника о готовящихся советским командованием операциях по дальнейшему разгрому фашистских войск.

А в тылу наших фронтов, расположенных в боевом соприкосновении с войсками фашистов, по всей линии “Белорусского балкона” были организованы районы сосредоточения и подготовки соединений и частей Красной Армии для последующего внезапного нанесения мощных ударов по вражеской группировке в соответствии с планом операции “Багратион”. Исключительно важно было, чтобы командование группы армий “Центр” не имело об этом конкретных сведений, для чего требовалось максимально предотвратить ведение противником воздушной разведки и исключить разрушение ударами с воздуха коммуникаций и транспортных узлов с направлений восток – запад и рокадных дорог всех типов.

Противовоздушная оборона (ПВО) готовится к сражению

Для решения этих важнейших задач Ставка Верховного Главнокомандования провела реформирование существовавших на то время Западного и Восточного фронтов ПВО. 29 марта 1944 года постановлением ГКО № 5508 на их базе созданы и развёрнуты Северный и Южный фронты ПВО с разграничительной линией между ними южнее “Белорусского балкона”. Командующими фронтами ПВО назначены генерал-полковник М. С. Громадин и генерал-лейтенант артиллерии Г. С. Зашихин. Оба эти военачальника имели большой опыт организации эффективной мобильной и устойчивой противовоздушной обороны объектов, коммуникаций, центров и узлов боевого управления и тылового обеспечения как обороняющихся, так и наступающих сухопутных фронтов, на обширной территории в ходе Московского и Ленинградского сражений, а также Курской битвы.

К этому времени объекты глубокого тыла страны стали в большинстве своём недосыгаемыми для фашистской авиации, да и самой авиации, в первую очередь бомбардировочной, в люфтваффе осталось намного меньше, чем в предыдущие годы войны. Поэтому использовалась она, главным образом, для поддержки войск на поле боя.

Таким образом, поскольку Восточный фронт ПВО потерял своё оперативно-стратегическое значение, его силы и средства практически полностью были обращены на формирование Южного фронта ПВО и усиление Северного фронта ПВО. Какими же силами обладал Северный фронт ПВО для участия в готовящейся операции?

В ходе подготовки, а затем и проведения Белорусской наступательной операции задачи противовоздушной обороны в полосе 1-го Прибалтийского фронта решали части 2-го корпуса ПВО (командир – генерал-майор артиллерии В. М. Добрянский), в полосе 1-го Белорусского фронта – части 4-го корпуса ПВО (командир – генерал-майор артиллерии А. В. Герасимов) и в полосах 2-го и 3-го Белорусских фронтов – части 81-й дивизии ПВО (командир – полковник А. И. Купча).

В феврале–июне 1944 года сюда из глубины страны, из состава расформированного Восточного фронта ПВО, а также от отдельных объектов, ставших недосыгаемыми для германской авиации, были передислоцированы 10 зенитно-артиллерийских полков, в основном среднего калибра. С целью организации надёжной противовоздушной обороны важных объектов на коммуникациях, станциях погрузки – выгрузки и т. п., а также для устойчивого прикрытия магистралей и следующих по ним эшелонов от ударов с воздуха, в заданные планы прибыла 76 отдельных дивизионов среднего и малого калибра, 40 зенитных бронепоездов, 4 прожекторные роты. В районе Смоленска было организовано содержание специального резерва частей ПВО страны для наращивания противовоздушной обороны важных объектов вслед за наступающими войсками.

А в июне 1944 года состав сил и средств названных выше соединений ПВО имел в наличии: орудий среднего калибра – 635, малого калибра – 569, зенитных пулемётов – 358. При этом более половины указанных средств были переданы в состав 4-го корпуса ПВО в полосе 1-го Белорусского фронта, действующего на главном направлении.

А затем в целом для обороны объектов в полосах действий 1-го Прибалтийского, 3-го, 2-го и 1-го Белорусских фронтов было сосредоточено около 2500 зенитных орудий, свыше 2000 зенитных пулемётов и более 500 самолётов-истребителей противовоздушной обороны страны.

Все эти силы и средства ПВО обеспечили достаточно плотное прикрытие в период подготовки операции “Багратион” всех важных объектов и коммуникаций в прифронтовой полосе войск Красной Армии на глубину до 150–200 км, что позволило использовать основные силы войсковой ПВО (до 80%) для непосредственной противовоздушной обороны соединений первого эшелона фронтов при подготовке и в ходе наступательной операции.

ПВО не допустили срыва перевозки грузов и войск для наших фронтов, предотвратили нанесение массированных ударов по крупным узлам, таким как Гомель, Смоленск, Калинин, Калинин, и налётов одиночными самолётами и мелкими группами на эшелоны в пути движения. С этой задачей, и также достаточно успешно, справились наземные, позиционные и мобильные зенитные силы и средства ПВО страны. **Так, только в июле из 117 налётов противника лишь в семи случаях ему удалось прорваться к объектам и нанести им незначительный ущерб.** В то же время все до единого следовавшие к фронту эшелоны без существенных повреждений от штурмовиков прибыли в места назначения.

Операция “Багратион”, “второй фронт” на Западе и “пятый фронт” в тылу врага

В период подготовки Белорусской операции произошло событие, которое, несомненно, имело огромное значение для всего хода Второй мировой войны: **6 июня 1944 года англо-американские экспедиционные силы начали форсирование Ла-Манша, высадились на французской земле в Нормандии и тем самым открыли второй фронт!**

Практически в этот же период, с 23 июня по 29 августа 1944 года силами четырёх фронтов была осуществлена Белорусская операция “Багратион”, которая **решительно способствовала успеху наших союзников, так как накрепко сковала действия гитлеровского командования, не позволяя ему перебросить на запад войска для борьбы с Нормандским десантом.**

Замысел Белорусской операции был прост и оригинален в сравнении с другими, уже успешно проведёнными операциями.

Оригинальность замысла, неожиданная для гитлеровцев, заключалась в том, что **планировалось одновременным прорывом на шести операционных направлениях глубоко расчленить вражеские силы, ослабить их сопротивление, исключить перегруппировку.** А ликвидация непосредственно витебской и бобруйской группировок открывала, как и предвидел Г. К. Жуков, широкую брешь в фашистской обороне, через которую должны были на территорию Белоруссии прорваться большие силы советских войск. А ещё одна особенность замысла была такова: с мощными ударами четырёх фронтов с востока должны были **с запада слиться активные действия партизан по дезорганизации оперативного тыла противника, срыву подвоза его резервов к линии фронта, организация постоянной передачи информации по радио о передвижениях врага.** Эти задачи были поставлены руководителям партизан Белоруссии Ставкой ВГК. Напомним, что несколько ранее, в 1943 году, в период Курской битвы, были проведены знаменитые партизанские операции: “Рельсовая война” и, как её продолжение и развитие, – операция “Концерт”. В операции “Концерт”, проведенной в период 19 сентября – конец октября 1943 года, участвовало 193 партизанских формирования (свыше 120 тыс. человек). Это были хорошо скоординированные действия партизан Белоруссии, Прибалтики, Карелии, Крыма, Ленинградской и Калининской областей. Протяжённость данной операции по фронту составила около 900 км (исключая Карелию и Крым) и в глубину – свыше 400 километров.

С приближением советских войск партизаны наносили противнику удары с тыла и содействовали прорыву его обороны, отражению его контрударов, окружению немецко-фашистских группировок. Партизаны способствовали частям Красной Армии в овладении населёнными пунктами, обеспечивали прикрытие флангов наступающих войск, что свидетельствует о широком совершенствовании ими тактического мастерства. Наиболее ярким примером такого эффективного взаимодействия и являлась именно **Белорусская операция 1944 года, в которой мощная группировка белорусских партизан представляла собой, по существу, пятый фронт, согласовывающий свои операции с четырьмя наступающими фронтами (1-й, 2-й, 3-й Белорусские, 1-й Прибалтийский).**

Шедевр советского военного искусства

В Белорусской операции особенно динамичными и успешными были боевые операции войск 1-го и 2-го Белорусских фронтов, действия которых координировал Г. К. Жуков. На первом этапе были стремительно проведены две крупные операции войск этих фронтов – Могилёвская и Бобруйская, в результате которых маршал Г. К. Жуков и командующие фронтами – генералы К. К. Рокоссовский и Г. Ф. Захаров – учинили противнику 28 июня окружение в Могилёве и 29 июня – под Бобруйском. А за два дня до этого, 26 июня, войска 3-го Белорусского и 1-го Прибалтийского фронтов под командованием генералов И. Д. Черняховского и И. Х. Баграмяна при непосредственном руководстве маршала А. М. Василевского окружили большую группировку фашистов в Витебске, а затем устремились на Запад.

Обычно операции окружения совершались охватом группировки противника, противостоящей нашим войскам и имеющей прямое соприкосновение с ними на общей линии фронта. “Клещи” окружающих войск как бы высекали из противостоящей обороны противника огромный массив территории с находящимися на ней войсками.

Так было Жуковым осуществлено и окружение вражеских войск на первом этапе Белорусской операции, о котором сказано выше.

Далее Г. К. Жуков применил совершенно новый, никем ранее не осуществлявшийся вид окружения крупной группировки врага в глубине обороны противника.

Как только состоялось окружение частей 3-й танковой армии противника под Витебском и 9-й армии под Бобруйском, Жуков тут же использовал образовавшиеся бреши и стремительно бросил войска 1-го и 3-го Белорусских фронтов в преследование в глубь обороны противника. И на глубине 200–250 километров захлопнул огромную ловушку, окружив под Минском отступающие войска и резервы генерал-фельдмаршала Моделя! Вот они-то и маршировали позднее по улицам Москвы под конвоем!..

Такого гигантского котла окружения в глубине обороны в ходе преследования до Жукова ещё никто не осуществлял. Замысел Г. К. Жукова заключался в следующем: стремительными ударами войск левого крыла 3-го Белорусского фронта и части правого крыла 1-го Белорусского фронта по сходящимся направлениям на Минск во взаимодействии со 2-м Белорусским фронтом завершить окружение минской группировки противника и освободить Минск.

3 июля передовые войска 3-го Белорусского фронта ворвались в город, а войска 1-го Белорусского фронта, обойдя Минск с юга, соединились с ними на юго-восточной окраине города, завершив во взаимодействии со 2-м Белорусским фронтом окружение восточнее Минска основных сил 4-й и части 9-й армий группы немецких армий “Центр” (105 тыс. чел.).

В ходе ликвидации этой группировки немцы потеряли свыше 70 тыс. человек убитыми и около 35 тыс. пленными, в том числе 12 генералов.

Не вдаваясь в подробности, добавим к сказанному лишь то, что все окружённые в Белорусском сражении вражеские группировки были плотно блокированы силами войск ПВО страны от помощи им с воздуха, активно участвовавшими также и в отражении попыток деблокирования окружённых немецких соединений наземными войсками.

Чтобы показать, хотя бы фрагментарно, во что это всё в итоге вылилось, приведём записи из дневника командира 12-го полка 31-й пехотной дивизии 4-й немецкой армии:

“27 июня. Всё катится вспять. Последние силы ещё ведут тяжёлые бои, чтобы прикрыть мост. Все отступают. Машины увешаны людьми. Дикое бегство.

29 июня. Продолжаем отход. Русские всё время стараются обогнать параллельным преследованием. Величайшее напряжение. Партизанами разрушены все мосты.

30 июня. Невыносимая жара. Начался путь ужасов. Всё встало. Мосты через реку Березина под сильным обстрелом. Мы проходили через этот хаос.

1 июля. Все совершенно выдохлись. Двигаемся дальше по шоссе на Минск. Дикое пробки и заторы. Часто обстрел справа и слева. Паническое отступление. Много остаётся на дороге.

2 июля. Русские заняли шоссе, и больше никто не пройдет... Такого отступления ещё не бывало! Можно сойти с ума..."

После завершения этой операции Г. К. Жуков стал дважды Героем Советского Союза, генералу армии К. К. Рокоссовскому было присвоено звание Маршала Советского Союза.

В результате операции "Багратион" была освобождена Белоруссия. Наши войска, продвинувшись на 500–600 километров, вышли на территорию Польши и к границе Восточной Пруссии. В ходе операции было окружено несколько группировок противника, и ни одна из них не вырвалась из котла. 17 дивизий и 3 бригады врага были полностью уничтожены, а 50 дивизий потеряли больше половины своего состава.

Это был шедевр советской военной науки, советского военного искусства. Причём ещё в годы гражданской войны командование Красной Армии предпринимало различные виды военных действий, в том числе и партизанские. Так что здесь мы явно видим широкое развитие советского оперативного искусства.

Неотразимый удар фашизму

Осенью 1944 года, на завершающем этапе операции "Багратион", в развитее Люблин-Брестской операции, войска 8-й гвардейской армии 1-го Белорусского фронта генерал-полковника В. И. Чуйкова вели быстрое наступление по правому берегу реки Висла на север – на Варшаву через район города Магнушев. Отражение ударов авиации противника по наступающим войскам фронта осуществляли силы войсковой ПВО. Однако 14 июля Рокоссовский приказал неожиданно для немцев повернуть войска на запад и, форсировав Вислу, занять плацдармы на её левом берегу. Этот крутой манёвр и переправу войск на левый берег плотно прикрыли авиация и скрытно передислоцированные наземные силы ПВО страны.

В ночь на 1 августа передовые отряды соединений первого эшелона начали переправу, а следом за ними главные силы четырёх гвардейских стрелковых дивизий в районе Магнушева уже к исходу 1 августа захватили на левом берегу Вислы плацдарм 15 км по фронту и до 5 км в глубину. В историю военного искусства этот участок левого берега Вислы вошёл под названием *Магнушевский плацдарм*.

Для быстрейшего его закрепления за советскими войсками вместе с передовыми отрядами на левый берег были переправлены зенитно-артиллерийские полки ПВО Северного фронта: 1088-й среднего и 1574-й малого калибра. Они сразу же заняли боевые порядки и приступили к отражению интенсивных налётов немецкой авиации на переправы и строящийся через Вислу мост. При этом 1088-й полк для прицельного огня получал радиолокационные данные по целям от батарей, расположенных на правом берегу. 1574-й полк малого калибра, вооружённый 40-мм автоматическими пушками "Бофорс", поставленными в СССР по ленд-лизу, также вёл массированный прицельный огонь по штурмующим и пикирующим на переправы самолётам противника. Этот огонь был значительно точнее стрельбы советских 37-мм пушек с механическим прицелом. Нарушить и сорвать переправы наших войск немецким лётчикам не удалось. К 4 августа фашисты были выбиты из Магнушева, а плацдарм был расширен по фронту до 40 км и в глубину до 15 км.

Чтобы подвести итог этого грандиозного сражения, приведём два всемирно известных исторических эпизода.

В середине июля 1944 года в Минске состоялся парад партизанских сил.

В эти же дни по просторным улицам Москвы советские конвоиры провели 57 тысяч пленных фашистских солдат и офицеров, захваченных в Белоруссии. Шли они понуро, опустив голову. Жалкую процессию возглавляли побеждённые фашистские генералы. Советский писатель Борис Полевой так писал об этих событиях: *"... Им, этим гитлеровским зубрам, было явно не по себе, когда они проходили сквозь строй молчаливых, гневных, ненавидящих взглядов москвичей..."*

Нашей армии предстояло ещё добить врага в его логове – Берлине – и освободить от фашистского рабства многие порабощённые Германией народы Европы.

НАТАЛИЯ КОСТЮЧЕНКО

ВОЗРАСТ И Я

Эссе

Мы вступаем в различные возрасты нашей жизни, точно новорожденные, не имея за плечами никакого опыта, сколько бы нам ни было лет.

Ф. Ларошфуко

Меньше года осталось до того юбилейного дня, когда “песочные” часы жизни спокойно, но безоглядно и неумолимо, равномерной тоненькой струйкой убывающего времени отсчитают мои пятьдесят.

Возраст чем-то напоминает несамостоятельное, неопытное дитя, которое с момента своего рождения пытается удержаться за руку ведающей все на свете матери – времени.

Мать и дитя – время и возраст. На первый взгляд, такие родственные, неразрывно связанные друг с другом категории. Но различие между ними не имеет аналогов в сотворённом по неким непостижимым для человеческого сознания законам мире. Подобно заданному маршруту, возраст всегда отмеряется началом и концом. Время же ни начала, ни конца не имеет. Есть лишь замкнутый цикл смены времён года: за летом идёт осень, затем зима, за зимой – весна и опять лето. Иллюзия бессмертия... И беспрерывного движения по кругу...

Всё ещё отношусь к своему возрасту легко, без страха и сожалений. Может быть, потому, что нередко слышу комплименты? Кто его знает, каким окажется моё восприятие возраста, когда в зеркальном отражении увижу навсегда утратившее свежесть, изрытое старческими морщинами собственное лицо. Что, если возраст, словно острое лезвие, полоснёт по моей внезапно протрезвевшей душе?

До сих пор для меня возраст отождествлялся с определёнными способностями воспринимать то, что меня окружало и с чем я соприкасалась. Каждый возрастной период был неким своеобразным, мало похожим на предыдущий, континентом ощущений и чувств.

В ту блаженную пору, когда я ещё не умела читать и хоть сколько-нибудь рационально мыслить, я будто невидимой пуповиной была связана с истинным, не искажённым ни своим, ни чужим знанием, многомерным и многогранным миром. Его краски казались ярче и плотнее, звуки – отчётливее и тоньше, а волнение, вызываемое ими, потрясало душу. Тогда, в детстве, меня окружали не просто небо, деревья и травы, а Небо, Деревья и Травы. Всё имело другое величие, другой масштаб и словно благовествовало о том, что мир существует для меня и, может быть, даже возник ради меня. Я ощущала, улавливала это не умом, не мыслями, а кожей. И, исполненная доверия к этому сотворённому для меня миру, не сомневалась: ничто и никогда не сможет омрачить мою радость.

Но когда эта радость при первом же, пусть даже детском испытании, из-за незначительного, на сегодняшний взгляд, удара вдруг разлетелась на крошечные осколки, я поняла, что мир существует не только для меня одной. Что на земле есть множество других людей. И каждый из них имеет такое же исключительное право на этот мир.

Неожиданным потрясением стало осознание того, что им, людям, по большому счёту, нет никакого дела до меня, и, растерявшись, я вдруг почувствовала себя одинокой, незначительной и уязвимой. Так, наверное, появляется на свет, словно цыплёнок, вылупливающийся из яйца, робкое и неокрепшее, только-только начинающее сомневаться и думать “я”, и вместе с ним — “эго”.

Тогда, искренне оправдывая и воспринимая как справедливое это своё “эго”, я не догадывалась, что придёт время учиться распознавать почти каждый из его многочисленных оттенков и, вывернув изнанку мною же искусно упрятанной от посторонних глаз его сущности, до изнеможения, “до крови” сражаться с ним. И с каждой, пусть даже самой незначительной победой над своим “эго”, вглядываясь в других людей, я больше и больше буду понимать: все мы похожи в главном. И эта похожесть — естественна. Потому что общий “архетипный” опыт коренится в каждом из нас, притом достаточно глубоко. Индивидуальное как бы погружено в него. И такая широко распространённая схема (нет человека, который бы в те или другие моменты жизни не воспринимал мир по ней!): “я” — центр, а по периферии — “они”, то есть народ, — сегодня стала для меня неприемлемой. Ведь “я” — это тоже “они”. И все мы похоже радуемся в детстве, мечтаем в молодости и печалимся, когда стареем. Пусть простит меня читатель, но смею думать: аналогичное тому, что чувствовала в том или ином возрасте я, где-то в другом уголке земли чувствовал немец, француз или африканец.

Поэтому, описывая пусть незначительные, но особенные, острые по ощущениям ситуации и события, произошедшие со мной где-то в глухой белорусской деревушке, и в помине не знававшей ни одного иностранного гостя, я не сомневаюсь, что тот же немец, француз или африканец поймёт меня, вдруг обнаружив что-то созвучное моим чувствам и как будто знакомое в собственной душе.

В детстве мне казалось, что небо над моей любимой деревней с её невысокими хатами простиралось во всю ширь земли. Днём оно было то безоблачным, бледно-голубым, то в причудливо клубящихся облаках. Вечером насыщалось тревожащими душу, сгущающимися красками: от сине-фиолетовых до багровых. Ночью небо становилось таинственным и влекущим, особенно когда на нём проявлялись звёзды.

Бывает, во время бессонницы отчётливо видишь то яркое и невозвратное, что когда-то взволновало и до конца твоей жизни удержится в памяти.

Вот я, брат и родители в нашем первом совместном “ночлеге” на днепровской песчаной, поросшей молодыми вербами косе... Папа переправил нас сюда с берега на лодке. Соорудил из лозовых веток шалаш.

Догорал костёр. Вчетвером мы лежали рядышком на душистой свежескошенной траве и смотрели в черневшее небо. И те впечатления от звёздного неба во мне ярче и яснее, чем от первого поцелуя, поступления в институт и даже чем от тех минут, когда впервые я на самолёте взлетела в его бескрайние просторы. Я вспоминаю то ночное небо с гораздо бóльшим волнением, чем многие другие важные события моей жизни.

Тогда я не могла отвести глаз от мерцавших, завораживавших взвездной красотой больших и маленьких звёзд, чёркающих темноту метеоритов, пролетающих самолётов, а может быть, даже и спутников. Папа тихо, загадочным полушёпотом рассказывал о планетах, о непостижимости для нашего познания и бесконечности Вселенной, о вечности. И мне казалось, что я смотрела в Космос из колыбели Земли. И Космос чувствовал меня, безмолвно мигая звёздами. В такие минуты открывается тайна: если в небо смотреть долго, теряешь границу между ним и землей. Или звёзды опускаются, или ты поднимаешься к ним и втягиваешься, втягиваешься бездонной далью...

О, какое же это было счастье — находиться рядом с самыми близкими тебе людьми и, лежа под открытым, бесконечным, полным загадок небом, вдыхать запахи трав и реки.

Днепр с его обрывистыми берегами, в которых ласточки делали свои норки-гнезда, с его плёсами, песчаными косами и отмелями, со старицами и заливыми лугами был самой красивой, самой главной рекой на земле, потому

что он был моей рекой. Мне нравилось смотреть на проплывавшие мимо “ракеты”, катера и баржи, на стремительно наворачивавшуюся, слизывавшую с берегового песка свежие следы волну, на стайки мальков, замиравших в прозрачной воде на прогретой солнцем песчаной отмели. Любила вкус днепровской воды, тогда ещё вполне чистой, которую черпали прямо из реки кепкой или панамкой и тут же, процеживая через свой головной убор, пили. А ещё нравилось, присев на берегу, смотреть вдаль, в ту сторону, куда несла свои воды моя река. К морю. Я представляла, как она ширится и набирает силу. И думала, что вот так же будет шириться, устремляясь в будущее, и набирать силу моя жизнь.

Память... В ней всё: и запахи, и звуки... И даже вкус пищи... Случается, что какое-нибудь одно, пусть даже мимолётное ощущение вдруг возвращает тебя в детство. Причём настолько живо, настолько осязаемо, что воспоминание словно становится реальностью.

Как-то, немного приболев, я заварила полынь и бессмертник. Запах и горечь этого отвара так не нравились мне в детстве... Бабушка выводила меня в сенцы, протягивала кружку с этим горьким лекарством и уговаривала сделать глоток. Я морщилась, отпивая невкусный отвар. Горечь... Помню то неприятное ощущение... Делала глоток через силу.

Сегодня с волнением вынимаю из полотняного мешочка сухую траву, собранную летом. Заливаю кипятком и с благоговением, трепетом настаиваю.

Как пахнет... Родным... Чувствую присутствие бабушки, которой уже более двадцати лет нет на свете. Делаю глоток... Замираю от ощущений... И нет ничего слаще этого горького напитка.

К сожалению, то, что в детстве волновало меня, — тонкое, слитое с невидимой первоосновой бытия, — постепенно стало угасать. И с возрастом это угасание становилось всё заметнее.

Пришло время, и постучался в мой ещё неискушённый, неопытный мир “эрос”, чтобы стать властителем эмоций и страстей, заглушая тихую, нежную мелодию детских чувств. И эти страсти и эмоции требовали душевных сил, всех, без остатка. Серебристый голос детства звучал всё тише и глуше.

И вот теперь, прожив почти полвека, я слышу уже другой голос. Он делает всё ровным и почти безэмоциональным. Хотя ещё по привычке я восклицаю “Как чудесно!” или “Прекрасно!”, но редко чувствую это чудесное и прекрасное. Новый, зрелый голос быстро гасит редкие всплески радости, не позволяя ожидать от судьбы чуда, как бы благополучно ни складывалась жизнь.

Может, в этом мире, сплетённом из всех открытий и достижений человечества, дороже всего маленький бесплотный сгусточек детской души?

Я редко снюсь себе в теперешнем возрасте. Мои сны как будто отказываются воспринимать настоящий возраст и застряли в прошлом. Иногда в своих снах я совсем юная и, радуясь, вижу живыми и полными сил своих дедушку и бабушку, а также многих из тех людей, которых больше нет на этом свете. И нередко, как в молодости, волнуясь от переполняющих меня чувств, тороплюсь на одно из своих первых, далёких, которым больше никогда не повториться в реальной жизни, свиданий.

Человеческая жизнь словно вращается вокруг молодости. Молодость — “осевое время” человека. Только в молодости тебе даётся безусловная вера в себя, предощущение значительного, непременно счастливого будущего, скрывающего невероятные, мыслимые и немислимые возможности. Тайна твоей судьбы пока ещё не раскрыта. Поэтому всё, что впереди, манит и привлекает. И ты чувствуешь своё особое предназначение, избранность.

В детстве я предвкушала молодость, нетерпеливо ждала её прихода (вот вырасту большая!), а сейчас с грустью думаю о ней. И хотя молодость, как принято считать, обладает полнотой сил и возможностей, я с горечью тушу последние угольки её былого, дерзкого и самонадеянного высокомерия.

Впереди — старость. Её приближение я остро чувствую, видя, как стареют, теряют физические силы самые дорогие для меня люди — мои родители. Иногда, мысленно примеряя их старость на себя, боюсь самого страшного — разлуки. Удивляюсь, что так недавно, чуть ли не вчера, им было столько же лет, сколько мне сегодня, а теперь ещё более короткий, можно сказать, ничтожный промежуток времени отделяет мой возраст от них. Вот он где, жестокий и необратимый закон ускорения! Уже не тянутся, а всё быстрее пролетают зимы и вёсны. Теперь ты не только обретаешь в этом неудержимом беге жиз-

ни, но и теряешь. И с каждой очередной потерей всё чаще задумываешься о смерти. Мысли о ней вызывают щемящую, необъяснимую тоску, холод, который сосёт изнутри.

Больше всего я боюсь потерять близких. И этот страх, безотчётный, подсознательный, почти всё время со мной... А в те минуты, пусть и редкие, когда он неожиданно становится пронзительным, перед глазами возникают эпизоды из жизни — обыденные, ничем не примечательные, — но которые теперь, с возрастом, воспринимаются как главное и самое дорогое. Вот мама, ещё молодая, укладывает перед зеркалом в строгую причёску свои длинные русые волосы... Папа, сидя на диване, при свете бра читает газету. Лицо у него сосредоточенное, чуть нахмуренное, серьёзное. Мне не хочется ему помешать, ведь комната родителей — зал — проходная, и только через неё можно попасть в крошечную прихожую, ванную, кухню. Иду мимо него на цыпочках, тихонько, чуть ли не крадучись, чтобы не отвлекать... Вспоминается и наша с братом шестиметровая комнатка-спаленка с диванчиком и креслом-кроватью, одноместной раскладной партой, за которой я школьницей готовила уроки, и с двумя книжными полками на стене. Эта маленькая, небогато обставленная квартирка-полупорка до сих пор снится мне и кажется уютнее, чем нынешняя — просторная, с тщательно продуманным интерьером.

Давние, полузабытые эпизоды возникают перед глазами и исчезают быстро, словно в немом кино. И хотя во всплывающих в памяти мгновениях ничего особенного не происходило, они для меня бесценны. И я люблю до боли, до слёз тех, кто предстаёт в этих мгновенных картинах: маму, отца, брата...

Иногда я думаю, до чего же уязвима человеческая жизнь, сколько всего угрожает ей. Её защищает только тонкая нежная кожа да маленький язычок дверного замка. И ещё — оконное стекло. Оно, правда, вообще не защищает. Недаром говорят: хрупкое, как стекло... А вокруг — полный опасностей мир. Телевизор посмотришь: где-то наводнение, ураган, цунами, астероиды летают, звёзды взрываются, а там война, террористический акт, кого-то убили... Нет-нет, да и промелькнёт мысль: как хорошо, что не меня, не близких моих. И каким призрачным и неустойчивым покажется вдруг благополучие твоё и твоих родных. Оказывается, смерть всегда наготове, рядом, постоянно дышит в затылок... Только ей одной позволено поставить точку в конце твоего земного пути. И только о ней никогда не хочется думать. Кажется, пока о ней не думаешь, ни с тобой, ни с теми, кого ты любишь, ничего не случится.

Но вот уходит знакомый человек. Не близкий. Его, конечно, очень жаль. И вдруг в подсознании, где-то очень глубоко в тебе вспыхнет и потухнет мысль, даже не мысль, а импульс какой-то, совсем не похожий на сострадание: “Не я!” — “Пока не ты”, — соглашается смерть. Однако у чьей-то, пусть даже чужой, могилы больше боишься не за себя, а за того, кто дорог.

С каждой утратой и вызванной ею жгучей, невыносимой болью — стареешь. Да и сами мысли о смерти — первые вестники приближающейся старости.

Хотя, наверно, умение быть старым — особое искусство. В старости больше не требуешь от мира того, чего он не может тебе дать, и обретаешь важнейшее из чувств — смирение. Смиряясь, становишься ближе к Богу. А в этом, может быть, и есть главный смысл человеческой жизни?

Старость — это постоянная встреча с прошлым, которое уже не мечтает, а взыскует, спрашивает с тебя, тычет тебе в глаза, в душу твоими ошибками, слабостями, пороками и упущенными возможностями. Старость, может, для того и нужна, чтобы спросить с тебя за молодость. Ты уже не имеешь возможности сказать: я многого достигну, многое сделаю... Всё перед тобой: вот оно, смотри, что ты сделал, чего достиг. Не из-за этого ли мучительного ощущения несостоявшегося так не любят старость?

Кто-то считает старость унижительным состоянием, напрасно отведённым человеку природой отрезком жизни.

А может быть, старость — это проверка на мужество? Ты становишься немым, сужается твоё окружение, в какой-то степени ты начинаешь чувствовать себя одиноким и неотвратимо приближаешься к черте, за которой — мрак неведения. Нет у тебя ни красоты, чтобы очаровывать, ни силы, чтобы противостоять.

И всё же, по-видимому, неспроста дан человеку этот сложный, последний, но, возможно, самый главный в его жизни период. Время остановиться и время задуматься. Время жатвы и время покаяния. А по большому счёту — момент истины.

ВЛАДИМИР РОДИН

НОВАЯ ЕВРОПА ЗАСТРЯЛА НА ДОРОГЕ

К итогам выборов в Европейский парламент

Выборы в Европейский парламент не предвещали каких-то крупных политических потрясений, и явка была довольно низкой: 43%. Однако их результаты настолько шокировали старую, добропорядочную Европу, что об этом только и говорят теперь на всех европейских перекрёстках. Но сначала всё по порядку.

После Индии выборы в Европарламент – это вторые по числу избирателей демократические выборы в мире. В них приняли участие 400 млн европейцев. По сравнению с выборами в 2008 года были отменены все барьеры, что давало шанс любой, даже самой маленькой партии войти в парламент.

В прошлом парламенте было представлено 160 партий на 751 место. Чтобы лучше отстаивать свои позиции, партии – по идеологическому принципу – объединяются в так называемые “партийные семьи”. Из семи самых влиятельных “семей” выделяются две: *Европейская народная партия* во главе с бывшим премьер-министром Люксембурга Жан-Клодом Юнкером, она объединяет христианско-демократические партии Европы (Германии, Австрии, Греции и Испании), и *Прогрессивный альянс социалистов и демократов* во главе с нынешним председателем Европарламента Мартином Шульцем. Она представляет интересы социал-демократических, социалистических и рабочих партий Европы.

Каждая “партийная семья” решила выдвинуть одного главного кандидата, чтобы придать выборам европейский, а не национальный характер. Основная борьба разгорелась между Жан-Клодом Юнкером и Мартином Шульцем. Дуэль между ними была довольно бесцветной. Жан-Клод Юнкер ратовал за продолжение европейского строительства, а Мартин Шульц делал упор на социальную справедливость в масштабах ЕС.

Итоги выборов (в Германии) по сравнению с 2009 годом: ХДС 30,0% (было 30,7%) – 29 мест; СДПГ 27,3% (20,8%) – 27 мест; Зелёные 10,7% (12,1%) – 11 мест; Левые 7,4% (7,5%) – 7 мест; Альтернатива для Германии (впервые прошла в парламент) 7,0% – 7 мест; ХСС 5,3% (7,2%) – 5 мест; СвДП 3,4% (11,0%) – 3 места. Немцы, следовательно, проголосовали за ЕС. Они живут хорошо и экономическое положение в Германии лучше, чем в других европейских странах. Всё правильно. Но есть одна деталь (а дьявол, как мы знаем, скрывается в деталях!). Молодая партия *Альтернатива для Германии* на выборах в Бундестаг в прошлом году набрала 4,7% голосов, до смер-

ти напугав старые, закалённые в политических баталиях партии. Её требования: Германия не должна быть “дойной коровой” для “робких в труде” людей в южных странах ЕС и должна принять жёсткие законы в области миграции. И вот на выборах в Европарламент *Альтернатива для Германии* набирает уже 7,0% голосов и обходит ХСС и СвДП! Это, конечно, серьёзный звоночек для Ангелы Меркель, ведь голоса-то эта партия отбирает, в основном, у консерваторов! В Австрии – так же, как и в Германии, возобладали линия на сохранение ЕС. *Австрийская народная партия* набрала 27,5% голосов, а *социал-демократы* – 23,95. Примерно такая же картина в Испании, где консервативную *Народную партию* поддержали 26% граждан, а социалистов – 23%. В Италии победу одержала *Демократическая партия* Маттео Ренцы, а не евроскептики.

А вот в Греции отдали голоса главной протестной организации – Коалиции радикальных левых сил – *Сириза*. Хотя *Сириза* и не призывает к упразднению ЕС, но требует кардинальных перемен в его структуре (“*Российская газета*”, 27 мая 2014).

В результате выборов – в масштабах всей Европы – победу одержала *Европейская народная партия* во главе с Жан-Клодом Юнкером. Она получила 213 мест из 751. У Юнкера появились, таким образом, реальные шансы стать председателем Европейской комиссии. Партия *Прогрессивный альянс социалистов и демократов*, возглавляемая немецким социал-демократом Мартином Шульцем, получила 185 мест.

“Демократия победила!” – сообщил мне мой давний друг социал-демократ Шумахер. Но голос его звучал почему-то довольно мрачно.

Банкет победителям испортили евроскептики и националисты

Задолго до выборов “Шпигель” дал блестящий анализ положения в Европейском Союзе: “В Брюсселе – тупик. Новая Европа застряла на дороге. Комиссия ЕС борется против любых попыток ограничить её власть, многие члены ЕС сыты по горло германским доминированием. Противники Европы видят свои шансы даже в лагере Меркель” (“Шпигель”, № 1, 2014). Прогноз всегда очень информированного журнала оказался точным. Главной сенсацией выборов в Европейский парламент 22–25 мая 2014 года стал оглушительный успех правых националистических сил. Результаты правых и евроскептиков: Польша – *Гражданская платформа* и ПИС 64,6%; Великобритания – *Партия независимости* – 29%; Франция – *Национальный фронт* – 25%; Италия – *Движение 5 звёзд* – 21,5%; Австрия – *Партия свободы* – 20,5%; Венгрия – *За лучшую Венгрию* (“*Йоббик*”) – 14,7%; Финляндия – *Истинные финны* – 13,1%; Латвия – *Всё для Латвии* – 11,7%; Швеция – *Шведские демократы* – 7% (“*Российская газета*”, 25 мая 2014).

И возглавила этот правый марш Франция, та самая Франция, которая стояла у колыбели европейской интеграции! Лидер партии *Национальный фронт* Марин Ле Пен набрала на выборах 25% голосов и впервые в истории Республики одержала победу над *Социалистической партией*, находящейся у власти, которая получила менее 14% голосов, и умеренно консервативным *Союзом в поддержку народного движения* – за него проголосовало 20,2%. Таким образом, Марин Ле Пен получит 25 из 74 мест, отведённых Франции в Европарламенте. “Нет – Брюсселю, да – Франции”, – вот главный лозунг Марин Ле Пен. Это значит, что французы хотят быть хозяевами в своей стране, а не жить по законам, которые принимают чиновники в Брюсселе. Ле Пен намерена выйти из зоны евро, провести опрос по поводу членства в ЕС и референдум по проблеме миграции. Директор франко-российского аналитического центра “Обсерво” Арно Дюбьен отмечает: “Французы перестали узнавать себя в европейском проекте, инициатором которого в конце 1950-х был Париж. Это связано с расширением ЕС, с либеральной политикой Еврокомиссии, а также с идеей Трансатлантического торгового и инвестиционного партнёрства с США. Неудивительно, что явка французов составила 40%, при этом не пришёл голосовать как раз электорат традиционных партий” (“*Независимая газета*”, 27 мая 2014). Успех крайне правых вызвал в правящих кругах Франции серьёзную тревогу. Сегодня Марин Ле Пен выиграла битву за Европарламент, а что будет, если она победит на президентских выборах во Франции?

Большого успеха евроскептики добились в Англии. Лидер *Партии независимости Соединённого Королевства* Найджел Фарадж заявил, что выступает за выход Англии из ЕС. Самое интересное в этом то, что победу на европейских выборах одержала партия, даже не представленная в английском парламенте!

Партия использует разочарование безработных и среднего класса. Она набрала 29% голосов, оставив позади и консерваторов, и лейбористов. В Дании также имела успех популистская *Датская народная партия*. Получив 23,1% голосов, она обошла правящую *Социал-демократическую партию* (20,5%).

Вопрос теперь в том, сможет ли Марин Ле Пен сколотить из евроскептиков во Франции, Англии, Голландии, Дании, Германии “семейную партию” в Европейском парламенте, чтобы оказывать влияние на политику ЕС?

Где жмёт ботинок?

Корни нынешнего потускнения европейской идеи следует, на мой взгляд, искать в экономике, в финансовом кризисе, который поразил мир капитала и не обошёл стороной Европу. Миллионы молодых, здоровых, образованных людей в Греции, Испании, Португалии, которые не могут найти работу, чувствуют себя униженными и обездоленными. ЕС пришлось здорово раскошелиться, чтобы спасти от финансового краха маломощные страны ЕС. Но это вызвало гнев среди населения Германии, Англии и Франции. Выражение “Германия – дойная корова Европы?”, которое пустили в обиход немцы, многие европейцы стали применять в отношении ЕС в целом. Почему Евросоюз из своего бюджета должен оплачивать просчёты и ошибки греков и португальцев? А тут ещё Украина стучится в дверь ЕС с просьбой о финансовой помощи!

Но есть, очевидно, и другие причины. Мой старый немецкий друг доктор Петер Андерсен пишет мне, что для европейской идеи, которая “после Второй мировой войны должна была помочь преодолеть страхи и залечить раны, нет реальной альтернативы”. Европейский союз достиг заметных успехов в области экономики, внутренней политики, обеспечения безопасности. Европа – экономический гигант, крупный экспортёр – 20% мировой торговли; занимает ведущее место по прямым инвестициям в зарубежных странах – 362 млрд долларов. В ЕС созданы условия для свободного передвижения людей, принимаются законы по единому страхованию, медицинскому обслуживанию и т. д. Это чувствуют граждане, и большинство их напрочь отвергает идею роспуска ЕС. Что беспокоит людей, так это ошибки в конструкции, которые проявились в последние годы. И речь идёт не только о евровалюте, которая обязана своим появлением на свет сделке между Гельмутом Колем и Франсуа Миттераном по случаю германского объединения, но и о “гигантомании, росте бюрократии в Брюсселе”, обуреваемой неуёмной фантазией по дальнейшему расширению ЕС на восток и на юг (Украина, Турция), хотя “границы целесообразности для такой политики давно уже достигнуты”. Люди чувствуют, что их лишают возможности политически оценивать сферы своей жизни, будущие риски. Это привело бы к глубоким вторжениям в региональные и национальные условия и “прошло бы рубанком по их привычному образу жизни”.

Чаша терпения европейцев переполнилась

Возрастающее недовольство у европейцев вызывает огромный поток мигрантов, которые буквально берут Европу “на абордаж”. С начала 2014 года на побережье Италии высадились 25 тысяч мигрантов из Африки. Это, в основном, молодые мужчины, которые танцуют от радости, что смогут попасть в Германию, Бельгию и другие богатые страны ЕС и пользоваться всеми благами за счёт европейских налогоплательщиков. Немцы считают, что мигранты вторгаются в их социальную систему. Турецкий гражданин, прибывший в Германию с 12 детьми, может не работать, получая детские пособия. О такой сладкой жизни он и во сне не мечтал. Немцы жалуются на то, что мигранты несут с собой свою культуру, нравы и обычаи, которые они насаждают в Германии. Если женщина, исповедующая ислам, идёт рожать в немецкую клинику, то она требует, чтобы роды у неё принимала её единоверка. На сентябрьских выборах в Бундестаг в 2013 году депутатами были избраны несколько граждан

турецкого происхождения. По этому поводу местная турецкая газета писала, что, может быть, в Германии появится когда-нибудь турецкий президент!

Мы хорошо помним объятые пламенем пригороды Парижа, где мигранты из Северной Африки вступили в самое настоящее сражение с полицией. Усиление влияния ислама наблюдается и в Англии. Там уже предпринимаются попытки ввести законы шариата! Недавно по ТВ показали улицу в английском городе, где живут одни мигранты. Они радостно сообщают репортёрам, что нигде не работают, но чувствуют себя хорошо и даже занимаются спортом. Весь мир облетела жуткая картина, когда мигранты среди белого дня зарубили английского солдата.

Требования в Германии, Франции, Англии, Голландии установить барьеры на пути всё возрастающего притока мигрантов ни к чему не приводят. Этому противятся либералы и правозащитники. Брюссель призывает европейцев к толерантности, что и послужило одной из причин яростного протеста евро-скептиков.

Другая причина – массовый наплыв мигрантов из стран Восточной Европы. “Мы думали, что в Англию придет 40 тыс. поляков, а их пожаловало 700 тысяч!” – сетуют англичане. Можно представить себе, сколько украинцев прибудет в Англию, если европейская интеграция Украины, о чём так мечтают на Майдане, станет явью!

Правые улавливают и настроения масс, требующих сохранения традиционных христианских ценностей. Решение президента Франции Франсуа Олланда разрешить однополые браки и даже позволить геям усыновлять детей вызвало бурю протестов в стране. В Париже на улицы вышли миллионы граждан с огромными плакатами: “Папа и мама – это естественно!” А вверху – симпатичная мордашка малыша. Сколько десятилетний мы, русские люди, восхищаемся французскими фильмами “Шербургские зонтики”, “Мужчина и женщина”, а теперь нас хотят заставить демонстрировать толерантность, наблюдая, как на площадях Парижа целуются бородатые мужики. Проводят эксперименты с детьми: девочки должны прийти в школу в брюках, а мальчики – в юбках... Дикость!

Подобные нравы Европа всеми правдами и неправдами пытается насаждать и у нас, в России! “Но мне не нравятся парады геев”, – сказал я своему немецкому другу. А он мне в ответ: “А вы должны терпеть!” Для чего? Чтобы нас полюбила Европа?

Бедный человек, богатый человек

В странах Восточной Европы нередко можно услышать такие высказывания: “Когда существовал Советский Союз, то “железный занавес” проходил между Западной Европой и СССР. А сегодня “железный занавес” разделяет бедных и богатых людей в самой Европе”. Официальные лица в Англии признают, что ежемесячный доход в Англии на человека в 9 раз выше, чем в Румынии. Болгары, приезжая на заработки в “старую Европу”, в один голос рассказывают, что у них в Болгарии люди практически голодают. Уже никто не говорит “новым европейцам”, что процесс интеграции в ЕС долгов, и уже никто не говорит о самом процессе вообще. И мало кто решается задать вопрос, стали ли члены Евросоюза Латвия и Болгария жить лучше за последние годы?

Ответ и так понятен: люди стали жить не лучше, а хуже.

Кто платит, тот и заказывает музыку

Ангела Меркель – опытный политик. Она известна тем, что очень умело отбирает у своих оппонентов популярные в массах требования и выдаёт их за свои. Вот и в канун выборов в Европейский парламент она решила отобрать голоса у своих противников из партии *Альтернатива для Германии*, которой удалось здорово “пощипать” ХДС справа.

Ангела Меркель требует, чтобы немецкий язык использовался в институтах ЕС наравне с английским и французским. Но ещё важнее для Меркель, отмечает “Шпигель”, чтобы Европа будущего “внутри была более немецкой”. Это должна быть другая Европа и совершенно не та, что была при Гельмуте

Коле. Европа, в которой “национальные государства будут иметь большой вес”. Но это означало бы, резонно подчёркивает “Шпигель”, отход от традиционной политики европейского развития. В чём суть проекта Единой Европы? Сначала Европейское объединение угля и стали, затем – сельское хозяйство, большой внутренний рынок товаров и услуг, евро и, в конечном счёте, совместная армия. С каждым шагом Европейская комиссия и Европейский парламент приобретали больше компетенций, а члены ЕС их утрачивали. Кто хочет изменить эту линию – “провоцирует сопротивление”. С Европейской комиссией немцы ведут крайне жёсткую борьбу. Чего добивается Меркель? Она хочет, чтобы “ориентированная на реформы экономическая и финансовая политика в ЕС проводилась по немецкому примеру”. Но её предложение блокируют как небольшие, так и крупные страны ЕС. Ей было указано на то, что Германия, хотя и самый большой член ЕС, но это лишь одно из 28 государств, входящих в его состав (“Шпигель”, № 1, 2014).

Внешняя политика – ахиллесова пята ЕС

Бессилие ЕС особенно остро чувствуется в его попытках разрешить нынешний украинский кризис.

Разделяю точку зрения председателя президиума российского Совета по внешней и оборонной политике Фёдора Лукьянова: “Политический вес 20 лет назад отдельных стран Старого Света – Франции, Германии, Великобритании, Италии – был больше, чем всей объединённой Европы сегодня. Так что полагаться на неё как на сильного игрока нельзя. Но и прагматично договариваться невозможно, поскольку самооценка ЕС крайне высока. Он видит себя в качестве вершины мироздания, исходит из презумпции своей моральной правоты, поэтому остальные должны действовать на основе им же установленных правил. Однако Европа при этом неспособна достичь внутреннего единства, что превращает отношения с внешними партнёрами в мучительный фарс” (“Российская газета”, 28 мая 2014).

По имеющимся сведениям, президент Обама во время обсуждения в Пентагоне американской стратегической политики затронул вопрос, можно ли рассчитывать на ЕС как на партнёра? И сам же дал такой ответ: слишком много голосов, постоянное несогласие, нет единого внешнеполитического партнёра для переговоров, отсутствие европейской глобальной стратегии, военной и дипломатической пробивной силы, отсутствие твёрдого руководства и непредсказуемость мешают этому.

Что дальше?

Итоги выборов в Европейский парламент, несмотря на успех консерватора Жан-Клода Юнкера и социал-демократа Мартина Шульца – убеждённых сторонников ЕС, – не принесли особой радости грандам Европейского союза – Германии, Франции и Англии. Лёгкий налёт печали на лице Ангелы Меркель, озабоченность Франсуа Олланда, сдержанное английское спокойствие Дэвида Кэмерона – всё это видно невооружённым глазом на экране ТВ. Ангела Меркель считает, что традиционные партии в Европе должны “вновь завоевать доверие избирателей”. Лучший способ достижения этого – сосредоточить внимание на проблемах экономики: улучшении конкурентоспособности, создании рабочих мест и пр. Франсуа Олланд раскритиковал европейские институты. “Я европеец, моя задача реформировать Францию и переориентировать Европу”, – заверил он французов.

По мнению французских экспертов, слабость Олланда может оставить Меркель без сильного партнёра для следующего этапа европейской интеграции. “Для нормального функционирования Европе необходим крепкий баланс между Францией и Германией, – отмечает сотрудник Французского института международных отношений Доменик Муаси. – Однако Франция движется по пути Италии или Греции в экономическом плане и Великобритании – в вопросе отношений с Европой”.

Дэвид Кэмерон заявил: очевидно, что избиратели глубоко разочарованы в объединённой Европе, и он ясно их услышал (“Независимая газета”, 28 мая 2014).

Люди уходят, а их рукописи лежат в редакции — взывают, борются, торжествуют, не подозревая, что автора уже нет в живых. Замечательный публицист Александр Арцибашев умер в середине мая, а статья, отданная им в “Наш современник”, продолжает его сражение за русскую глубинку, которая была так дорога Александру Николаевичу.

АЛЕКСАНДР АРЦИБАШЕВ

ТАВДИНСКИЙ ОПОЛЗЕНЬ

Ещё до прихода в Сибирь отряда атамана Ермака вогуличи села Кошуки, что на правом берегу реки Тавды, распаивали земли и сеяли жито. В “Книге, глаголемой Большой чертёж”, составленной из рукописей XVI–XVII веков, есть такие строки: “Ниже града Табаров, на Тавде же, град Ашуки... Придоше к Ашуку, к князю Ворлекову, Ермак же оных из них убил и есак взял... и все волости, и с Чандыри, покорил боем и добровольно со старейшинами их”. В отличие от других мест, в Таборах и Кошуках на “тутошних людей” был наложен хлебный оброк, что считалось по тем временам редким явлением.

Откуда в такой глуши тяга к земледелию? Скорей всего, вогуличи попробовали русский хлебушек при набегах на строгановские вотчины Пермивеликой. Смекнули: дело выгодное. К началу XIX века в Кошуках было уже около четырёхсот жителей. Пашни — 650 десятин. Две водяные мельницы, зерновой амбар на 25 тысяч пудов, кожевня, лесопилка, народное училище, лазарет, хлебозапасный магазин. Сбочь тракта Тюмень — Пелым — каменная однопрестольная церковь во имя Рождества Христова.

В Столыпинскую земельную реформу, когда мужики из серединной России валом повалили в Сибирь, в Кошуках находилась резиденция начальника Третьего крестьянского участка Туринского уезда. Места благодатные. По Тавде ходили пароходы и баржи, сновали рыбацкие судёнышки. В деревне Жиряково Антроповской волости предприниматели братья Вардроперы построили в 1888 году судовой верфь, где ежегодно спускались на воду десятки судов. На реке Каратунке, в нескольких верстах от её впадения в Тавду, оборотистый купец Ушков поставил суконную фабрику. Здесь трудились около четырёхсот рабочих. Шерсть доставляли из Омска и Семипалатинска. В 1915 году министерство земледелия дало разрешение на строительство крупного лесотехнического завода на берегу озера Матюшино. Годом раньше в районе озера Кривое пустили в действие двухрамный лесопильный завод товарищество “Переломов — Жернаков” и трёхрамный завод — промышленник Шестов.

После революции 1917 года все эти предприятия национализировали. Позднее в Тавде появились крупнейший в стране лесокombинат, гидролизный и механический заводы, фанерный комбинат, мебельная фабрика, маслозавод, плодopитомник, химлесхоз, рыбзавод и прочее. Общая численность ра-

бочих превышала десять тысяч. Объём выпускаемой продукции – 60 миллиардов рублей.

Что производили? Отыскал статистические данные за 1990 год. Итак, до ельцинских “реформ” заготовка деловой древесины составляла 1 миллион кубометров. Из кругляка выпускались пиломатериалов – 423 тысячи кубов, фанеры – 63, древесностружечных плит – 72, древесноволокнистых плит – 7 тысяч кубометров, спирта этилового – 424 тысячи декалитров, кормовых дрожжей – 13 тысяч тонн, автоприцепов – 12 тысяч штук. А ещё – пиловочник, тарную доску, древесную муку, углекислоту, кирпич, мебель, товары народного потребления.

Немалый доход давали земледелие и скотоводство. Кругом ведь луга и поймы. Сибирская деревня не знала помещичьего уклада. В среднем на мужскую душу приходилось по 10–12 десятин. Работай – и земля не обидит! Первые колхозы в Тавдинском районе появились в 1929 году: в деревне Киселёво – “Красный Октябрь”, в Кошуках – “Пролетарий”, в Майловке – “Перелом старого быта”, в Билькино – “Новый путь”, в Красной Елани – имени Ворошилова. Всего их было около шестидесяти – мелких, примитивных, лошадных.

Кроме того, в спецпосёлках, где жили раскулаченные крестьяне, создавались “неуставные” колхозы: в Мостовке – “14 Октябрь”, в Васькином Бору – “15 Октябрь”, в Красном яру – “20 Октябрь”. Число высланных с Кубани, Дона, Черноземья, Украины, из Белоруссии превышало 11 тысяч. Кстати, в самом Верхне-Тавдинском районе этой участи подверглись более четырёхсот крестьян-единоличников. Но пережили лихо, приноровились к новой власти, подняли детишек.

Со временем мелкие хозяйства укрупнили, стало восемь колхозов. Посевную площадь довели до 18 тысяч гектаров, стадо крупного рогатого скота – до 10 тысяч голов. В сёла пришла мощная техника. Парк машин из года в год увеличивался. В частности, тракторов насчитывалось под три сотни, зерноуборочных комбайнов – 65, грузовиков – около сотни. Было построено много жилья, школ, детских садов, поликлиник, дорог с твёрдым покрытием. Отдача от вложений средств не замедлила сказаться. Сужу опять-таки по цифрам статистики. В 1990 году тавдинцы производили почти 10 тысяч тонн цельномолочной продукции, 500 тонн – кисломолочной, 805 тонн сметаны, 200 тонн масла животного, 9 тысяч тонн хлебобулочных и кондитерских изделий, тысячу тонн мяса. Улов рыбы превышал 500 тонн.

...Ехал в Тавду поездом Екатеринбург – Устье-Аха и думал: “Как же такой преуспевающий край, считай, в одночасье мог стать депрессивным? Что за оползень обрушился на древнюю землю?”

Вагон качало, было душно. Не работала вытяжная вентиляция, не открывались окна. Старый состав. Сами проводники задыхались в купе-клетушках, а какво приходилось малым детям! Я лично всю ночь не спал. Остановки в Егоршино, Ирбите, Туринске... Каждый раз выбирался на волю, чтобы глотнуть свежего воздуха. В темноте путейцы простукивали буксы, глухо покашливая и матерясь. Несмотря на поздний час, светились окошки пристанционных торговых лавок с ядовито-жёлтым пойлом и чёрствой выпечкой. Покупать в дороге еду ныне опасно – везде “химия”: консерванты, красители, усилители вкуса. Запросто можно отравиться.

В Тавде меня встретили трое депутатов местной Думы: Виктор Николаевич Никулин (бывший полковник, начальник колонии), Анатолий Богданович Дьяков (в прошлом работник местного РОВД) и Василий Владимирович Чьянов (станочник с фанерного комбината). Первый прошёл в законодательное собрание от партии “Справедливая Россия”, второй – как самовыдвиженец, третий – при поддержке коммунистов. Вот, по сути, и вся оппозиция “единороссам” в местной Думе во главе с Виктором Лачимовым.

Лица у собеседников хмурые. Незадолго до этого в городе провели опрос населения в социальных сетях. На вопрос “Поддерживаете ли вы инициативу перехода Тавдинского района из состава Свердловской области в Тюменскую область?” из 1618 опрошенных большинство ответило “да”, против было только 145 человек. Холодок к власти – налицо.

Никулин не скрывал досады:

– Промышленность и сельское хозяйство развалены. От нас сбежали в Ирбит налоговая инспекция, Сбербанк, “Почта России”. Остались лишь их филиалы. Управление сельского хозяйства перевели в Туринск. Даже путного

роддома нет. Если у рожениц та или иная патология, надо ехать за сто шестьдесят километров в специализированную клинику. А таких женщин в Тавде две трети. Плохая экология, некачественные продукты, житейские неурядицы. Поменять ситуацию невозможно, поскольку, вопреки закону о местном самоуправлении, которым предусмотрены разные типы муниципальных образований (городское поселение, сельское поселение, муниципальный район, городской округ), в Свердловской области почему-то сделали акцент только на последнем варианте. Видимо, чтобы было сподручней контролировать “управляемость территорий”. В ином случае власть уплыла бы из-под ног “единороссов”...

— Это точно, — подтвердил Анатолий Богданович Дьяков. — Судите сами: разве в деревне, где каждый знает соседа в лицо, выберут главой поселения проходимца? Конечно, нет. Самоорганизация селян значительно выше, нежели горожан. Почему бы не сделать свободными выборы глав поселений? В других-то регионах картина совершенно иная: в Курганской, Омской, Новосибирской, Оренбургской областях — по 30–40 муниципальных районов, в Свердловской — всего пять! Крестьяне не имеют представителей в законодательных собраниях городских округов — разве это дело? Сидите, мол, по домам и молчите...

Тавда — типичное провинциальное захолустье: много бараков, чёрных изб. Дороги разбиты. Высокий уровень преступности. Ещё бы! Под боком три колонии. Одно время число заключённых доходило до 10 тысяч. Освободятся — податься им некуда, нигде не берут на работу. Вот и скатываются снова на скользкую дорожку. Район “лидирует” в области по числу туберкулёзников. Если в 1991 году на тысячу человек приходилось тридцать больных, то ныне — втрое больше. Пьянство, наркомания, проституция.

Жуткую картину увидел я в некогда промышленной зоне: полуразрушенные огромные корпуса лесокombината, гидролизной и механического заводов, откуда по ночам вывозят металлолом; пустой порт, догнивающие деревянные зерновые склады. Держится пока “на плаву” лишь фанерный комбинат.

Сидевший рядом со мной в машине молодой депутат-коммунист Василий Чиянов грустно обронил:

— Одно время комбинат вовсе простаивал — сидели без зарплаты. Несколько раз менялись владельцы предприятия. Объёмы выпуска продукции не сравнить с прежними...

В тот же день отправились вместе с Чияновым в глухую деревеньку Герасимовку, где в сентябре 1932 года в лесу были зверски убиты тринадцатилетний пионер Павлик Морозов и его меньший братишка Федя. От Тавды — сорок километров. В пути нас настигла гроза: принялся идти дождь, засверкали молнии, в небе загромыхало. Но назад мы не повернули. Хотелось взглянуть на место гибели ребятишек. История, надо сказать, запутанная. По сей день среди герасимовских старожилов нет единого мнения на сей счёт.

Самим нам не выйти бы к болоту, где нашли тела братьев Морозовых. С большака туда ведёт узенькая тропка, заросшая осокой. Согласилась показать место трагедии экскурсовод музея Марина Владимировна Изимбаева.

Как только вошли в лес, поднялись тучи комаров. В эту пору тут полно и клещей. Одежда промокла. Вскоре впереди забелел обелиск, обнесённый невысокой оградкой. Подошли к нему, склонили головы. В полсотне шагов — ещё один, где бандиты настигли убежавшего Федю. Порывистый ветер раскачивал верхушки матёрых сосен, и казалось, будто кто-то невидимый в вышине тяжко вздыхал...

Возвращаясь, разговорились с провожатой. Марина Владимировна рассказывала:

— Павлик и Федя пошли на болото за клюквой и пропали. Три дня их искали. Когда нашли зарезанными, всё село содрогнулось от страшной новости. Поначалу арестовали девятых подозреваемых. Шестеро из них были родственниками ребятишек, в том числе дед Сергей, бабка Ксения, двоюродный брат Данилка и дядя Арсентий Кулуканов. Спустя два месяца в Тавде состоялся суд. Пятерых оправдали, а деда, бабу, дядю и двоюродного брата приговорили к расстрелу. Сознался в убийстве только восемнадцатилетний Данилка. Дед Сергей принародно перекрестился и поклялся, что не убивал внуков.

— А какие доказательства их вины были оглашены на суде? — поинтересовался я.

— В доме деда будто бы обнаружили окровавленную рубаху, а за иконой — нож, которым зарезали отроков. Жители села, в большинстве своём на-

божные люди, переселившиеся сюда из Белоруссии, не поверили следователям. Посчитали сие за кошунство. К тому же Морозовы вовсе не были кулаками. Отец Павлика Трофим работал председателем сельсовета, с семьёй не жил. На момент убийства он находился в тюрьме, будучи осуждённым на десять лет за выдачу справок на выезд из деревни. Высказывались версии, что ребята могли стать невольными свидетелями то ли закапывания клада в лесу, то ли постройки схрона. Но это всё догадки. А что произошло на самом деле – так и осталось тайной...

В центре деревни – музей, разместившийся в бывшей школе, в которой учился Павлик Морозов. Огромный двухэтажный домина из почерневшего кругляка зажиточного крестьянина Пилипенко. Простоял более века. Зашли внутрь. Вдоль стен – предметы крестьянского быта, стенды с фотографиями и документами. На одном из снимков – пионер-герой среди учеников школы. По воспоминаниям однодеревенцев, он отличался упрямым характером и прямотой. Наверняка осуждал отца за уход из дома, по-мальчишески мстил.

За это убить?.. Трагедия потрясла миллионы людей не только в нашей стране, но и далеко за её пределами. Подчеркну: крестьянская трагедия.

Экскурсовод показала список раскулаченных в Герасимовке крестьян: 43 фамилии. Многовато для одной деревни. Если учесть, что в 1926 году здесь было 106 хозяйств, то получается – через двор кулаки. Первый колхоз тут возник в начале тридцатых годов, но быстро распался. Потом было ещё несколько попыток создать коммуну. Это удалось только в 1934 году. Перед Великой Отечественной войной колхоз имени Павлика Морозова уже крепко стоял на ногах, участвовал во Всесоюзной сельскохозяйственной выставке. Затем его укрупнили, присоединив земли соседних деревень, и, таким образом, площадь пашни увеличилась до 2 тысяч гектаров. Получали двухсотцентнеровые урожаи картофеля, имели приличное дойное стадо. Много лет председателем колхоза был Александр Михайлович Кузнецов, выведший хозяйство в лидеры. Увы, ныне окрестные поля в запустении, ферма разрушена. Колхоз прекратил своё существование.

На обратном пути завернули в деревню Мостовка, где ещё недавно тоже был справный колхоз имени Чапаева. Ныне – банкрот. Нашли бывшего председателя Данилу Васильевича Храмцова. Хозяин не стал лукавить, выложил всё, что называется, начистоту.

– Корень нашего рода в деревне Кузнецово Таборинского района, – начал он издаека. – Предки – манси. У прадеда было две жены и тридцать два ребёнка, у деда – семеро, а нас у отца – шестеро. Все выучились, встали на ноги. Мать из деревни Герасимовка. Я окончил Тюменский сельхозинститут по специальности инженер-механик. До “реформ” Ельцина не бедствовали. Тысяча двести гектаров пашни, около тысячи голов крупного рогатого скота. Сеяли пшеницу, рожь, овёс. Сажали капусту и картофель. Молоко сдавали на Тавдинский молзавод. В деревне были школа, клуб, два магазина, детский сад...

– А ещё котельная, – вставила хозяйка Ирина Николаевна. – Забыл? Мылись-то в ванной. Сейчас вновь вернулись к корытам...

– Развал начался после того, как вздули цены на технику, горючее, газ, электроэнергию, – продолжил Храмцов. – Молоко, мясо, овощи стали производить в убыток. Касса быстро опустела. Какое-то время выручал лес. Заготавливали деловую древесину, разделявали на своей пилораме и продавали. Имели от продажи “живые” деньги, но потом и этот ручеёк иссяк. На меня “состряпали” донос за отпуск “Сельхозтехнике” четырёх кубометров бруса без накладной. Завели уголовное дело. Исключили из партии. Был суд. Дали три года условно. Я не согласился с приговором, написал письмо в ЦК КПСС. Там быстро разобрались во всём, восстановили в партии. Колхозники вновь избрали председателем. Тут – дефолт. Вижу – дело к краху. Собрал народ. Спрашиваю: “Что будем делать дальше?” Денег в кассе нет. Решили: в счёт зарплаты раздать механизаторам технику. Поделили и землю. Оказалось, правильно сделали. В соседних хозяйствах всё имущество описали и увезли за долги.

– Как же выживаете?

– Те, кто помоложе, разбежались по “вахтам”: на Ямал, в Сургут, Уренгой, Урай... Пенсионеры копошатся на своих подворьях. Многие спились. Даже женщины. Мужей-то по полгода не видят. Поневоле затоскуешь...

– Ну, а сами чем занимаетесь? – спросил Храмцова.

Он чуть помедлил, собираясь с мыслями. Тяжко вздохнул:

– Взял в аренду на десять лет три озера: Сухое, Тяпку, Камешное. Ещё десять километров реки Иксы. В Таборах у нас база, где коптим рыбу. Помогают родственники.

– Что ловите?

– Щук, карасей, язей, чебаков, плотву, окуней, лещей, налимов... По договору имеем право добывать до десяти тонн в год, но получается куда меньше. Трудно со сбытом.

– Потому и вздохнули?

Данила Васильевич отвёл взгляд:

– Если честно, то маемся... На старости лет нет покоя. Держим на подворье живность, сажаем картошку. Собираем грибы, ягоды. Так и живём...

В той же стороне, на берегу старицы Гузеево, – древнее село Городище, входившее когда-то в Кошукскую инородческую волость. Место ссылки опальных вельмож. Тут встречаются фамилии Шиловых, Морозовых, Сусловых, Шелестов, Бадиных, Долговых, Путиковых, Черепановых, Беляевых, Лоскутовых, Яковлевых. В царское время в селе были три ветряных и одна водяная мельницы, кузня, торговая лавка. Местный купец Алексей Иванович Котельников в 1910 году поставил “для славы” паровую мельницу производительностью 14 тонн зерна в сутки. Привезли машину аж из Тюмени, и она обеспечивала помолон не только городищенских крестьян, но и окрестные деревни.

Ну, а дальше возник колхоз “III Интернационал”. В селе построили маслозавод, который вырабатывал по 300 килограммов масла в сутки, а также творог, казеин. В 1929 году открылся медпункт с родильным отделением. Начал работать государственный ветеринарный участок. Урожайность ржи составляла 25 центнеров с гектара, пшеницы – 15 центнеров. В войну работники местной МТС собрали средства на постройку целой эскадрильи самолётов “Свердловский колхозник”. С фронта не вернулись 211 городищенцев, погибшие на полях сражений. Рабочих рук не хватало, но выдюжили. За мужчин трудились женщины и дети.

В “перестроечные годы” гремел на всю округу городищенский колхоз “Заветы Ленина”. Тут имелись два механизированных зернотока, шесть животноводческих ферм, семь тысяч гектаров пашни. Производили ежегодно по 5 тысяч тонн зерна, 500 тонн картофеля, 1,5 тысячи тонн молока, 300 тонн мяса. Разве это “мелочовка”? На колхозные деньги выстроили целую улицу благоустроенных домов, школу-интернат, детсад, дом быта, торговый центр.

Почему же в Свердловской области вдруг списали со счетов десятки таких мощных хозяйств, как колхоз “Заветы Ленина”? Что выиграло от “реформ”? В регион ныне завозят в огромных объёмах импортное продовольствие, напичканное “химией”. Страдают сотни тысяч людей, приобретая тяжелейшие заболевания. В магазинах всё красиво упаковано. Но кто читает этикетки о составе того или иного продукта? Жульё делает большие деньги на импорте продовольствия. Что им здоровье нации?

С высокого крутояра в Городищах я с грустью смотрел на заросшие берёзками окрестные поля. На другой стороне Тавды виднелось село Кошуки. Там одинокий фермер ещё пытается что-то сеять. Подумалось: “Любая птаха знает, зачем она вьёт гнездо. Тут сама природа руководит. Гнездо необходимо ей, чтобы отложить яйца, высидеть птенцов, вскормить их и пустить в самостоятельный полёт. Так идёт от сотворения мира”. Почему же люди-то не берегут родовые гнёзда?

Похоже, в русском крестьянине изрядно подточена вековая мотивация труда: работать на земле ради продолжения рода. Сможем ли мы изменить ситуацию? Трудно сказать.

Под вечер Василий Чиянов привёз меня к своей бабушке Марии Семёновне Колмаковой. Ей под девяносто лет, но подвижна, энергична, многое помнит. До ухода на пенсию работала директором конторы “Заготзерно”. В Тавде у неё свой дом с тремя печками. Под боком – огородик с картошкой, огурцами, капустой. На жизнь не жалуется, хотя здоровье подводит: плохо стала видеть. Начала вспоминать:

– Папаня мой, Семён Павлович, был тоже директором “Заготзерна”, но только в Алапаевске. Родом мы из деревни Кабаково Останинского сельсовета. Мама, Екатерина Семёновна, была дохозяйкой. Нас у родителей было трое. Все девочки. Жили в любви и согласии. Беда пришла в тридцать

седьмом году. Отца неожиданно арестовали. Из Алапаевска отгрузили в Пермь несколько вагонов зерна, предназначавшегося для отправки пароходом в Астрахань. Хлеб разгрузили на Камской пристани и долго продержали в бурте. А конец лета выдался жарким – в зерне завелись клещи. Сочли за вредительство. Больше года продержали отца в Свердловской тюрьме. Всё это время на нас смотрели, как на врагов народа. Помню, пошли с меньшей сестрой Раей в школу. Поднимаемся по лестнице на второй этаж – вдруг налетают ребята-одноклассники и давай бить тяжёлыми холщовыми сумками, крича: “Враги идут! Враги идут!” Никто не вступился. С плачем кинулись домой. Рассказали обо всём маме. Та – в слёзы. Подхватила обеих за руки и потащила опять в школу. Мы вырываемся, валимся на землю, подняли рёв. Навстречу сосед-старичок. Остановился и долго говорил о чём-то с мамой. Она вытерла краем платка слёзы, и мы пошли назад.

На следующий день на базаре отыскали кого-то из кабаковских крестьян и попросили рассказать о нашем горе дедушке Павлу Ивановичу и бабушке Харитине Григорьевне. Те сходили к председателю колхоза Панову. Он послал в город две подводы. Погрузили пожитки, привязали к одной из телег корову, заколотили досками избу – и тронулись в путь. От Алапаевска до Кабаково – двадцать вёрст. Добрались благополучно! Остановились у деда. В деревенской школе уже никто нас не обижал. Приняли, как родных.

– А что было с отцом?

– В тридцать девятом году привезли в Алапаевск на суд. В итоге – освободили по чистой, сняв надуманные обвинения. Но здоровье-таки он в тюрьме потерял – не мог даже ходить. Сел верхом на лошадь, и мама под уздцы вела кобылу до самой деревни. В “Заготзерно” работать уже не пошёл. По-настоящему, обида давила... Пожил недолго: в июле сорок первого умер от инфаркта. Ему было всего-то тридцать три годочка. Человека искалечили ни за что...

– Вы-то как оказались в Тавде?

Мария Семёновна скрестила на груди руки и продолжала:

– Надо было зарабатывать деньги на жизнь. Куда устроиться? Где знали. В четырнадцать лет таскала на себе тяжёлые мешки. Помню, в войну пришёл из Китая вагон риса. Послали разгружать. В каждом мешке – семьдесят килограммов. Мужики хохочут: “Поднимешь?” – “Кладите на спину”, – отвечаю. И понесла. Может, через те тяжести долго не могла родить. Вскоре послали в Омск на курсы лаборантов. Оттуда попала в Тавду. Вышла замуж за слесаря “Заготзерна”. Фамилию оставила отцовскую. В пятьдесят четвёртом родила сына Владимира. К тому времени набралась опыта. Назначили заместителем директора. Стали агитировать в партию. А я боюсь: вдруг узнают, что отец сидел в тюрьме? Рассказала об этом первому секретарю горкома Ивану Григорьевичу Потанину. Сделали запрос в НКВД. Через месяц получили ответ: “Колмаков Семён Павлович в списках осуждённых не значится”. Словно гири сняли с сердца! Воспрянула духом. Много ездила по округе. Первая командировка была в Герасимовку – в колхоз имени Павлика Морозова. До Городищ добралась по реке на катере. Там встретил пожилой колхозник-возница, приехавший на лошади. Тронулись в путь. Телегу из жердей трясёт на ухабах – невозможно сидеть. Слезла и пошла пеши. Пять часов ушло на дорогу. Вся одежда в грязи. Хозяйка, к которой определили на постой, истопила баню, дала чистое бельё. После парилки почувствовала себя человеком. Заснула глубоким сном. А утром в семь часов уже была в правлении колхоза. Вместе с председателем побывала на току, проверила качество зерна, квитанции хлебосдачи, съездила в соседние деревеньки. Поездкой осталась довольна.

Таких командировок у меня было много. По правому берегу Тавды распахивали земли украинцы, башкиры. Жили в землянках, без электричества. В Таборах население преимущественно состояло из белорусов. Глушь! Там у нас склады, где принимали у хозяйств зерно. Вывозили его по Тавде стонными баржами. Бывало, мужики шутили: “На Урале – три дыры: Сосьва, Гари, Таборы, а четвёртая дыра – Слобода Тура”. Тем не менее, люди не унывали: сенокос – с песнями, жатва – с песнями. Во всех глубинных районах было по десятку колхозов. Увы, – ныне загубленных. В целом через “Заготзерно” в Тавде ежегодно проходило по 100–130 тысяч тонн хлеба. Такими вот ворочали объёмами! С восемьдесят шестого года я ушла на пенсию, но душа по-прежнему болит за деревню, за крестьян...

Тревога ветерана понятна. Если в 1959 году население Тавдинского района составляло 24,2 тысячи человек, то ныне – всего 8 тысяч. Самой Тавды соответственно – 48 тысяч и 38 тысяч человек. Также и в ряде других мест. Скажем, в Алапаевском районе сельское население сократилось с 74 до 36 тысяч, в Серовском – с 55 до 23 тысяч, в Тугулымском – с 47 до 24 тысяч, в Туринском – с 56 до 29 тысяч, в Шалинском – с 52 до 25 тысяч, в Ачитском – с 30 до 17 тысяч, в Гаринском – с 28 до 7 тысяч, в Таборинском – с 21 до 4 тысяч человек. Нетрудно догадаться, что ожидает эти территории в будущем.

...Напоследок побывал я в деревне Увал, где остался единственный в Тавдинском районе сельскохозяйственный кооператив – СПК “Урал”. Это на границе с Тюменской областью. Раньше тут был колхоз имени Кирова, которым руководил бережливый хозяин Владимир Богданов. С его уходом хозяйство захирело. Вовсе бы развалилось, если бы бразды правления не взял в руки Александр Быков – бывший председательский шофёр. Собрал молодых механизаторов, доярок, скотников, привели в порядок машинный двор, животноводческую ферму. Засевают сейчас зерновыми более тысячи гектаров. В хозяйстве двести коров плюс молодняк.

Приехал я без предупреждения и Быкова на месте не застал, но в гараже встретил механика Владимира Владимировича Титуса. Проехались с ним по полям. Ведя машину, он рассказывал:

– Нынче отвели под ячмень двести тридцать гектаров. Чуть поменьше пшеницы и овса. Сорок гектаров под горохом. На восьмидесяти гектарах рожь – на “зелёнку”. Сейчас заняты заготовкой кормов. Мешают частые дожди.

– Какие виды на урожай? – полюбопытствовал я.

– Будут средние намолоты. Зерно в основном на фураж. Комбикорм-то покупать накладно...

Заехали на ферму в деревне Шабалино. Чистота, порядок, ухоженные коровы.

Титус продолжал:

– Надои тоже пока скромные: четыре тысячи литров на корову. Думаем существенно повысить продуктивность. Да и стадо увеличить.

– Куда сдаёте молоко?

– На приёмный пункт Ирбитского молокозавода, что в селе Кошуки. Там холодильная камера, лаборатория. Нет необходимости гонять машину за тридевять земель.

– Цена устраивает?

Собеседник поморщился:

– Молоко в десять раз дешевле минералки. Разве это дело? Дурят крестьян, как хотят. Нам просто деваться некуда. Продукцию отдаём, поскольку нужные “живые” деньги...

На вокзале в Тавде меня провожал местный писатель Валерий Николаевич Ермолаев. Подарил свою книгу “Тавдинский краеведческий словарь”. Прочитал я её и подумал: “А ведь не надо выдумывать ничего нового, чтобы возродить полнокровную жизнь на этой древней земле, стоит только опереться на опыт сметливых предков и поверить в собственные силы”.

БОРИС КУРКИН

ТОЖЕ ПОБЕДИТЕЛИ-2

“Резистанс” или “Сопrotивление”

Кто не слышал о французском Сопrotивлении и “маки” в неизменных беретах, спускающихся с гор и наводящих ужас на гитлеровцев?

Все слышали.

Кто не смотрел фильм Р. Клемана “Битва на рельсах” об отважных французских подпольщиках?

Все смотрели.

Однако в памяти оставались всё больше весёлые комедии на тему “Резистанса”. Например, “Бабетта идёт на войну” с Бриджитт Бардо или “Весёлая прогулка” с великими комиками Луи де Фюнесом и А. Бурвилем, в которых просто зашкаливала степень несерьёзности и откровенного шутовства при подаче темы войны и оккупации.

Помните? В начале Второй мировой наивная молоденькая девушка Бабетта устраивается на работу в бордель. Однако тот в полном составе эвакуируется от наступающих немцев на экскурсионном катере. По стечению многих обстоятельств Бабетта оказывается в Англии и попадает на работу в штаб британской разведки, а потом и во вражеский тыл. Как говорила одна из героинь фильма, “если им (немцам) и удастся положить нашу родину на лопатки, то не бесплатно!”

Согласитесь, снимать комедию о войне может лишь тот, для кого война — комедия. А если комедии о войне ставятся на поток, то это говорит о многом. Не случайно отечественное кино не ведало феномена комедии о войне: такой фильм мог восприниматься в России не иначе, как глумление.

А кто не слушал замечательные песни об отважных маки?

Все слушали.

Так рождаются романтические легенды, поддерживаемые всей мощью пропагандистской машины. И советская пропаганда в том ряду не была исключением. С той лишь поправкой, что она прославляла французских коммунистов — авангард Сопrotивления. Авангардом они и были. Только вот значением своим в глазах современников и последующих поколений французское Сопrotивление обязано не столько собственно героическим маки, сколько литературе и искусству.

Прав был Пушкин: “Мы ленивы и не любопытны”. Иначе бы мы, к удивлению своему, узнали, что первый немец был убит во Франции лишь в 1942 году. Да и то не известно кем.

Окончание. Начало в №6 за 2014 год.

Скажем прямо: англичане, которым позарез нужны были, в первую голову, глаза и уши, а также немного диверсий, прилагали титанические усилия, чтобы создать во Франции хоть какое-то движение сопротивления. Оттого-то и засылали они во Францию (в основном, по воздуху) свои диверсионные группы – детища британской разведки, возвращавшиеся потом на Альбион.

А для настоящего Сопротивления нужны те, у кого есть желание сопротивляться, но их-то как раз и не было или, скажем мягче, остро не хватало, ибо немцы французов особо не раздражали. Раздражать они их стали к концу войны, когда обострилась проблема с продовольствием. Однако трудности с обедом едва ли могут стать для горожанина причиной того, чтобы бросить всё и уйти в подполье или партизанить в горы при общей неясности международной обстановки. Эдак можно было бы всю оставшуюся жизнь пропартизанить и так ни до чего не допартизаниться.

А вот англичане, а впоследствии американцы французов раздражали. Раздражали своими бомбежками, особенно жителей Нормандии и Бретани. Ненавидимый же партизанами “бош”, напротив, давно уже никого не бомбил, был в меру учтив и за всё платил в твёрдой валюте.

Разумеется, с течением времени, а вернее, с изменением ситуации на советско-германском фронте наставало и просветление, как это случилось, например, с будущим президентом Франции Ф. Миттераном, плавно эволюционировавшим от ярого сторонника Петена до активного участника “Резистанса”, сиречь Сопротивления. Его пример – “другим наука” и хорошая иллюстрация того, как менялась в “чёрные годы оккупации” позиция французов, которых со временем стала весьма нервировать мутная политика Германии по отношению к Франции, поскольку оставалось совершенно неясным, какую роль отведёт ей рейх, частью которого она стала.

Считается, что партизанское движение во Франции возникло в 1941 году одновременно с началом войны против СССР, равно как и то, что организаторами его были коммунисты. Правду сказать, до тех пор, покуда между Германией и Советским Союзом существовал пакт о ненападении, французские коммунисты проявляли максимальную сдержанность, что, впрочем, не составляло им особого труда. Вскоре к партизанскому движению, получавшему новый стимул всякий раз, когда становились известными неудачи немецкой армии на фронте, примкнули и националисты. Росту партизанского движения сильно способствовало и недовольство, вызванное принудительным перемещением французских рабочих в Германию.

Едва возникнув как нечто единое, движение Сопротивления распалось на две большие группы, расколотые внутри борьбой за власть и нередко даже постреливавшие друг в друга. Это были основанная националистами *Organisation Resistance de l'Armee* и руководимое преимущественно коммунистами *Mouvements Unis de Resistance*, из которой затем возникли *Franctireurs, Travailleurs, et Partisans*. Тем не менее, на момент высадки десанта союзников в Нормандии обе эти партизанские группы были объединены в одну организацию *Forces Francaises de l'interieur*.

Ещё не дождавшись ухода немцев, члены этой организации и их добровольные помощники принялись наводить свой порядок и судить тех, кто сотрудничал с оккупантами. Но поскольку судить пришлось бы в таком случае всех, то ограничились самыми слабыми и беззащитными. Ими оказались в подавляющем большинстве своём французские женщины. Их брили наголо, мазали дёгтем и выставляли в исподнем на позор.

Весьма показательно, что поношению они подвергались не за принадлежность к своему профессиональному цеху, а за то, что клиентами их были немцы, хотя профессия дам изначально предполагала обслуживание клиентов вне зависимости от их национальной принадлежности и рода деятельности. И теперь французские мужчины сладострастно отыгрывались на несчастных женщинах, которых сами же не смогли защитить. Не исключено, что новоявленные “палачи нравов” тривиально вымещали свою досаду на то, что, ввиду отсутствия у них во время оккупации твёрдой валюты, они, в отличие от “бошей”, не могли пользоваться услугами выставленных на позор дам.

Не оставались в стороне и добропорядочные мадам, впавшие по тысяче разных причин в грех осуждения. В Париже толпа ловила и забивала насмерть проституток, поскольку “эти паршивки”, видите ли, продавали себя немцам за деньги! То, что Франция была фактически союзницей Германии, то, что

всю войну она, не покладая рук, работала на Германию и кормила Германию, получая за это деньги, оставалось “за рамками дискурса”.

Между прочим, коммунисты пытались как-то прекратить эту вакханалию, но их энергично стал окорачивать де Голль, привезённый во Францию именно для того, чтобы противостоять послевоенной “коммунистической угрозе”. Как верно подмечает современный исследователь, “Сопrotивление” активно выдавливалось из всех самоорганизующихся местных органов власти, и де Голль, изначально позиционировавший себя как “французский националист”, считал, очевидно, что коллективную вину лучше всего канализировать на кого-то другого, и в роли этого другого естественнейшим образом оказались самые слабые члены общества”. (Дверь в стене – 79. <http://alexandrov-g.livejournal.com/245725.html>).

Не минула чаша сия и вернувшихся из немецкого плена солдат и офицеров. “Самоосвободившиеся” французы и француженки глядели на них с едва скрываемым презрением. В данном случае их позиция была куда более понятной и оправданной: ведь им, в отличие о путан и легкомысленных дам, было доверено оружие.

Одним словом, тотчас же после “Великой Победы” наступило время сведения счётов. И участь павших была горька.

СССР и Виши

Советско-французские дипломатические отношения не прервались и после капитуляции. Прерывать их было не с руки обеим сторонам, кроме того, для этого не было формального повода, поскольку не возникал вопрос ни о признании Виши как государства, ни как правительства. В силу того, что изменения в государственном устройении Франции произошли с согласия Национального собрания, режим Виши автоматически становился правопреемником Третьей республики. Правительство Петена было признано 32 государствами. Для советского государства, придерживавшегося нейтралитета в разразившейся войне, установление отношений с Виши диктовалось массой практических соображений, а контакты с государством Виши, плотно сотрудничавшим с Германией, давали возможность получать информацию и о самом рейхе.

Деятельность советского полпредства распространялась как на “свободную зону” (территорию под управлением правительства Виши), так и на оккупированную германскими войсками территорию Франции. Безусловно, политическое и военное руководство СССР было заинтересовано в сборе информации, имевшей стратегический характер, включая вопросы причин военного поражения Франции, степени боеготовности войск вермахта и, по возможности, дальнейших намерений и планов германского командования. Можно предположить, что деятельность военного атташе комбрига И. А. Суслопарова была нацелена на выполнение именно этих задач.

Показательно, что штат советского полпредства во Франции увеличился с сентября 1940 года по июнь 1941-го вдвое. В докладе полпреда в НКВД от 5 декабря 1940 года отмечалось, что правительство Виши отказалось от антисоветского курса Даладьё и Рейно. “Теперь антисоветская политика перестала быть модой... сменился тон прессы. Разгром коммунистов и всякого рода гнусности в виде антисемитизма не мешают французским газетам сменить тон по отношению к СССР”.

Осторожная и взвешенная позиция Виши отчётливо проявилась во время вхождения республик Прибалтики в состав СССР летом 1940 года. Французский посол в Москве Э. Лабонн подтвердил получение советской ноты относительно “изменившегося международного положения” прибалтийских государств и заявил, что правительство Виши “принимает этот документ во внимание”. В то же время он осторожно добавил, что Франция имеет в прибалтийских странах определённые интересы, и выразил надежду на то, что “советское правительство примет меры по обеспечению этих интересов”.

В общем, “было всё очень просто, было всё очень мило...” В свою очередь, сотрудники НКВД из последних сил создавали видимость того, что советское руководство по-прежнему относится к Франции как к суверенному государству. Впрочем, для какого-либо активного протеста с далеко идущими практическими последствиями руки у Виши были слишком коротки.

Подала признаки жизни и торговля: в ноябре 40-го посольство Виши в Москве запросило информацию о возможности поставок из СССР (читаем внимательно!): соли, жиров, сухих овошей, сахара, зерна, угля, марганца, асбеста, некоторых продуктов химической промышленности, обещая предоставить в обмен колониальные товары. Помимо этого, французы поставили вопрос о возможности транзита через СССР французских товаров, а транзит — дело выгодное, ибо денежное.

Наконец, и вовсе любопытное: вишисты решились закупить в СССР 50 боевых самолётов и отправить их через Владивосток в Индокитай. Понадобились стальные птицы французам ввиду неожиданно открывшейся злопамятности Таиланда, обиженного полвека назад Францией, отобравшей у него исконные земли в Лаосе и Камбодже. Возможно, тайские генералы терпели бы обиду и дальше, если бы не японцы, выразившие поддержку справедливой борьбе тайского народа за свою территориальную целостность и попросившие брать с них пример. А он был впечатляющ: в сентябре 40-го правительство прямого потомка богини Аматарасу вежливо предложило правительству Виши заключить соглашение о размещении японских войск в Северном Индокитае, и галантные французы не смогли им в том отказать. Так что сигнал тайскими генералами был принят.

Война не приходит одна: уже в ноябре тайцы выставили французам свои резоны и, не дождавшись от французов нужных слов, перешли к делу. Так, едва успев закрыть Западный фронт, Франция — теперь уже в своём усечённом виде — принуждена была открыть фронт Восточный, и война пошла своим чередом. Всё было вполне серьёзно. В конфликте с обеих сторон приняло участие до 100 тысяч солдат, более 200 самолётов и 10 боевых кораблей. Оказалось, что у Таиланда есть вполне современные боевые самолёты, на которых они чуть позже начнут сбивать англичан, свои боевые корабли, построенные в Италии и Японии, и даже четыре подводные лодки.

В итоге победила дружба. Дружба между Таиландом и Японией, вынудившей вишистов уступить Таиланду Лаос и две провинции Камбоджи, что было закреплено в мирном договоре между Францией и Таиландом от 11 марта 1941 года.

А в следующем квартале — 23 июля — было уже подписано соглашение между Японией и Францией и об использовании японскими войсками военных баз в Южном Индокитае. Не успели высохнуть чернила на тексте договора, как Япония оккупировала Южный Индокитай, успешно повоював третьим государством — Таиландом — за свои интересы. А если учесть, что в Северном Индокитае японские военные базы размещались с сентября 40-го, то можно утверждать, что теперь уже весь Индокитай стал японским. И это стало лишним подтверждением правоты русской поговорки о том, что «на обиженных воду возят».

Войной с Таиландом дело не закончилось. В мае 1941 года французам вновь пришлось повоевать в Ливане и Сирии: на сей раз уже с англичанами и сторонниками де Голля, однако здесь их поджидал полный разгром.

Не получив ответа на свой запрос о закупке в СССР боевых самолётов, французы, проигравшие войну, помимо Германии, ещё и Таиланду, затаили на товарища Сталина глухую обиду. Обида прорвалась наружу 30 июня 1941 года, когда правительство Виши разорвало с СССР дипломатические отношения. Поводом для этого стали документы, свидетельствовавшие о том, что СССР якобы ведёт во Франции разведывательные операции.

Аутентичность этих документов не обсуждалась, однако ведение сотрудниками дипмиссии разведывательной деятельности на территории государства пребывания едва ли когда в истории становилось поводом для разрыва дипломатических отношений. Да и не ловлей же бабочек в Булонском лесу должен был заниматься военный атташе генерал И. А. Сулопаров! Ах, да, конечно, он должен был представлять Красную Армию в Виши. Ну, так он её и представлял!

Надобно сказать, что 22 июня полпред СССР А. Е. Богомолов нанёс визит маршалу Петену, а на следующий день — министру обороны генералу Хюнтцигеру, и обе встречи прошли в доброжелательной атмосфере. Настораживало, однако, то, что на пресс-конференции представителя генерального секретариата правительства Виши, состоявшейся 22 июня, было сделано заявление, которое при всём желании не могло быть расценено в качестве лояльного по отношению к СССР: «Часть французского общественного мне-

ния с удовлетворением встречает борьбу Германии против большевизма". Этот тезис стала активно развивать пресса, по мнению которой, Германия вела войну "за сокрушение большевизма, за освобождение всей Европы от большевистской опасности, защищая тем интересы Франции".

Войну СССР Виши вплоть до своего конца так *de jure* и не объявило; вместо этого в инициативном порядке стал формироваться так называемый "Антибольшевистский легион" – *Legion des Volontaires Francais contre le Bolchevisme* – *LVF*, в русской транскрипции – ЛФД. Стоит отметить, что сей легион создавался, можно сказать, и впрямь не столько "благодаря", сколько "вопреки" Петену и Гитлеру. И на то были свои веские основания. Петен решил лишь "не препятствовать" его созданию, здраво рассудив, что это могло бы стать поводом для объявления ему войны со стороны СССР с далеко идущими последствиями, однако вынужден был уступить напору "правых" вишистов "снизу".

Не был в восторге от этой идеи и Гитлер, согласившийся с созданием легиона, но лишь при соблюдении трёх условий: легион должен быть "частной", а не государственной инициативой (создание легиона должно идти "снизу", и "поддержка таких организаций со стороны французского правительства нежелательна"); его численность не должна превышать 10 000 человек; вишистское правительство не требует ничего взамен. Фюрер последовательно гнул свою линию, напоминая всем и всякому, что Франция побеждена Германией и что он не намерен "менять что бы то ни было в тактике обращения с французами, пока кампания на Востоке не будет закончена".

Его возмутила услужливо подложенная ему записка в какой-то "бесстыдной газете правительста Виши", в которой объявлялось, что "война против Советского Союза является войной Европы; поэтому она-де должна вестись для Европы в целом. Очевидно, газета Виши хотела этим сказать, что воспользоваться плодами победы в этой войне должны будут не только немцы, но и все европейские государства".

Понятное дело, что покуда дела на фронтах в России шли весьма неплохо, находилось масса желающих "примазаться к славе" Германии, и фюрера подобная наглость не могла не бесить.

Инициаторами рекламной акции "Легион" выступили Жак Дорио (1898–1945) и Поль Марион (1899–1954), проделавшие энергичную эволюцию от убеждённых коммунистов (коминтерновцев) и интернационалистов до ещё более убеждённых фашистов ("коллорационистов") и националистов. При этом П. Марион был до 1929 года членом ЦК компартии Франции, а Ж. Дорио даже соперничал с М. Торезом в борьбе за пост генсека ФКП.

С целью поддержания высокого боевого духа своих "крестonosцев" Дорио регулярно выезжает на фронт, на котором проводит, начиная с 1943 года, 18 месяцев. О рвении "вдохновителя и организатора" легиона прознал сам фюрер и пожаловал Дорио Железным Крестом.

П. Марион вошёл в качестве министра в правительство Виши, а чуть позже занял пост главы французских "Ваффен СС". И хотя оба "бывших" друг друга, мягко говоря, недолюбливали, однако общее дело делали сообща.

8 июля в Париже открылся первый пункт по набору добровольцев. По иронии судьбы, прежде это здание принадлежало советскому агентству "Интурист". Следует сказать, что потенциальных "интуристов" ожидали в России не расходы, а, напротив, очень высокие доходы, что не могло не служить для желающих прокатиться туда по "бесплатной путёвке" реальным стимулом. Зато не дремала медкомиссия, предъявлявшая к здоровью желающих быть зачисленными в легион совершенно немыслимые по всем прежним меркам требования. Не исключено, что она держала в уме директиву фюрера относительно максимальной численности легиона и страховала себя от "перевыполнения плана".

Относительно общего числа легионеров в кругу историков не сложилось единого мнения, однако с достаточной уверенностью можно говорить о 6,5 тыс. человек, причём более половины из них находились на Восточном фронте. Даже если принять общую цифру 7000 человек, которая порой встречается в литературе, то и тогда количество набранных легионеров серьёзным образом не дотягивало до планировавшегося.

Кто были эти французские "интуристы"?

Через шесть лет в обвинительном заключении трибунала по рассмотрению дел фашистских лидеров режима Виши участники легиона были охарактеризованы как "продажные элементы и деклассированные лица, не способные к какой бы то ни было нормальной социальной жизни".

Такой приговор легионерам был сродни самооправданию. Дотошные историки выяснили, что около 60% легионеров были в основном люди рабочих профессий, а также мелкие клерки и работники небольших фирм и офисов. Одним словом, то был пролетариат и очень мелкая – мельче не бывает! – буржуазия. (См.: Бэйда О. И. Французский легион на службе Гитлеру. 1941–1944 годы. М., “Вече”, 2013).

Остальные 40% принадлежали, судя по всему, к числу тех, кого на Руси советской называли не без доли иронии “идейными” (простим же себе недостаточную научную корректность подобной классификации!).

Один из самых известных легионеров, Пьер Ростэн, так обосновывал своё вступление в легион: “Я француз. Я антикоммунист. Я солдат. Я отвечаю на призыв маршала Петена к защите Франции”. Оказался среди “идейных” и лейтенант Фредерик Помпиду, родной дядя будущего президента Франции Жоржа Помпиду (1969–1974). Что тут скажешь? Франция – страна маленькая, все друг друга, можно сказать, знают, так что ничего нет удивительного в том, что среди легионеров сплошь и рядом объявлялись близкие родственники высокопоставленных и высокоуважаемых персон.

Попадались среди легионеров и субъекты с несколько иной, более приземленной мотивацией. Так, командир I батальона майор Жан Ксавье Симони присёл в 1943 году, что большая часть бойцов его батальона рассматривает своё пребывание в России как возможность питаться лучше, чем во Франции, и иногда расслабляться в обществе женщин и пить водку.

Встречались среди французских прислужников фюрера и наши бывшие соотечественники: в ЛФД служило несколько десятков белоэмигрантов и даже их детей. Так, знаменосцем легиона стал земляк товарища Сталина, бывший грузинский князь (а может, и не князь, хотя кто в Грузии не князь?) уроженец г. Гори Константин Амилахвари. Любопытно, что его родной брат – Дмитрий Амилахвари – служил у де Голля, не раз помянувшего его в своих мемуарах. Оба брата служили прежде в Иностранном легионе, и оба заслужили награды. Константин – Железный Крест от фюрера, а Дмитрий – орден Почётного легиона от де Голля. И оба погибли. Константин – в результате обморожения в России, а Дмитрий – от немецкой пули в Африке. Попадались в легионе и украинцы. Да кого там только не было, включая нашего брата-русака, был даже армянин – 15-летний “сын полка”!

*Все промелькнули перед нами,
Все побывали тут...*

И это лишь подчёркивало справедливость тезиса о том, что “француз”, равно как и “немец”, – понятие собирательное.

Война – дело многоплановое. Многоплановое настолько, что даже трудно себе вообразить. Вот, например, такая, на первый взгляд, “мелочь”: в чём идти воевать?

А ведь вопрос об униформе идущего на войну оказывается на поверку не менее важен, нежели тот, который ежедневно задаёт себе любая дама: “Что надеть?”

Первоначально планировалось, что воевать французские легионеры пойдут в униформе “от Петена”, однако Гитлер сам был изрядный кутюрье и предложил своё изделие – униформу вермахта: знаменитое “фельдграу” (“полевое серое”).

В парижских листовках легионерам обещали, что они будут сражаться во всём французском, хотя и с германскими знаками различия*. Однако тендер на поставку готового платья большими партиями и в стандартных размерах (“прет-а-порте” – фр. prêt-à-porter) выиграл всё же Гитлер, пойдя, впрочем, на определённый компромисс со своим конкурентом Петеном в части “выпу-

* Этот проект предложил 15 июля полковник Г. Шпайдель, начальник штаба оккупационных войск во Франции, которого позднее стали подозревать в сговоре с высидившимися в Нормандии союзниками. Отвлекаясь в сторону, добавим, что благодаря ему, Шпайделю, основные части вермахта безучастно наблюдали, как англичане и американцы тучами высаживаются на песчаных пляжах, а слабые береговые части вермахта ведут с ними неравный бой, тщетно зывая о подкреплении и поддержке огнём. Последующая бурная карьера генерала Шпайделя в структурах НАТО лишь усугубила эти подозрения.

шек и петличек”. Французам было милостиво дозволено обозначать свою национальную принадлежность нашивкой на правом рукаве, с изображением триколора и надписью “France” сверху. Было сделано и ещё одно послабление: во время отпуска во Франции волонтёры могли носить униформу ЛФД цвета хаки, сделанную по образцу униформы французской армии.

Кроме того, служебную документацию разрешено было вести на французском языке, на нём же отдавались приказы: *милость фюрера к павшим* была воистину неизреченна.

Петену не оставалось ничего другого, как утешать себя русской поговоркой: “Что Бог ни делает, всё к лучшему!” Дразнить товарища Сталина показом французской высокой моды – “от кутюр” – Haute couture – на русских просторах и впрямь не стоило, ибо дефилировать в ней по русскому подиуму, ставшему театром военных действий, было бы равнозначно объявлению войны России. Однако горечь от проигранного Гитлеру тендера у Петена осталась, и он ещё долго сожалел о том, что немцы не взяли на вооружение его разработки, что позволило бы преодолеть сдержанное отношение общественности к легиону, *“собиравшемуся воевать против несомненного врага европейской цивилизации”*.

В результате пропагандистскую машину Виши развернули на 180 градусов, и бойкие независимые перья стали убеждать читающую публику в том, что, *“давая французам надеть униформу своей победоносной армии, фюрер рейха тем самым автоматически перестал рассматривать этих людей как поверженных врагов”*. Озвучивали и ещё один резон: если бы легионерам довелось, паче чаяния, столкнуться на поле боя с французами, воюющими в составе британской армии (“голлистами”), то в таком случае могла возникнуть изрядная путаница, а посему и обмундировали легионеров не так, как было обещано прежде. Охотников задать классический вопрос: “А куда же вы глядели раньше?” – или: “А как решалась аналогичная проблема в Ливане и Сирии?”, – правда, не сыскалось.

К слову сказать, бойкие перья как в воду глядели, и маскарад с переодеванием прямо на подиуме имел порой свои последствия. История не раз фиксировала неожиданные встречи французов-соотечественников, среди которых одни служили у де Голля и щеголяли туалетами от Рузвельта, другие – в вермахте и носили шмотки от фюрера. Суть разговоров, случавшихся в зоне ответственности “моделей де Голля – Рузвельта”, свелась к следующему:

– Что же вы, гады, форму бошей надели и своих же братьев живём спалили?

– А вы, сволочи, на вашу американскую форму взгляните!

Возразить уязвленным французам, предпочитавшим одежду от Рузвельта, было нечего, и они пускали любителей прет-а-порте от Гитлера в распыл.

Небезынтересно и мнение самих моделей, решившихся выйти на русский подиум. Разумеется, им втолковывалось, что ношение германской униформы является *“символом верного, безоговорочного примирения между Францией и Германией”*.

В официальном отчёте ЛФД утверждалось, что якобы многие легионеры писали в письмах домой, что они *“горды носить германскую униформу”*. Там же отмечено, что отказ от ношения германской униформы грозил заключением сроком от 5 до 15 лет. Несмотря на это, 17 октября в Версаль отправился поезд под командованием капитана Романовски, на котором уехало 60 “отказников”, из которых 8 были офицерами. Причины их отказа от службы были разными, в том числе и нелюбовь к изделиям высокой моды от фюрера.

Присяга

5 октября в 10 часов утра первые два батальона принесли присягу Адольфу Гитлеру, правда, не как рейхсканцлеру, а как “главнокомандующему вермахта”. Немцы терпеливо разясняли и успокаивали французов тем, что это всего лишь обычная военная процедура и что присягают они не на всю оставшуюся жизнь, а всего лишь на время операций. Митинг, плавно перетекший в двойное – католическое и протестантское – богослужение, открыл Дорио, а завершил его выкриком *“Хайль Гитлер!”* капеллан легиона. История сохранила текст этой присяги: “Я клянусь перед Богом беспрекословно подчиняться главе гер-

манских и союзных армий, Адольфу Гитлеру, в борьбе против большевизма и готов в любое время как храбрый солдат пожертвовать своей жизнью”.

После богослужения выступил командир полка полковник Р. Лабонн, бывший военный атташе Франции в Турции. По ходу речи полковник не удержался и впал в патетику, объявив своих подчинённых наследниками “самого” Готфрида Бульонского – одного из “организаторов и вдохновителей” первого Крестового похода (1096–1099). Он особенно подчеркнул “азиатскую” и “звериную” сущность РККА, а Сталина назвал “Атиллой, бичом Господним”.

Полковник был учён и пылок. По всему выходило, что стольный град Москва есть аналог священного града Иерусалима, а Россия – Святой земли. А называть товарища Сталина “бичом Божиим” было и вовсе двусмысленно. Одним словом, накаркал полковник на свою голову. И на прочие головы тоже. 4 ноября 1941 года Фёдор фон Бок запишет в своем “Дневнике”: *“Сегодня вечером со мной обедали командир Французского добровольческого пехотного полка и его адъютант. Полковник – пожилой человек, объездивший полмира. При всём том великим авантюристом или великим путешественником его не назовёшь. Скорее это великий идеалист. Его адъютант – офицер резерва, профессиональный политик в прошлом”* (Бок Ф. фон. “Я стоял у ворот Москвы”. Дневник командующего группой армий “Центр”. М., 2009).

Думается, называть профессионального военного разведчика “великим идеалистом” означало весьма невысоко оценивать его способности.

Ознакомившись с текстом присяги, кое-кто почувствовал себя преданным и отказался приносить её. Строптивцев избили и отправили в тюрьму. Выжили из их числа далеко не все.

А фюрер, по-видимому, уже начал жалеть о том, что дал санкцию на формирование легиона. Главное командование сухопутных войск проинформировало группу армий “Центр” о том, что не стоит ждать скорой переброски ЛФД на фронт: *“Фюрер желает, чтобы по вопросу легиона была занята выжидательная позиция, по политическим причинам”*. Проще говоря, было решено “тянуть время”.

В конце концов, легион получил обозначение 638-го французского гренадёрского полка и был отправлен на Восточный фронт. Французы двинулись на Москву почти той же дорогой, что и их прадеды 129 лет назад, с той лишь разницей, что в 1812 году немцы были в рядах французской армии, а в 1941 году французы плелись на Восток в составе немецкой.

“Маршируй или сдохни”

Сей девиз Иностранного легиона красовался на шинелях “неокрестоносцев”, личным примером доказавших, что маршировать и подышать можно одновременно. Скажем сразу: основные потери легиона были небоевыми, но оттого не менее тяжёлыми.

Прибыв в Смоленск в конце октября 1941 года, легионеры двинулись на Вязьму, а оттуда на Москву по той же старой Смоленской дороге, по которой 129 лет назад прошли их несчастные пращуры. Дело не заладилось сразу же. И виной тому был поначалу не жуткий “генерал Мороз”, а не менее жестокая “полковничиха Распутица”.

Дорога превращалась в месиво из снега, грязи и льда. Лошади падали, пушки застревали в грязи, люди, измученные болезнями и вшами, отставали и терялись. По дороге на Вязьму было брошено на дороге 27 человек. 22 бойца были всё же обнаружены возвращавшимися из Вязьмы немцами в плачевном состоянии, после чего их отправили в Париж, *демообилизовали и вернули по домам*. Пять трупов было найдено позднее. Ещё пятеро пропали без вести, их трупы нашли на дороге между Вязьмой и Смоленском; они умерли от усталости и голода.

Вдобавок легионеров начала косить дизентерия, и тут уж становилось не до маршей. Болезнь за несколько дней охватила до трети личного состава. Надо же было такому случиться, что вспышка её пришлась на 7 ноября, на тот самый день, когда советская страна отмечала 24-ю годовщину Великой Октябрьской социалистической революции, итоги которой легионеры вызвались ликвидировать. Могло показаться, что большевистские боги откровенно издевались над “фельдфебелями в вольтерах”.

Случались истории и вовсе загадочные: сержант и ветеран гражданской войны в Испании – вольной волею или нехотя – всадил в себя из своего пулемёта разом 32 пули; взвод, решивший погреться в русской избе, устроил пожар и потерял в результате всё своё оружие и снаряжение. Наконец, явился и сам “генерал Мороз”, подвергший страдавшего диареей “брата мусью” сущим пыткам.

За время марша из Смоленска в Вязьму из строя выбыло (потерялись, отстали, заболели, пропали без вести, дезертировали и т. д.) примерно 400 (!) бойцов. Многие стали калеками.

По дороге на войну полк нагнало приветственное слово Петена: “Зная, что вы в скором времени вступите в сражение, я с гордостью осознаю, что вы понесёте с собой сквозь огонь войны частицу французской славы... Приняв участие в этом крестовом походе, возглавляемом Германией, вы, помогая отразить угрозу человечеству, которую несёт с собой большевизм, заслужите тем самым благодарность людей всего мира. Помните, что в этой войне вы защищаете свою землю, одновременно давая надежду всем народам Европы на взаимное примирение в будущем...”

Свою оценку части дал фон Бок – командующий группой армии “Центр”: “... в отличие от кадровых частей, подразделениям Французского добровольческого легиона не хватает дисциплины, и в нём царит дух этойкой разгульной военной вольницы”. 638-й французский гренадёрский полк являл собой некое подобие цыганского табора (Бок Ф. фон. “Я стоял у ворот Москвы”. Дневник командующего группой армий “Центр”. М., 2009. С. 222, 224).

В результате французский полк решено было усилить “военспецами” вермахта, дабы сёй “цыганский табор” не позорил немецкий мундир.

До передовой французы добрались лишь 24 ноября. Да и дошёл всего один из двух батальонов, из которых состоял 638-й полк. Второй застрял где-то по дороге, и его решено было использовать в качестве дивизионного резерва – подальше от греха. Простояли на позициях французы всего ничего – до 6 декабря, когда началось наступление Красной Армии под Москвой. Серьёзное дело было лишь одно, и закончилось оно для французских туристов весьма скверно: на жестоком морозе даже лёгкое ранение грозит гибелью, а раненых было немало.

6 декабря немецкое командование отдало приказ *сворачивать удочки*, и французы, так и не познавшие *упоения в бою*, двинулись уже знакомой дорогой в обратный путь. Теперь уже трудно сказать, препятствовал им на марше “генерал Мороз” или же, наоборот, подстёгивал “шагать веселей”.

Фотографии, хранящиеся нынче в Бундесархиве, рассказывают нам об “этапах большого пути” несчастного Французского легиона.

*Увы, не нашлось у французов своего летописца, каковым объявил себя в 91-м пехотном полку “им. Бравого солдата Швейка” вольноопределяющийся Марек. Зато уцелели фотографии Бундесархива, позволяющие почувствовать атмосферу французского **турпохода** на Россию.*

Вот высовываются из окон вагона молодые счастливые парни. На вагоне надпись: “Да здравствует Французский легион! Хайль Гитлер! Да здравствует Франция!” Не исключено, что на ней запечатлён и 18-летний “интурист-доброволец” Максимилиан де Сантер, объяснявший свой выбор так: “... в легион меня привела жажда приключений и острых ощущений. Больше всего я страдал от того, что, пока весь мир пылал, в нашем городе не раздалось ни одного – даже самого малокалиберного – выстрела. Наша провинция жила своей жизнью, как и сотни лет до этого, и это сводило меня с ума. Я хотел повидать мир, иных людей, иные обычаи, хотел познать жизнь, со всеми её сложностями, такой, какая она есть, и не такой, какой её показывают в фильмах”.

Скучно жить на этом свете, господи!

А на этом фото сменивший фон Бока генерал-фельдмаршал фон Клюге по прозвищу “Умный Ганс” напутствует своим проникновенным словом личный состав немецко-франко-немецкой части. На легионеров, кстати, главком наткнулся случайно во время инспекции 7-й дивизии.

Вот знаменосец ЛФД в немецкой каске, сильно смахивающий на Луи де Фюнеса. Уж не бывший ли это князь Амилахвари?

А этот доброволец уже не первой свежести... Так и хочется спросить его: “Дедушка! Ты куда? Может, тебе ещё и “щиколат” в постель? Не подадут у нас в деревне горячего щиколата! Даже в студёную зимнюю пору”.

Гордо реет перед сельсоветом знамя Великой французской смуты – зримый образ “сумерек Просвещения”.

Вот рядовой “вольтер” (явно из санкулотов) держит под уздцы конфискованную у пейзажиста сивку-бурку. В зубах у него сигарка, на лбу вместо картуза – каска.

А этот красавчик – вылитый Жерар Филипп в снятой с русского мужика шапке-ушанке. Уши завязаны. Ни дать ни взять, “Фанфан-Тюльпан. Зимняя коллекция”.

Знать бы им, что конечной станцией для многих из них станет не Москва, а Тамбов... Но Тамбовское сидение случится потом.

Весной 1942 легион сняли с фронта и отвели на переформирование. В результате из него повыгоняли негров и арабов, а также тех европеоидов, для которых бремя белого человека оказалось непосильной ношей. После этого легион снова отправили в тыл. Правда, не во Францию, на курорт, а в Белоруссию, на борьбу с партизанами. Немцы рассудили, что опыт работы французско-колонизаторов с инсургентами в Азии и Африке (среди легионеров попадались солдаты и офицеры колониальных войск) поможет им найти управу и на русских туземцев. Но поскольку партизанили на Руси Белой не только старухи Василисы и мужики с рогатинами, но ещё и кадровые сотрудники спецподразделений НКВД, то франко-русский диалог с самого начала не задался. А после того, как летом 1944-го Красная Армия перешла в очередное наступление, и вовсе вышел конфуз: тыл и фронт поменялись местами, и невезучих шаромыжников, измученных русских коварством и тяжёлыми потерями, пришлось вновь отправлять в тыл. На сей раз уже в Германию. Переформирование обернулось расформированием, а то, что осталось от легиона после очередного “укрепления кадров”, вошло в состав созданной по случаю французской бригады войск СС численностью более 7 тыс. человек.

Сохранилось фотография одного из французских добровольцев, записавшихся в Ваффен-СС. Он очень похож на Ива Монтана. Вот он стоит, улыбающийся, в окружении своих приятелей, с походным чемоданом над головой. На чемодане надпись: “Хайль Гитлер! Французские войска СС”. Для него перед отправкой в Россию сплели с душой и Эдит Пиаф, и Морис Шевалье. Фото датировано октябрём 1943 года.

То ли парень был и впрямь “идейный”, то ли даже в конце 1943 года он не научился “просчитывать варианты”, а может, и то, и другое одновременно. Кстати, набор французов в войсковые соединения СС начался ещё осенью 41-го.

Кстати, разбитая в СССР и выведенная на пополнение во Францию дивизия СС “Дас Райх”, в состав которой входили французы из Эльзаса и Лотарингии, отметилась прогремевшим на весь мир преступлением – уничтожением французского городка Орадур. 14 эльзас-латарингцев, участвовавших в нём, судили открытым судом в Бордо в феврале 1953 года. Суд вызвал напряжение и волнения в Эльзасе. 9 мобилизованных в “Дас Райх” были приговорены к срокам от 5 до 12 лет каторги, 4 – к 5–8 годам тюремного заключения, а один, добровольно вступивший в СС, к смертной казни. Напряжённость в германоязычном Эльзасе способствовала тому, что в том же 1953 году французский парламент большинством голосов принял амнистию применительно ко всем французам, служившим в СС и вермахте. Осуждённые за зверства в Орадуре были амнистированы в том же году, что вызвало волнения уже в Лимузене, где находится Орадур.

В феврале 1945 года французская бригада войск СС была переименована в 33-ю гренадёрскую дивизию войск СС “Шарлемань” – “Карл Великий” – и отправлена в Померанию воевать с Красной Армией. Через месяц она была практически полностью уничтожена. Остатки её (около 700 человек) в конце апреля 1945-го воевали в Берлине, в том числе и на подступах к рейхсканцелярии. Наши бойцы вежливо спрашивали пленных французов, какого лешего их понесло защищать фюрера, однако какого-либо вразумительного ответа на свой вопрос так и не дождалось. Не исключено, что кто-то из французов порывался рассказать о предках-крестоносцах и об Атилле-Сталине, но вовремя раскинул мозгами и прикусил язык.

Конец легионеров

В войне против СССР погибло около **8 тысяч французов** (не считая призванных в вермахт эльзасцев). 3 француза были награждены немецкими Рыцарскими Крестами.

В день Красной Армии – 23 февраля 1945 года – машину, в которой ехал Дорио, обстрелял явившийся откуда ни возьмись самолёт и убил отважного легионера. Закопали французского германофила на кладбище в крошечном баварском городке Менген, надписав на могиле: “Эти люди ныне вместе лежат в могильном холоде бок о бок со своими немецкими товарищами, павшими в совместной битве, как символ воссоединения двух великих европейских народов”.

Если учесть, что символическое “воссоединение двух великих европейских народов”, до того веками люто враждовавших между собою, произошло “в могильном холоде” исключительно при попытке поделить шкуру и мясо русского медведя, то эпитафия обретает сразу несколько смыслов.

В 1961 году французские оккупационные части в Германии обнаружили могилу Дорио, которую по приказу французского коменданта лишили ухода, и та пришла в упадок. Она неоднократно осквернялась: в последний раз на неё просто вывалили кучу фекалий. Смерть же другого “крестоносца” – Мариона – была куда менее романтичной: после войны он был осуждён к 10 годам тюрьмы, но был досрочно освобождён в 1953 году, после чего тут же помер.

Тамбовские сидельцы

На всех фронтах Красной армией было взято в плен 23 тысячи военнослужащих вермахта французского происхождения – всего вдвое меньше, чем итальянцев. При этом следует учесть, что Италия относилась к так называемым “странам оси” и, в отличие от Франции, воевала с нами не только *de facto*, но и *de jure*, то есть официально. Историки сходятся во мнении, что к лету 1944 года в рядах вермахта и СС воевало примерно столько же французов, сколько сражалось в рядах Сопrotивления, масштабы которого были раздуты послевоенной пропагандой. Подсчитано также и то, что в рядах СС и вермахта французов погибло куда больше, чем в Сопrotивлении.

Правду сказать, большинство французов, попавших за колючую проволоку в лагере военнопленных под Тамбовом, были мобилизованные в вермахт “коренные жители” Эльзаса и Лотарингии, аннексированных Германией. В силу признания Советским Союзом аннексии Эльзаса и Лотарингии Германией, французы этих двух провинций автоматически признавались гражданами Франции, насильно мобилизованными Германией. В данном случае зеркально отобразилась ситуация 1870 года, когда в результате победы над Францией немецкие власти признали жителей этих провинций насильно мобилизованными Францией, в силу чего были тотчас же и безоговорочно отпущены из плена. В общем, жизнь на земле Эльзаса и Лотарингии, вечно переходивших из рук в руки то Германии, то Франции, имела свои преимущества. А если бы по проекту Бисмарка они отошли к Швейцарии, то жизнь эльзасцев и лотарингцев стала бы и вовсе замечательной.

Впрочем, СССР согласился считать пленных эльзасцев и лотарингцев гражданами французского государства, насильно мобилизованных вермахтом, в обмен на аналогичное признание уроженцев Западной Украины и Западной Белоруссии, Молдавии и Прибалтики гражданами СССР. Сталин сделал великий подарок де Голлю и вправе был рассчитывать на взаимность. Французы стремились развить свой нежданный и негаданный успех, поэтому стали прорабатывать идею создания французских частей из числа военнопленных французов. Этим вопросом вплотную занялся представитель де Голля в Москве Р. Шмитлейн – кадровый французский разведчик, выдворенный советскими властями из Прибалтики в Швецию летом 1940 года. К великому удивлению многих, он без труда получил аккредитацию, как будто никаких инцидентов с ним прежде и не случалось.

Поначалу такая идея советскому руководству не понравилась, и оно ответило отказом. Действительно, французские военнопленные были представлены поначалу добровольцами антибольшевистского легиона, пошедшими воевать в Россию, и давать им в руки оружие в надежде, что они все разом идейно перековались и повернут штыки “против того, кого надо”, было бы в высшей степени легкомысленно. К тому же их было крайне мало.

С мёртвой точки дело сдвинулось тогда, когда в Москву прилетел представитель де Голля капитан А. Мирлес, который привёз из Лондона проект формирования пехотной бригады из жителей Эльзаса и Лотарингии. А. Мирлес был рождённым во Франции сыном “русских революционеров” и свободно изъяснялся по-русски. К тому же у него остались в Москве родственники, связи которых грех было не использовать. Через свою московскую тётю Мирлес добился встречи... с “самим” Лаврентием Павловичем.

Встречу с наркомом капитан описывал так: “Берия меня принял в огромном кабинете, разместившись в дальнем углу, и мне пришлось пересечь весь кабинет. Он создавал впечатление паука, расположившегося в центре своей паутины. Он сразу же сказал по поводу эльзас-лотарингцев, что может считать таковыми только тех, кто сам перебежал или сдался Красной Армии. Те же, кого захватили силой и с оружием в руках, должны считаться немецкими пленными. Я на это возразил: наоборот, с их стороны это демонстрация воли к победе над немцами, раз они оказались в руках Красной Армии с оружием, которое, таким образом, они отняли у немцев. Берия рассмеялся и сказал, что раз так, то дело решено”.

Так это было или не совсем так, теперь уже не дознаешься. Тем не менее, благодаря остроумию и находчивости Мирлеса Берия приказал начать сбор эльзасцев и лотарингцев в специальном лагере для военнопленных под Тамбовом. По просьбе французских представителей немецкая форма у пленных французов была заменена на советскую, чтобы проще было отличать эльзасцев и лотарингцев от прочих немцев. Это происходило в октябре 1943 года. Возглавить бригаду вольных стрелков вызвался Р. Шмитлейн. Однако случилось непредвиденное: сначала Шмитлейна, а вслед за ним и Мирлеса отозвали из СССР, в результате чего проект так и остался незавершённым. Тем не менее, в мае 1944 года по просьбе Временного правительства Франции (читай: де Голля) 1700 французских военнопленных были отправлены советскими властями в Северную Африку, где они были включены в состав 1-й французской армии под командованием генерала Ж. де Латра де Тасиньи — того самого, что подписал от имени Франции Акт о безоговорочной капитуляции Германии. Большинство же, основу которого составляли нераскаявшиеся носители идеи “освобождения Европы”, предпочло остаться на довольствии в плену: здесь было безопасно. И хотя деликатесов не подавали, зато кормили по расписанию.

А 17 июля 1944 года тамбовские сидельцы продефилировали по Москве, замыкая колонну военнопленных. Следом за ними, чётко держа строй, двигались поливальные машины. Да, товарищ Сталин был Великий Режиссер, умевший придать любому эпизоду смысл и превратить его во врезающийся в сознание СИМВОЛ!

Мобилизованные в вермахт французы были освобождены из плена уже в августе 1945 года, а к 1949 году были выпущены на свободу и все прочие добровольцы. До середины 50-х годов отбывали свой срок лишь те, кто был осуждён за военные преступления, совершённые на территории СССР, а также за преступления, совершённые в местах лишения свободы против своих соотечественников. Последняя амнистия для иностранных военных преступников была объявлена в СССР в июне 1955 года, и по ней вышли на свободу 23 француза. Ещё пятеро “новогаллов” продолжали отбывать свой срок и далее: ввиду тяжести совершённых ими преступлений амнистия на них не распространялась.

Лагерь французских военнопленных под Тамбовом давно уже стал объектом политических спекуляций. Часто можно столкнуться с утверждением, что в нём было замучено до смерти от 14 до 80 тысяч французов, тогда как по официальным данным максимальная численность заключённых лагеря № 188 составляла около 9 тысяч человек. Любопытно то, что они были освобождены от всех работ, кроме работ по поддержанию и обеспечению функционирования самого лагеря.

А теперь подведём итоги. В ходе боёв на советско-германском фронте было убито 8 000 французов и ещё 23 000 французских граждан находились в советском плену.

На стороне СССР воевал полк “Нормандия–Неман”. За время ведения боевых действий через эту часть прошло 96 человек боевого личного состава.

Освобождение

Вряд ли кто дерзнёт отрицать, что посылка в Россию французского добровольческого легиона носила чисто символический характер. Не менее символической была и поддержка полковником де Голлем борьбы СССР с фашистской агрессией. И никакой иной она быть не могла.

Ни Черчилль, ни Рузвельт, ни Сталин не воспринимали де Голля всерьёз, а посему поддержка генералом СССР из своего чудного *лондонского далека* была способом заявить о себе и обратить на себя внимание. Это было особенно важно для него, поскольку полковника считали во Франции предателем: всем было памятно то, что 17 июня 1940 года он самовольно улетел в Англию. Не мудрено, что большинство французов остались верны законному правителю Франции Петену, и было бы странно, если бы было как-то иначе. Лишь 7 тысяч французских солдат, эвакуированных англичанами из Северной Норвегии, и оказавшиеся в английском плену военные моряки с кораблей, захваченных во время операции по уничтожению французского флота, влились в отряды Свободной Франции.

Все знают о лётчиках полка “Нормандия – Неман”, ставшего символом “совместной” борьбы России и Франции с нацизмом. Менее известен другой эпизод, когда де Голль предложил Сталину принять от него “в подарок” его французские дивизии с Ближнего Востока (Сталин вообще-то просил у англичан 25–30 дивизий). Беда, однако, заключалась в том, что находились они под английским командованием. К тому же де Голль предполагал отправлять их в Россию в тёплое время года, поскольку личный состав дивизий состоял сплошь из коренных сенегальцев. Да, он думал о простом солдате. И это должно быть поставлено ему в плюс! Однако англичане инициативу своего протеже не одобрили, в результате чего проект был похоронен.

Лишь в 1944 году Сталин уступил очередной настойчивой просьбе самоchinного генерала принять его. Находясь проездом из Ирана в Москву в Азербайджане, де Голль попросил показать ему Сталинград. Просьбу генерала уважили, и тот дал волю своим мыслям и чувствам, заявив в присутствии тов. Молотова, что он *искренне скорбит* о “*понесённых совместно (!) жертвах*”! Можно лишь догадываться, что творилось в тот момент на душе Вячеслава Михайловича!

Дальше – больше. Когда генералу всё же разрешили приехать в Москву, он стал делиться с журналистами своими впечатлениями о Сталинграде и под конец выпалил: “Ah, Stalingrad, c’est tout de même un peuple formidable, un très grand peuple!” – “Какой грозный, какой великий народ!” Кто-то из журналистов тут же с готовностью подхватил: “Ah, oui, les Russes...” – “О, да, эти русские...”, – но де Голль тут же оборвал его: “Я говорю не о русских, я говорю о немцах! Как им удалось зайти так далеко?!”

Последующие действия генерала заставляли многих усомниться в его адекватности. Много лет спустя, уже в качестве президента Французской Республики, де Голль отправился с государственным визитом в Канаду, где его встречали так, как обычно встречают главу государства. Потом повезли по стране. Миновать при этом Монреаль было совершенно невозможно, а в нём, как назло, достигла апогея борьба за предоставление Квебеку независимости. Когда правительственная делегация Франции оказалась в Монреале, канадцы, вполне отдавая себе отчёт в щекотливости момента, попросили де Голля быть в его высказываниях “пообтекаемее”, на что де Голль смерил высокую принимающую сторону высокомерным взглядом, вышел на балкон, открыл пошире рот и прокричал: “Vive le Quebec libre!” – “Да здравствует свободный Квебек!”

“Это было неслыханно, скандал был совершенно беспрецедентный, канадская сторона тут же прервала визит де Голля, его усадили в самолёт и отправили назад к французам. Всем понятно, каких усилий требует подготовка правительственного визита, сколько туда вложено труда, да и, кроме того, очевидно, что де Голль приехал в Канаду потому, что государству Франция что-то было нужно от государства Канада, и всё это было принесено в жертву глупейшей выходке, не говоря уж о том, что Франция нажила себе врага на совершенно пустом месте. Де Голль обладал каким-то даром загонять себя в ситуацию, из которой нельзя было выйти, не потеряв лица” (79http://alexandrov-g.livejournal.com/245725.html).

Уже после войны его не раз “укорачивали” американцы и англичане. Часто в особо циничной форме, угрожая применить — в самом прямом смысле! — тяжёлую артиллерию. Но нарывался на эти неприятности де Голль исключительно по собственной инициативе. Однажды французы попробовали удержать за собой кусок итальянской территории. Приказ де Голля был суров и категоричен: “Держаться во что бы то ни стало!” Французские войска, находившиеся на территории Италии, расчехлили было стволы, но тут вмешались американцы, пообещавшие вышвырнуть французов из Италии силой, и де Голль из Италии ушёл.

Но и это ещё не всё.

“Де Голль предложил англичанам заключить союз с ним, с де Голлем, и после поражения Германии не останавливаться, а продолжить войну с победителями — с русскими и американцами. Одновременно. Делая это предложение, от которого, по его мнению, нельзя было отказаться, храбрый генерал расплагал силами примерно в 400 000 человек, главным образом африканцев, которых с бору по сосенке переправили в Англию, худо-бедно вооружили и накормили американцы, с которыми де Голль и собирался воевать. Что ему на это англичане ответили, неизвестно, но легко можно себе представить, что они о генерале подумали. “Вот это умище! — подумали англичане. — That’s our man! — “Наш человек!” Кому, как не ему, возглавлять послевоенную Францию, где ещё такого найдёшь?! Надо ему пособить, надо” (79http://alexandrov-g.livejournal.com/245725.html).

Его даже не поставили в известность о дате начала высадки в Нормандии: о том, что его “союзники” высадились во Франции, он узнал из радиопередачи Би-Би-Си. Лишь через восемь дней после начала операции “Оверлорд” ему разрешили поехать во Францию. Фотограф запечатлел де Голля сидящим в шезлонге на пляже в Нормандии сразу же после его доставки туда. Вот он сидит с сигареткой в углу рта и смотрит куда-то поверх головы снимающего. На нём превосходного покроя шинель из превосходного сукна. Генерал сидит и ждёт, когда же, наконец, ему разрешат начать “освобождать” Францию. Обстановка в Нормандии, между тем, была настолько спокойной, что днём позже туда же прибыл английский король Георг VI, чтобы на месте ознакомиться с событиями и воодушевлять свои войска.

Засим последовало “освобождение Парижа”, которое было нужно только и исключительно для того, чтобы представить де Голля в качестве “героя-освободителя”, а не чужеземной марионетки.

Вообще-то Париж был объявлен “открытым городом” и оборонять его немцы не собирались, да у них и не было для этого физических возможностей.

24 августа 1944 года комендант и начальник гарнизона Парижа семидесятирехлетний генерал-полковник Д. фон Хольтиц сдал “свой” город командиру 2-й танковой дивизии армии Свободной Франции генерал-майору Леклерку. Сдал, правду сказать, вопреки воле своего фюрера.

Генеральный консул Швеции и американский генерал О. Брэдли уверяют, что комендант Парижа и руководители Сопrotивления просто заключили взаимовыгодную сделку, устраивавшую обе стороны. “Немецкий комендант Парижа признавал правительство, выдвинутое восставшими, а французы брали на себя только одно обязательство: прекратить стрельбу по немецким войскам”. Впрочем, и та, и другая стороны не были в состоянии сдержать многочисленные стычки между своими подчинёнными. Разозлённый генерал стал в позу и заявил, что он никогда не унижится до того, чтобы сдаваться нерегулярной армии. И впрямь, капитулировать перед какими-то хулиганами было для немецкого генерала сущим позором. Шведский консул решил, что “если немецкий комендант не хочет иметь дела с нерегулярной армией, то, может быть, он пойдёт на переговоры с армией союзников, что дало бы фон Хольтицу возможность с честью сдать столицу Франции. Фон Хольтиц принял предложение шведа, он даже выразил готовность в целях безопасности послать офицера, который провёл бы делегатов через немецкие линии”. Омар Брэдли не без иронии пишет: “Мне гораздо легче было послать на Париж любое количество американских дивизий, но я намеренно избрал французские части”. Впрочем, бронетанковая дивизия Леклерка “медленно прибиралась сквозь толпы французов, на всём пути население встречало её вином и бурными приветствиями. Я не мог осудить французских солдат за то, что они отвечали на приветствия своих соотечественников, но я также не мог ждать, по-

ка они продефилируют до Парижа. Мы должны были выполнить условия соглашения с Хольтицем”. “К чёрту престиж, — сказал я наконец, — отдайте приказ Четвёртой (американской) дивизии выступить и освободить город. Узнав об этом приказе и испугавшись за честь Франции, танкисты Леклерка сели в свои машины и быстро двинулись вперёд”. Собственно, поэтому освободителем Парижа и считается французский генерал Филипп Леклерк, пришедший на помощь восставшим парижанам...

Существует и несколько иная версия “падения Парижа”, что, впрочем, вполне объяснимо. Союзники собирались пройти к северу от столицы Франции, в районе “большого Парижа”, поскольку собственно Парижу они не придавали большого значения. Кроме того, — и это самое главное! — ни американцы, ни англичане не хотели создавать у французов впечатления, что они тривиально “ставят своего” де Голля; им нужна была иллюзия освобождения Франции Францией же. Однако после того как “Вторая бронетанковая дивизия” генерала Леклерка столкнулась с немцами в пригороде Парижа и отошла, потеряв 70 человек убитыми, в дело вынуждены были вмешаться американцы. К тому времени в городе уже воцарился хаос, многоопытные парижане строили баррикады и стреляли друг в друга и в немцев, а немцы в ответ стреляли неохотно, так как придерживались подписанного перед тем с Сопротивлением соглашения о перемирии. Кончилось всё тем, что на город пошли с двух направлений двумя колоннами — американской и французской. И французская — по согласованию — вошла первой, и — *voilà!* — Париж не сгорел ([79http://alexandrov-g.livejournal.com/245725.html](http://alexandrov-g.livejournal.com/245725.html)).

В итоге в освобождённую столицу прибыл де Голль, и тут началось грандиозное представление: торжественное шествие генерала-освободителя по Парижу при огромном скоплении народа. Этому событию посвящено в мемуарах де Голля немало места. “С каждым шагом, который я делаю, ступая по самым прославленным местам мира, мне кажется, что слава прошлого как бы присоединяется к славе сегодняшнего дня”, — писал генерал.

Что до фон Хольтица, то он был взят под арест в тот же день, 24 августа, и отправлен в острог, из которого его выпустили в 1947 году. В 1951 году генерал опубликовал свои мемуары под названием “Горит ли Париж? — “Brennt Paris?”, по которым режиссёр Р. Клеман снял в 1966 году фильм с одноимённым названием: “Paris brûle-t-il?” Неизвестно, успел ли посмотреть его фон Хольтиц, умерший в том же году в Баден-Бадене в возрасте 95 лет.

Несмотря на то, что в фильме снялись такие звёзды экрана, как Кирк Дуглас, Ален Делон, Жан-Поль Бельмондо, Лесли Карон, Антони Перкинс, Симона Синьоре и Жан-Луи Трентиньян, встретили его французы прохладно. Вероятно, многие из тех, кто посмотрел ленту Клемана, ещё помнили те дни, а потому имели своё личное мнение о событиях.

Каким же образом человек, обладавший такими выдающимися “достоинствами”, смог попасть на вершину власти? Да очень просто: де Голль попал в “де Голли” потому, что того захотели не только победители (США и СССР), но и побеждённые (Британия и Франция), из разных побуждений, но хотели этого все. Генерал “просчитывался”, что называется “на раз”, то есть был полностью предсказуем, а его чудесные *взрывы* при необходимости легко парировались.

Весьма показательны и прозвища, которые давались в молодости Шарлю де Голлю его однокашниками и сослуживцами: “дылда”, “индюк”, “король в изгнании”. Последнее, ироническое, он получил от своего начальника в Военной академии за сухость, манеру держаться прямо и постоянно “задирать нос”.

Уже в бытность свою уже президентом Франции де Голль получил от своих политических недругов прозвище “Charlot” — “Шарло”, и наиболее близким к оригиналу переводом его было бы вполне незатейливое “Карлушка”.

В принципе Франция здорово повезло. Объективная послевоенная реальность выглядела так, как будто Франция всех перехитрила. Её верхушка и впрямь считала, что она переиграла всех. И действительно, Франция, удобно устроившаяся в 1940 году “под немцем”, умудрилась сохраниться во время войны в целостности и сохранности. Она оказалась наименее затронутым войной государством в Европе. Более того, война сыграла на руку Франции. В отличие от Германии и Англии, экономика Франции не была разрушена, она практически не понесла людских потерь, и ей открылась перспектива занять

выгодное место между ослабленными войной Англией и Германией и доминировать в Западной Европе. Ну, чем не страна-победитель?!

Однако каким же образом вошла Франция в число официальных главных победителей Второй мировой?

Тайна сия велика есть. “Есть мнение”, что у англо-американцев попросту не было сил для оккупации *верного союзника Гитлера*, тем более что в это время уже вовсю прорабатывались планы войны с СССР. А посему сделать её победителем было в такой ситуации совсем недурным выходом. Не возражал против такого хода и Сталин, имевший свои виды и на Францию, и на французскую компартию как своего коллективного агента влияния, да и на самого де Голля.

Однако возможно и возражение: никакой оккупации Франции союзниками не требовалось: сорокамиллионная “прекрасная Франция” вела себя по отношению к новым победителям так же лояльно и дружелюбно, как и ко всем предшествующим. И доказательством тому является один послевоенный французский анекдот. Учитель спрашивает ученика:

- Пьер, какова численность населения нашей прекрасной Франции?
- 80 миллионов, господин учитель!
- Как же так, Пьер?!
- Очень просто, господин учитель: 40 миллионов были за Петена и 40 миллионов были за де Голля!

Вот такой знатный анекдотец придумали для внутреннего потребления острые на язык потомки галлов. И все это с неизменным парижским изяществом. Ох, уж эти французы! Умеют они пыль в глаза пустить!

АЛЕКСЕЙ АБРАМЫЧЕВ

СОВЕТСКИЙ МАРШАЛ

К 100-летию со дня рождения Николая Николаевича Алексева

О маршале Н. Н. Алексееве писать непросто. По многим причинам. Николай Николаевич дневников не вёл, редко писал личные письма, обладал сдержанной манерой общения. В особенности в выражении своих мыслей и чувств, хотя сам был человеком внутренне эмоциональным. Записей после себя не оставил. Его жизнь была настолько насыщенной, что было не до воспоминаний. Тяжело раненный на войне, он о ней, стесняясь сочувствия, не любил рассказывать. Это было характерной чертой его личности. Все, кто общался с Николаем Николаевичем, знали это свойство его характера: не выделяться среди окружающих.

В этой связи у меня появилось искушение в рамках небольшого очерка попытаться рассказать о событиях, связанных с жизнью этого незаурядного человека.

Николай Алексеев родился в славном русском городе Ростове Великом 13 июня 1914 года. Вот уже и 100 лет прошло... Эти годы, наряду с революцией, вместили в себя четыре войны: Первую мировую, гражданскую, Советско-финскую и Отечественную. Довелось Николаю повоевать и в финскую, и Отечественную, но в детской памяти сохранились и впечатления о годах Первой мировой и гражданской. Младенцем под стенами Ростовского Кремля – на берегу озера Неро – ему суждено было услышать тревожный набат церковных колоколов. Память отрока сохранила колонны новобранцев на улицах города, калек на ступенях церквей, рабочих, перепоясанных патронными лентами пулемёта “максим”, белогвардейцев, покидающих Ростов под натиском Красной Армии.

Детство Николая было голодным. Но, как и большинство его сверстников, он принял революцию, включился в переустройство жизни на новый лад. После смерти отца в 1917 году нужда, вызванная революционным хаосом, заставила его с матерью в поисках работы переехать в Ярославль. По словам родных, учился Коля легко, с интересом, науки осваивал основательно. Со школьных лет почувствовал тягу к конструированию (мастерил радиоприёмники) и проявил способности лидера – был выдвинут в члены учительско-го/ученического совета, участвовавшего в формировании учебных программ. Сформированное в школе кредо равенства помогало ему чувствовать себя в дальнейшей жизни свободно, независимо в любой обстановке.

В 1927 году стремление получить дальнейшее образование вынудило его с матерью перебраться в Ленинград. Будучи студентом Ленинградского элек-

тротехнического техникума, он сплотил вокруг себя дружный коллектив, не расставался с ним даже в каникулы, совершая многодневные походы по пушкинским местам, на любимый М. Ю. Лермонтовым Кавказ, по закавказской Военно-грузинской дороге, в Южную Осетию и Грузию...

В 1935 году Николай Алексеев, поступив в Ленинградскую электротехническую академию, до конца жизни соединил свою судьбу с Вооружёнными силами, пройдя все ступени воинской карьеры: от рядового до маршала войск связи, начальника Вооружений Вооружённых сил (ВС), заместителя министра обороны СССР.

В Академии он возглавил коллектив слушателей, занимающихся модернизацией радиотехнических приборов. Результаты своей деятельности как конструктора он проверил во время войны с Финляндией (1939-1940), проходя дипломную практику в качестве рядового сапёра. Творческий вклад в совершенствование отечественных миноискателей, выходявших из строя в 30-40-градусные морозы, и испытание их в боевых условиях – яркое свидетельство его способности выполнять сложные, потенциально опасные боевые задания. Эта работа не пропала даром, она позволила разгадать и обезвредить самые хитроумные минные ловушки врага, что спасло жизни тысячам наших бойцов. Не все, кто был с ним, вернулись из той “командировки” домой...

После окончания учёбы с красным дипломом Алексеев был рекомендован в адъютантуру. Но молодой офицер предпочёл должность преподавателя в Ленинградском военном училище воздушного наблюдения оповещения и связи (ВНОС), где проходили ускоренную подготовку операторы РЛС (радиолокационных станций). Курсант Г. В. Кисунько (будущий член-корреспондент АН СССР, генеральный конструктор отечественных систем ПРО) был одним из его учеников. В своих воспоминаниях учёный тепло пишет о Николае Николаевиче, о его врождённом даре учителя, о встрече и последующей дружбе с выдающимся конструктором систем ПВО – академиком Александром Андреевичем Расплетиним.

Начавшаяся летом 1941 года война с гитлеровцами потребовала усиления противовоздушной обороны (ПВО) страны. Высокая квалификация Алексеева в сфере электроники и радиолокации нашла применение в действующей армии. С июля 1942 года он в качестве специалиста по радиопеленгованию, обладающего навыком настройки радиопеленгаторов, перемещается по всему фронту, обучая расчёты боевому применению аппаратуры ВНОС частей ПВО, пока едва не лишился жизни, попав на передовой в авиационную катастрофу...

В 1943 году, вернувшись после ранения из госпиталя, “хромающий майор” организует в штабе Западного фронта эксплуатацию радиопеленгаторов в боевых условиях, а в 1944 году возглавляет отдел вооружения Северного фронта ПВО, обеспечивает установку на боевое дежурство поступающих на фронт отечественных и зарубежных радаров. Его боевой опыт получил особую оценку руководства. Подтверждением тому является вывод очередной аттестации: “Обладает достаточными организаторскими способностями по руководству использованием радиолокационной техники в масштабах фронта”.

Майские победные дни 1945 года Алексеев встретил на улицах горящего Берлина, где в составе группы специалистов, возглавляемой будущим генеральным конструктором зенитных ракетных систем академиком А. А. Расплетиним, изучал систему организации территориальной ПВО поверженного врага. Их встреча переросла в творческий союз.

По возвращении из Германии майор Н. Н. Алексеев был направлен в легендарный Артком ГАУ. Именно там Николай Николаевич высказал идею использования РЛС для обнаружения наземных движущихся целей, что было необычно и ново в военном деле. К решению этой задачи Алексеев и сумел привлечь своего друга – главного конструктора А. А. Расплетина. По решению начальника ГАУ маршала артиллерии Н. Д. Яковлева свои предложения инженеры доложили на совещании в Комитете по радиолокации академику Аксель Ивановичу Бергу. Последующая работа дала выдающиеся результаты: в 1947-1949 годах была разработана и принята на вооружение станция наземной артиллерийской разведки (СНАР-1), не имевшая аналогов в мире. Характеристики этой системы стали неожиданными даже для её создателей. На испытаниях СНАР-1 позволяла обнаруживать движущийся танк на дальности 16 км, а одиночного солдата – до 5 км. С учётом новизны и полученных боевых характеристик СНАР-1 её разработчикам была в 1951 году присуждена Ста-

линская премия. В очередной аттестации Н. Н. Алексеева появилась запись: “Заслуживает присвоения воинского звания во внеочередном порядке”.

Николай Николаевич никогда не был публичен, всегда держался в тени, но его хорошо знали и уважали учёные и конструкторы с мировым именем, среди них академики С. П. Королёв, М. В. Келдыш, В. Н. Челомей, М. К. Янгель, А. Н. Туполева, П. Д. Грушин, А. С. Яковлев, А. П. Александров, М. П. Макеев, Ю. Б. Харитон и, конечно, его друг А. А. Расплетин.

Работа Алексеева в Совмине пришлась на тревожное время. Корейская война была в самом разгаре. Спрос за качество поставляемого в КНДР боевого вооружения был жёстким. В конце 1951 года Алексеев оказался невольным свидетелем трагедии, разыгравшейся в ГАУ, в связи с массовым выходом из строя в Северной Корее противооткатных устройств зенитных орудий комплекса С-60. В них стали ломаться пружины. “Сегодня трудно себе представить, — вспоминал член-корреспондент АН СССР генерал-лейтенант Г. В. Кисунько, — что посадили за “проклятую пружину” в феврале 1952 года не конструктора, а маршала артиллерии Н. Д. Яковлева. Маршала, которого много лет знал и высоко ценил сам Сталин...”

Но это показательно: в те времена ответственность несли все, даже самые высокопоставленные сотрудники. На “стрелочников” не списывали. Эта история стоила не одной бессонной ночи не только подследственным и их семьям, но и их товарищам по оружию, включая Алексеева, хорошо знавшего Н. Д. Яковлева с 1945 года. Поставленные в Корею орудийные батареи имели в своём составе, наряду с пушками, радиолокаторы и счётно-решающие приборы (ПУАЗО). В них не было злополучных пружин, однако было полно ламп и другой начинки, и все они периодически выходили из строя, так что волноваться было от чего...

В высший руководящий состав Вооружённых сил СССР Алексеев был введён с должности председателя НТК Генштаба (1970) по предложению министра обороны А. А. Гречко (с 1973 — член Политбюро ЦК КПСС). В эти годы при участии НТК Генштаба и аппарата начальника Вооружений, возглавляемых Алексеевым, были созданы ядерные силы и **достигнут стратегический ракетно-ядерный паритет с США и НАТО**, обеспечивший длительную стабильность на мировой арене.

Как крупный военачальник и военный специалист в области вооружений, обладающий широким техническим кругозором, Н. Н. Алексеев в 1970-1972 годах был привлечён руководством страны к участию в знаменитых переговорах СССР и США, закончившихся подписанием Договора ОСВ-1.

* * *

Что за фигуры стояли во главе видов Вооружённых сил СССР в начале 1970-х годов? Ракетные войска стратегического назначения возглавлял главный маршал артиллерии В. Ф. Толубко, Сухопутные войска — генерал армии И. Г. Павловский, ВВС — главный маршал авиации П. С. Кутахов, ПВО — маршал Советского Союза П. Ф. Батицкий, ВМФ — адмирал флота Советского Союза С. Г. Горшков. Все они соответствовали своим должностям не только по формальной оценке первых лиц государства, но и по оценкам руководителей военно-промышленного комплекса и высших офицеров всех уровней. Неспорно в тот период наши армия и флот обеспечивали паритет Союза ССР и США в области вооружённых сил и вооружений в мире. Это были достойные люди. Заслужить авторитет этих лиц было непросто.

До Отечественной войны за вопросы вооружений и военной техники в ранге заместителя наркома (министра) обороны (Вооружённых сил, Военного министерства) отвечали крупные военачальники — маршалы Советского Союза М. Н. Тухачевский (1931-1937) и Г. И. Кулик (1937-1941). Их судьба — отдельная тема. Она сложилась трагически.

В послевоенное время эту должность последовательно занимали маршал артиллерии Н. Д. Яковлев (1948-1951), академик адмирал А. И. Берг (1953-1957) и генерал-полковник артиллерии А. В. Герасимов, который в 1964 году был переведён на должность 1-го заместителя начальника Генштаба ВС по вооружению. В своей деятельности они опирались на ярких соратников. Среди них не было случайных людей. В видах ВС эту работу возглавляли мар-

шал артиллерии П. Н. Кулешов (Сухопутные войска), генерал-полковники Г. Ф. Байдуков (ПВО), Е. В. Бойчук (РВСН), М. Н. Мишук (ВВС), адмирал П. Г. Котов (ВМФ).

Обладая опытом эксплуатации ВВТ в годы войны и испытательной работы на полигонах, эти люди представляли собой интеллектуальную элиту военных инженеров нашего Отечества. Все они по своему служебному рангу, званиям и авторитету генерал-полковнику Н. Н. Алексееву не уступали.

Тем не менее, в 1970 году начальником Вооружений ВС в ранге заместителя министра обороны был утверждён Н. Н. Алексеев. Это назначение (с должности председателя Научно-технического комитета Генштаба ВС) через голову его начальников – генерала армии Н. В. Огаркова и генерал-полковника артиллерии А. В. Герасимова – явилось для консервативной военной среды событием неординарным.

Выбор министра обороны маршала Советского Союза А. А. Гречко не был случаен. Он состоялся по согласованию с Л. И. Брежневым. Дело в том, что Николаю Алексееву принадлежала идея внедрения в практику системы программно-целевого планирования вооружения и военной техники на межвидовом уровне. В основу её воплощения в жизнь Н. Н. Алексеев положил труды школы советских учёных Е. С. Вентцель, Н. П. Бусленко, Г. С. Поспелова, Ю. В. Чуева и др. по теории эффективности стрельбы, исследованию операций и оптимизации принятия решений, связанных с созданием вооружения и военной техники.

Любой военный, работавший в сфере заказов вооружений, поймёт всю масштабность возложенной на Алексеева задачи, имея в виду, что его новации в то время не для всех были очевидны. “Крепкие руководители”, привыкшие “рулить” по своему усмотрению, видели в ПЦП (программно-целевое планирование) покушение на свои права. Свои предложения о переходе на программное планирование Алексеев представил министру обороны А. А. Гречко в конце 60-х годов прошлого столетия вместе с проектом новой структуры Управления вооружения. Жизнь подтвердила своевременность этого решения. Пришедший на место А. А. Гречко в 1976 году Дмитрий Федорович Устинов, столкнувшись с проблемами, связанными с усилением прессы военных расходов, признал большое значение перехода на новую государственную систему программно-целевого планирования ВВТ.

Он заявил на Коллегии Минобороны: “...Проделана гигантская работа, которая позволяет нам теперь планомерно и уверенно развивать военно-техническое могущество на продолжительную перспективу”. Оценка для скупого на похвалу Дмитрия Федоровича – высочайшая.

Знавший хорошо Н. Н. Алексеева член НТК Генштаба ВС лауреат Ленинской премии генерал-майор Р. А. Валиев отмечал: “Пример Николая Николаевича как личности раскрывает возможности руководителя, занимающего относительно скромный в служебной иерархии пост, добиваться выдающихся результатов, порой далеко выходящих за рамки его полномочий. Благодаря своим знаниям, энергии и работоспособности, он придал всем работам в НТК Генштаба необходимый размах и динамизм. Кто входил в соприкосновение с ним, не мог не отметить его ум, волю и целеустремленность. Это был человек, умеющий доводить дело до конца. Проводившиеся им совещания были деловыми, всегда результативными и никогда не затягивались. Разработанные под его руководством постановления ЦК КПСС и Совмина СССР были также результативны. Он был мастером неожиданных нестандартных решений, быстр в работе, не пренебрегал выездами на объекты и личным знакомством с результатами работ. Всё вместе взятое позволило НТК Генштаба (Комитет Генштаба) занять одно из ведущих мест в управлении оборонно-промышленным комплексом страны. Поэтому передача функций Комитета аппарату начальника Вооружения ВС, по факту, была вполне закономерна – это было официальным признанием его места в системе управления Вооружённых сил страны.

Я познакомился с Николаем Николаевичем в 1967 году (когда он был председателем НТК Генштаба ВС), сопровождая начальника ГРАУ П. Н. Кулешова на совещании у маршала А. А. Гречко, на котором обсуждались результаты совместных испытаний зенитного комплекса “Куб” и проводимые исследования возможности применения “боевого вертолёта против танка”. Во второй раз я встретился с ним во внеслужебной обстановке – на праздничном ужине в ресторане “Славянский базар”, организованном по поводу присвоения звания

“маршал артиллерии” начальнику ГРАУ П. Н. Кулешову. В “Славянском базаре”, кроме других приглашённых, находились маршал артиллерии Н. Д. Яковлев, генерал-полковники Н. Н. Алексеев и И. И. Волкотрубенко.

Запомнился мне тогда негромкий голос Н. Н. Алексеева. И одна его, на первый взгляд, незначительная реплика, характеризующая его как человека. На похвалу маршала Кулешова, высоко оценившего его роль в становлении НТК Генштаба, Николай Николаевич, поблагодарив маршала, с ходу ответил: “В НТК я пришёл, когда коллектив НТК был уже сформирован. В этой связи уточню: моей заслугой является то, что я смог по достоинству оценить высокую квалификацию и культуру доверенного мне коллектива, построить работу на взаимном уважении друг к другу, а также в том, что за семь лет работы в Комитете мне не удалось испортить этот коллектив”.

* * *

Работая в НТК Генштаба, Алексееву удалось расширить и укрепить связи с институтами АН СССР и Высшей школой как в области фундаментальных наук, так и прикладных исследований, наладить координацию работ заказывающих управлений, а также контроль за выполнением важнейших оборонных ОКР (опытно-конструкторских работ) и НИР (научно-исследовательских работ), проводимых институтами различных видов Вооружённых сил и Секцией по оборонным исследованиям при Президиуме АН СССР. Отвечая за развитие вооружения в целом (для Минобороны, Высших органов военного управления, Внутренних и Пограничных войск, Войск специального назначения), Алексеев в своей работе опирался на своих соратников – военных специалистов, а также учёных НИИ и КБ промышленности. Вместе с ними он выделял приоритеты исследований и поддерживал смелые проекты, открывая зелёную улицу одарённым учёным и конструкторам. В Секцию были привлечены учёные по главным научным направлениям, связанным с оборонным комплексом страны (в области математики, физики, химии, информатики, энергетики, машиностроения, механики и информационных технологий, а также физиологии и фундаментальной медицины). Коллектив Секции возглавлял член-корреспондент АН СССР генерал-лейтенант Г. С. Поспелов (позже академик РАН). Её филиалы размещались в региональных отделениях АН СССР и тесно работали с крупными академическими НИИ.

В 1970 году члены НТК Генштаба, большинство из которых имело генеральские звания, были переведены в аппарат начальника Вооружений. Когда мне было предложено перейти из Главного ракетно-артиллерийского управления (бывшее ГАУ) во вновь созданную Группу специалистов, подчинённую непосредственно Алексееву, я воспринял это как подарок судьбы. Поэтому о многих фактах, связанных с его деятельностью, я знаю не понаслышке, многое происходило на моих глазах.

Дальнейший рассказ поясню примерами. Работа Группы была организована по аналогии с НТК Генштаба. В наши обязанности входила координация и контроль организации не только НИР в обоснование Основных направлений развития ВВТ и опытно-конструкторских работ (ОКР) по важнейшим образцам вооружения, но и обеспечение деятельности Военно-технического совета Минобороны (ВТС МО), председателем которого являлся Алексеев.

В заседаниях Совета участвовали, наряду с руководящим составом всех видов ВС, главных центральных управлений Минобороны, представители оборонной промышленности и Правительства. Решения ВТС МО утверждались членом Политбюро ЦК КПСС А. А. Гречко (с 1976 – Д. Ф. Устиновым). В этой связи они принимались к исполнению как Минобороны, так и оборонными отраслями промышленности.

К заседаниям Военно-технического совета Минобороны в каждом случае по конкретной проблеме привлекались также приглашённые специалисты по данному вопросу из промышленности, АН СССР и Минобороны. На заседаниях рассматривались проблемы развития ВВТ Вооружённых сил и его видов (РВСН, СВ, ПВО, ВВС, ВМФ), ход важнейших НИР и ОКР. При этом Николай Николаевич преридеждался такого стиля работы, при котором каждый специалист не только представлял интересы аппарата Вооружения, но и являлся активным участником проводимых мероприятий в промышленности.

Ежегодно проводилось несколько заседаний ВТС МО. В качестве примера остановлюсь на двух. Они актуальны для сегодняшнего дня и заслуживают отдельного рассказа. В обоих мне довелось быть непосредственным участником. Первое из них было посвящено организации Алексеевым межвидовых исследований в масштабе Минобороны и оборонной промышленности в целом.

В связи с развёртыванием американцами в середине 70-х годов дозвуковых маловысотных стратегических крылатых ракет (СКР) наземного, воздушного и морского базирования Алексеевым были инициированы исследования "О роли и месте СКР в различных вариантах начала ядерной и безъядерной войны". Наряду с НИИ-2 ПВО, в кооперацию исполнителей этой НИР вошли институты других видов ВС (Ракетных войск стратегического назначения, ВВС и ВМФ) и Военная академия Генштаба (ВАГШ). Проведение исследований с участием головных институтов видов ВС, ВАГШ и промышленности гарантировало эти работы от влияния корпоративных интересов отдельных ведомств и их научных учреждений, способствовало лучшему использованию сильных сторон всех средств вооружённой борьбы.

На базе этой работы военный инженер НИИ-2 ПВО И. В. Ерохин с блеском защитил в ВАГШ диссертацию доктора военных наук. Его расчёты показали, что решение задачи борьбы с СКР силами только средств ПВО является серьёзной проблемой из-за отсутствия в районах прикрываемых объектов сплошного маловысотного радиолокационного поля. Кроме того, тактика применения СКР противника предусматривала подавление радаров ПВО помехами и последующий поэтапный вывод из строя радиолокационных средств ЗРК, без которых зенитные комплексы недееспособны. Результаты НИР были обсуждены на совещании у министра обороны маршала Д. Ф. Устинова, на котором было признано, что нападение крылатых ракет (по аналогии со стратегическими БР) может быть эффективно нейтрализовано **только угрозой нанесения вероятному противнику ответного адекватного удара**. Этот вывод был доведён до руководства Совета обороны СССР.

Второй пример касается проведения двухсторонних учений, а такие учения, между прочим, регулярно проводятся на Западе. Однако они были нелюбимы в видах ВС из-за сложности их организации и непредсказуемости результатов (нелюбимы они и в наше время!). Алексеев сумел договориться с маршалом П. Н. Кулешовым (ГРАУ) и генерал-полковником М. Н. Мишуком (ВВС), а также с главкомами СВ и ВВС И. Г. Павловским и П. С. Кутаховым. Учения были проведены летом 1975 года под руководством маршала Советского Союза А.А. Гречко. Перед авиацией стояла задача прорвать ПВО. Перед зенитными ракетными комплексами (далее ЗРК) – не допустить её прорыва. Они начались с разведки – с целью вскрытия радиолокационных средств системы войсковой ПВО силами ВВС в соответствии с утверждённым маршалом авиации Кутаховым планом. Авиация приступила к действиям после применения постановщиков активных помех, которые не только "забивали" локаторы, но и перехватывали управление и уводили от цели самонаводящиеся зенитные ракеты. По их результатам руководством СВ и ВВС были разработаны мероприятия, согласованные с промышленностью. Реализация мероприятий обеспечила успешное применение отечественных комплексов ПВО "Бук-1" против американских ВВС и нашей авиации – против американского ЗРК "Хок", аналога ЗРК "Бук-1", в конфликтах на Ближнем Востоке.

Небольшой комментарий. Опыт проведения двухсторонних учений показывает: они бескомпромиссны. Никаких шоу – "тепличных" стрельб на глазах верховного главнокомандующего по подставленным беззащитным мишеням. В них одна из сторон обречена на поражение и вытекающие из него "неприятные хлопоты" (включая взыскания), связанные с разработкой и согласованием с промышленностью и последующим представлением руководству планов мероприятий по устранению выявленных недостатков. "Шоу" истребителей в воздухе (маневр типа "кобра") не принесёт ожидаемого эффекта против авиационных ракет класса "воздух-воздух". "Прыжок" танка на земле не спасёт его от ракет класса "вертолет-танк", самонаводящихся на тепловое излучение двигателя танка, защищенного сверху только тонкой "крышей" из противопульной брони.

В своей работе Алексеев не терпел формализма и бюрократии. Действовал он нестандартно. Сотрудникам группы он предоставил большие права. Нам было доверено при необходимости самостоятельно выходить на министров оборонных отраслей промышленности, главнокомандующих видами Вооруженных сил, на аппарат Военно-промышленной комиссии и ЦК КПСС. В соответствии с установленным Николаем Николаевичем порядком каждый специалист нашего коллектива имел право в особых случаях непосредственно обратиться к руководству (“через голову” своих и прочих начальников) с официальным докладом, изложенным в письменном виде. Это не всем нравилось.

В памяти сохранился мой первый доклад Алексееву. Он касался вопроса проведения ОКР по созданию ЗРК (зенитный ракетный комплекс) малой дальности “Тор”. Неожиданно для меня против этой работы выступил мой непосредственный начальник – генерал-лейтенант Н. Н. Юрышев. Чтобы избежать столкновения с ним, я попросил конструктора этого комплекса – В. П. Ефремова – “пожаловаться на меня Алексееву”. Что тот и сделал в довольно резкой форме. На состоявшемся совещании Николай Николаевич поддержал моё предложение. Правда, оставшись со мной один на один, задал вопрос: “Вы попросили Ефремова обратиться с жалобой на себя?” Получив положительный ответ, он сказал, улыбаясь: “Известный приём”. Реакция моего начальника была нормальной.

– Молодец, – сказал он, – опрокинул меня, доказал, что можешь работать самостоятельно.

После этого случая Николай Николаевич вопросы, касающиеся моей сферы деятельности, стал решать со мной напрямую. Такой порядок практически исключал бюрократические издержки и сокращал бумажную переписку.

По установившейся традиции Алексеев направлял в группу специалистов документы, носящие идеологический характер, подготовленные управлениями аппарата вооружения для последующего доклада в высшие инстанции (в Правительство, Совет обороны и т. п.), для анализа и исключения ошибочных выводов при принятии решений. Предварительно заключения специалистов обязательно прорабатывались совместно с главными конструкторами и докладывались Алексееву лично.

Однажды на одном из служебных совещаний у Николая Николаевича его ближайший сотрудник генерал-лейтенант Спиридон Фёдорович Колосов высказал предложение изменить установленный для специалистов группы порядок.

– Почему? – спросил Н. Н. Алексеев.

– Субординация не должна нарушаться, – ответил Колосов.

– Вы не правы, – возразил ему, улыбаясь, маршал, – если обратившийся ко мне специалист будет прав, его оппонент, даже если это сам товарищ С. Ф. Колосов, должен сделать для себя вывод, а не осуждать обратившегося. Если окажется, что специалист не прав, то придётся подумать о более подходящей для него сфере деятельности. Таким образом, коллектив группы и вы, уважаемый Спиридон Фёдорович, благодаря установленному порядку, обречены на постоянное самосовершенствование.

Однако далеко не всё зависело от Алексеева. 1965–1980 годы были периодом апогея развития военно-промышленного комплекса СССР (ВПК). В то время деятельность ВПК связывалась с именами Л. И. Брежнева и Д. Ф. Устинова. Переход на целевое планирование был болезненным, так как затрагивал интересы многих руководителей оборонных предприятий, которые видели в этом угрозу ограничения своего влияния.

К середине 1960-х годов выявилась тенденция, связанная с медленным переходом нашей промышленности на производственную базу нового поколения, с одной стороны, и огромной устаревшей номенклатурой вооружения, формирующей пресс военных расходов, – с другой.

Немного истории. В те годы огромный ресурс ВПК стал тормозить модернизацию гражданского сектора народного хозяйства СССР, получившей название реформы Косыгина. Одной из её составляющих являлось совершенствование системы планирования производства в стране с определенным оптимальных пропорций в развитии его приоритетных отраслей. Именно

“реформа Косыгина” послужила опорной точкой для Н. Н. Алексеева при разработке замысла Программ и Основных направлений вооружения и военной техники ВС СССР. Неожиданно её реализация вызвала противодействие на Старой площади (в ЦК КПСС): большая часть прибыли предприятий (даже сверхплановая) стала изыматься в пользу оборонного сектора. Косыгин счёл этот шаг убийственным для реформы и восстал против него. Брежнев вместе с “силовиками ЦК” не поддержал Косыгина, увидев в этом “умаление роли партии”.

“Диктат ЦК” сказался на примере развития отечественной микроэлектронной промышленности. Работая в Совмине, Алексеев тесно взаимодействовал с академиком А. И. Бергом. Оба хорошо знали все проблемы этого направления. Их горячим сторонником был министр электронной промышленности А. И. Шокин. В результате с помощью Косыгина решением Хрущёва был создан инновационный центр в Зеленограде. Советская микроэлектроника получила мощный импульс для создания микросхем, соответствующих мировому уровню (в США тогда было несколько подобных фирм). Однако вскоре ситуация изменилась. Директора серийных заводов, столкнувшись с трудностями при внедрении в серию новых технологий, в обход принятых решений породили практику заказа разработок новых микросхем по так называемым “зарубежным аналогам”. В этом вопросе они нашли союзников в ЦК. В результате **оригинальные разработки были вытеснены воспроизводством устаревших зарубежных аналогов**. Так было провалено важнейшее для экономики страны технологическое направление...

В сентябре 1976 года наше отставание в этой сфере получило скандальную известность в связи с угоном в Японию лётчиком Беленко перехватчика МиГ-25 (после знакомства японцев с бортовым локатором этого самолёта). Локатор, по оценке японцев, был выполнен “на уровне радиолюбителя 1958 года”. У Н. Н. Алексеева по этому вопросу была встреча с главным конструктором этого самолёта академиком Р. А. Беляковым, который, сославшись на просьбу Устинова, просил это обстоятельство не афишировать.

Несколько позже Д. Ф. Устинов был шокирован, узнав, что при обсуждении вопроса о поставках в Индию истребителей МиГ-23 руководство ВВС этой страны из-за низкой надежности электроники бортовой аппаратуры перехватчиков прорабатывает возможность её замены на аппаратуру западного и индийского производства.

Сказанное актуально: отставание в создании элементной базы, необходимой не только для обороны, но и для народного хозяйства России, **не ликвидировано до сих пор**, что создает серьёзную угрозу независимости нашей страны, в том числе в условиях санкций, вызванных кризисом на Украине. Так, если в 1990 году удельный вес микроэлектронной промышленности (ЭП) в объёме промышленности России и объёме машиностроения составлял соответственно 2,6 и 8,5%, то в первом десятилетии XXI века – около 0,25 и 1,5%, то есть **снизился соответственно в 10 и 6 раз**.

Положение с электроникой усугублялось структурным кризисом в сфере промышленности. Распределение заказов вошло в противоречие с ведомственной специализацией промышленных министерств. Сказанное подтверждает в своих воспоминаниях адмирал Н. Н. Амелько (в 1969–1978 годах – зам. главнокомандующего ВМФ, а с 1978-го – зам. начальника Генштаба по ВМФ).

“В те годы, – по словам адмирала, – в оборонных НИИ и КБ работало много талантливых специалистов. Однако зачастую их труд обесценивался. Это было связано с организацией производства военной техники: серийные заводы были узко специализированы, и военные вынуждены были принимать то, что производила промышленность. А производители, сообразуясь со своими узковедомственными интересами, стремились сделать побыстрее, но подороже”.

В то же время в “оборонке” в последующие годы нашлись мощности для разработки и производства в больших количествах нескольких типов средних танков, кораблей для Военно-морского флота, однотипных ракет, зенитных ракетных комплексов и массового выпуска оружейных боеприпасов. Попытка Генштаба отказаться от боеприпасов по причине их излишка (их негде было хранить) закончилась освобождением от должности заместителя начальника Генштаба генерал-полковника В. А. Аболенса без согласования с его начальником – Н. В. Огарковым. Разговор с ним в ЦК закончился вопросом: “А чем будут заниматься рабочие на заводе?..”

Подобных примеров много. Все они свидетельствуют о непростой обстановке, в которой внедрялась система долгосрочного планирования. Но Алексеев шёл до конца. Он считал, что ПЦП (программно-целевое планирование) будет содействовать устранению возникающих между разными ветвями власти разногласий и обезопасит экономику страны от корпоративно принимаемых решений.

В этот период под руководством Н. Н. Алексеева был детально проанализирован опыт работы американского агентства перспективных военно-исследовательских проектов (ДАРПА), в частности, предоставления ДАРПА права выделения ассигнований на ведение “рискованных” разработок типа “Стелс”, “Терком” и других прорывных технологий, а также опыт управления созданием систем оружия по критерию министра обороны США Роберта Макномары “стоимость – эффективность” и места в нём программно-целевого планирования. Исходными данными для проведения исследований послужили результаты организованных Алексеевым прогнозных НИР, научными руководителями которых стали выдающиеся учёные страны – академики АН СССР А. П. Александров, Е. П. Велихов, В. П. Глушков, В. А. Котельников, Б. Е. Патон, А. М. Прохоров, А. А. Расплетин, Н. Н. Семёнов и В. С. Семенихин.

Высокий уровень прогнозных исследований позволил использовать их как основу для организации перспективных НИР по разным направлениям. Так, в ходе этих исследований были изучены возможные последствия в случае применения оружия массового поражения. Комплексный прогноз “ядерная зима” показал, что **полномасштабное применение атомного оружия в мировой войне приведёт к глобальной экологической катастрофе для всего человечества**. Благодаря этим исследованиям были определены важнейшие параметры будущего вооружения, в том числе разработаны тактико-технические требования на высокоточные разведывательно-ударные комплексы, средства радиоэлектронной разведки и РЭБ (радиоэлектронной борьбы) в интересах ведения информационной борьбы на сухопутных, морских ТВД, а также при проведении воздушных операций и операций в космосе.

На основе проведённой работы было показано ключевое значение системного анализа при решении военно-технических задач при разработке альтернативных вариантов строительства ВС страны и обоснованы основные принципы, гармонизирующие систему управления военного планирования. Среди них первый определял соответствие военных приготовлений перспективам развития разрабатываемой зарубежной техники передовых стран Запада и реальным угрозам извне; второй – соответствие военных расходов (потребностей в вооружениях) экономическим возможностям страны; третий устанавливал системный подход к планированию развития ВВТ: рациональное сочетание количества и типажа вооружения с развитием Вооружённых сил в целом.

Для решения этой задачи в помощь аппарату вооружения Алексеевым был подключён (по согласованию с Н. В. Огарковым) 27-й ЦНИИ Генштаба – управление генерала В. А. Баранюка. Несколько позже на его базе по инициативе Алексеева был создан Институт стандартизации и унификации ВВТ во главе с генералом И. М. Пенчуковым – 46-й ЦНИИ МО, который в кооперации с видовыми НИИ видов ВС как головной НИИ заказывал исследования по системному анализу разработанных Генштабом сценариев вооружённых конфликтов. Особое внимание учёных было обращено на обоснование оборонной достаточности обычных вооружений. Их разработка, производство и обслуживание составляли львиную долю (более 90%) всех расходов на военное-техническое строительство. В результате проведённой НИР был разработан методический аппарат, позволивший провести оценку огромной номенклатуры ВВТ и определить её оборонную достаточность.

* * *

Алексеев как начальник Вооружения всегда был общительным и доступным, он внимательно прислушивался к советам и предложениям своих соратников, ценил и поддерживал их дельную инициативу, умел сочетать воинскую субординацию с глубоким уважением к каждому человеку. И нет ничего удивительного в том, что наш аппарат всегда был дружным, надёжным, работоспособным. Естественно, на высокое доверие со стороны Н. Н. Алексеева мы

отвечали самоотверженной работой. А он защищал нас в сложных ситуациях, не считаясь с любыми авторитетами. Даже в тех случаях, когда ему это было непросто.

Как-то Алексеев поручил заместителю начальника группы специалистов вице-адмиралу Н. Г. Кутузову доложить заведующему Оборонным отделом ЦК И. Д. Сербину о создании вооружения для кораблей ВМФ и в рабочем порядке обсудить с ним проект готовящегося решения до представления министру обороны (члену Политбюро ЦК) А. А. Гречко. Возглавляемый Сербиным Отдел был последней инстанцией, готовившей важнейшие решения для ЦК КПСС. В силу этих обстоятельств он был особенно требовательным, а подчас и очень жёстким. Из-за дефицита времени работал допоздна. По какой-то причине, неизвестной адмиралу, Сербин неожиданно накричал на него и, обругав, выгнал из кабинета в присутствии знающих Кутузова конструкторов. Естественно, тот был возмущён. Дело дошло до А. Я. Пельше, тогда – председателя Комиссии Партийного контроля при ЦК, который обязал Сербина извиниться. Так как Кутузов уклонился от встречи со своим обидчиком, он был вызван к А. А. Гречко, в кабинете которого его встретил Сербин и принёс свои извинения.

Когда Алексееву был доложен кадровыми органами список на очередные увольнения выслуживших срок службы сотрудников аппарата, в котором значился Кутузов, Николай Николаевич вычеркнул из списка “неудобного” адмирала. Николай Георгиевич Кутузов был отправлен на пенсию через несколько лет, после того как он сам подал рапорт с просьбой об отставке.

Вспоминает генерал армии М. А. Гареев: “Одним из фундаментальных факторов, гармонизирующих систему военного управления, является вопрос о рациональном сочетании политики и военной стратегии”. Как это показательно! Когда в 1979 году Н. В. Огарков на Политбюро сказал, что ввод советских войск в Афганистан может иметь тяжёлые международные последствия, Андропов прервал его и заявил: “У нас есть кому заниматься политикой, вы решайте поставленную вам военную задачу”.

Решение о вводе войск в Афганистан было принято в отсутствие Косыгина, который тяжело болел, и вопреки позиции начальника Генштаба, которого поддерживал, вместе с другими членами Коллегии Минобороны, Н. Н. Алексеев. Об этом решении в Генштабе стало известно 10 декабря 1979 года. Сегодня очевидно: **болезнь и уход с поста председателя Совмина А. Н. Косыгина оказались для нашей страны роковыми.** Только политический авторитет Косыгина мог повлиять в создавшейся обстановке на позицию инициаторов этого решения: Андропова, Громыко и Сулова. Косыгин мог компетентно с цифрами в руках обосновать, что эта авантюра нанесёт непоправимый удар экономике страны. Наши войска в Афганистане не могли обойтись без строительства казарм, командных пунктов, дорог и военных аэродромов, требующих огромных затрат, не говоря уже о содержании и жизнеобеспечении находящихся в этой стране людей. **Повторюсь, это решение было принято без обсуждения на Коллегии Минобороны.** Теперь известно, что решение о вводе советских войск в Афганистан было принято в спешке, без необходимого анализа. Члены Коллегии считали, что “собственный Вьетнам” нам не нужен, – он приведёт только к усилению мятежного движения в Афганистане. В результате руководство нашей страны попало в ловушку американских спецслужб, главной задачей которых было втянуть СССР в афганскую авантюру, что, в конечном итоге, способствовало развалу Советского Союза.

* * *

Как заместитель министра, Николай Николаевич являлся главным организующим звеном коллектива опытных руководителей, отвечающих за конкретные предметные области программного планирования. Благодаря его влиянию, работа этих людей строилась в атмосфере творчества при полном доверии друг к другу. Эта аксиома распространялась также на работу с группами управления любого ранга – от начальника Вооружения Минобороны до заказчиков ВВТ, оборонных НИИ, КБ и аппарата Правительства.

Основные направления и Программы вооружения и военной техники до 1985 года, разработанные и внедрённые в практику по инициативе Н. Н. Алек-

сеева, были выпущены при его жизни отдельным документом Государственной комиссии СМ СССР по военно-промышленным вопросам. Позже постановлением ЦК КПСС и СМ СССР они были с уточнениями пролонгированы на 1986-1995 годы в рамках “Контрольных цифр расходов на оборону”. Прделанная Н. Н. Алексеевым работа получила высокую оценку. В 1979 году ему Указом Президиума Верховного Совета было присвоено звание “Маршал войск связи”.

Долгосрочное планирование выдержало проверку временем и приобрело особую значимость в рыночных условиях – при ограничении бюджетных ассигнований на нужды обороны. Эта методология позволяет формировать современную систему вооружения ВС России, последовательно её модернизируя и наращивая.

Работа по внедрению в практику перспективного планирования требовала от Н. Н. Алексеева огромного напряжения сил. Однако здоровья оставалось у израненного фронтовика всё меньше и меньше. В апреле 1980 года Н. Н. Алексеев перенёс инсульт. 12 ноября 1980 года его не стало...

На Новодевичьем кладбище ему установлен памятник работы скульптора Сонины. Именем Н. Н. Алексеева названа улица в Ростове Великом и одна из школ Нижнего Новгорода, построенная благодаря его депутатским заботам. В музее артиллерии Санкт-Петербурга открыта посвящённая ему экспозиция.

Человек может быть талантливым учёным, инженером, военачальником... Но есть особый талант, освещающий любую профессию, – это талант быть Человеком. Николай Николаевич прожил долгую жизнь, воспитал вместе со своей супругой Зинаидой Кузьминичной двоих детей. Но самое главное – он нашёл своё достойное место среди людей, а это дорогого стоит. Его последователи обязаны, имея за плечами богатейший задел, созданный их предшественниками, и в XXI веке обеспечить оборону и безопасность России, отдавая делу себя полностью, без остатка, как это делал советский маршал Алексеев.

Редакция журнала с искренней теплотой поздравляет своего давнего друга и автора, замечательного писателя и литературного деятеля Тимура Исхаковича Пулатова с 75-летием. Родившийся в сердце Азии, в древней Бухаре, городе, славном своими культурными традициями, Тимур Пулатов ещё в 60-е годы прошлого века вошёл в советскую литературу повестями и романами, сразу привлёкшими к себе внимания массового читателя своим восточным колоритом, богатством языка, причудливой изысканностью сюжета. В сложное время начала 90-х годов Тимур Исхакович возглавил Международное сообщество писательских союзов (МСПС), организацию, достойно заменившую собой прекративший существование Союз писателей СССР.

ВЛАДИМИР БОНДАРЕНКО

“ВЕЧНЫЙ ЖИД”

Поэт... поистине он — Вечный Жид...

Иосиф Бродский

Человек всегда соткан из противоречий. Особенно поэт. Вот и Иосиф Бродский, как он сам утверждает: “русский поэт, еврей и американский гражданин”. Или по-другому: “русский поэт, хотя и евреец”. У него есть стихи, явно противоречащие одно другому. В разные периоды, по разным причинам он сам пробовал отказаться от своего русского предназначения. У каждой нации есть свои народные герои. И позитивные, и не очень. К примеру, в России — Иванушка-дурачок. В каждом из русских есть какая-то доля Иванушки-дурачка. Вот и у еврейской нации ещё с древних времен есть такой вечно странствующий герой, легендарный Вечный Жид.

Сразу хочу чётко заявить, что к антисемитскому смыслу бытового понятия “жид” поначалу еврейская легенда, а затем и средневековая европейская легенда о “Вечном жиде” никакого отношения не имеет. Имя Ахасверус (Агасфер), которым Вечный Жид стал с XVII века именоваться в легендах большинства европейских народов, — это слегка изменённая форма имени персидского царя Ахашвероша из еврейских народных театральных представлений в Пурим по книге Эсфирь. В 1602 году в Германии была опубликована лубочная книга “Краткое описание и повествование о еврее по имени Ахасверус”. Эта книга имеет ещё одно длинное название: “Новое сообщение об Иерусалимском жиде, именуемом Агасфером, видевшем распятие нашего Господа Иисуса Христа и находящемся ещё в живых”. Рассказанная в книге история с чрезвычайной быстротой облетела всю Европу и навсегда захватила народное воображение. Зафиксировано более сотни легенд о Вечном Жиде. Другие имена Агасфера: Эспера-Диос — Надейся на Бога, Бутадеус — Ударивший Бога, Картафил — Сторож Претория. Во время пути Иисуса Христа на Голгофу Агасфер отказал ему в кратком отдыхе у своего порога и велел идти дальше. За это ему самому отказано было в упокоении до Второго пришествия Христа: он обречён из века в век безостановочно скитаться по Земле. Вечный Жид обречён на скитания. Он — еретик, враг Христа, но в то же время свидетель о Христе.

Вечный Жид возникал в воображении народов как неутомимый путешественник, который взбудораживал страны своим появлением. Появилось множество свидетелей, даже среди представителей привилегированных кругов, которые либо сами видели Агасфера, либо слышали от весьма уважаемых лиц о его появлении то тут, то там. Когда во времена Средневековья произносили: “*Der wandernde Jude*” в Германии, “*The wandering Jew*” в Англии, “*Le juif errant*” во Франции или “*L’ebreo errante*” в Италии, а в Чехии и в Польше “*Wieczny Zyd*”, — то все всегда знали, о ком идёт речь.

Вечного Жида представляли то неутомимым странником, то страдающим от мировой скорби, то злым духом, то провозвестником конца света, то символической фигурой, олицетворяющей несправедливое преследование евреев... О странствиях Вечного Жида охотно писали великие писатели, его рисовали великие художники, к примеру, Густав Доре. Вечный Жид – символ человечества, обречённого шагать по пути прогресса до конца мира. Видят в нём и аллегорическое изображение судьбы еврейского народа, изгнанного из своего отечества и блуждающего по свету. С этим охотно соглашались и сами евреи, несмотря на созданное специально для них государство Израиль и толстые кошельки, обречённые по характеру своему вечно странствовать по миру. Да они и сами не отрицают, что во многих из них сидит древняя частичка Вечного Жида.

Не смог уйти от своего национального прототипа и Иосиф Бродский. Сама эмиграция его, переезд по политической причине из одной страны в другую вряд ли приближала поэта к образу мирового героя. Но кто будет отрицать, что Иосиф Бродский более, чем Борис Пастернак или Осип Мандельштам, был *Le Ju if errant*, буквально: *странствующим евреем*?

Кто заставлял Иосифа Бродского уже после эмиграции в Америку постоянно мотаться то в Мексику, то в Англию, то в Швецию, то в Италию? Это уже не поездки израильянина, немца, француза или русского из своей родной страны в поисках дорожных приключений. Это выход за пределы судьбы русского поэта, выход в иную ипостась *вечного странника*, в данном случае, в ипостась Вечного Жида. Он сам себя в стихах переселяет в разные точки пространства, покойного и горячо любимого им отца отправляет зачем-то в Австралию, сравнивает себя то с Тиберием, то с Постумом, то с пеплом, сгоревшим дотла. *Гонимый ветром странник*, частично *с русской душой*. Как ни печально для меня и как ни парадоксально, но последнюю, уже вечную точку в его ипостаси Вечного Жида поставила его любимая женщина – его вдова Мария Соццани. Гражданин России в результате политической эмиграции стал гражданином США. В этом нет ещё вечного странничества – таковы судьбы миллионов русских эмигрантов из первой ли, из второй или третьей волны. Он родился в России, был русским поэтом, уехал в США, даже купил себе там место на кладбище (какое уж тут странничество?) и был похоронен в Венеции, где, по сути, никогда и не жил – так, наведывался. Это ли не удел всех вечных странников?! Да, я знаю, что сам Бродский не собирался себя отправлять в Венецию, хотел мирно упокоиться на американском кладбище, отринув уже и Россию, и Васильевский остров, как ушедшее прошлое. Не оставял он и никакого завещания на этот счёт, что бы сегодня ни придумывали иные журналисты. Но не иначе как сама судьба заставила его уже после смерти воплотиться в *странствующего еврея*. Почти никогда не дающая интервью его вдова Мария Соццани как-то разговорилась с польской журналисткой Ирэнной Грудзиньской-Гросс и призналась ей: “Идею о похоронах в Венеции высказал один из его друзей. Это город, который, не считая Санкт-Петербурга, Иосиф любил больше всего. Кроме того, рассуждая эгоистически, Италия – моя страна, поэтому было лучше, чтобы мой муж там и был похоронен. Похоронить его в Венеции было проще, чем в других городах, например, в моём родном городе Компиньяно около Лукки. Венеция ближе к России и является более доступным городом...” Америку вдова откровенно не любила и оставаться в ней с дочкой не желала, и потому тело мужа увезла со временем к себе на родину. По-человечески это понятно, но о мистическом перемещении странника в “вечное странствие” уже никто и не думал. Вот так и поплыл по волнам вечного странствия теплоход “Иосиф Бродский”. Но в жизни своей поэт часто решительно боролся с проявлениями в себе этого Вечного Жида. Его имперское “я” не хотело быть ничейным. В конце концов, он даже после отъезда из России писал:

*Как бесщётным жёнам гарема всеильный Шах
Изменить может только с другим гаремом,
Я сменил империю. Этот шаг
Продиктован тем, что несло горелым...*

Это отрывок из “Колыбельной Трескового мыса”, одного из лучших американских имперских его стихотворений. Из русского поэта Иосифа Бродско-

го прорастающий американский поэт Джозеф Бродски — это тоже иная ипостась личности. Иная судьба, иное и отношение к ней. В такой ипостаси жили и американский Набоков, и Джозеф Конрад, и многие другие. . . А вот обрести ещё одну ипостась — Вечного Жида — не каждому еврею суждено. Не подвести под неё ни Пастернака, ни Мандельштама, ни друга Иосифа Бродского Евгения Рейна. . . Не подвести под неё и наших американских эмигрантов.

Как пишет Элкан Натан Адлер, известный еврейский путешественник и собиратель древних манускриптов: “Странствующий жид — вполне реальный персонаж великой драмы Истории. В самые отдалённые города широко раскинувшейся Римской империи путешествовал он в качестве кочевника и переселенца, беженца и завоевателя, коллекционера и посла. Его интерес к другим странам, расположенным поблизости и вдалеке, пробудило чтение Священного Писания. . . Он разговаривал на многих иностранных языках и мог объясниться с любым евреем, в какой бы стране тот ни жил”. И уже заканчивая своё увлекательное путешествие-повествование о “Детях Вечного Жида” Натан Адлер пишет: “Он по-прежнему является связующим звеном между рассеянными по миру членами еврейской диаспоры” . . .

Мне этот персонаж, эта его ипостась далека. Но не видеть его периодических побегов в мир Вечного Жида я не могу. Попробую вкратце охарактеризовать этого совсем иного персонажа, вырастающего из противоречивой личности Иосифа Бродского.

Этот его лик проявлялся в нём ещё и в петербургский период. Думаю, он упорно боролся с ним, подавлял его, а позже, уже в Америке, махнул на него рукой. Пусть чередуются в нём несколько разных ликов: русского поэта, англоязычного эссеиста и гражданина США и Вечного Жида. Думаю, в самом Израиле Вечных Жидов нет, да и среди правоверных иудеев их не отыщется. Как писал Михаил Крепс в своей содержательной книге о поэзии Бродского, иные стихи его — это “вечные жида, блуждающие среди кривых зеркал”. Поэзия Вечного Жида — это поэзия “совершенного никто”, написанная неизвестно где и неизвестно когда, поэзия стареющего одинокого вечного странника:

*Но, видать, не судьба, и года не те,
И уже седина стыдно молвить где,
Больше длинных жил, чем для них кровей,
Да и мысли мёртвых кустов кривей.*

Его стихи уже стали адресоваться неизвестно откуда, неизвестно когда и неизвестно кому:

*Ниоткуда с любовью, надцатого мартабря,
дорогой уважаемый милая, но неважно
даже кто, ибо черт лица, говоря
откровенно, не вспомнить уже, не ваш, но
и ничей верный друг...*

Расплывчатость, размытость всего мира, и внешнего, и внутреннего, вне времени и пространства, характерны для этого лика поэта. Он затерялся для всех, в том числе и для самого себя. Такому поэту Бродскому и отказывают в праве называться “русским поэтом”, именуя его в лучшем случае “мировым поэтом”, наши известные критики, в частности, Вадим Кожинов. О таком страннике пишет в недавно вышедшей книге о нём Александр Бобров.

Его противоречивость, совмещение несовместимого, соединение вульгарного и высокого стиля, пусть и произрастающее из уличного детства и общей необразованности питерского шпанистского подростка, были погружены в ничейный мир, откуда он метал свои стрелы. В один и тот же период времени он мог искренне написать, вспоминая свою любимую Марину Басманову: “До сих пор, вспоминая твой голос, я прихожу в возбуждение. . .”. А позже, разозлившись, заявил, обращаясь к бюсту римского императора Тиберия: “Приветствую тебя две тыщи лет/ спустя. Ты тоже был женат на бляди./ У нас много общего. . .”. Впрочем, такие же контрасты мы находим в его стихах и по отношению к России. То полное обожание и возвышение:

*Не обманешь народ. Доброта — не доверчивость. Рот,
Говорящий неправду, ладонью закроет народ,
И такого на свете нигде не найти языка,
Чтобы смог говорящий взглянуть на народ свысока.*

То полное пренебрежение:

*Входит некто православный, говорит: “Теперь я главный.
У меня в душе Жар-птица и тоска по государю.
Скоро Игорь воротится насладиться Ярославной.
Дайте мне перекреститься, а не то — в лицо ударю...”*

И то, и другое пишется абсолютно искренне. Это и есть разные ипостаси разных поэтов: русского поэта Иосифа Бродского и вечно странствующего еврея.

В Америке он пробует уйти в англоязычную поэзию. Александр Кушнер писал в заметках о Бродском, что, когда они встретились в Нью-Йорке после десятилетней разлуки, в лице Иосифа появилось что-то новое. Кушнер предположил, что постоянная жизнь в англоязычной среде заставила развиваться группу лицевых мышц Иосифа, которые раньше были неразвитыми. Он переводил на английский собственные стихи, сохраняя метр и рифму, он писал стихи по-английски, исповедуя те же правила. В результате он перессорился со многими переводчиками и навлек на себя безжалостную ругань поэтов и критиков.

И впрямь, как писал его друг Кейс Верхейл ещё в сентябре 1972 года, после перелёта Бродского в Америку: “В последний раз я слышал его голос, когда он был в Вене. Он не мог взять в толк, что же с ним произошло, — один раз принялся горячо рассказывать мне о первом знакомстве с Западом и о том внимании, которым он, поэт, в России сумевший опубликовать лишь несколько строк из написанного, вдруг оказался окружён; в остальном же был мрачен и полон тихого бешенства. На открытке с фотографией *Tower Bridge*, которую он послал мне из Лондона незадолго до отъезда в Америку, были, в частности, такие слова: “Если всерьёз — я мёртв, если не всерьёз: мне дали место *poet in residence* в *Ann Arbor*”. . . . Позже, уже справившись со смелой империи и языка, Бродский всё-таки повторяет в интервью 1987 года: “Я полагаю, что страх, высказанный в 1972 году, отражал опасение потерять своё “я” и самоуважение писателя. Думаю, что я действительно не был уверен — да и не очень уверен сегодня, — что не превращусь в дурачка, потому что жизнь здесь требует от меня гораздо меньше усилий, это не столь изощрённое каждодневное испытание, как в России”. В 1973 году появилась формула для выражения человека в новом пространстве — “совершенный никто, потерявший память, отчизну, сына” (“Лагуна”). Этот его период хорошо проанализировал Владимир Козлов в статье “Непереводимые годы Бродского”. Они и впрямь непереводимы. Этого американского англоязычного Бродского и не воспринимают всерьёз многие наши отечественные критики.

Наверное, его бы не воспринимал и я, но зачем мне непереводимый англоязычный поэт Бродский, когда для меня есть великолепный русский поэт Иосиф Бродский? Англоязычного поэта Бродского большинство американских и английских поэтов тоже не воспринимали. И поделом. Может быть, Америка для бытовой жизни и есть самое лучшее место для вечного странника, но вряд ли для русского поэта. Он в каком-то смысле сам себя “изгнал”. Но не потерял ли он со временем русскость? Как он сам иронично говорит, отвечая на вопрос финского корреспондента: “Есть ещё более серьёзный упрёк — что Вы утрачиваете свою русскость. . . . Если её можно утратить — грош цена такой русскости. . . .” Он сам же и анализирует своё метафорическое “изгнание”: “Если бы нам пришлось определить жанр жизни изгнанного писателя — это была бы, несомненно, трагикомедия. Благодаря своему предыдущему воплощению, он способен почувствовать социальные и материальные преимущества демократии гораздо острее, чем её уроженцы. Однако по той же самой причине (главным сопутствующим результатом которой является языковой барьер) он оказывается совершенно неспособным играть сколь-нибудь значительную роль в этом новом обществе. Демократия, в которую он прибыл, обеспечивает ему физическую безопасность, но делает его социаль-

но незначительным”. Он сам сползает в изоляцию и поэтическую, и языковую. Как он сам о себе говорит, что прибыл в США уже “без своей Музы”. Что может быть страшнее для поэта? “Здесь утром, видя скисшим молоком, / молочник узнаёт о вашей смерти. / Здесь можно жить, забыв про календарь, / глотать свой бром, не выходить наружу...”

Англоязычного поэта Бродского внимательно разбирает талантливый литературовед А. Волгина. Она права, когда сравнивает английского и русского Бродского с Льюисом Кэрролом: “Английская королева Виктория, прочитав удивительную сказку “Алиса в стране чудес”, потребовала, чтобы ей принесли “все книги этого автора”. Каково же было её изумление, когда на её письменный стол легли тома математических трактатов! Приближенные Её Величества переусердствовали: вместе с книгами Льюиса Кэрролла – тонкого сказочника, мастера поэзии нонсенса – они принесли труды Чарльза Латуиджа Доджсона – известного математика, адепта чистой логики. Однако биографически два этих автора – одна и та же личность!”

То же самое случилось в эмиграции и с Иосифом Бродским. Он и впрямь становится там поэтом *Joseph Brodsky*. Совсем другим человеком, другим поэтом. Не буду касаться великолепной англоязычной эссеистики Бродского – в этом жанре двузачность удаётся и Набокову, и Конраду, и Бродскому в равной мере. Но Иосиф Бродский, прежде всего, – поэт. При жизни Бродского за рубежом в Великобритании и США вышли в свет четыре сборника его стихотворений на английском языке. А. Волгина абсолютно права, когда упоминает о, может быть, лучших англоязычных поэтах, о Крэге Рейне, Питере Портере и других, которые пишут об английской поэзии Бродского скорее как об “антологии плохой поэзии”. Волгина приводит конкретные примеры разгромной критики англофонного Бродского: “На страницах *The Observer* Питер Портер возмущённо задаётся вопросом, “так ли хорошо Бродский и компания переводят с русского на английский”. Как полагает рецензент, Бродский “забалтывается, повторяется и нисколько не интересуется эффективностью своих рифм, ритмов и выразительных средств. Слова валяются друг на друга, шутки не выходят, а сленг используется в самых неподходящих местах”. В отличие от Джорджа Циртеса, находящегося в сборнике Бродского лишь отдельные недочёты, Портер воспринимает как исключения удачные строки и лаконичные, не позёрские стихотворения. В целом же он оценивает книгу чрезвычайно низко. Заметку о Бродском Портер завершает прозрачным намёком: судя по сборнику “*To Urania*”, Нобелевская премия, присуждённая Бродскому, была политическим демаршем, а не заслуженной поэтом наградой.

Дональд Дэви (Donald Davie) – известный критик и поэт, – хотя и выражает своё мнение не так резко, однако его оценка едва ли не более негативна. Его статья “Насыщенная строка” – не краткая эмоциональная реплика, подобная заметке П. Портера. В ней находится место и анализу, и обширным цитатам, и историческим справкам. Дэви полагает, что английские стихотворения Бродского до отказа перегружены тропами, “гиперактивными метафорами”, игрой слов. По мнению рецензента, поэт, скрупулёзно воссоздавая размер оригинального стихотворения в переводе, упускает из виду тот факт, что строгие метры русской поэзии абсолютно неприемлемы для английской просодии: “Наши ритмы, даже дробные десятисложники Марло или Драйдена, менее чётки и более вариативны, нежели ритм трёхсложных размеров, характерных для русской классической поэзии. Коль скоро это так, последствия чрезвычайно важны, ибо это означает, что рокошущая русская строка благополучно управляется с громыхающими в ней блистательными тропами и “конкретными физическими деталями”, под весом которых более лёгкая английская спотыкается, запинаясь и запутывается”. Употребление анжанбеманов в англоязычной поэзии, по мнению критика, также требует значительно большей деликатности, нежели демонстрирует Бродский в своих автопереводах: “Коль скоро единство строки в английской поэзии менее определённо, нежели в русской, анжанбеман подвергает это единство куда большему риску, чем думает Бродский”. В результате в ряде стихотворений Бродского сохраняется только метрическое и графическое, но не музыкальное, интонационное единство. Строфы Бродского в переводе выглядят громоздкими, а сложная рифмовка – искусственной, вымученной. Финал рецензии Дональда Дэви, пожалуй, ещё более нелицеприятен, чем реплика Питера Портера: Бродский, разумеется, “высокоодарённый поэт, серьёзно относя-

щийся к своему призванию”, но критики, поторопившиеся с высокими оценками его англоязычного творчества, сослужили ему плохую службу, а присуждение ему в возрасте 47 лет Нобелевской премии было не только преждевременно, но и губительно. “Мы сделали из него монумент и икону, прежде чем научились видеть в нём страдающего человека и добросовестного мастера”, — полагает Дональд Дэви”.

Далее А. Волгина приводит рецензию Кристофера Рида “Великая американская катастрофа”: “У Бродского, очевидно, возникают проблемы не только с временами, но и с предложениями, союзами, порядком слов в предложении, образованием формы родительного падежа и прочими мелочами, которые, возможно, и не укладываются в рамки учебника грамматики, но, тем не менее, используются на практике и демонстрируют уровень лингвистической подготовки говорящего или пишущего”. Автопереводы Бродского звучат не по-английски: это “переводческий диалект”, неологически созданный на грани оригинального языка и языка перевода. Бродский взялся за перевод и сочинение на английском без должной подготовки, считает критик, он слишком поторопился, объявляя себя главным, если не единственно полномочным интерпретатором своей поэзии на английском языке и диктуя свою волю специалистам, которые самостоятельно справились бы с такой работой значительно более квалифицированно: “Сама ткань и движение стиха с его какою-то, его на скорую руку сделанными анжанбеманами, его отчаянными метаниями между многословием и недоговорённостью, и общей своеобычностью его тона, по всей видимости, поддерживают такую интерпретацию”...

Противопоставить такой критике можно разве что восторженное эссе близкого друга Иосифа Бродского Дерека Уолкота. Зачем я противопоставляю русскую поэзию Иосифа Бродского его поздний американский опыт? Я же не собираюсь, подобно Крегу Рэйну, ведущему американскому поэту, ставить под вопрос его Нобелевскую премию. Рэйн в статье “Репутация, подлежащая инфляции” и впрямь разгромил Бродского. Как пишет Волгина: “Статья К. Рэйна вызвала значительно больший резонанс: в ней Бродский критикуется не только как англоязычный поэт, но и как эссеист, не только как версификатор, но и как мыслитель; вопрос уже даже не в том, заслужил ли он Нобелевскую премию, а в том, оправданно ли вообще его международное признание”. Крэг Рэйн приходит к следующему выводу: “Он был нервной посредственностью мирового класса, блефующей, но знающей, сколь ненадёжно его чувство английского языка, ставшее основой для его международной репутации”.

Эта полемика мне интересна потому, что она, по сути, объясняет нашу отечественную, как правило, разгромную русскую критику позднего американского Бродского — критику Александра Солженицына, Наума Коржавина, Льва Наврозова. Но ощутив свою англоязычную беспомощность, Иосиф Бродский и в поздних стихах на русском языке, от злости и гордыни, пробует уйти в поэзию странничества, в поэзию Вечного Жида. Это ему удаётся в большей мере, чем его англоязычная поэзия, но именно странническая поэзия Бродского вызывает неприятие многих наших читателей и авторов.

Коснусь книги моего друга Александра Боброва “Вечный странник”. Я сначала хотел было поспорить с ней, но понял, что мы же пишем с ним совсем о разных Бродских. Скорее, я соглашусь с Волгиной в её выводах: “Однако здесь и таится опасность, которой сам Бродский, видимо, не предвидел: его подлинное “я” будет окончательно закрыто для англо-американского читателя *Joseph’om Brodsky* — смелым реформатором языковой нормы, блестящим экспериментатором в области стиха, но поэтом, отнюдь не равновеликим русскому оригиналу — Иосифу Бродскому”. Я бы только добавил, что не только англофонный, но и русскоязычный поздний *Джозеф Бродский* уже не равен своему русскому оригиналу.

Англофонный и поздний русскоязычный поэт попал под явное влияние того самого Вечного Жида, который немало путешествует по миру, равно удалённый от глубинной жизни той или иной страны или нации, лишь прислонённый к местам странствий. Блестящий американский поэт Крэг Рэйн не приемлет лишь прикасающегося к его стране и американской поэзии вечно странника Бродского, талантливый русский поэт Александр Бобров так же, как и Наум Коржавин или Евгений Евтушенко, не приемлет лишь прикасающегося к русской поэзии, к русской культуре вечно странника Иосифа Бродского его позднего американского периода. Как писал Евгений Евтушенко: “Брод-

ский — великий маргинал, а маргинал не может быть национальным поэтом”. И я бы полностью согласился с Евтушенко, но вряд ли он говорит о стихах Бродского периода его северной ссылки, вряд ли в своей книге Александр Бобров оспаривает его стихи “Северный край, укрой. . .” или “В деревне Бог живёт не по углам. . .” Да и иные его эмигрантские стихи, в том числе знаменитое “На независимость Украины”, написаны явно с русских или, как пишет Бродский, с “кацапских” позиций:

*То не зелёно-квитный, траченный изотопом,
— жовто-блакитный реет над Конотопом,
скроенный из холста: знать, припасла Канада, —
даром, что без креста: но хохлам не надо.
Гой ты, рушник-карбованец, семечки в потной жмени!
Не нам, кацапам, их обвинять в измене.*

.....

*Процевайте, хохлы! Пожили вместе, хватит.
Плюнуть, что ли, в Днипро: может, он вспать покатит,
брезгуя гордо нами, как скорый, битком набитый
отвёрнутыми углами и вековой обидой.
Не поминайте лихом! Вашего неба, хлеба
нам — подавись мы жмыхом и колобом — не треба.
Нечего портить кровь, рвать на груди одежду.
Кончилась, знать, любовь, коли была промежду.*

Кстати, после выхода двухтомника, составленного уже покойным Львом Лосевым, я увидел, что по настоянию Фонда по управлению наследственным имуществом Бродского из двухтомника это стихотворение выбросили, составителю еле удалось сохранить лишь упоминание о нём. А меня поражает его соборное “мы”, “нам, кацапам. . .”.

Вот и получается, что мы с Бобровым пишем как бы о разных поэтах. Боброва, как и Солженицына и многих других, отталкивает время от времени просыпавшаяся в Иосифе Бродском (но отнюдь не главенствующая в нём) ипостась Вечного Жида, рождавшая такие стихи:

*То вид отечества: гравюра,
На лежаке солдат и дура.
Старуха чешет мёртвый бок.
То вид отечества: лубок.
Собака лает, ветер носит,
Борис у Глеба в морду просит...
Пускай художник, паразит,
Другой пейзаж изобразит.*

Напомню, однако, что Бобров сам же в книге своей и опровергает себя, приведя и другие стихи Бродского: “Вот пророческие стихи, чисто имперские:

*Лучше быть голодным и усталым,
Чем холопом доедать обѣдки,
Лучше быть в Империи капралом,
Чем царём — в стране-марионетке.*

Как это злободневно звучит сегодня по отношению ко всем странам, тяв-кающим на Россию! Но Бродский в нелепой кофте из местечкового фильма никогда бы не написал таких строк. . .”

Так о чём же спорить с тобой, Саша? Из 350 страниц якобы антибродской книги Боброва страниц 300, как минимум, написаны в его возвеличивание, с цитатами из Якова Гордина, Анатолия Наймана, Валентины Полухиной. Александр Бобров размышляет почти так же, как я, о “лучшем периоде” его жизни на Севере: “А ведь туда приезжали и его друзья, и любимая, там были написаны самые светлые строки, наконец: “В деревне Бог живёт не по углам. . .” И сам себя оспаривает. Приведены целиком и две мои статьи о русском поэте Иосифе Бродском. Те же стихи, где Бродский отрывается от рус-

ской культуры, впадает в англофонность или “странничество”, – стихи “совершенного никто, человека в плаще” – особо нигде и не популяризируются в России. Это и на самом деле стихи цикла “Собака лает, ветер носит...”, стихи всем чужеватого Вечного Жида, но не они же принесли поэту мировую славу!

Стихи позднего Бродского не жалуют и его давние друзья. Как пишет Евгений Рейн, Бродский “...отказался от того, что так характерно для всей русской лирики – темпераментной, теплокровной, надрывной ноты”. С Евгением Рейном полностью солидарна и Елена Шварц: “Он привил совершенно новую музыкальность и даже образ мышления, не свойственный русскому поэту. Но нужно ли это русской поэзии? Я не уверена, что это русский язык. Это какой-то иной язык. Каждым поэтом движет какая-то стихия, которая за ним стоит. Холодность и рациональность мало свойственны русской поэзии. Ей свойственна внутренняя и глубокая надрывность”.

Отмечу только, что отстранение и даже отчуждение в ипостаси вечного странника у Иосифа Бродского относится не только к России или к Москве, но и к Америке, к Венеции, к Стамбулу и уж тем более к абсолютно чуждому ему Израилю. Да, можно возмутиться тем, что Бродский буквально кощунствует, когда пишет своё “Представление”, но такие же дешёвые раёшники он устраивал и по отношению к Америке, всюду издевался над всем Востоком, от Китая до Турции, впрочем, любил поиздеваться и над самим собой. Ведь это же он о себе самом пишет:

*Гражданин второсортной эпохи, гордо
Признавал он товаром второго сорта
Свои лучшие мысли, мыслишки же прочих
Некондицией вовсе считал, пророка.*

Ему не нужна была героическая биография, он хотел жить так: “Не знаю я, известно ль вам, что я бродил по городам и не имел пристанища и крова?...” Это ли не эпиграф ко всем странствиям Вечного Жида?

Мне не хватило в книге Боброва именно хронологии и анализа пути странствующего Вечного Жида. В аннотации к книге Боброва читаем: “Английская профессорша Валентина Полухина издаёт книгу за книгой и в каждой талдычит: “Я считаю, что Бродский действительно своего рода Пушкин XX века – настолько похожи их культурные задачи... Если же говорить о главном, то я не встретила ещё ни одного русского поэта, который не страдал бы комплексом Бродского... Его не обойти. Ему надо либо подчиниться и подражать, либо отринуть его, либо впитать в себя и избавиться от него с благодарностью. Последнее могут единицы. Чаще можно встретить первых или вторых”. Автор книги – определённо из вторых, из решительно отринувших. Бродский породил множество эпигонов и подражателей. Про одного из них – Александра Кушнера – сказал так: “грызун словарного запаса”. Это определение, по мнению автора, как нельзя более полно относится и к самому антигерою книги”.

Никак не могу отнести Сашу Боброва к числу “отринувших” – чересчур уж долго он Бродского “отрывает”! На протяжении 350 страниц Бобров, скорее, по-своему, но именно “впитывает Бродского в себя”, то со знаком “плюс”, отмечая его “светлые” и “имперские” стихи, то со знаком “минус”, не принимая его путь странничества, но так и не дойдя в этом неприятии до чёткого определения Вечного Жида.

В одном из интервью на вопрос, кто он на самом деле, Бродский дал исчерпывающий ответ: “Я чувствую себя русским поэтом, англоязычным эссеистом и гражданином Соединённых Штатов Америки”. Вот и нужно написать о нём три книги: о русском поэте (что я и делаю), о блестящем англоязычном эссеисте и благополучном и даже достаточно обывательски законопослушном гражданине США. Но может быть и ещё одна книга, которой пока что нет: об ипостаси странствующего еврея. Увы, Бобров не сумел сконцентрироваться на этом. Парадоксально, но, думаю, его Бродский чересчур пленил его своими лучшими стихами. Более злые книги вышли у Владимира Соловьёва и у Наума Коржавина.

Как русский поэт, Иосиф Бродский даже в свой американский период жалеет о разрушенной империи, называет себя “мы, кацапы...” и даже время от времени рвётся плюнуть на всё и поехать в Россию, сам же себя и останавливает: “Время от времени меня подмывает сесть на самолёт и приехать

в Россию. Но мне хватает здравого смысла остановиться. Куда мне возвращаться? Ведь это теперь уже другое государство, чем то, в котором я родился. Я по-прежнему думаю об этой стране в категориях Союза, не России, с этой страной меня связывает только прошлое. Прошлое, которое дало мне абсолютно всё, дало понимание жизни. Россия – это совершенно поразительная экзистенциальная лаборатория, в которой человек сведён до минимума, и потому ты видишь, чего он стоит. Но возвратиться в прошлое нельзя и не нужно. У человека только одна жизнь, и когда справедливость торжествует на тридцать или сорок лет позже, чем хотелось бы, человек уже не может этим воспользоваться. Поздно. К сожалению, поздно. Я не хочу видеть, во что превратился тот город Ленинград, где я родился, не хочу видеть вывески на английском, не хочу возвращаться в страну, в которой я жил и которой больше нет. Знаете, когда тебя выкидывают из страны – это одно, с этим приходится смириться, но когда твоё Отечество перестаёт существовать – это сводит с ума”...

Парадоксально, но Иосиф Бродский не хочет возвращаться именно в перестроенный Петербург, где все вывески на английском и все названия фирм звучат по-английски.

Уже не как американский гражданин и англоязычный эссеист, а как “странствующий по миру еврей” Иосиф Бродский предпочитает стать “совершенным Никто” и писать “Ниоткуда с любовью...”. Но ему никогда не преодолеть дистанцию между “русским” и “англоязычным” Бродским. Англоязычный читатель по обе стороны океана, когда воспринимает его книгу стихов не как переводное издание, а как сборник англоязычной поэзии, созданной поэтом по имени *Joseph Brodsky*, чьё имя стоит на титульном листе, недоумевает, за что же ему дали Нобелевскую премию, и думает про себя: очевидно, у него есть нечто выдающееся, написанное по-русски? Авторская личность “*Joseph Brodsky* – англоязычный поэт-переводчик” так и остаётся вторичной. Главное, что это прекрасно понимал и сам Иосиф Бродский. В разговоре с Соломоном Волковым о “неминуемом переходе на англоязычные рельсы” он заметил: “Это и так, и не так. Что касается изящной словесности – это определено не так. <...> Но стихи на двух языках писать невозможно, хотя я и пытался это делать...” О том же поэт говорил и Свену Биркертсу: “Прежде всего, мне хватает того, что я пишу по-русски. А среди поэтов, которые сегодня пишут по-английски, так много талантливых людей! Мне нет смысла вторгаться в чужую область. Стихи памяти Лоуэлла я написал по-английски потому, что хотел сделать приятное его тени <...> И когда я закончил эту элегию, в голове уже начали складываться другие английские стихи, возникли интересные рифмы <...> Но тут я сказал себе: стоп! Я не хочу создавать для себя дополнительную реальность. К тому же пришлось бы конкурировать с людьми, для которых английский – родной язык. Наконец – и это самое важное – я перед собою такую цель не ставлю. Я, в общем, удовлетворён тем, что пишу по-русски, хотя иногда это идёт, иногда не идёт. Но если и не идёт, то мне не приходит на ум сделать английский вариант. Я не хочу быть наказанным дважды...”

Его английские автопереводы – это тень русского Бродского... Впрочем, о печальной судьбе своей в роли “странствующего еврея” Иосиф Бродский сам размышляет в стихотворении “Пятая годовщина” – о пятилетии своей эмиграции, своего странствия по миру.

Когда, работая над образом Иисуса, прекрасный русский скульптор, причем, еврей по национальности, Марк Антокольский раздумывал над судьбами еврейского народа, у него появилась мысль изобразить еврейский народ в образе Вечного Странника. Вот что он писал корреспондентке, которая пользовалась его доверием: “У меня два сюжета, которые меня одинаково сильно занимают. Первый – это Вечный Жид – исхудалая, жилистая фигура, насколько усталая, настолько же и энергичная. Оборванный, обросший, съёжившись, идёт он безостановочно против бури и ветра, который развеивает остатки его лохмотьев. Это эмблема не только еврейства, но и всех угнетённых”. Второй сюжет – святая мученица времен раннего христианства: “по-видимому, ещё не римлянка, а еврейка...” Увы, воплотить замысел Марк Антокольский не успел...

Пришлось этот образ, даже не называя, воплощать своей позднеэмигрантской жизнью Иосифу Бродскому. Напомним, что в Средневековье евреев

называли “свидетельствующими”, так как считалось, что Господь хранит евреев как живое свидетельство слов и деяний Иисуса. Крах идеи Крестовых походов немало добавил к перспективам установления Христова царства на земле. Вечный Жид – это одно из проявлений “мировой скорби”, охватившей европейский мир... Сам Иосиф Бродский не пишет поэмы “Вечный Жид”, но своей эмигрантской жизнью и поздней поэзией в целом он – осознанно или нет? – становится ипостасью Вечного Жида.

Существует же музейный эталон Вечного Жида. Вечный Жид – общепринятый эталон всего еврейского. Все основные параметры и характеристики Вечного Жида были определены австрийским исследователем еврейского происхождения Мартином Бубером и впоследствии одобрены с точки зрения религиозного закона главным ашкеназским раввином Палестины, и академиком Ландау – со стороны конвенциональной науки. Этот эталон Вечного Жида хранится в Еврейском музее в Берне. Многочисленные попытки государства Израиль договориться с швейцарским правительством о переносе Вечного Жида в Иерусалим не увенчались успехом.

Может быть, этот образ и переходит время от времени в разные реальные личности, и в какой-то момент это случилось с Иосифом Бродским?

Сам Иосиф Бродский размышляет на эту тему так: “Никто не вбирает в себя прошлое с такой полнотой, как поэт, хотя бы из опасения пройти уже пройденный путь. (Вот почему поэт оказывается так часто впереди “своего времени”, занятого, как правило, подгонкой старых клише.) Что бы ни собирался сказать поэт, в момент произнесения слов он сознаёт свою преемственность. Великая литература прошлого смиряет гордыню наследников мастерством и широтой охвата. Поэт всегда говорит о своём горе сдержанно, потому что в отношении горестей и печалей поистине он – Вечный Жид...”

Он сам выбрал себе защитную нишу в эмиграции, нишу Вечного Жида, нишу странствующего Никто, не желая становиться полноценным американским гражданином. Вскоре после отъезда в США в 1972 году, узнав о смерти друга Сергея Чудакова (как оказалось, смерти вымышленной, не имевшей места в действительности), Иосиф Бродский посвятил ему стихотворение “На смерть друга”:

*Может, лучшей и нету калитки в ничто,
Человек мостовой, ты сказал бы, что лучшей не надо,
Вниз по тёмной реке уплывая в бесцветном пальто,
Чьи застёжки одни и спасали тебя от распада.
Тщетно драхму во рту твоём ищет угрюмый Харон,
Тщетно некто трубит наверху в свою дудку протяжно.
Посылаю тебе безымянный прощальный поклон
С берегов неизвестно каких. Да тебе и неважно.*

Замечательное стихотворение! Но уже и не русского пасынка, и отнюдь не американского приёмыва, а странствующего Вечного Жида. Эта десятижды повторенная в разных – и проходных для него, и знаковых – стихах декларация своего существования в “нигде”, адресованная в “ничто”, написанная “неизвестно когда”, – она-то, наверное, и есть суть просыпавшегося в Бродском Вечного Жида? Вечный Жид в каком-то смысле вненационален, это еврей в вечном изгнании, никак не иудей по вере и не привязанный к месту жительства израильтянин. Поэт Виктор Куллэ пишет применительно к Бродскому: “Не знаю, существует ли на генетическом уровне еврейская тяга к странствиям. Возможно, жадность к миру, стремление всё увидеть своими глазами, везде побывать и является отличительной чертой еврейского народа...” Наблюдение верное, но, во-первых, я бы не назвал эту тягу обще-еврейской чертой – местечковое еврейство совсем иное, да и иудаисты принципиально другие. Во-вторых, в этих странствиях Вечного Жида при всей его жадности к миру нет желания принять в себя этот мир. Об этой ипостаси так чётко пока ещё не писали ни друзья и поклонники поэта, ни его враги. Здесь нет антирусскости, или антиамериканизма, или антиеврейства, а есть серое осмысленное “ничто”. Каким бы дикарём и авантюристом ни был его друг Сергей Чудаков, он-то всегда был национален.

Олег Осетинский интересно сравнивает Иосифа Бродского с Сергеем Чудаковым, ныне почти забытым поэтом, другом Бродского: “Оглушены трудом

и водкой/ В коммунистической стране,/ Мы остаёмся за решёткой/ На той и этой стороне!” — писал незабвенный Серж Чудаков в 62-м... А в 1989-м, в городе Риме, Иосиф Бродский спокойно сказал мне:

— Если по правде, то Нобелевку нужно было дать Серёже. Я серьёзно.

— А как же — зло стное? — я хохотал. — “Злостное неповиновение”! Ты вот вроде “политический”, — но корректный!

— Я — корректный? — как бы обиделся Бродский. — А кто сочинил вот это: “Лучший вид на этот город — если сесть в бомбардировщик!”

— Так это ж письменность, Ёсик! Ты ж не грыз милиционеров, не выпрыгивал из зала суда на Сивцевом, не продавал девиц киношникам!

— Да-да! — Бродский грустно качнул головой. — Конечно, нобелевцы никогда б ему не дали, они ханжи, ещё похуже совков!..

“Злостное неповиновение органам правопорядка” — строчки из приговора поэту Сергею Чудакову. Златоуст-златоротец, русский Вийон. Грязнющая пивная на Дорогомилловке была его башней из слоновой кости. Помню его признания: “Я живу на доходы от школьницы, / На костре меня мало спалить!” Помню и строчки Лёни Губанова: “Пусть он был обормотом и вором, / Всё равно мы покрепче той свары, / Всё равно мы повыше той своры, / Всё равно мы звончее той славы!..” Рядом были, конечно, Вознесенские—Евтушенки, они тоже как бы сопротивлялись режиму, — шумно, но не “злостно”... — вы жи в а я! Они... выгодно обменяли жёлтые кофты на жёлтые ботинки и заграничные вояжи, но мужской логики выстрела-покаяния, с которым Маяковский всё-таки обрёл Судьбу Поэта, не хватило из них никому... .

А подлинные гении, аватары, — Чудаков, Губанов, Красовицкий, даже Бродский, — в кремлёвский сортир не вписались! И власть их изгнала или растоптала, а стихи оставила “на потом!” “Прости, железная держава, что притворялась золотой!..” Бродскому удавалось скрыть эзотерический вызов вполне пристойным католицизмом, потому и выпала ему Нобелевка. Думаю, он тайне страдал от невозможности прыжка радикального, апофатического!..

Я согласен с Осетинским, Бродскому удавалось скрывать свой эзотеричный лик Вечного Жиды, потому и получил он Нобелевку. Ведь дело не в еврействе, дело в эзотеричности этого неполиткорректного образа... По-своему, Вечный Жид — это мировой радикально неполиткорректный образ, чуждый и России, и Европе, и Америке, и Израилю... .

Этот лик и описал Иосиф Бродский в своей “Пятой годовщине”:

*...и без костей язык, до вмятных звуков лаком,
судьбу благодарит кириллицыным знаком.*

*На то она судьба, чтоб понимать на всяком
наречьи. Предо мной — пространство в чистом виде.*

В нём места нет толпу, фонтану, пирамиде.

В нём, судя по всему, я не нуждаюсь в гиде.

Это уже не американское пространство, не европейское или ещё какое-нибудь, в нём места нет никакой нации и никакой державе.

Всё-таки чаще всего в поздний его период побеждало странничество. Нет ни русских пасынков, ни американских приёмышей — есть осознанно антиэстетическое, антинациональное, неприлично болезненное осознание “на языке человека, который убыл...” Он искренне разоблачает сам себя и свою немощную дряхлость и ненужность: “Могу прибавить, что теперь на воре / уже не шапка — лысына горит...”

Ветер поэзии в разных странах взметает залежавшуюся литературную пыль, и писатели дружно говорят: это Вечный Жид никак успокоиться не может. Так и будет появляться он в разных странах, как эта странствующая поэзия Иосифа Бродского. И вновь будет появляться странный герой, и это явное самоощущение поэта Иосифа Бродского, — как в стихотворении “Лагуна”:

*И восходит в свой номер на борт по трапу
постоялец, несущий в кармане граппу,
совершенный никто, человек в плаще,
потерявший память, отчизну, сына;
по горбу его плачет в лесах осина,
если кто-то плачет о нём вообще...*